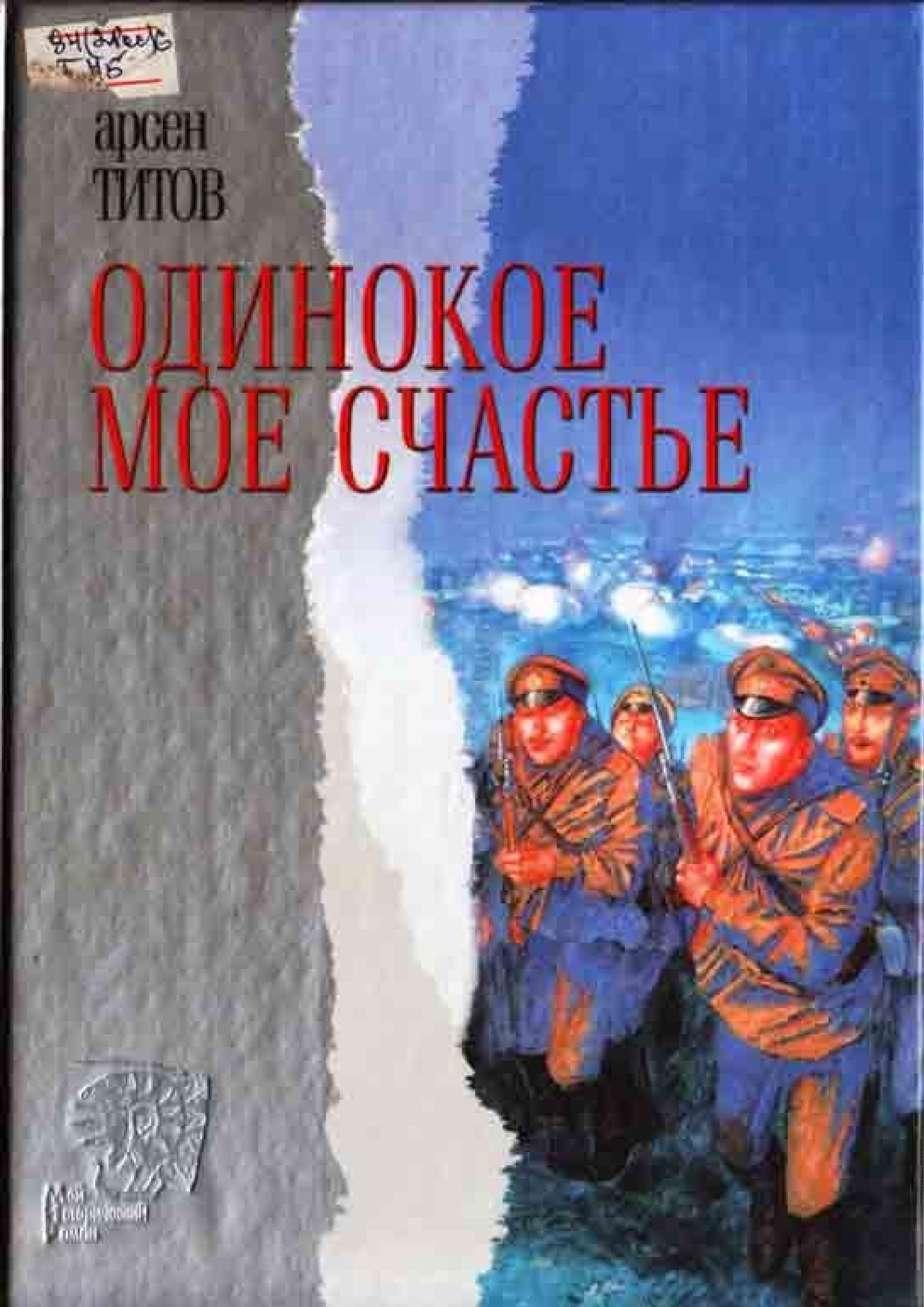

арсен
ТИТОВ
ОДИНОКОЕ
МОЕ СЧАСТЬЕ

Annotation

Роман известного уральского писателя Арсена Титова “Одинокое мое счастье” — первая часть трилогии «Тень Бехистунга». Перед вами журнальный вариант этого романа, публиковавшийся в № 7,8,9 журнала «Урал» 2002 г. и № 8 2005 г.

Действие трилогии «Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года, в преддверии Гражданской войны.

Трилогия открывает малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества, простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные месяцы.

Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей литературе художественным произведением, посвященным именно этим событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя Отечества.

В 2014 году роман-трилогия удостоен престижной литературной премии «Ясная поляна».

Арсен Титов
Одинокое мое счастье

Часть первая

1

Через пять дней моя батарея была выведена из боев с задачей расстрелять гранатами несколько возмутившихся в нашем тылу аджарских селений.

Я только что был представлен к ордену Святого Георгия и, разумеется, нашел приказ не подлежащим исполнению. Избегая огласки и суда, начальство перевело меня в бригаду пограничной стражи, в прибывшую с туркестанскими частями отдельную казачью полусотню бутаковцев, каковой определили участок границы по речке Олту.

Военной службе, и именно артиллерии, я намерился посвятить себя с детства, едва стал формироваться и едва прочитал книжку про Наполеона, начавшего свою карьеру артиллеристом. Отсутствие титулов и достаточных средств у отца не давало мне возможности на жизнь в столицах, но это роднило меня с Наполеоном и предоставляло мне право на соревнование с ним, которое я, разумеется, безнадежно проиграл при первых же шагах. Уже в пятнадцать лет я пережил своеобразное потрясение, увидев, как безжалостно углубилась пропасть между мною и обожаемым моим кумиром. В то время, как он в пятнадцать лет перешел из Бриеннского военного училища в Парижскую военную школу, откуда уже выпускались офицеры в армию, я даже близко не видел дверей ни одного из военных учебных заведений и принужден был ходить в свою постылую гимназию, терпеливо наблюдая, как битюковатые или, наоборот, выросшие за лето выше преподавателей мои одноклассники все еще изволят шалить, все еще изволят придумывать глупые и для меня уже несносные детские каверзы. В то время, как обожаемый мой кумир у лучших ученых мужей Франции постигал тактику, баллистику, математику, астрономию и другие нужные артиллеристу науки, я уныло долбил давно освоенные дроби, химические формулы, катехизические догмы, греческие и латинские языковые конструкции со всею их совершенною ненужностью. Трудно представить себе кому это нужно и было ли действительно у древних греков свойство говорить именно так, как подавали нам в гимназии, например, вот это удвоение при спряжении глагола в прошедшем времени. Для того, чтобы, например, слово “вязать” преобразить в слово “вязал”, греку было нужно прежде всего взять и поставить его в первое лицо, то есть мысленно сказать себе “вяжу”, что

по-гречески будет “люко”. Далее взять приставку “э”. Потом начальный “л” удвоить”, но не так, как нам вздумается, а так ловко, чтобы сие удвоение оказалось впереди начального “л”, но позади приставки “э” и при этом разделилось бы с начальным “л” посредством гласной “е”, в связи с чем терпеливый и внимательный древний грек мог получить конструкцию “элелюко”. Однако он не должен был этим обольститься, но, ободренный не пропавшими трудами, ничуть не теряя темпов, должен был смело идти вперед, то есть отбрасывать окончание первого лица “о”, присовокупляя к оставшемуся “элелюк” окончание прошедшего времени “эйн”. Совершив такого рода предприятие, древний грек со всею радостью мог воскликнуть: “Элелюкейн!”, что и соответствовало нашему слову “вязал”. Этакие математические зкзерцицы меня всегда умиляли, и я не раз пытался представить

себе то, как, например, царь Леонид посредством этих ребусов командует своими доблестными спартанцами. Но шутки шутками, а именно с этим примером я однажды насмелился пойти к отцу, пойти не столько с мыслью узнать, подлинно ли так говорили греки, сколько с мечтой, что после такого моего вопроса разговор сам собой повернется к военной службе.

Мне было именно пятнадцать лет, и, кажется, я бы мог говорить с отцом об этом деле открыто. Но отец был строг и стар, я его стеснялся, если не сказать большего, потому и поступил столько странным для юноши образом. Я подошел к нему с греческой грамматикой, а в мыслях молил, чтобы он, вдруг догадавшись, спросил, почему греческая грамматика может представлять интерес для молодого человека, намерившегося, равно Наполеону, посвятить себя артиллерии. Он бы этак спросил, а я бы, отвечая на вопрос, нашел силу переломить стеснение и просить его о ходатайстве перед какими-нибудь своими знакомыми о зачислении меня в артиллерийское училище вне достижения мной положенного возраста. В моем представлении такие знакомые обязательно у отца были, и ему во исполнение просьбы оставалось трудов-то, как лишь найти в столе записной справочник с адресом тех необходимых знакомых людей и написать о допуске меня к училищу.

Разумеется, из моего маневра ничего не вышло. Отец снисходительно рассмеялся и посоветовал делать так, как велит грамматика. Я вернулся в свою комнату с детским глобусом, с детскими же книгами и окном на забулыженную улицу, которая через два дома упиралась в речку с сенной площадью на другом берегу и на которой, сколь это ни излишне говорить, никогда ничего не происходило, потому что никогда ничего не могло произойти на такой улице такого города, хотя и соперничающего с самой губернской Пермью, но уездного, заштатного, отстоящего от столиц и границ на тысячи верст и имеющего воинский гарнизон, как, впрочем, и сама губернская Пермь, всего с полубатальон, в связи с чем военного человека можно было встретить в нем с тою же частотой, что и какого-нибудь эфиопа или зулуса. Само название полубатальон было оскорбительным, и я всей душой жалел командира этого полубатальона, полагая его вторым в мире по несчастью человеком, первым, конечно, числя только себя. Я представлял его потерявшим интерес к жизни, мрачным, потухшим, никак не сводящим концы с концами, ибо на полубатальон ему всего давали вполовину: половину винтовок, половину патронов, половину довольствия, амуниции, жалованья, и даже погоны его были тоже половинными. Было отчего помрачнеть и потухнуть. Изредка я видел его где-нибудь на Главном или Покровском проспекте, и видел не в столь уж трагическом положении, скорее наоборот, в хорошем состоянии духа и всегда в хорошем мундире с вполне нормальными, целыми и шитыми золотом погонами, полностью довольного своим положением. Хотя я видел его таковым, но не верил виденному, а верил своему представлению.

Я часто бегал в ту части города, не столь уж от нас далекую, чтобы считать это подвигом, но я часто бегал к казармам этого полубатальона и только с тем, чтобы посмотреть на окна, за которыми текла армейская жизнь, или подождать открытия ворот для пропуска подводы, чтобы эту армейскую жизнь на миг увидеть. Разумеется, из стеснительности я не мог себе позволить торчать около казарм подолгу, как это сделал бы любой другой мальчишка. Я только шел к казармам и

рисовал свою жизнь, необычайно счастливую жизнь военного человека. А по достижении казарм я со стучащим сердцем и с великой равнодушной миной на лице проходил мимо, зорко стреляя глазами по окнам или воротам, жадно и чутко слушая, не донесется ли пленительная команда какого-нибудь воинского упражнения или чего-то еще в этом роде. В такие минуты я совсем не помнил, что в казармах располагается столь презираемый мной полубатальон. Я проходил казармы, сворачивал вправо по Александровскому проспекту и шел до Царского моста, где снова сворачивал вправо, чтобы пройти по улице с отцовским учреждением все в той же несбыточной надежде заполучить судьбоносный отцовский вопрос о том, что я здесь, возле его учреждения, делаю. Я проходил его учреждение с тем же сердечным биением и с тем же равнодушием на лице. Но с первым же шагом, отдалявшим меня от учреждения, я возвращался к унылой действительности унылого города с унылым полубатальоном, где, я подозревал, не было даже гауптвахты и с нарушителями обходились полицейским участком. На гауптвахту же мне надо было попасть всего один раз. Я готовился служить государю-императору беспорочно, не за страх, а за совесть, и, конечно, ни о каких наказаниях в отношении меня не могло идти и речи. Ни о каких наказаниях, никогда, кроме одного-единственного раза, специально мной предусмотренного, потому что Наполеон тоже однажды оказался на гауптвахте, где по каким-то причинам находилась книга Законов Юстиниана, императора Восточной Римской империи шестого века нашего летоисчисления. Наполеон прочел ее и потом поражал правоведов доскональным знанием римских законов. Вот для такого раза мне нужна была гауптвахта.

Боже мой, сколько же мне жаждалось в те годы, чтобы быть похожим на Наполеона! Пусть потом, — говорил я себе, — пусть во взрослые годы, я не буду считать себя вправе равняться на него. Пусть он будет впереди. Ведь в бедной Франции кровожадные монтаньяры подняли руку на своего короля, и хорошо, что в то время жил Наполеон, и хорошо, что он не испугался стать императором.

Я же любил своего государя, я желал ему здравствовать и царствовать вечно. Так отчего же мне было хотеть равняться с Наполеоном во взрослой жизни? С меня достаточно было служить артиллерийским генералом и отдать жизнь за величие Отечества и государя.

При таких мыслях я едва не в слезах возвращался домой — и как же мне было плохо, что я родился в этом городе!

Я был младшим и поздним ребенком. Все старшие — брат Гриша, брат Саша и сестра Маша — вышли из дома и жили отдельно. Брат Гриша служил инженером на заводе в Перми и по сути был уже не братом Гришей, а дядей Гришей или Григорием Алексеевичем, потому что был куда как старше меня и дети его, мои племянники, были мне ровесниками. Брат Саша тоже не годился в братья, потому что был офицером кавалерии. Я его обожал не менее Наполеона, но он жил какой-то странной, мне непонятной жизнью, и я был ему не интересен. И не по младости лет моих я был ему не интересен, а по иной причине, каковую сейчас я могу объяснить тем, что мы были слишком отличительны друг от друга характерами. Вернее всего, он меня считал домашним и книжным паинькой и явно мной пренебрегал, выказывая свое внимание лишь тем, что при случае с иронией

советовал больше читать исторических и философских авторов, порой называя меня Спинозой. С отцом у него были отношения тоже неясные. На моей памяти у них произошел такой случай. Тотчас же по производству в первый офицерский чин Саша приехал домой спросить у отца разрешения на женитьбу. По своей природе Саша красивый и отчаянный человек никогда не стал бы просить о разрешении, если бы не мудрейшее обстоятельство, то есть закон, получивший силу с тысяча девятьсот первого года, то есть как раз со времени Сашиного производства, в нарушение которого никакая женитьба никакого офицера русской армии не была возможной, если он не имел внеслужебных средств или годового оклада в определенную сумму. При наличии оклада менее указанной суммы офицер обязан был внести в полковую кассу определенный денежный залог, именуемый реверсом. Саша получал в ту пору ровно половину требуемого (надо сказать, покамест не получаю такого оклада и я, будучи уже в третьем чине). Реверс этот являлся гарантией обеспечения семьи на случай смерти офицера. Эту-то гарантию Саша и приехал просить у отца. Но отец ни этой гарантии, ни какого-либо иного ручательства на сей счет дать Саше не мог, потому что только для Саши у него таких средств не было. Еще была на выданье дочь Маша, и еще ваш покорный слуга, то есть я, едва перестал играть в лошадки.

На самое короткое время отрываясь от повествования, я не могу не обратиться к моему замечанию о мудрости того обстоятельства, по которому офицер должен был иметь гарантии состояния. Сам закон, возможно, и нес в себе нечто бесчеловечное по отношению к молодому офицерству, и, конечно, многими зачлось это государю в вину, однако же мудрость и польза такого закона заключалась в том, что огромная масса молодых людей, включая Сашу, а потом и меня, не сделала, поддавшись порыву первой страсти, непоправимых ошибок, не создала необеспеченных семей, необеспеченность которых пагубно отразилась бы на службе и на морали их создателей. Я полагаю, так же считал и наш отец. На просьбу Саши он рассердился, и более рассердился не потому, что не мог дать Саше ручательства, а потому, что обнаружил в образе жизни Саши, едва вышедшего из-под родительской и казарменной опеки, ветреность и распутство. Может быть, предполагая в Саше эти качества, отцу все же следовало быть более корректным. Но, по его предположению, не много же Саша думал о службе, науках и своей нравственности, коли не дал себе труда избежать ловко расставленных силков какой-то окологарнизонной вертушки. В воображении отца не было места иной девушке. Ему было ясно, что за вчерашнего юнкера, только-только получившего первое жалованье, согласиться пойти замуж может лишь испорченная женщина. И он, ни о чем не спрашивая, сердитыми, покрывшимися льдом глазами посмотрел на Сашу и сказал:

— Юноша, в двадцать лет жениться порочно!

А потом сказал то, что, вероятнее всего, и отдалило от него Сашу:

— Кроме того, недостойно офицера, — сказал он потом, — лишать своих младших брата с сестрой каких-либо видов содержания.

Надо сказать, что мы жили только на отцовское жалованье. Была еще у матушки усадьба в Уфимской губернии на берегу реки Белой, но она, по сути, являлась дачей и уже тем была хороша, что позволяла нам все лето проводить вне города. Саша все

это прекрасно знал. И я уверен, что на средства семьи он претендовать не собирался, а лишь желал получить ручательство, от которого бы отказался вслед за женитьбой. Я это знаю по многим другим примерам. Я и сам поступил бы точно так, если бы оказался на его месте. Ошибка такого расчета крылась в том, что ручательство давалось бы не Саше, а на случай смерти Саши, то есть вступало бы в силу вне зависимости от его желания. И, не приведи господи, случись такое, мы бы обратились в нищих. Для Саши я, разумеется, в любую минуту был готов отказаться от всех, рассчитываемых на мою долю средств. Но меня никто спрашивать не собирался.

Вот такая ситуация вышла у Саши с отцом, и отцовские слова были приняты Сашей как оскорбительные. Он уехал едва ли не сразу, долго не писал и открылся только в Маньчжурии. Надо ли говорить, сколь жадно я следил за ходом тех событий, всегда хватая газеты прежде отца, и однажды, разрезав “Ниву”, был ошарашен огромным фотографическим снимком офицеров отряда Мищенко, среди которых нашел Сашу. До этого мы все: и я, и отец, и матушка, и старая наша няня, и прислуга, таясь каждый другого, ежедневно просматривали списки убитых и раненых. Матушка с няней ежедневно не по разу читали молитвы и просили всех святых заступиться за Сашу, при этом всегда горько плача. Отец был сдержан, и я полагаю, более-то от того, чтобы дать пример матушке. Я же сам рвался туда, полагая Маньчжурскую войну за единственный мой шанс опередить кумира, и завидовал Саше, причем иногда завидовал нехорошо, с ревностью, думая, как не справедлива судьба ко мне и как благосклонна к Саше. Ведь ему совсем не надо было войны, ему надо было жениться. Ну вот бы и женился, и служил бы по статской, и вечером бы прятался с обнаженной женой в спальне. Однако же он сражается за Отечество, ему государь выразит свое благоволение, он вернется героем и спросит меня что-нибудь ироническое и обидное, например, сколько философических авторов я прочитал за то время, пока наша армия сражалась. Вот, Саше совсем не надо было сражаться, но он сражался. А мне просто необходимо было быть в Маньчжурии, но я сидел в уютной школярской своей комнате и после утреннего чаю с изюмной булкой и маслом ходил в гимназию. Я так думал. А тут увидел этот фотографический снимок, увидел, как красивы, скромны и сдержанны все изображенные на нем, увидел, печать каких трудов скрывается за этой сдержанностью, и мне сделалось стыдно, будто я все это время предавал Сашу. А я его не предавал. Я только хотел быть там же. Тот снимок у нас сделался иконой. До сего времени он стоит в каслинской рамке в гостиной комнате. Уже нет ни отца, ни матушки, и в доме живет сестра Маша со своей семьею, но снимок стоит. От него мы все поверили, что Саша вернется. Я даже взял с матушки тайное слово о том, что мы Саше в счет реверса отдадим дачу на Белой, только чтобы он смог жениться.

— Мне не нужна будет дача, ведь я тоже пойду в военную службу, но я никогда не женюсь! — открылся я.

Вообще-то уже, сам того страшно стесняясь, я любил одну девочку, дочь товарища отца, любил и не знал, как мне быть без нее в будущем. Но матушке я натвердо сказал о своем намерении никогда не жениться — только бы она отдала дачу Саше.

И Саша вернулся невредимым. И вернулся с клюковкой на шашке, то есть с орденом Святой Анны четвертой степени и другими орденами. Первые дни после всех торжеств и приемов, вызванных его возвращением, он ходил по дому, ходил, ходил, ходил, все рассматривал, все трогал и молчал. Потом большее время стал проводить вне дома. Я его видел в кругу других офицеров, которых в городе стало много, потому что расквартировался в казармах полубатальона целый полк. Так вот, я стал его видеть в кругу офицеров, верно, таких же маньчжурцев, на пролетках или возле ресторанов на Покровском и на Успенской. Видел его даже с девицами особого поведения. Домой он возвращался (если возвращался!) поздно, всегда пьяный и в запахах, по моему тогдашнему мнению, обличающих его недостойное поведение. Отец же строго запретил осуждать Сашу и давал ему деньги. Бывало, он в прихожей долго развязывал башлык, гремел анненской своей шашкой и сапогами. Встречать его всегда выходили матушка и нянюшка. Я видел, что обеим им было больно и стыдно друг друга. Но они выходили вдвоем. Он припадал к их рукам, говорил веселые глупости, а через четверть часа, оттаявший и совсем опьяневший, начинал плакать, называя отчего-то себя и армию похоронной конторой. Если видел меня, обязательно спрашивал:

— Ну что, Бориска, проиграли макакам коекаки?

Потом он уехал и исчез то ли во Внутренней Монголии, то ли в Персии — более точно мы узнать не смогли, потому что запрашиваемые отцом сведения говорили и то и это. А потом скоротечно умерла матушка. Отец долго крепился, но равно же в одночасье скончался в двенадцатом году. В дом, как я уже говорил, пришла жить сестра Маша с мужем, земским деятелем, и детьми. А я, точно по ироническому ко мне отношению Саши, вдруг в последнем классе гимназии стал думать об университете и стезе исторического исследователя. Интерес к истории у меня сохранился до сих пор. Полагаю, он был и ранее, в детстве, и мое состязание с Наполеоном тоже имело исторический оттенок в духе сравнительных жизнеописаний Плутарха. Но, как часто бывает, в последний момент я ничего менять не стал и решительно пошел в пехотное училище, окончил его одним из лучших, получил право выбора и взял службой артиллерию. Потом подготовился в Михайловскую Артиллерийскую Академию. Товарищи и командиры давали мне совет идти в Академию Генерального Штаба, доказывая, что Михайловская готовит более инженеров и ученых, нежели артиллеристов. Я поступил вопреки советам и быстро пожалел, ибо не нашел в себе свойств, необходимых науке, и тянулся к живой работе в войсках.

По службе я продвигался более чем успешно и к началу войны, к двадцати шести своим годам, имел чин штабс-капитана и назначение командиром батареи, что обычно достигается лишь годам к сорока. Батарея, входившая в состав Приморского отряда на Кавказе, расквартировалась в городе Батум, и для меня война началась лишь в ноябре, когда под городом Хоп турки высадились десантом. В боях, длившихся пять дней кряду, я отличился, был отмечен и представлен к ордену Святого Георгия. Я был в совершенном счастии. Но и в этом счастии я увидел совпадение того обстоятельства, что мне приказали стрелять по возмутившимся селениям, с обстоятельством в жизни Наполеона, когда он, совершенно еще никому не известный артиллерийский капитан, не задумываясь,

готов был применить против толпы пушки. Я не знаю, отчего я нашел приказ неисполнимым. Я только в одну минуту увидел эти совпадающие обстоятельства, хотя до того совершенно перестал думать о Наполеоне, я увидел эти обстоятельства, увидел последствия своего отказа и все-таки вернул пакет штабному офицеру, откозыряв и присовокупив слова о том, что я не нахожу возможности к исполнению. Я не осудил тех, кто этот приказ исполнил вместо меня. Я просто был уверен, что мне другим способом поступить было не предназначено. Совпадающие же обстоятельства из моей жизни и жизни Наполеона прошли просто обычной констатацией — не более. Потому при всей последующей немыслимой боли и немыслимой быстроте моего падения: отстранения от должности, лишения оружия, аресте и всем прочем — я ни в чем не раскаивался. Я понял, что все в моей жизни закончилось, и жалел лишь о том, что закончилось так быстро. Я вспомнил Сашу. Я вспомнил, в каком он счастии находился, когда надеялся получить ручательство, и как скоро он этого счастия лишился. Я переживал только это. Из минуты в минуту, из часа в час и изо дня в день, не смыкая глаз ночами, я думал только об этом и, возможно, стал бы искать способа покончить с собой, если бы арест продлился еще некоторое время, потому что я увидел виноватым в прекращении счастия Саши лишь одного себя: ведь оттого отец отказал Саше в ручательстве, что был я и необходимы были средства для меня. Своим пребыванием на этом свете я, выходило, лишил Сашу счастия. Возможно, переживание за Сашу было защитой от переживаний за себя, за свою так счастливо начавшуюся и так скоро прекратившуюся жизнь. Но зачем нужна была эта защита, я не знаю. Мне кажется, за себя я переживал бы менее. Но вышло так, что я переживал за него.

Через несколько дней после моего ареста полковник Алимпиев, начальник штаба отряда, с молчаливого согласия сослуживцев нашел возможным замять дело. Мне дали назначение, и несложные хлопоты по оформлению его немного меня отвлекли, хотя, если по совести, я повороту событий не обрадовался. Какая в том разница, отметил я себе, буду ли я в погонах штабс-капитана пограничной стражи или буду в погонах рядового арестантских рот? Ведь я лишил Сашу счастия.

С застывшим от подобного переживания и неблагодарным лицом я закончил оформление документов, навеял на товарищей и начальство, спасшее меня, дурное настроение и вышел из штаба отряда в намерении отправиться на железную дорогу для немедленного отъезда. Ветер с дождем загнали меня в пролетку, и хромовый запах поднятого кожуха вкупе с сухим скрипом сидения подвигли меня на чашку кофе.

— Ета адин секунд, сардар! — откликнулся извозчик, назвав меня привычным турецким словом, обозначающим высокое военное начальство. — Адин секунд, но толка… — он задержал на мне угрюмоватый взгляд.

— Что? — спросил я.

— Но толка вес кафейн закрит. Восстаний! — сказал он.

— Поищи, — попросил я.

— Вот что, сардар, — сказал он помолчав. — Если хочешь европейски обед, салат-малат, спаржа-маржа, я отвезу тебя рестуран. Если хочешь наш обед,

приглашаю тебя к себе гостем.

Было бы наивным предполагать, что в первую мысль я не счел его турецким агентом. А во вторую мысль с тоскливой веселостью я нашел в его предложении логику: всякое преступление влечет за собой следующее. Отказался выполнить приказ — извольте получить предложение сотрудничества с врагом.

— Сколько же агентам платят? — вырвалось у меня.

Извозчик, едва до него дошел смысл моего вопроса, так дернулся, что лошадь, приняв его конвульсию за понукание, взяла с места в карьер. Кое-как выровняв пролетку, ошпарив меня укоризной угрюмого взгляда, извозчик покатил к ресторану, в виду которого я отчего-то захотел изменить свое намерение.

— А что, хозяин, — спросил я, — твое предложение еще в силе?

— В силе не в силе, но толка от души я тебя гостем звал, капитан! — сердито ответил извозчик и, посчитав эти слова недостаточными, прибавил: — Мы не князья, да все же люди!

— И мы не князья, да все же военные! — ему в тон сказал я.

Он оглянулся, смерил меня взглядом, как бы прикидывая, стоит ли со мной разговаривать, и, решив, что лучше сказать, нежели промолчать, со вздохом проговорил:

— Один ваш капитан отказался нашу деревню из пушки стрелять. А ты говоришь: агент.

— Вашу деревню? — спросил я.

— Не мою, но нашу. Какой такой разниц: мой или не мой. Все равно это наши люди. А он приказ отказался. Он каторга пошел.

— Какое вам до всего этого дело! — взорвался я. — Уж не возомнили ли вы себе, что вся русская армия состоит из таких офицеров, как я, в связи с чем ваш гнусный бунт увенчается успехом!

И опять, взорвавшись, я чувствовал, что никому ничего объяснить не могу, но поступил так, как было мне положено поступить.

Я не помню, сколько заплатил извозчику и заплатил ли вообще. Я не помню, как под дождем дошел до вокзала железной дороги, явился к коменданту. Из-за обстановки на фронте и из-за восстания короткий путь от Батума до селения Олту, где располагался штаб отряда, был невозможен,

и приходилось туда добираться большим кругом через Тифлис и Карс. Поезда сегодня не предполагалось. Я, все еще в скверном расположении духа, зашел к парикмахеру, в буфет, в офицерский зал и, найдя место подальше от света, попытался забыться. Мокрая форма тому не благоприятствовала. Вскоре я озяб и подумал о хорошей дозе грога или местной водки. В силу указа о запрещении спиртной торговли в связи с военными действиями, ничего подобного в буфете взять было невозможно. Я лишь терпеливей запахнул тужурку. Вероятно, через час такого моего сиденья меня отыскали два знакомых штабиста с приглашением на

организованную в мою честь и вне офицерского собрания пирушку. Я дал себя уговорить и вскоре оказался на квартире полковника Алимпиева. Разумеется, я не преминул выразить ему свои самые признательные чувства, искренность которых в связи с причиной моего переживания по поводу Саши была не совсем полной. Он, разумеется, это увидел и, несколько обособив меня от остальных, в две минуты сказал, что он служит в этом крае с самого его присоединения, то есть едва не сорок лет, и кому как не ему оценить мой поступок. Я не стал напоминать, что мой поступок есть преступление. Я лишь сказал, что он вызван не теми принципами, которые господин полковник, возможно, во мне предполагает.

— Плохими времена бывают только в отсутствие поступков, молодой человек! — сказал в ответ полковник Алимпиев, и так как ни о каких временах и ни о каких оценках у нас не шло речи, то я предположил в полковнике резонера и начетчика, употреблявшего заученные знания к месту и не к месту.

Чтобы уйти от дальнейших сентенций, я как можно приятнее сказал ему мое согласие с ним, и он, кажется, остался доволен тем, что сумел внушить мне свою мысль.

Далее пошли обычные церемонии знакомства с прибывающими на пирушку офицерами. Некоторые из них явились в сопровождении жен. И когда рассаживались за стол, полковник Алимпиев представил мне маленькую белокурую и чрезвычайно изящную женщину с глазами сколько глубокими и замкнутыми, столько же одновременно мерцающими и придающими лицу ее притягивающую силу.

— Капитан, представляю вашему попечению мою племянницу Наталью Александровну, по мужу Степанову — сказал он.

— Ну что же вы, господин капитан! — услышал я затем ее тихий и настойчивый голос. Услышал и увидел, что офицеры, стоя, держат бокалы с вином и явно ждут чего-то от меня.

— Да! Здоровье государя императора! — выпалил я первое же, смутив присутствующих тем, что, оказывается, не попал в здравицу, которая была провозглашена мне.

Я еще ни разу не сказал о своем отношении к женщинам, кроме упоминания о детском моем увлечении дочерью товарища отца и о решении никогда не жениться, сказанном матушке. Женщин я не бежал, но отношение мое к ним было таковым, что в качестве жены я никого из всех встреченных не увидел и как-то смирился с этим, найдя в холостяцком образе жизни большое удобство, ну хотя бы потому, что не имел обязательств отвечать за кого-то, кроме себя самого. Выходила моя жизнь по пословице, слышанной от нянюшки: “Одна голова не бедна, а и бедна — так одна!” И мне вполне этого доставало, хотя, конечно, с годами я хотел бы видеть себя окруженным семьею.

Свой конфуз со здравицей я объяснил не вполне обычным моим состоянием и весь последующий вечер провел в редкостном вдохновении, что по отношению ко мне отнюдь не означало безудержного веселья или чего-то еще в этом роде. Я много и охотно со всеми пил, подружился с кунаком полковника Алимпиева сотником

третьего горско-моздокского казачьего полка Раджабом — фамилию в тот вечер я не запомнил, — в знак закрепления нашей нерушимой дружбы предложившим мне свою шашку.

Шашка его была столь редких достоинств, что я решительно отказался от подарка. Стоило мне только увидеть цветные переливчатые разводы по лезвию клинка, как я тут же, без разбора клейма, понял его цену. Отдарить чем-либо подобным я был не в состоянии. Моя серийная шашка образца восемьдесят первого года могла только оскорбить знатока. Я решительно отказал Раджабу. Его, мягко выражаясь, отказ не устроил.

У нас едва не произошла стычка, которая только подняла меня в глазах общества. В конце концов нас с Раджабом помирили. Мы обнялись. Он, высокий и могучий, и я, едва достающий ему плечо — вид был опять в мою пользу. Я обреченно протянул ему свой серийный клинок, и он порывисто, с благоговением его принял.

— Я знаю, ты причислен к нашему Олтинскому отряду! — сказал он мне. — Не переживай. Мы найдем способ вернуть тебя в артиллерию. И еще, — прибавил он, — служить мы будем рядом — я тебя научу владеть шашкой!

Хотя я слыл фехтовальщиком не из последних, сейчас счел нужным согласиться на положение ученика, ибо, подумал я, для такого клинка, которым я теперь владел, необходимы были другие приемы.

Сказав о том, что я много и охотно со всеми пил, я не сказал (то есть не успел сказать), что был при этом трезв и сдержан, не столь многословен, как, вероятно, хотелось бы симпатизирующим мне товарищам, а если говорил, то говорил как-то веско и значительно, то есть слова мои воспринимались веско и значительно. И чтобы не пускаться в описания своих пусть кратковременных и, более того, мнимых достоинств, я попытаюсь сказать одно: что бы я в этот вечер ни делал или даже ничего не делал, — мне совершенно все засчитывалось в достоинства. А делал я не все достойно. Сколько меня ни воспитывали в училище и Академии, я сегодня позорно забыл все приемы галантности и вскоре же после конфуза со здравицей — невежественно оставил Наталью Александровну на внимание другого ее соседа. Я видел, ему доставляло удовольствие ухаживать за нею. Это меня сильно и болезненно трогало. Но это было для меня легче, нежели бы я оставался ее кавалером. Я бы, пожалуй, облил ее вином или соусом. Я бы, пожалуй, наговорил ей пошлостей или бы сделал что-нибудь такое, отчего убежал бы в дальние комнаты стреляться. Я обыкновенно ее испугался. Я уже понял, что мужа ее сегодня нет, и это принесло мне наслаждение. То есть это позволило мне без какого-либо стыда украдкой следить за нею, наслаждаться ее присутствием. Она чувствовала мою слежку и мое наслаждение от слежки. Но я только видел, что это ей не приносит раздражения. А нравится ли, хочется ли ей ощущать на себе мой скрываемый взгляд, хочется ли ей догадываться о моем перед нею всеобъемлющем и сладостном страхе, нравится ли ей вообще мое присутствие — этого я по ее поведению распознать не мог. В какое-то время от этого неведения я впал в озлобление. “Так вот вы каковы! — сквозь сильные удары сердца родил я презрение к ней, совершенно не принимая ее замужнее положение. — Да вы просто вертушка!”

Целую минуту я пребывал в озлоблении, от которого мне тоже было хорошо. Но стоило мне поймать чуть направленный в мою сторону мимолетный и, возможно, случайный взгляд ее — я забыл о том, что она окрещена мною вертушкой. Я забыл, что озлоблен на нее.

И такое творилось поочередно несколько раз. Наиболее опытные и внимательные участники пирушки, конечно, раскусили меня безошибочно. И, как ни странно, эта моя страсть к замужней женщине в их глазах тоже прибавляла мне достоинств. Я выходил чем-то вроде больного обреченного ребенка, которому позволялось все. Я понял это. Я вспомнил, отчего это. Я увидел себя жалким.

Я нашел минуту выйти во двор. Ветер к ночи затих, но дождь продолжался. Я унесся мыслью к своей родной батарее, представил ее в поле, застигнутую непогодой. Все-таки я был пьян. Я захотел к моим товарищам. Я вышел за ворота и пошел к ним. Меня хватились тотчас же. Раджаб и еще несколько офицеров догнали меня и с восторженным голготанием внесли на руках в дом, где с шумом еще несколько раз выпили. Я заметил — мое исчезновение и мое появление никоим образом не сказалось на Наталье Александровне. Приступ сильной ревности не отпускал меня до самого конца ужина.

Ночевал я в номере у Раджаба. Несмотря на выпитое, по обыкновению я проснулся рано. Вспомнил подарок Раджаба и его приглашение отправиться в отряд вместе. Вспомнил свое незыблемое обещание и вспомнил, что давал его не на квартире полковника Алимпиева, а в ресторане. Медленно и понемногу я восстановил картину нашего загула. В номер мы едва притащились. Помню, я говорил о Наталье Александровне, говорил об ее черствости и эгоизме. Я, не называя ее имени, спрашивал, почему женщины столь черствы и эгоистичны. А Раджаб, зная, о ком идет речь, клялся утром же пойти к ней для объяснений. Он клялся, что для меня он это сделает. Эти разговоры я перемежал любованием своей новою шашкой и спрашивал Раджаба, не гурда ли она, не франгули, не терс-маимун ли. Я перечислял известные мне сорта старинных клинков, но ни одного не угадал, чем ввел Раджаба в некоторое уныние, ибо невольно заставил его усомниться в цене подарка. Он, поначалу весело отрицавший мои перечисления и сберегавший подлинное название своего клинка на потом, вдруг недоуменно и, по-моему, обиженно глянул на меня, а потом прищелкнул пальцами.

— Эх, жизнь моя непутевая! — сказал он.

Почему он сказал именно эту фразу, я не понял, но понял, что доставил ему огорчение.

— Да что ты, Раджаб! — воскликнул я, прижимая к себе вынутый из ножен клинок. — Если бы ты мне подарил суковатую палку, я и тогда был бы счастлив!

Таким образом я хотел поправить дело, но лишь усугубил его.

— Как же суковатую палку! — вскричал он с полной обидой. — Кто дарит суковатую палку?

Тут и я обиделся, но сдержал себя и сказал, что не приведи Бог, но если однажды у Раджаба будет всего лишь суковатая палка и он мне ее подарит, я буду

счастлив принять такой подарок.

— Что вы несете, капитан! — сузил он глаза.

— Не будьте бараном, сотник! — побледнел в ожидании стычки я.

Он медленно стал подниматься, и столь же медленно навстречу стал подниматься я. У меня была слабость — в пьяном состоянии я все делал плохо. Мне всегда казалось, что другие, опьянев, более владеют собой, более сохраняют, если не улучшают, свои способности. Я же в пьяном состоянии все делал плохо — и фехтовал, и стрелял, и соображал. Я только мог долго пребывать в хорошем расположении духа, не шататься и говорить глупости, не совсем меня изобличающие. Но сегодня по неизвестной мне причине я вдруг оскорбился на слова Раджаба и мгновенно оскорбил его. Мы стали медленно подниматься друг другу навстречу. Женщины, бывшие с нами, с криком побежали от нас. Шашка Раджаба была у меня в руках. Я дал ему время вынуть мою. Я увидел, как он ею остался недоволен, хотя и попытался это скрыть. “Зато ты на голову выше меня, что означает: рука твоя длиннее моей!” — как бы восстановил мысленно я справедливость. Мы отшвырнули стулья и сделали одновременный выпад. Я ощутил тягу моего клинка к противнику. Он словно бы помогал мне. Моя бывшая шашка на такое не была способна. Раджаб с нею оказывался в невыгодном

положении. Более того, я почувствовал, что он рубится вполсилы. Отразив его, я вложил клинок в ножны.

— Что? — закричал Раджаб, да вдруг остановился и ударил себя кулаком в лоб. — Что? — еще закричал он, но с другой интонацией. — Почему это первым не сделал я?

Он порывисто шагнул ко мне и было уже протянул свою шашку мне в подарок, но спохватился, убрал ее в ножны, подхватил меня на свою высоту и заревел в распахнутые двери номера, веля принести вина. Так мы кутили едва ли не до утра.

Сейчас я дотянулся до клинка и погладил его. Он, как кошка, на ласку податливо откликнулся, заразив меня своей уверенностью и желанием что-то сделать воинственное и великое. Я снова с болью вспомнил мою родную батарею. Без меня она казалась мне никому не нужной и брошенной. “Ее явно теперь все игнорируют, и новый командир, выслуживаясь, мучает людей!” — подумал я.

— Едем сейчас же! — стал будить я Раджаба.

— Увы, мой друг! Мы выедем не ранее послезавтрашнего рассвета. У меня дел здесь еще на два дня! — охладил меня Раджаб.

— Тогда я поеду железной дорогой! — сказал я.

— Прежде всего, мы решили ехать вместе и не железной дорогой, а верхами и через горы, — напомнил Раджаб. — Далее, я должен по твоему делу посетить госпожу Степанову!.. — конечно, я догадался, что он шутит. — Далее, — продолжал Раджаб, — я обязан нанести два визита: один из них чисто деловой, а один — самого приятнейшего свойства. И коли отпуск из полка у меня заканчивается через два дня, то он закончится через два дня! Так что, мой юный друг, этих двух дней

здешнего пребывания нам никак не избежать!

— По чину юным другом пристало быть вам, сотник! — обрезал я, после чего мы сделали маленькую экскурсию в наши биографические данные.

Он оказался старше меня годами и происходил из хунзахских ханов, в Кавказскую войну участвовавших на русской стороне.

— Значит, я счастливый обладатель… — стал говорить я о шашке…

— Счастливый обладатель клинка зульфакар, который принадлежал самому Али! — играя голосом, перебил меня Раджаб, но тотчас выправился. — Про зульфакар я соврал. Но твоя шашка была изготовлена в знаменитом селении Амузги для дяди моего дедушки по матери.

— И ты ее подарил мне! — осудил я Раджаба.

— Так было заповедано самим дядей, — сказал Раджаб. — У него был случай зарубить русских. Но он этого не сделал, а потом сказал, что тот из русских будет владеть этим клинком, кто так же поступит по отношению к врагу-мусульманину. Вот здесь на клинке это написано.

Я лишь махнул рукой — ну-ну! Раджаб проследил за моей отмашкой.

— Почему тебя до сих пор не убили? — спросил он. — Ты ведь каждую минуту ставишь себя так, что впору с тобой выяснять отношения на поединке.

— Ладно, — сказал я.

— Что ладно? — спросил он.

— Ладно. У меня есть возможность зарубить одного мусульманина, но я великодушно этого не сделаю, — сказал я.

— И по праву будешь владеть шашкой моего дедушки по матери! — понял шутку Раджаб.

Позавтракав, мы вышли в город в превосходном настроении. Разумеется, намерение Раджаба первым делом отправиться к госпоже Степановой, то есть к Наталье Александровне, оказалось шуткой. Мы оба отправились в штаб отряда к полковнику Алимпиеву справиться о сводке боев и посмотреть газеты. От этого занятия меня оторвал дежурный офицер, пригласив к телефону. “Моя батарея!” — ахнул я внутри себя.

— Да! Здесь штабс-капитан Норин! — закричал я радостно в трубку, но осекся, услышав голос Натальи Александровны.

— Дядюшка мой, полковник Алимпиев, предположил, что, вероятнее всего, вы проведете день бездарно! — сказала Наталья Александровна.

— Он непозволительно выдает военные секреты! — промямлил я.

— А потому, — не слушая меня, сказала Наталья Александровна, — вам предлагается сопроводить одну знакомую вам особу в пригородное селение.

— У меня нет верховой лошади! — стал вдруг я препираться.

— Но хотя бы править двуколкой вы можете? — рассердилась Наталья

Александровна, и только тогда до меня дошло, что олух я и есть олух.

Я залепетал всякие извинения. Наталья Александровна сурово оборвала меня:

— Ждите и никуда не отлучайтесь из штаба! Знаю я вас по прошлому вечеру! — сказала она.

— Что? — спросил Раджаб.

— Очевидно, я буду занят на весь день, — растерянно и в смущении ответил я.

— Госпожа Эс? — понизил он голос. — И да поможет вам Аллах!

— Она в некотором роде замужем! — как-то ненатурально возмутился я.

— Ох, штабс! Выдам я за тебя кого-нибудь из моих многочисленных родственниц! — хлопнул Раджаб меня по плечу.

Что-либо объяснять было бесполезно.

Двуколкой Наталья Александровна правила сама. Она была одета в серый дорожный костюм и дубленую короткую шубку с венгерскими застежками. Маленькая меховая шапка каким-то чудом держалась на собранных венцом ее волосах. Справа от нее лежала казачья винтовка, по поводу которой, скрывая свое чрезвычайное смущение, я отпустил плоскую шутку.

— Наша армия, к сожалению, состоит из кутил и пьяниц, отчего беззащитным женщинам приходится брать оружие в руки! — отбрила Наталья Александровна, и мне показалось, что она знает о наших ночных бдениях.

Я постарался найти в ее тоне нотки ревности или чего-то в этом роде, но не нашел. Я молча сел на свободное место слева от нее. Она застегнула кожух и легонько вздернула вожжи. Лошадь, местная горская порода, взяла рысью. Наталья Александровна спросила, знаю ли я местность вокруг города. Я знал относительно.

— Мы едем в Салибаури на дачу к моему дядюшке, — сказала она.

— Ваш дядюшка совершенно вжился в местный образ жизни! — сказал я.

— В отличие от большинства остальных офицеров, — резко сказала Наталья Александровна, и я опять не понял, что она еще могла иметь в виду, кроме того, что сказала.

— И вашего мужа в том числе? — дерзко спросил я.

Наталья Александровна от неожиданности вскинула брови. Глаза ее хлыстом ударили по мне.

— Мой муж, не пройдя конкурса в Академию Генерального Штаба, нашел возможность остаться в столичном гарнизоне. Через неделю я отправляюсь к нему. И если бы он был здесь, он бы сидел на вашем месте. Не солдата же мне брать в сопровождение — этак с расстановкой сказала она.

Слова ее облили меня холодом. А я-то было предположил себе! Вернее, не я, а Раджаб, со злобой подумал я, но следом поймал себя на мысли, что и я предположил



едва не подобное.

2

Путь до Салибаури состоял как бы из двух частей. Одна часть — по городу, то есть по благоустроенному и ровному месту, а вторая часть — вподъем, по плохой дороге. Уложились мы в два часа с половиной, и Наталья Александровна остановила лошадь на крутом склоне горы среди тумана перед небольшими и красивыми воротами, за которыми открывалась уютная площадка с деревянным домом местного стиля и двумя-тремя хозяйственными постройками. Площадка резко переходила в крутой склон, обсаженный цитрусовыми деревьями, редкими у нас в стране и представляющими, по разговорам, тайную гордость полковника Алимпиева.

Я ввел лошадь во двор, распряг, немного выводил, отер и, проведя под навес хозяйственных построек, пошел на указанный Натальей Александровной родник за водой. Это оказалось рядом. Но когда я вернулся, в доме с Натальей Александровной была какая-то женщина из местных. Несмотря на то, что женщина не понимала по-русски ни бельмеса, беседа ее с Натальей Александровной была очень оживленной и состояла из массы выразительных жестов и нескольких местных слов, которыми владела Наталья Александровна. Я выпоил лошадь, насыпал ей корму, принес еще воды. Тем временем женщины занялись кухней. Наталья Александровна переоделась в некое подобие местного бешмета, шальвары, укутала себя платками, оставив лишь глаза, пару раз блеснувшие мне, на что я, разумеется, постарался не обратить внимания — мне хватало с лихвой того, что я получил дорогой. Меня за ненадобностью и в соответствии с местными нравами — чужой мужчина должен держаться в стороне от женщин — отправили некоторое время гулять или заняться чтением в кабинете полковника Алимпиева. Я выбрал прогулку, и Наталья Александровна напутствовала меня.

– Не бойтесь потерять дорогу, — сказала она, — здесь любой скажет, как вернуться обратно.

Месить местную грязь я не посчитал своей задачей и прошелся туда-сюда по двору, зашел в сад с цитрусовыми деревьями, вернулся к лошади, притулился в укромный уголок, потеплей запахнул меховую тужурку и под мерное хрумканье лошади чутко задремал. Мне пригрезилась молодая солдатка из деревни, где была наша дача. С этой солдаткой я потерял свою мальчиковую невинность. Я юнкером приехал на каникулы и в жаркий полудень, когда клев в Белой прекратился совсем, с удочкой шел лугом, а она с возом тальника и крушинника вышла из кудрявой рямы.

— Ба, господин офицер! — всплеснула она руками. — Ну и что нарыбачили?

Рыболов я был совсем никудышный, и она посмеялась надо мной, а потом все произошло столь стремительно и столь естественно, что оказалось делом едва не будничным.

— А что, господин офицер, в городе барышни ласковые? — спросила она.

— Не знаю, — сказал я чистосердечно, словно облившись ежевичным соком.

— Ой ли! Ведь врешь! — не поверила она.

— Мне женщины совершенно не нужны! — сказал я свое решение не жениться.

— А пойдем-ка! — решительно повернула она лошадь к дальнему от дороги стогу.

Я пошел за ней, и там, у стога, все произошло. Она завела воз за стог, близко подошла ко мне, спросив, хочу ли я. Я хотел и одновременно очень боялся, потому сказал, нет. Был конец июля. Стога еще дышали свежестью, перемешанной с конским потом. Недалеко по реке чухал колесами пароход, как-то особенно подчеркивая пустоту и тишь лугов.

— Нет, — сказал я и вдруг испугался совсем другого.

Вдруг я испугался того, что она может понять все совсем не так, вдруг подумает про меня как про неспособного мужчину или еще что-нибудь такое же оскорбительное. Но женщины в таких делах гораздо умнее. Она прямо и темно посмотрела мне в глаза и велела не бояться. Она велела слушаться ее во всем. Я не мог на нее смотреть. Мне было невыносимо. Я отворачивался от ее расстегнутой кофты, обнажившей нечто выпуклое с двумя медными кругляшками, чему я никак не мог дать определения. Я отворачивался от задранной юбки, обнажившей двух белых осетров, припавших к ее животу — так я воспринял в первый миг ее сияющие бедра. Она велела мне лечь рядом, взяла мою ладонь и стала водить ею по своему обнаженному телу. Я не слушал того, что она говорила. Мне казалось, что с неба нас видят и что лошадь над нами смеется. Она расстегнула мне брюки, рукой, как рыбкой, нырнула в них. Я заживо горел на костре. Мне не хватало воздуху. Я готов был оттолкнуть ее и во всю силу бежать прочь. “Убью! — стучало у меня в голове. — Убью ее и себя! Ведь это позор. Это неслыханный позор. Мне всего этого не надо. Ее муж служит государю и Отечеству. А она ведет себя развратно. И я этому потворствую!” Я не имел права это делать. Но словно парализованный, я ничего не предпринимал — не обличал ее и не уходил. Что-то во мне было гораздо сильнее меня. Она, вся затрепетав, положила меня на свои теплые осетры и сильно обхватила меня. Я оказался в ней. И костер, сжигавший меня, погас.

Я лежал рядом с нею, облокотившись, чтобы видеть ее всю, и вдруг она с гримасой боли сказала:

— Хосподи, да на чем это мы?

— Что? — спросил я.

Она проворно встала на четвереньки, разгребла сенную подстилку и в ужасе завизжала. Из-под сена смотрела в небо заячья голова.

— Лиса съела! — стал успокаивать я ее.

— Страху-то, — сказала она с отвращением и прежним ужасом.

Я взял с телеги топор, вырубил в дерне ямку и закопал заячью голову.

— Вот как бывает барин, — прижалась она к мне. — На одном месте кому смерть бывает, а кому сладость. А теперь уходи, уходи с Богом!

Я встал, но не уходил. Я не знал, что мне делать. В моем представлении я не

имел права уходить. Она казалась мне беззащитной. Минутой назад она владела мной, была моим повелителем, и в ее власти было опозорить, уничтожить, сжечь меня. Теперь же я чувствовал себя ее господином.

— Уходи, уходи! Вдруг хто увидит. Тебе-то — ничего, а меня ославят! — погнала меня солдатка.

Весь день и последующие дни я жил этим событием, мучился и искал ее, следил не столько за рыбой, сколько за лугами, ожидая ее. Я хотел повторения всего. Я стал как бы больным — столь я хотел ее и столь я судил себя. Встретиться близко нам более не удалось. Изредка видел я ее, но всегда с кем-нибудь, видел веселую, сноровисто работающую. “Как же она может так? — спрашивал я себя. — Будто ничего не произошло, а ведь произошло, и она должна переживать, мучаться, должна каяться или уж хотеть меня снова!.. Как женщинам легко! — стал думать я. — Они боятся только огласки их порока и нисколько не терзаются нравственно. Ведь изменила мужу, взятому на службу!” И потом я долго смотрел на солдат с тайным вопросом, женат ли он, чем занята его жена.

О том, что Наталья Александровна собралась меня искать, я почуял заранее. Я поспешил встать, отряхнулся и даже успел заняться лошадью, чистя ее пучком сена, когда наконец входная дверь скрипнула и вышла Наталья Александровна. Чтобы дать знать о себе, я прикрикнул на лошадь. Наталья Александровна спустилась во двор, подошла ко мне, увязанная в свои платки — совсем местная аджарская женщина или турчанка. Неохватные по глубине глаза ее улыбались.

— Вы простите меня за то, что я вас оторвала от дел и загнала сюда. Такая уж я змея! — ласково, но, кажется, и лукаво попросила она.

Я хотел уверить ее в удовольствии быть оторванным и загнанным, но лишь улыбнулся в ответ.

— А вы понравились Марьяше! — поспешила она сказать новость.

— Кому? — спросил я, хотя догадался, о ком идет речь.

— Марьяше. Я ее так зову, — сказала Наталья Александровна про свою подругу.

— Разве она имеет право смотреть на чужих мужчин? — строго спросил я.

Наталья Александровна приняла игру.

— О нет, повелитель! — покорно потупила она взор. — И мы с ней заслуживаем самого жестокого наказания!

— Любого, даже самого жестокого? — еще более сурово спросил я.

— Да, повелитель. И мы безропотно перенесем его! — пролепетала Наталья Александровна.

— Ну так велите же накормить меня! — загремел я.

— Вот так у мужчин всегда! — вздохнула Наталья Александровна, то ли продолжая роль, то ли всерьез. — Ну сколько же убогая фантазия! Им бы только кутить и воевать!

Я полагаю, между Натальей Александровной и Марьяшей было договорено, что обед мы проведем втроем. Но лишь я заявился к столу, как Марьяша, стремительно закрыв лицо, собралась уйти. Наталья Александровна пустилась ее уговаривать, однако тщетно. Марьяша что-то горячо ей втолковывала, а потом вдруг, избегая взгляда, ушла.

— Ну что в вас такого, что вас боятся женщины? — спросила с сердцем Наталья Александровна, глаза же ее сказали что-то другое.

— Я самый безобидный и забитый мужчина на свете! — обнаглев от ее глаз, напыщенно сказал я.

— Вам лучше знать! — уклончиво сказала Наталья Александровна, а глаза опять неуловимо, как дуновение ветра, сказали иное.

Я сел напротив нее и только тут взялся рассматривать комнату. Я уже говорил — это был обычный местный дом из тесаного дерева с традиционным местным внутренним убранством, с очагом навроде камина, с деревянными тахтами вдоль стен, покрытыми коврами, и деревянными хозяйственными шкафами. Несколько оленьих рогов, вероятно охотничьих трофеев полковника Алимпиева, были приспособлены над входной дверью. В целом все, кроме стола, стульев и двух кожаных кресел, было азиатским, местным. И обед за небольшим исключением тоже оказался приготовленным по-местному. Подождав, пока я огляжусь, Наталья Александровна спросила, местной водки мне подать или коньяку. Я храбро приказали того и другого. Наталья Александровна взяла из шкафа небольшой кувшин с водкой и прямоугольный хрустальный штоф с коньяком. Мы снова оказались друг против друга. Говорить более стало не о чем. Мы оробели.

— Ну же, пожалуйста! — с силой сказана Наталья Александровна.

У меня заколотилось сердце. Я промолчал. Иначе бы выдал себя дрожью в голосе.

— Налейте себе и мне. Возьмите для начала что-нибудь! — с тем же напряжением сказала Наталья Александровна.

Я налил, и мы выпили. Ничего между нами не изменилось. Я в мыслях торопил минуту нашего отъезда. Я уже догадывался, что Наталья Александровна сюда поехала именно в связи со скорым отбытием к мужу в Петербург, или, по-нынешнему, времени Петроград. И меня она взяла с собой лишь из вчерашнего впечатления славного малого, умеющего составить компанию. И вот чем больше она от меня ждала этого славного малого, тем больше он исчезал, тем больше на его место приходил весь я, хотя и не бирюк, но весьма плохо отвечающий понятию славного малого. Я понимал, насколько разочаровываю ее, насколько порчу ей этот день и, возможно, впечатление не только о себе — я-то завтра буду где-нибудь на речке Олту распоряжаться какою-то казачьей полусотней, ведь смеху подобно, даже не сотней, а полусотней пластунов или пограничников, как их там считают на самом деле, а потому обо мне не могло быть речи, — но я порчу ей впечатление последних здешних дней. Сколько же она будет казнить себя за опрометчивость, с какою увлеклась мной и необдуманно сюда приехала. Ей бы стоило взять с собой Раджаба или еще кого-то.

Я себе был ненавистен, особенно когда вспомнил себя дремлющим подле лошади и видевшим в дреме деревенскую солдатку. Я был рад любой возможности отвлечься от стола: то надо было прибавить дров в очаге, то в связи с быстро наступающей темнотой разжечь шандалы, то выйти к лошади. Наконец я не выдержал и позорно спросил про отъезд.

— А вы в такое время с дорогой справитесь? — спросила Наталья Александровна.

Я бы справился. Я был в себе уверен. Да и лошадь, сколько я понял, была из опытных и смирных. Где бы я положился на нее, где — на себя. Я бы добрался. Но я видел — Наталья Александровна не хочет уезжать. “Какая вздорная женщина!” — подумал я, отчего-то переводя это клеймо на всех женщин и получая вывод, что все женщины вздорны. Я перебрал в памяти всех, кого знал, и все они соответствовали клейму.

Прошел час и другой. От стола мы перебрались ближе к огню, перенеся небольшой трехногий столик и придвинув кожаные кресла. Посидели здесь, занимая себя кофе и фруктами. Разговор зашел о выращивании цитрусовых. Наталья Александровна помогала в этом дяде и много знала.

— Успешнее всего прижился китайский сорт уншиу, — взялась она посвящать меня в тайны цитрусовых. — Я была маленькой, когда дядюшка сошелся с одним агрономом, большим апологетом цитрусовых на Кавказе. От него он получил саженцы, и вот теперь вы видели эти деревья в саду. Ухаживает за ними в основном муж Марьяши. Он старше ее лет на двадцать — такой почтенный ага!..

По моему предложению мы вышли прогуляться во двор, и Наталья Александровна сказала, что отлучится на некоторое время к Марьяше. Мне она заповедала не скучать и не сердиться за отлучку. Я в мыслях вновь обозвал ее вздорной женщиной, но с разыгранным возмущением попросил ее больше этак мне не говорить.

— Я рад возможности вот так уединенно провести вечер! — заявил я.

— Уж я вижу, как вы рады! — сказала Наталья Александровна и опять получила от меня клеймо вздорной.

— А что, разбоев здесь не бывает? Лошадь нашу не уведут? — спросил я.

Наталья Александровна заверила в абсолютной безопасности этих мест.

— А отчего нет у дядюшки собаки? — опять спросил я.

— Собака сдохла от старости. Новую заводить не стали! — сказала Наталья Александровна и растворилась во тьме.

— Вас проводить? — крикнул я вслед.

Поспешность ее отказа натолкнула меня на мысль, что она уходит по какой-то такой надобности, когда мое присутствие невозможно. Я нарочито бодро стал ходить по двору, делая гимнастические упражнения. Влага тумана в минуту пропитала меня. Наугад я сходил к роднику, нашел его, зачерпнул ладонями воды и с

трудом выпил — просто так, чтобы убить время. Потом сообразил воспользоваться отсутствием Натальи Александровны для житейской нужды. Вспомнилось детство — этак же в деревне мочил я, бывало, плетень. Вспомнил случай, когда я с деревенскими ребятишками увязался на Белую — поскотиной, лесом и лугами более трех верст. Ребятишки все были старше меня, были и, так сказать, отроки лет по четырнадцати, тогда как мне шел всего восьмой год и я ждал первого похода в гимназию. Бежали мы дружной ватагой. Я был горд причислением меня к взрослым. Более был горд тем, что в ватаге меня считали своим и ни в чем не выделяли. Неделей назад в целях учения плаванию они выволокли меня на середину озера, слава богу, не широкого, более смахивающего на реку, и на середине бросили. Я выплыл. Но плавать не научился. Запомнилось только чередование красного и черного. Черное — дно, тьма. Красное — поверхность воды, свет. В этом чередовании я добрался до берега, выполз, отлежался, надернул штаны и побежал с ватагой дальше. И в тот день я бежал и слушал разговор взрослых — для меня недостижимо взрослых — ребят о некоей объявившейся в нашем лесу необычной женщине. Якобы она была крупнее всякого мужчины, в беге обгоняла жеребца, одной рукой валила наземь быка и люто ненавидела мужчин, то есть не именно только мужчин, а в целом весь мужской род, включая и нас. Нелюбовь свою она выказывала тем, что нападала на мужиков и обрывала мужские достоинства, отпуская затем бедолаг на все четыре стороны. Я как-то не особо мог это оценить, ибо не знал всех функций своих мужских достоинств, полагая их предназначенность только в возможности мочить плетень. Конечно, от деревенских я просветился во многом. Наблюдал, знал и мог рассказать, каким образом и после каких действий появляется плод в брюхе кобылы, коровы, овцы и так далее. В принципе, я знал, что и человек тоже не изыскивается в капусте. Но почему-то не мог отнести это непосредственно к моей конструкции между ног. Не мог именно ее определить одним из двух составляющих условий семейной жизни и продолжения рода. Потому действия лесной женщины я целиком относил к ее прихоти, мало объяснимой с точки зрения здравого смысла, и не придавал этой прихоти значения, дескать, ну хочется ей обрывать, так пусть обрывает. Наверно, это не вполне приятно, и, наверно, нянюшка, обнаружив во время мытья меня в бане некомплект моих телесных членов, не сочтет нужным вступить со мной в сговор по поводу его сокрытия от моих родителей. Но и только-то! И из-за этого лишать себя удовольствия с ватагой деревенских бежать на Белую! Тем большего удовольствия, что, несмотря на предоставляемую мне свободу общения, уходить за пределы деревни мне было строго запрещено. И я бежал, слушал старших, вступал с ними в братство, божился стоять заодно, если сия матрона выскочит именно на нас и именно с нами попытается исполнить свою взбалмошную прихоть. Хорошо мне было бежать туда, днем, при веселом и жарком солнце, в дышащий пряными запахами лес.

Хорошо было булькаться на теплой песчаной отмели, гоняться за стаями мальков и, сгорая от наслаждения и безнаказанности, показывать голую задницу проплывающим пароходам, а потом качаться на поднятых ими волнах. Я не вспомню сейчас, по какой причине к вечеру я остался на реке один. Вся ватага вдруг исчезла. Наверно, меня в очередной раз подвергли испытанию. Вся ватага исчезла, солнце самым спешным образом закатилось за деревья — придвинулась ночь. Я до

темноты ждал своих товарищей. А потом побежал домой. Сносно было бежать лугами, теми самыми, где я позже познал первую женщину. Луга были высоко над берегом, были светлые, благожелательные и, несмотря на свою огромность, ничуть не страшные. Стога не казались динозаврами. Купы шиповника не казались свернувшимися громадными змеями. Кудри черемух и крушин по рямам, то есть по низким сырым местам, не таили ни чертей, ни русалок, ни всякой прочей нечисти, включая и взбалмошную матрону. Тревожнее стало, когда пришлось подойти к озеру Кусияну, обрамленному с дальней стороны могучими осокорями и тьмой старого дубового леса, а с ближней, как специально, открытому и манящему своей зловещей черной водой. Все боялись этого озера. Какая-то глухая и недобрая слава ходила о нем. Меня приводили к нему, показывали гладкую, словно стылую, жуть его поверхности, в черноте которой не отражались даже деревья. От дороги до него лежало, пожалуй, сажен сто. Но они ничуть не умалили моего страха, если не усилили его — ведь одно дело, когда нападут в мгновение ока, когда я не успею увидеть, и другое дело, когда на моих глазах из озера, разрывая его неподвижную черноту, начнет выходить нечто и погонится за мной. Потому я шел мимо Кусияна, ни на миг не упуская его из виду, а когда прошел и устал оборачиваться, выбрал крепкую палку и положил на плечо. Погонится — наткнется. Кусияном заканчивались луга и начинался лес. Это было ближе к дому. Но впереди, по выходе из леса, когда он оставался за спиной и тем тоже становился страшен, впереди ждало небольшое озерко Березовая яма. Берез на многие версты вокруг не было. Но говорили, что некогда они росли вокруг этой ямы, а потом упали в нее. В этой яме утонул деревенский мальчишка. Они прибежали купаться. Он прыгнул в воду и ушел на дно. Деревенский пастух Фазлыкай, в престольный праздник надевающий мундир унтера с наградами за турецкую войну, достал его со дна и принес родителям. Мы бегали его смотреть. Он лежал синий, с небольшим подтеком крови из носа. Он теперь ждал меня около Березовой ямы.

Отчего-то все это мне вспомнилось, пока я стоял у плетня. Я с удовольствием отметил силу своего тогдашнего духа, с какою я переборол страх и добрался домой не только в полном здравии, но еще сумел натурально соврать матушке об увлекательной игре в попы-гонялы, посредством которой я так неслыханно задержался. Я думаю, матушка поверила не моим словам, а моему виду, бравому и разгоряченному, вполне соответствующему игре. Как хорошо, что матери не все знают о детях. А ведь порой от страха я не мог идти. Я останавливался и молил, чтобы меня быстрее сожрали, удавили, уволокли на дно, оборвали у меня что кому надо — только бы я не мучился ожиданием. Потом наступала минута, когда приходили силы, и я бежал дальше, ежесекундно ожидая смерти, такой же синей и с такой же остановившейся струйкой крови из носа.

Облегченный и иззябший, наполненный детским воспоминанием, я рысью вернулся в дом.

— Н-ну держитесь! — сказал я Наталье Александровне.

Решительность моя, однако, на том завершилась. Лишь я заслышал ее шаги на лестнице, как вновь обратился в буку, в монстра, в того, кто способен только отравлять людям жизнь.

Отчего же так? — думал я, налегая на коньяк, но не пьянея. — Отчего вчера она казалась мне столь обворожительной? Отчего вчера я не мыслил себя без нее и ревновал ее, ревновал сильно и мучительно, как любимого человека? Ревновал только за то, что она не обращала на меня внимания. Сегодня же мы сидим вдвоем, и я могу пользоваться ее вниманием, сколько мне угодно. Но ничего не происходит. И я винил во всем саму Наталью Александровну, называл ее скучной и ограниченной особой, якобы теперь полностью понимая господина Степанова, ее мужа, удравшего и не спешившего вызвать ее к себе. Я так внушал себе, и я же себе говорил: “Врешь, подлец, врешь!” — потому что это действительно было ложью. Я сидел перед Натальей Александровной чучелом. Я пил коньяк, ел фрукты, эти самые уншиу, и был несносен. Но отчего-то я ждал минуты, когда все переменится. Отчего-то я надеялся на перемену — любую, которая бы меня освободила от этой муки. Но в то же время я ждал продления этой муки.

В какой-то момент Наталья Александровна, отчаявшись расшевелить меня, попросила рассказать о войне, о моих пяти днях боев, о представлении меня к ордену. Но и эта трепетная для меня тема никак не помогла. Не вышло ничего. Я решительно встал:

— Наталья Александровна! Я отправляюсь. Я благодарю вас за внимание и прошу простить за отравленный вечер. Я вас провожу к Марьяше. Я непременно должен ехать. Я завтра за вами вернусь. Это, разумеется, если вы не расположены ехать сейчас!

— Да, пожалуй! — согласилась она. — Проводите меня к Марьяше.

Мы тотчас вышли на балкон, с которого по-местному начинается лестница вниз. Влага мокрой ватой облепила нас. Открытая дверь бросила на пол косой клин света. Шагнув за него, я на мгновение остановился, ожидая, когда привыкнут к темноте глаза. Наталья Александровна, не зная моей остановки, наткнулась на меня. Я обернулся с намерением поддержать ее. И мы крепко обвили друг друга. Я едва не в горячке припал к ее губам. Она отстранилась, а потом сама нашла мои губы.

— Какой ты… Какой же ты дурак! — сказала она, не отрываясь от меня.

Я ее понес в дом. Она поняла мое намерение.

— Не спеши, милый! Мне так хорошо с тобой! — своими губами передала она моим губам.

Я очнулся. Я сел в кресло, устроив ее на колени. Мне стало легко и свободно.

— Весь вечер моих мучений представился вам наслаждением? — с нарочитым вызовом спросил я.

— Да, милый! — подхватывая игру, кротко и лукаво ответила Наталья Александровна.

— Вы жестокая и эгоистичная женщина! — тем же тоном объявил я, едва сдерживаясь, чтобы не понести ее на тахту.

— Это вам расплата за вчерашний ужин! — обожгла меня Наталья Александровна сильным своим взглядом. — Вы слышите? — спросила она с

ощутимой болью, и ее взгляд, остановившийся, глубокий и сильный, показался мне змеиным. — Вы слышите? — спросила она снова и раздельно, с еще большей болью, прибавила: — Убила бы!

— За что же убивать меня? — растерянно, ничего не понимая и вместе с тем вдруг все понимая, спросил я.

— Вы полагаете нормой, когда женщина просит вас составить ей партию на поездку в уединенное место? — с гневом спросила Наталья Александровна. — Вы не дали себе отчета в том, сколько я перемучилась, какою я себя зарекомендовала в глазах всех, пригласив вас на эту поездку!

Она резко встала с моих колен, маленькая, изящная, в платье турчанки.

— Вы негодяй! — бросила она мне.

Я молчал. Я был пуст. Меня распирала пустая сила, трудно называемая — то ли гордость, то ли спесь, то ли чувство победителя. Я любовался Натальей Александровной. Она отошла к двери, открыла ее. Я следил за ней. Казалось, она собирается уйти к Марьяше.

Я выставлю себя в невыгодном свете, негодяем, и, возможно, я оскорблю ее своим нынешним признанием, которого не сделать тогда у меня хватило ума. Я натвердо сказал себе, что я любить ее не могу. Я так сказал себе. Однако поднялся с кресла и подошел к ней. Я хотел поцеловать ее в волосы, но для этого пришлось бы снимать турецкий ее платок, а это могло быть расценено, как действие, с каким она меня просила не спешить. Я прижался губами к ее плечу и взял ее руки в свои. Они пульсировали сильным жаром. Я понял, что за пустота охватывает меня. Эта пустота родилась в первый мой бой, в момент, когда мы выкатились на дистанцию действительного огня, на открытую позицию в виду турецких батарей. Была минута, пока мы снимались с передков, разворачивались, хлопотали у орудий с их установкой, с открытием ящиков, с прицелом, и по тем же причинам турки не могли стрелять по нам. Мои люди хлопотали, а я определял дистанцию и кричал, на сколько секунд поставить взрыватель трубки. Нам надо было непременно опередить их. Это зависело только от меня. Я должен был определить дистанцию с точностью до десяти метров. На пристрел времени у нас не было. Вот тут я впервые ощутил, как меня изнутри охватывает пустота — сначала равная по объему хорошему гимнастическому залу, а потом вообще без границ, такая, словно бы я стал вмещать в себя всю местность, на которой пребывал— с горами, с селениями, с угадываемым неподалеку морем, с нашими и турецкими воинскими частями. Это было странно, неестественно. От этого я стал будто пьяный. Голова ощущалась высоко в небе, над всей этой местностью. Она как бы была в безопасности, отчего я совершенно ясно и хладнокровно определял расстояние и отдавал приказ. Я ощутил, что меня убить нельзя. Я вместил в себя огромный мир, и все происходило в этом мире, но я был больше этого мира, я как бы рождал его, и он был подчинен моей воле. Это ощущение было непередаваемым. Надо ли говорить, что я стрелял успешней противника. Мой первый шрапнельный выстрел показал, что я ошибся всего чуть-чуть. Он не долетел до батареи. Но он сделал там переполох. Я поправил трубку, а третьему орудию приказал гранату.

Господи, сколько же я, оказывается, еще не был свободен от боев! Я сжимаю руки прелестной женщины, я губами прижимаюсь к ее плечу. Она только что призналась мне в своих чувствах. Я весь с этой женщиной. Но я переживаю огонь по турецким батареям!

Наталья Александровна почувствовала мое состояние.

— Вы сейчас где-то далеко от меня! — с сильной печалью сказала она.

— Простите! — попросил я.

— Я поступила порочно. Но я погибла, как только увидела вас, — сказала Наталья Александровна. — Вы вошли, и я все поняла. Я поняла: я потащусь за вами, куда вам заблагорассудится. Сегодняшний поступок тому примером.

— Пойдемте в дом. Здесь простудитесь! — попросил я и снова усадил ее на колени.

Она хотела сопротивляться. Я настоял. Мне так хотелось, чтобы у меня на коленях сидела прекрасная маленькая турчанка со змеиными и печальными глазами. Впрочем, возможно, змеиность их была мною надумана. Глубокое чувство боли исходило от них, глубокое, познавшее отсутствие взаимности. Мы несколько времени сидели, просто обнявшись. Огонь в очаге угас.

— Вы можете мне поверить? — спросил я.

— Я поверю всему, что исходит от вас, — ответила она.

— Вы поступили превосходно! — сказал я. — У меня было несколько женщин. Но любимой — ни одной!

Я хотел ей объяснить мой идеал женщины, но посчитал это излишним многословием.

— Не было у меня любимой женщины, — сказал я, намереваясь признаться ей, что я ее не люблю, не увлечен ею с тою страстью, как она мной, но я вчера ее ужасно ревновал и теперь не могу себя представить без нее.

Я так хотел сказать ей, но не нашел силы, а лишь сказал, что она мне подарила такое, о чем я не имел ранее представления.

— Выйдите из комнаты. Я вас позову, — сказала Наталья Александровна.

Я накинул тужурку и опять вышел на балкон. Теперь, когда все стало ясным, я встревожился. Я без причины встревожился. Мне захотелось вернуться в дом, взять Наталью Александровну, увернуть ее во что-нибудь теплое, пушистое, нежное — положить в нагрудный карман и всегда носить с собой.

Я спустился к лошади, поправил на ней попону, огладил ее всю, прижался лицом к ее морде. Пройдет ночь, представилось мне, и мы уедем отсюда. Затем я уеду к месту службы. Наталья Александровна уедет к мужу. Я никогда более не увижу эту лошадь, этого смирного мерина. А что он знал в своей жизни? Только первую материнскую ласку, когда появился на свет. Только теплое материнское вымя было ему лаской. А потом мать отняли. Остался он один. Он очень удивился и встревожился, увидев, что мать уводят в одну сторону, а его в другую. Его загнали в

табунок таких же жеребят, и он, помучившись без матери, понял своей лошадиной сутью, что и как.

— А потом тебя выхолостили, лошадь, — прошептал я. — И ты стал мерином. Ты стал без желаний, без тревоги, без гула сердца и тока крови при виде кобылиц. Ты не дурел, не грыз повода, не дыбился, не храпел и дико не ржал, выламывая доски стойла. Ты спокойно набирался опыта, мудрости, запоминал дороги, чтобы уметь рассчитать силы. Ты служил и получал за службу корм и уход. Завтра мы уедем, расстанемся и никогда более не встретимся. Никто более не поведает тебе твою лошажью судьбу.

Я вернулся в дом.

— Помойтесь там, в другой комнате. Я приготовила! — сказала из постели Наталья Александровна.

И потом, погасив огни, я лег к ней. Я ее всю прижал к себе и будто впервые ощутил прикосновение женских бедер, живота, грудей. Были они какие-то такие, что я подумал — после Натальи Александровны мне не надо будет ни одной женщины. Они были одновременно и мои и не мои. Они одновременно жили и со мной и без меня. Их неуловимость тянула к себе, заставляла постоянно ощущать их, искать, гладить, прижимать к себе. Я почувствовал себя Геркулесом. И совсем не потому, что мне было тесно в ней. Иная сила принесла мне это чувство. Я понял: с Натальей Александровной надо как-то по-другому, с нею надо быть только с ней. Надо дать ей. Мне очень захотелось этого — дать ей. Это было моим открытием. Мне не было никакого дела до того, что это, вероятно, знает и обязан делать каждый мужчина — дать женщине всего себя. Дать даже не всего себя, а еще что-то, гораздо большее. Надо найти это и дать ей. Я весь к этому устремился. И начальные наши беспорядочные движения стали обретать смысл. Мы стремились к единому — к поиску того большего, что я обязан был дать ей.

— Не могу. Меня Господь наказывает! — сказала она.

Я лег рядом.

— Я не получу, — сказала она, поднимаясь, — я не получу того, что вы стараетесь мне дать. Меня наказывает Господь. Я вас измучаю.

Я силой уложил ее в постель.

Мне трудно сказать, дал ли я ей то, гораздо большее. Я знаю — я стремился к этому. Она разодрала мне ногтями спину так, что я едва не закричал. Потом пришлось нам спину лечить. Несколько капель она слизала, сказав: “Это мои!” — остальные искусно промыла кипяченой водой и прижгла йодом. Мы вновь зажгли очаг и сели к столу, выпили коньяку.

— По гороскопу я Скорпион, — сказала она.

— Я угадал, — пошутил я. — Я определил вас змеей, то есть… — я нашел в своих словах бестактность и попытался смягчить их.

— А я и есть змея! — улыбнулась она. — Я Скорпион, родившийся в год Змеи. Вы знаете восточные календари?

— О, я вас пятью годами старше! — отчего-то обрадовался я, в мгновение сосчитав, судя по ее возрасту, наиболее приемлемым годом змеи одна тысяча восемьсот девяносто третий.

— И неизмеримо глупее! — с непередаваемой интонацией, в которой одновременно звучали решительность и просьба принять все за шутку, заявила Наталья Александровна.

— Почему? — удивился я.

— Другой бы еще в прошлую ночь догадался выкрасть меня и воспользоваться! А вы и эту-то едва не упустили! — сказала она.

— Да я вас побью и дело с концом! — обиделся я.

— Побейте! — с готовностью согласилась она и даже подернула плечиками, как бы показывая, где надо бить.

Я припал губами к этим плечикам. Она взяла мою голову, прижала к груди.

— Убила бы! — снова сказала она с прежней глубокой печалью. — Ведь завтра вы убежите от меня. Уж лучше бы я вас убила. А потом бы отбыла каторгу. Зато бы я знала, что больше никому вы принадлежать не будете, никому во всем мире не дадите того, что дали мне!

Уснули мы уже под утро, когда поднялся ветер, пообещавший смену погоды. Проснувшись, я застал нас в весьма неприличных и невыгодных для сна позах. Мне очень захотелось обустроить наш завтрак и обиходить лошадь до того, как Наталья Александровна проснется. Потому я ее положил удобно, накрыл, немного полежал рядом, пересиливая желание овладеть ею сонною, встал и занялся делами.

Я вышел во двор. Тучи расслоились, и одни ушли ниже нас, к городу, а другие повисли над нами и на глазах таяли, так что взошедшее солнце уже гляделось через них тусклым, но четко очерченным рублем. Ближние окрестности просматривались хорошо. А горы выше были обрезаны. “К полудню, должно, раздует”, — подумалось мне. Я спустился к лошади.

— Помнишь вчерашнее? — спросил я.

Я ей подал кусок лаваша с солью. Она деликатно взяла его губами и меланхолично разжевала. Я выпоил ее, убрал навоз, вывел ее за ворота, сел верхом без седла и дал шенкелей. Лошадь привычно порысила дорогой к городу. Мне хотелось, чтобы Наталья Александровна смотрела вслед и тревожилась, не уезжаю ли я этаким гнусным способом насовсем. Отъехав с полуверсту, на одном из изгибов дороги, с которого, верно, открывался бы вид на город, если бы не тучи, я остановил лошадь и оглянулся. Наша усадьба хорошо просматривалась. Слева, справа и выше в мокрых и сизых зарослях растительности, как многочисленные щепки в осеннем, внезапно остановившемся прибое, всплыли черепичные крыши селения. Небольшими темно-зелеными пятнами выделялись кучки деревьев уншиу. Мирные дымы от очагов упирались в тучи, и выходило, будто они служили тучам подпорами. Скраденные расстоянием, плавно неслись оттуда неясные шумы. Вот заревела скотина, вот задребезжала жесть, вот кто-то кого-то громко позвал, взлаял пес, и

закричал петух.

Я тронул лошадь обратно.

Вместе с Натальей Александровной в доме была Марьяша. Я вошел неслышно, и Марьяша не успела закрыть лица. Я бесстыже уставился на нее. Еще вчера я этого бы не сделал. Вчера, чтобы не смущать ее, я бы сам поспешно отвернулся. Сегодня я был другим. Я бесстыже уставился на нее, а потом перевел взгляд на Наталью Александровну.

— Какова же Марьяша у нас красавица! — сказал я с удовольствием.

Марьяша не без грациозности, которая сказала о некоторой наигранности ее страха передо мной, упорхнула в другую комнату. Наталья Александровна больно укусила меня в губу.

— Змея! — сказал я.

— Это тебе за то, что волочишься за чужими женами! — ответила Наталья Александровна.

Я вздохнул как бы обреченно — ведь чужой женой была и она сама.

— Почему бы мне не познакомиться с ее мужем? — спросил я про Марьяшу.

— Он извозчик в городе, и его сейчас нет дома, — объяснила Наталья Александровна.

Я предположил, уж не тот ли самый извозчик, что подвозил меня, и есть муж Марьяши. Мы стали выяснять приметы и согласились — вполне мог быть он.

— Ах, жаль, я не согласился на его предложение отужинать у него! — сказал я весело, ожидая от Натальи Александровны бурного, но приятного приступа ревности.

Она же вздрогнула, оставила меня, присела на краешек тахты. Я было кинулся к ней. Меня остановил ее взгляд. Я нашел в нем только боль и одиночество, причем одиночество давнее, как бы уже привычное и редко вырывающееся наружу. Я остолбенел. В моем представлении не было места таким чувствам у красивых и благополучных женщин.

— Ведь вы сами не переносите боли. Почему же причиняете ее мне? — спросила она.

За пять дней боев я не был ни контужен, ни даже оцарапан случайной щепкой. Более того, я видел, как мои гранаты ложились в расположение их батарей, а шрапнели рассеивали и косили их пехоту. Я не потерял ни одного человека. Это было счастьем, таким счастьем, на фоне которого арест и крушение всей моей жизни смотрелись просто пятном, появившимся как бы нарочно, с целью оттенить это счастье. Я не переживал своего падения. Я переживал за Сашу, за несостоявшееся его счастье. То есть меня все случившееся не задело. Но после слов Натальи Александровны меня вдруг, как контуженного, стало клонить в сторону, будто бок у меня, дотоле разодранный, с невероятной быстротой стал зарастать и стягиваться. Я, вероятно, упал бы, если бы не схватился за спинку кресла. Думаю,

вышло это картинно — во всяком случае, Наталья Александровна поняла именно так.

— Как у вас все необычно, сударь, ну ровно в синема! — сказала она.

Ранее я не знал, что звук женского голоса может раздавить. Сил оторваться от спинки кресла у меня не было.

— Да, сударыня. Я ведь вам не муж и потому необычен! — ответил я.

На ее рыдания припорхнула Марьяша.

— Скверно! Скверно! — заклеймила она меня.

И оттого, что, по моему мнению, ей такое русское слово не должно быть известно, а она его произносила, я пришел в себя и сделал, кажется, лучшее, что мог. Я, ничуть не стесняясь Марьяши, присел перед Натальей Александровной на корточки, прикоснулся к ее коленям лбом. Я не чувствовал раскаяния. Однако мне не хотелось ссориться, как и не хотелось быть неблагодарным.

— Вы ведь нисколько не раскаиваетесь? — спросила Наталья Александровна.

— Нет, — сказал я.

— Убила бы! — вздохнула она прежним словом и склонилась ко мне. — Марьяша! — еще спросила она что-то на ее языке и, услышав утвердительный ответ, перевела мне. — Мы с Марьяшей всех бы вас убили. Она убила бы своего мужа, противного, вечно пропадающего в городе, оставляющего ее одну. А я убила бы вас!

— Предоставьте это туркам! — сказал я не без удовольствия.

Наталья Александровна замерла. Ладони ее сильно сжали мою голову.

— У вас нет права погибнуть. Вы не столь бесчестны, чтобы оставить меня одну! — сказала она.

“Ну вот мне и орден!” — внутренне сияя, подумал я.

За завтраком мы все больше говорили с Марьяшей. Она посчитала дань обычаю исполненной и приоткрыла лицо, может быть, не столь красивое, как у Натальи Александровны, но чрезвычайно искрящееся молодостью

и чистотой. Она оказалась родом из тех мест, которые нам с Раджабом предстояло проехать, и поспешила объяснить, как нам не миновать их. Я не понял ее объяснения, но Наталья Александровна заверила, что Раджаб места знает хорошо. И я дал Марьяше торжественное слово посетить ее родственников, конечно, не особо полагая слово сдержать. Я кое-что начал понимать в жизни восточных людей, и такое мое поведение вполне укладывалось в рамки ее. Не исполненное в данном случае обещание вполне можно было оправдать службой. Но не дать такого обещания было неприличным. Отказ бы огорчил Марьяшу и внушил ей мысль о моем нерасположении. После мы сердечно распрощались. Наталья Александровна пошепталась с ней по хозяйству, и она ушла.

— Ей очень тоскливо здесь, — жалея ее, сказала Наталья Александровна. — Ведь ей всего шестнадцать лет. У них с мужем нет ребенка. И они очень это

переживают.

Мы снова оказались в постели. Снова с непередаваемым трепетом я принимал трепет ее тела. И я добился своего. Как Наполеон, я теперь мог быть триумфатором. Я ликовал. Я любил себя. Я дал ей некоторое время на слезы и на трепет передо мной. Я дал ей все. Я готов был пристегнуть ее к своей колеснице, когда вдруг почувствовал, что весь нахожусь в ней, а у меня самого вдруг нет сил справиться с ее, плененным мною, пламенем.

Мы так и лежали потом — спали или не спали, но лежали, не желая переменить позы и, может быть, забыли бы оторваться друг от друга, как вдруг я услышал усталый конский галоп на дороге из города. Она всадника услышала чуть позже и сразу встревожилась.

— К нам? — спросила она.

Голос ее обозначил конец.

— Я знала, что он будет, — сказала она.

— Кто? — подумал я об ее муже.

Она не ответила, а попросила отпустить ее. Мы быстро встали. Она на миг прильнула ко мне, оторвалась, глянула на себя обнаженную, повела плечиком и бедром, лукаво спросив, какова? — тут же стала поспешно одеваться.

Когда он — конечно же, вестовой полковника Алимпиева, — от ворот вскричал ее имя, мы были уже одеты.

Наталья Александровна вышла на балкон.

— Так что, сударыня, их высокоблагородие господин полковник спешно приказали передать вам пакет! — закричал вестовой.

Пакет — на самом деле записка в плотном коричневом конверте — извещал о наивозможно скором моем прибытии в штаб отряда.

На улице ветерок зримо подмел нижние тучи. Стало яснее и прохладнее. Мы собрались, уложились. Я вывел двуколку за ворота и понял, что за все время не сказал Наталье Александровне ничего. Я ничего не сказал и не дал ей ничего. Я лишь ею воспользовался. Наталья Александровна обнялась с Марьяшей. Мы уселись, застегнули кожух. Я разобрал вожжи, чмокнул губами. Лошадь тронулась. Мы мерно качнулись.

— Пожалуйста, не оглядывайтесь назад. Мы не уезжаем отсюда, — попросила Наталья Александровна.

— Да, — кивнул я.

— И когда от меня поедете, тоже не оглядывайтесь! — снова попросила Наталья Александровна.

— Да, — снова кивнул я.

— И ничего не дарите мне на память.

— Да.

— Только скажите, когда это мне будет нужно, вы найдете меня.

— Да.

Она положила свою казачью винтовку мне на колени.

— Возьмите. Марьяша на нее наговорила. Она убережет вас.

3

Срочность вызова обуславливалась общим сбором всех офицеров в связи с оставлением нашими частями Артвина и отходом едва не на южные пригороды Батума. Раджаб ждал меня в полной готовности, и вышло — из двуколки, не оглядываясь, я пересел в седло. Преувеличения в сказанном не было. В штабе отряда мы едва задержались на двадцать минут, выяснили обстановку, простились с кем вышло. Полковник Алимпиев принял меня, не отрываясь от бумаг. В общей тревоге, когда передняя линия наших частей прошла в двенадцати верстах от города, это было объяснимым. Я сердечно откозырял ему. Он с усталой улыбкой перевесил мою винтовку через правое плечо, по-казачьи. Я знал: при первой же возможности он вернет меня в батарею. Я спросил его, почему мне нашли именно казачью полусотню. Он, уже отходя к бумагам, снова улыбнулся:

— Полусотня по принадлежности казачья, то есть находится в управлении казачьих войск. А по подчиненности — пограничная, то есть находится в министерстве финансов. Возможность меньшего оглашения события. А впрочем, назначение — дело случая.

В коридоре Раджаб с подобострастием пожал мне руку:

— У вас, капитан, великое финансовое будущее!

Я ему погрозил кулаком.

До конца дня Раджаб рассчитывал не более чем на тридцать верст. Мне он выхлопотал невысокую буланую кобылу. Под его ревнивым взглядом я проверил подпруги, тороки, укоротил стремена, провел лошадь в поводу туда и сюда, наблюдая за ее ходом. Я все время ждал откуда-нибудь Натальи Александровны. Она сказала мне не оглядываться и перехватила вожжи, едва мы показались в виду штаба. Я сошел, а она укатила дальше. Я знал, что она сейчас заперлась у себя в комнатах. Но я ждал ее. Раджаб понял.

— Не придет, — сказал он коротко.

Я упрямо, молча и скрупулезно изучал лошадь.

— Не придет, — повторил Раджаб.

Я обозлился. С размаху шлепнул лошадь ладонью по крупу. Она переступила в сторону и в недоумении посмотрела на меня. “Стерпишь!” — сказал я.

Наш отряд составился из восьми человек. Вместе с Раджабом в полк возвращался его сослуживец — хорунжий Василий и пятеро казаков сопровождения. Мы тронули рысью и минут через пятнадцать близ окраин перешли на шаг. Мне хотелось быстрее убраться как можно дальше, и я недовольно понудил лошадь на галоп. Раджаб догнал меня. Держась за луку моего седла, так что ногу мне сильно прижимало его лошадью, он сказал;

— Первую часть дороги думают о том, откуда уехал. Вторую — обо всем на свете. Третью — о том, куда едешь. Потому не спеши, друг мой. Думай о том, что было. На войне нельзя думать о доме. На войне можно думать только о войне. А

покамест не война, думай о том, что было. Пережигай, чтобы ничего не осталось.

Я промолчал. Я и без того думал о Наталье Александровне. Я ничего о ней не знал. Я не догадался ее спросить. И теперь не знал ничего. Я мог только вспоминать наши два дня. Пять дней войны и два дня Натальи Александровны. Семь дней счастья холодной золой улеглись на сердце.

Через час пути в виду реки и какой-то нашей части, укрепляющей берег, нас застал дождик. Я поднял башлык. Стало еще тяжелее, потому что

напомнило утреннее возвращение на двуколке. Я не выдержал и окликнул Раджаба, нет ли у него водки. Раджаб окликнул своего вестового казака. Тот полез в торок, достал водку во фляжке, металлические стаканчики, хлеб и холодное мясо. Не слезая с лошадей, мы выпили — все восьмеро, причем я выпил дважды. То, как мы сближались и разъезжались, как передавали на ходу друг другу стаканчики и закуску, со стороны, видимо, гляделось необычно. Несколько солдат засмотрелись на нас, и от берега к нам донесся визгливый окрик унтера. Я скользнул глазами по линии укреплений, ожидая встретить батарейную позицию. Дурачась от выпитого, Раджаб предложил атаковать укрепления. Казаки рассыпались и вдруг разом, разноголосо и прерывисто гикая, сорвались с места. Их было семеро, то есть совсем немного. Но я залюбовался жуткой красотой их лавы. Залюбовался и не увидел, что произошло на укреплениях. Оттуда вразнобой захлопали винтовочные выстрелы.

— Фить! — сказал кто-то около моего плеча по-птичьи.

Лава Раджаба вздрогнула и круто стала осаживать. Я услышал сердитую ругань Раджаба. На укреплении появились офицеры. Их сразу можно было отличить по выправке.

— Не стрелять! Не стрелять! Господа! — услышал я Раджаба.

Казаки остановились. Он один подъехал к офицерам. Я видел, как Раджаб приложил руку к папахе, потом соскочил о седла. Его окружили, но он все равно хорошо был виден над толпой. Через полминуты там появился папиросный дым, и опять визгливые окрики унтеров погнали солдат к работам. Я отвернулся. Я вспомнил свою птичку у плеча, сказавшую мне “фить”, и неожиданно закрыл глаза — так мне захотелось спать. Но желание было неприятным, знобящим, запоздало трусливым. Если бы птичка не сказала “фить”, я бы сейчас валялся у ног лошади. Я так стал повторять себе: “Если бы птичка не…” — и тем старался подавить спазм желудка. Было бы невыносимо допустить перед глазами всех этих людей свою слабость. “Нельзя иметь никаких привязанностей!” — сказал я себе, когда тошнота отступила. А именно появлением в моей жизни Натальи Александровны я объяснил внезапную мою трусость. “Если бы птичка не…” — с издевкой сказал я.

Казаки вернулись возбужденные. Они ругали пехоту за их выстрелы, называя ее презрительными прозвищами.

— Совсем необстрелянные! — качал Раджаб головой про пехоту. — А если бы не мы? А если бы курдская конница?.. Ты слышал, друг мой, о делах курдской конницы? — и по его повелению вестовой казак опять полез в торок за фляжкой. — Курдская конница — это… это… ааах! — он опрокинул в рот стаканчик водки. —

Это, как было написано в одной книге, это бич цветущей Азии! Это беззаветная храбрость, жестокость, натиск, красота! Я им говорю, ведь мы даже шашек из ножен не вынули. Что же вы стреляете? А они: ха-ха! Они: солдаты необучены-с, господин сотник! Эх, Борис Алексеевич! Вот странен русский мужик. Почему же он не обучен? Занял полмира, а не обучен. У нас с детства всяк обучен. Мальчишки палками рубятся. Опасности ежечасно преодолевают. С оружием знакомы. А здесь взрослые люди — и не обучены-с! — И вестовому: — Стаканчик капитану!

Я нехотя выпил. Разница между нами была ощутимой. Вчера я был выше него — я, за пять дней боев представленный к самой высокой награде империи! Сегодня я не годился ему на подметки его мягких изящных сапог. От близ летящей пули и оттого, что знал какую-то Наталью Александровну, я испытал настоящий животный страх. Куда уж страннее. Я смолчал.

Еще через час дорога, тянущаяся вдоль реки, стала потихоньку вздыматься. К тому же стало темнеть. Скорость наша поубавилась. Укутанные в косматые бурки, мы смахивали на грачей. Казалось, кто-нибудь сейчас встрепенется, расправит крылья и полетит.

В одном селении мы остановились на полчаса, размяли ноги, дали передышку лошадям. Потом опять — в седла и опять в дорогу. Порою я дремал. Видимо, сказывалась бессонная ночь. И лишь я закрывал глаза, мне являлась Наталья Александровна, являлась столь ощутимо, что я тянулся прикоснуться к ней. Я даже целовал ее и тут же просыпался. И было от того очень тяжело. После нескольких таких случаев заветным желанием стало остановиться в первом же селении на ночлег и провалиться в небытие на первой же охапке сена. “Черт несет меня! — свирепел я. — Все было великолепно. Я был бы сейчас в своей батарее, не знал бы ни горя, ни забот”. И я ненавидел весь мир, начиная с того начальника, который приказал снять мою батарею с фронта, с тех повстанцев-аджарцев и заканчивая собой, Натальей Александровной и незнакомыми мне бутаковцами.

Мы уложились в сроки Раджаба и к исходу третьего часа пути в густой темноте, подсвеченной лишь снегом окрестных гор, въехали в большое селение Кеда, где у Раджаба был кунак.

Начитанный и наслышанный о Кавказе человек явно представляет себе местные селения в виде нагроможденных друг на друга до самых небес каменных келий. Нет такого в Батумском крае, где произрастают прекрасные леса с экзотическими для русского глаза платанами и грабами, а также привычными — соснами и елями. И, разумеется, дома здесь в своем большинстве строятся из дерева, порой большие, просторные, на многочисленные семьи. Таковым же деревянным домом была дача полковника Алимпиева. Но его я не описывал, потому что тогда он мне — как бы сказать точнее — не показался, не бросился в глаза. Я был скован и увлечен Натальей Александровной и, хотя все видел, все наблюдал и замечал, в себе не откладывал. Сейчас же, в виду нашего ночлега после тяжелого для меня пути, мне резко бросилось сходство дома знакомого Раджабу человека и дома полковника Алимпиева. Оба они стояли на каменных цокольных этажах, не жилых и предназначенных для хозяйственных нужд. Жилое же помещение, бревенчатое и с окнами, под обширной крышей, с балконами и деревянным крыльцом, с лестницами

на две стороны, покоилось на этом цокольном этаже и состояло из нескольких комнат, одной из которых была обширная гостиная с хорошим камином, с тахтами и коврами на стенах, совсем как у полковника Алимпиева. Мебелью служили низенький трехногий столик и низенькие же стульчики без спинок — на вид хрупкие, но в силу здешнего дерева чрезвычайно прочные. Достойным замечания было и кресло для старейшего члена семьи, деревянное и украшенное резьбой. Стоял такой дом посреди хорошего травянистого двора, обрамленного плетнем и хозяйственными постройками. Мое внимание привлекла воздушная, на изящных тесаных опорах и с резными галереями постройка под черепичной крышей, еще более выразительная от света зажженных во дворе огней. Я уже знал, что обычно это бывает кукурузня, то есть амбар для зерна. Но удивило то, с какой любовью, с каким изяществом, доходящим до благородства, была она сделана. И сколько мне ни было тяжело от душевного моего разлада, я, указав на кукурузню, сказал Раджабу, что буду спать там. Он принял мою реплику за улучшение моих чувств и улыбнулся.

С нашим приездом дом и двор оживились. Хозяин, не уступающий статью Раджабу, старик по имени Зекер, и трое его сыновей вышли встречать нас, широко распахнув ворота. Тем временем другие домочадцы запирали собак, бежали по двору кто куда, видимо, прекрасно зная свои обязанности и стремясь наиболее споро их исполнить. Я тихо показал на это Раджабу, говоря, хорошо бы вот так-де было заведено и у нас в армии. Он согласно кивнул и столь же тихо сказал о Зекере пару самых лестных слов. Приняв нас у ворот, молодые мужчины исчезли на время, а Зекер поручил нас младшим внукам. Мы умылись теплой и сверх меры приятной водой. Мне поливал перед большим медным тазом щекастый крепыш. Я спросил, как его зовут. На удивление он вопрос понял и ответил учтиво.

Оправившихся и умытых, Зекер повел нас в дом, поручив казаков сыновьям. В гостиной уже пылал камин. Зекер сел в свое кресло. Мы с Раджабом и Василием расположились на тахтах. Раджаб завел с Зекером беседу — надо полагать, необходимую по обычаю. Я понял, что говорили они на турецком. В ходе беседы некоторое их внимание досталось и мне, но, я подозреваю, не как наиболее почетному в силу самого высокого среди присутствующих офицерского чина моего, а как человеку, ставшему виновником нынешнего своего положения. Глаза Зекера при этом вспыхнули, и весь он подобрался, явно сначала готовый выразить мне свое одобрение или нечто в этой роде, но вовремя взявший себя в руки. Теперешнее мое вялое состояние Раджаб — сколько я понял по тону — объяснял ему вполне пристойными причинами.

Накрыли стол, и пришедший в гостиную старший сын Зекера сказал, что казакам тоже все приготовлено. Зекер сказал принести вина. Я удивился. Старший сын принес кувшин. Зекер рассадил нас за столом и через Раджаба принес мне извинения за бедность его и особенно за невозможность поддержать нас в питии.

— В далекие времена мы были христианами, как и все грузины, — сказал он, — но волею судьбы уже несколько веков исповедуем иную веру.

В питии мы с Раджабом и Василием преуспели, и старшему сыну пришлось кувшин наполнить вновь. Первым блюдом мы съели суп с курицей, именуемый по-здешнему шарвой. Потом на стол принесли куриц табака, сыр и яйца, смешанные и

тушенные в масле — очень сытное блюдо. Потом последовали вареная баранина, хинкали с бараниной и хинкали с сыром. Все это сам Зекер запивал холодной водой, мы же с удовольствием прикладывались к кувшину. Довольно быстро я оживился и вступил в беседу с Зекером — разумеется, через Раджаба. Зекер, вероятно, из-за сообщенного ему моего поступка пространно объяснил мне данные из истории края, по которым выходило, что и те земли, в которые мы направлялись, некогда тоже считались грузинскими. Мне в целом было все равно, кем были заселены те края. Как грузины-христиане, так и грузины-мусульмане, во все время общения с ними показали себя легкими гостеприимными людьми, а большего мне было не надо. Однако из вежливости и интереса к историческим изысканиям я поддержал Зекера в стремлении просветить нас. Вино этому способствовало, однако полностью расслабиться я не смог. Я не мог отделаться от впечатления, что за вчерашний день разрушился мой мир. Я повторю, и пусть это не звучит хвастовством, что столь последовательно и столь поступательно, как я, мало кто из знакомых мне проводил свою жизненную линию. Не соблазняясь пустыми увлечениями, я за восемь лет целенаправленно прошел путь от юнкера до офицера с академическим образованием до чина штабс-капитана, которого большинство не выслуживают и за пятнадцать лет. В боях я отличился. С орденом мне полагался чин капитана не в очередь, и в скором времени я мог рассчитывать на командование дивизионом. Все эти достижения, разумеется, не шли ни в какие сравнения с достижениями Наполеона. Но я ведь еще в детские годы постановил, что не хочу ни себе, ни родным, ни государю-императору — никому вообще тех потрясений, каковые выпали на долю бедной Франции, ее короля и всех подданных. Все до вчерашнего дня было стройным и ясным. Ничуть стройности и ясности не умалили мое неисполнение приказа и вызванные им следствия. Ведь поступок тот был в моей власти. Делать его или не делать был волен только я. То есть я сам распоряжался собою. Я принадлежал себе. Но во вчерашний день я всего этого лишился. Я стал принадлежать женщине. Непередаваемая сладость этой принадлежности губила меня. Я понял, что влюбился. Я понял, что люблю Наталью Александровну, как никогда никого не любил из женщин. Но от этого мне стало только тяжело. Я даже стал трусом.

Я украдкой поглядел на Зекера. Мне показалось, что он в своей жизни видел очень мало радости. Он был мне симпатичен, и чтобы не расслабиться от чувства к нему, я спросил разрешения выйти на воздух. “Что же ты сейчас делаешь, любимая?” — спросил я в ту сторону, откуда мы приехали. Я пошел по хрупкой от мороза траве к ажурной кукурузне. Запертые собаки зарычали. Я представил, с какою злобою они бы рвали меня в иных обстоятельствах. И я понял, насколько я одинок. Во всем мире никому до меня не было дела. “Ты теперь нужен Наталье Александровне”, — возразил я себе, но вслед спросил, правда ли, и спросил, надо ли это мне. На оба вопроса я ответил положительно, однако в ответы не поверил. “Не надо этого мне! Ведь даже пролетевшая мимо пуля сделала меня при Наталье Александровне трусом!” — так сказал я. Стало понятно, что к кукурузне я иду только лишь с одним: чтобы не пойти к конюшне, не оседлать свою буланую и не пустить ее по дороге обратно.

Утром я проснулся от доклада вестового Раджабу. Среди всего прочего он

сказал, что моя лошадь захромала и не может продолжать путь.

— Я же видел, курба у нее! — загорячился Раджаб. — А он (вероятно, комендантский конюх) — подлец, меня стал уверять!

Я, было, подумал, что это знак судьбы, и представил свое возвращение в Батум. “Только на один день и только на один миг встречи с Натальей Александровной!” — взмолился я. Я знал — это невозможно. Но все утро, пока мы завтракали, охали, ахали и ругались, во всех деталях осматривая мою лошадь, я ждал фразы Раджаба о моем возвращении. Ожидание измотало меня. Порой я готов был сказать об этом сам.

Зекер послал за коновалом. Пока мы ждали, Раджаб с Василием еще осматривали лошадь.

— Ну, курба и есть! — возмущался Раджаб и грозил конюху суровыми карами.

Коновал на лошадь лишь взглянул. Всем и без него было ясно, но при нем как бы ставилась точка. Зекер стал коновалу что-то говорить. Тот слушал и изредка отвечал. Однако было видно — и слушает, и отвечает он лишь из вежливости. Все — и сыновья Зекера, и их дети, и Раджаб с Василием стояли в каких-то застылых и неловких позах. Я не выдержал.

— Дайте мне лошадь всего на сутки! — потребовал я, ни к кому особенно не обращаясь. — Я вернусь в Батум и уеду оттуда железной дорогой. Лошадь же вам приведет кто-нибудь из нарочных.

Зекер вопросительно глянул на Раджаба, выслушал его перевод и решительно сказал свое согласие словом, которое я знал.

— Каргад! (Хорошо!) — сказал Зекер.

Сердце мое за одно мгновение набухло и лопнуло. Я едва устоял на месте. Батум, милейший город, мелькнул мне.

— Каргад! — сказал Зекер и, горячась и направляясь к воротам, как бы тем выпроваживая коновала, стал ему говорить что-то такое, отчего коновал, уже к воротам за Зекером направившийся, остановился, коротко и все еще недружелюбно взглянул в мою сторону

Все дальнейшее оказалось простым. Мое преступление, одновременно имеющее ранг великого деяния, открыло сердце коновалу. Через десять минут он вернулся верхом на добротном коне под чудесным седлом и чепраком. Он молодцевато спешился у ворот, ввел коня во двор и грациозно, будто награждая меня, протянул мне повод. Следом двор стал заполняться народом, малым и большим, на удовлетворение праздного любопытства которого пришлось потратить некоторое время. Оказывается, в свете боевых действий наших частей против восставших соплеменников все местные жители не осудили Зекера лишь из обычая гостеприимства. Зекер же не счел необходимым что-либо объяснять и коновала пригласил лишь с тем, что тот в одном из селений на пути нашего следования имел родственников, к каковым согласился бы если уж не сопроводить нас, то обеспечить лошадью.

Этак, переходя в виде эстафеты от одних родственников или кунаков к другим, мы обошли район восстания и прибыли в селение Олту, где располагались база и штаб отряда. Здесь я понял — более мне Натальи Александровны не увидеть. Я чувствовал это в дороге. Но чувствовал, не веря. Казалось, в любой миг я мог повернуть обратно. Мне было стыдно за свою слабость. Однако возможность повернуть приносила наслаждение. Так я мучался, пока не увидел на другом берегу реки старинный и в былые годы величавый христианский монастырь, а следом и селение, про которое Раджаб коротко сказал: “Хвала Аллаху!”, — что означало конец пути. Мне подумалось, револьвер к виску — конец вообще всему. Так у меня и осталось на весь вечер: конец дороги был равен револьверному выстрелу.

Мы остановились в комнате для приезжающих офицеров при штабе отряда, дурно поужинали, что вполне ответило моему настроению и принесло поганое удовольствие. Ранее я не обращал внимания на стол в офицерских собраниях. Дурно или превосходно — я ел с одинаковым ровным отношением, сознавая, что это рабочие блюда и поданы в рабочей обстановке. Ранее меня раздражали постоянные замечания других столующихся по поводу дурного приготовления. “Питайтесь, — думал я с негодованием, — и идите исполнять свои обязанности!” Теперь же я сам отметил дурной стол здешнего офицерского собрания и был этим неприятно удовлетворен. Офицеры штаба расспрашивали о столичной жизни. Здесь им было все равно, откуда мы — из заштатного Батума или столичного Петербурга, поименованного ныне Петроградом. Здесь все, что было извне, мнилось столичным. Раджаб охотно отвечал. А я молчал и тупо отмечал равность дороги и револьвера, одинаково означавших для меня конец. Полагая мое кислое состояние обычным стеснением, некоторые из офицеров старались расшевелить меня, чем мгновенно толкали к воспоминанию о Наталье Александровне. Только я забывался тупой и накрепко засевшей во мне формулой о равности дороги с револьвером, но приветливый вопрос о том, как “там”, мгновенно порождал во мне образ Натальи Александровны. Я не выдержал, сказался уставшим и ушел.

Утром мы с Раджабом сердечно простились. Он с Василием и казаками взмахнул мне в последний раз на изгибе улицы — и я остался один.

Надо ли говорить, какое недоумение и плохо сдерживаемое любопытство вызвала в отряде моя персона. Начальник отряда генерал Истомин отсутствовал. Полковник Фадеев, сухой старик в пенсне и с Анной третьей степени, ощупал меня выразительно недоверчивым взглядом.

— А доложите-ка мне, паренек, что у вас там в Батумах этакое стряслось? — прямо спросил он меня. — Будто там у вас уже вошло в моду с вышестоящим начальством препираться?

И, не ожидая моего ответа, стал говорить дальше сам:

— Это я вам, паренек, со всею ответственностью заявлю: этакие курбеты должны быть пресекаемы виселицей. В строжайшем порядке — военно-полевой суд, и извольте с восходом солнца повиснуть на суку, да непременно перед строем части. Это что же, паренек! Это попирается основа основ. Это попирается священная присяга государю и Отечеству. А ведь уже четвертая статья свода законов

Российской империи гласит о повиновении власти государевой не только за страх, а и за совесть. За совесть, заметьте, паренек! Я уж не говорю о священной присяге!

Трудно было сказать, знал ли он, кто перед ним. Он ходил по кабинету и ругал того неведомого ему негодяя, который отказался выполнить приказ. Ругал как-то вдохновенно, взятый за живое, будто это непосредственно и сильно отразилось на нем.

— А вот вы, паренёк, — переключился он на меня, из чего я вывел, что все-таки он не догадывался, кто перед ним. — Вот вы уже штабс-капитан. У вас Академия. Вам скоро дивизион получать. Вас же переводят в погранстражу. Что это? Что? И не трудитесь дать ответ. И без него знаю. Знаю, что вместо службы вы занялись опозореньем мундира офицера, занялись каким-нибудь философствованием на предмет, необходимо ли почитать старшестоящих начальств и исполнять их распоряжения.

Я опять подумал, что все-таки он знает про меня. И этакая гадалка продолжалась довольно долго — столько, что я стал развлекаться ею.

— А в полусотню вас! — говорил он. — Чему вы там научитесь? Казаки, пластуны, все вне уставов, все по-своему, все своебышно. Командиром у них такой же вертопрах, некий, дай бог памяти, башибузук башибузуком, некий граф Нулин! И что вы от них вынесете? Какие-нибудь дерзости разбойные, какие-нибудь разгильдяйства — вот что вы от них вынесете! Ведь недаром часть сия была представлена на Высочайшее рассмотрение к упразднению. Неизвестно чьими ходатайствами выкрутились, голубчики. А ведь сплошь варнаки! И в вас эту любовь к вольностям я вижу! Не своевольничать надобно, паренек, не своевольничать, а служить! Так что извольте! Вот вам должность старшего адъютанта полусотни, и чтобы мне в самом надлежащем виде там устроить! Чтобы привести полусотню к образцу службы! Очень недоволен я вами, паренек!

Признаться, за восемь лет службы, два с половиною из которых прошли в Академии, я не слыхивал о том, чтобы какая-нибудь воинская часть русской армии составом в казачью полусотню и сотню, пехотную полуроту и роту или даже артиллерийскую батарею имела бы штаб, коему полагался начальник. Однако не мне было удивляться услышанному. Я сухо поблагодарил полковника за назначение.

— Идите, идите! — сердито сказал он. — И подумайте о своей будущности. Ох не вам тратить годы свои и государственные средства, затраченные на ваше обучение, в сомнительных воинских частях, коим названия иначе, как атавистические, не сыскать!

Офицер, регистрирующий мое назначение, тоже не смог сдержаться.

— Нет, вы посмотрите, господа! — возмущенно сказал он. — Вы посмотрите, как у нас разбрасываются академическими артиллеристами! Об этом следует донести наместнику!

Я не стал давать объяснений. Я дождался своего оформления и тотчас занялся работой — просмотром сводок, карт и всего прочего, предварительно будучи оповещен об ожидаемой из полусотни оказии.

Я бы не хотел, чтобы меня в силу моей принадлежности к артиллерии поняли превратно и приняли последующее мое замечание за ведомственную гордыню. Но в русской армии всяческих похвал достойны лишь казаки, топографы и артиллеристы. Рискуя быть призванным к ответу, скажу однако, что кавалерия наша не умеет рубиться. Она, не моргнув глазом, умеет до последнего полечь в атаке. Но рубиться она не умеет. Пехота наша не умеет стрелять. Она, молча и упорно стоя на позиции, умрет или перейдет в штыки, но ни за что не нанесет противнику решительного урона огнем. Я не ищу причин тому. Я не сужу господ кавалеристов и пехотинцев. Я ничуть не умаляю их достоинств. Я просто констатирую факт. И, отмечая более высокую эффективность действия артиллерии и казаков, я особенно подчеркиваю превосходную степень деятельности русских топографов. В данном случае, по турецкому театру, мы имели карты самого высокого качества масштабом менее, чем в версту при безукоризненной точности. Противник же был снабжен картами троекратно большего масштаба и со следами

неуемной восточной фантазии, что, кстати, в нынешней обстановке аджарского восстания особой роли не играло, ибо противник имел во всех случаях достаточное количество проводников, чем в немалой степени, думаю, можно объяснить успешное его продвижение и вытеснение наших войск с важных во всех отношениях рубежей.

Не надо быть Наполеоном, чтобы, взглянув на карту обстановки за вчерашний день, уяснить опасность нашего положения. С захватом Артвина, города между Батумом и Олту, противник реально стал претендовать на выход в долину реки Куры, то есть в наш глубокий тыл. Однако я обратил внимание на другое обстоятельство, взволновавшее меня ничуть не меньше. Полусотня располагалась повдоль границы на крайнем правом фланге отряда, имея правее себя лишь пустынный, не занятый ничьими войсками участок гор вплоть до того самого Артвина. Перед фронтом ее, по данным нашего штаба, противник также не имел своих сил, в основной массе сосредоточившись на стыке нашего Олтинского и соседнего слева Сарыкамышского отрядов. Я углубился в карту, сделал кроки и пришел к самым неприятным выводам. Заключались они в следующем. Три речных ущелья тянулись с юга от турецких позиций на север, к базе нашего отряда. Одно, прямо выходящее на нее, в какой-то степени было закрыто нашими частями. Два же других, особенно третье, ведущее глубоко в обход и упиравшееся в нашу базу именно в месте расположения полусотни, ничем закрыты не были. Стоило противнику воспользоваться этим ущельем — и уж не о прикрытии стратегически важной долины реки Куры следовало бы нам думать, а следовало бы нам самым постыдным образом удирать и от Олту, и от Сарыкамыша, и, не приведи Бог, из Карса. Как начальник штаба зачуханной казачьей полусотни, вероятно, единственный начальник штаба этакого невероятного масштаба во всей нашей армии, я не имел права на всю информацию. Но ущелье выходило на мое подразделение, и я пренебрег куцыми своими правами и счел необходимым запросить дополнительные данные, на что получил решительный насмешливый отказ.

— Ваша задача, штабс-капитан, состоит в одном: ни агенты, ни контрабандисты не должны нарушить границы Российской империи на вверенном вам участке! —

сказал полковник Фадеев. — Заметьте, от этого будет зависеть ваша служебная аттестация!

Я не знал подлинных причин нашей августовской неудачи в Восточной Пруссии, но отчего-то именно она предстала в моем воображении, когда я получил ответ Фадеева. Я ушел в залу офицерского собрания, снова углубился в карту, проверяя и проверяя свои догадки различными расчетами вплоть до климатических.

Самым утешительным расчетом выходил тот, на каковой, видно, полагалось начальство, и назывался он “авось”. Все же другие говорили одно: если неприятель захочет воспользоваться нашим положением, тогда…

Здесь-то меня отыскал дежурный офицер с сообщением о проводнике. Я собрал мои бумаги. Дежурный офицер показал на низкорослого черного урядника с переломленным носом, в большой черной бараньей папахе, шинели и явно не в размер больших сапогах. Рожа его гляделась бы совершенно разбойною, если бы не простоватый и мирный взгляд

— Так что, вашбродь, урядник Бутаковской полусотни Расковалов! — приставил он к папахе короткопалую лапу.

Вид его напомнил мне аттестацию бутаковцев полковником Фадеевым как отпетых каторжников, и я несколько развеселился.

— Штабс-капитан Норин! — прищелкнул я каблуками и не удержался сказать французскую любезность об удовольствии быть знакомым с ним. — Жё сюи орё дё фер вотр коннесанс!

— Ну-к ше, — сказал мне на любезность урядник.

Ответ его подвиг меня на новую выходку.

— Что дома, покосы вызрели ли? — спросил я первую же белиберду.

— Так что, вашбродь, отселев невидно. Буди дак, половина уж скормлена! — ответил он.

— А лошади, — продолжал я, — лошади что? Хорош приплод, все ожеребились?

— Щему щего, вашбродь! — тут же ответил он. — К примеру, жеребец или мерин. Им ни за что не ожеребиться. А кобылы, езлив взять кобыл, то етта как Ляксандр Сергеич. Езлив покрыл вовремя, то ожеребиться емя совсем нищще.

— Александр Сергеевич — это Пушкин? — спросил дежурный офицер.

Он, кажется, стал понимать, почему меня отчислили от артиллерии, но никак не мог взять в толк, почему меня при этом не препроводили в скорбный дом. — Так что, вашбродь, — повернулся к дежурному офицеру урядник Расковалов. — У нас в Бутаковке к лошадям конюх приставлен.

— Дай-ка, братец, мне свое ружье!— протянул я руку к его драгунской винтовке через плечо, скатившись от своей белиберды до простецкого солдатского испытания.

Он снова повернулся ко мне.

— Ету? — спросил он про свою драгунку. — Ету не имею права, вашбродь! А езлив вы в нашу полусотню примундированы, тожно и вам полагается. Буди, в полусотне дадут.

— Примундирован, — подтвердил я.

— Тожно надо собираться. Путь недальной, но лучше управиться засветло, — сказал урядник Расковалов.

Он посоветовал мне не брать лошадь и предпочесть ей даже не мула, распространенного в этой местности, а ишака, мотивируя совет абсолютной его неприхотливостью. Я почел за необходимость пренебречь советом — все-таки каков ни был я трус, негодяй и нытик, я носил форму российского офицера и заняться опозореньем ее, как то подозревал полковник Фадеев, не рискнул.

Мы так и отправились — он с ишаком впереди, а я верхом на лошади за ним следом. Места — против Батумских — были суровые, имеющие прозвище турецкой Сибири. Собственно, таковыми они начались едва не с Кеды. Но там мы просто проезжали, здесь же предстояло мне служить, и я вертел головой по сторонам, схватывая и изучая характерные их черты. Первое условие, облегчающее службу на новом месте, — это наивозможно скорое принятие его за свое, отношение к нему с самым неподдельным интересом, изучение и вживание себя в него. Есть еще одно условие — не принимать никак, не замечать особенностей и отличительных черт новой местности. Я был знаком с одним таким человеком, весьма неплохим — мы даже были в товарищах. Ему было совершенно все равно, в Царстве Польском служить или в Урянхайском крае.

— Эка ты, братец, чувствительный какой! — говорил он мне. — Земля, она везде земля, а лесина везде лесина. Репером годиться — и ничего более с нее просить не следует.

Ему даже и погода была безразлична. Ливень ли, зной ли, мороз — он не замечал.

— Так ведь погляди же, осень какая! — бывало, пытался я его пробудить.

— А? Осень? Так на то, братец, и сентябрю время! — отвечал он.

Служилось ему везде легко. Не испытывал трудностей в привыкании к новым местам и я. Но способ, как я уже сказал, у меня был другой.

Все было здесь так же, как в Батумском крае, разумеется, не в приморской, а горной его части. Но все здесь было по-иному. Было здесь как-то поугрюмей и потемней и не в смысле погоды или растительности, а в смысле какого-то неуловимого общего облика, будто смех, радость и громкое слово здесь не могли прижиться. День выдался как раз яркий. Дорога подтаяла, но поляны на лесистых склонах, где снег перемежался с черным базальтом скал, походили на клавиатуру рояля. Мы прошли два небольших селеньица, каменно-черных и глухих, будто покинутых. Лишь дым из плоских крыш да злые собаки, в самом неимоверном количестве нападавшие на нас, сообщали о жилье. Собаки были привычны по

прежней дороге. Но тогда провожатые звали нам в помощь ребятишек, сговаривались с ними, и те охраняли нас. Здесь же пришлось нам обороняться самим и не на шутку.

Урядник Расковалов для такой нужды имел крепкую палку с кованым и шипастым наконечником, которым, однако, старался не бить, больше орудуя другим, не кованым концом.

— Убьешь, дак греха не оберешься! Они, басурмены, будто не видят, кого их собаки вытворяют, а прибей одну — и, почитайте, ваше благородие, пограничный кунхлихт! — объяснил урядник свое поведение. — На Кашгарке было сподручнее.

— Вы служили в Кашгарии? — спросил я.

— Бутаковцы спокон веку туда на боя ходят, — ответил урядник Расковалов.

В следующем селении собаки напали на нас с особенной злобой. Лошадь моя испугалась и затанцевала, но, пока я ее выравнивал, урядник Расковалов, не взирая на возможность пограничного “кунхлихта”, пустил в ход кованный конец палки. Удары его оказались столь крепки, что пара собак с визгом покатилась по дороге, кропя кровью. Тотчас из ближних дворов вышло с десяток местных мужиков. Они гиканьем и пинками несколько усмирили собак, не только лишь для того, чтобы наброситься на нас самим. Как я понял, они стали вменять нам в вину нанесенные собакам увечья, отчего я просто пришел в бешенство. Я догадался, что именно они натравили собак, и я готов был дать им плетей. Один из местных мужиков, с ненавистью глядя на меня, схватил лошадь под уздцы. Я с силой ткнул его рукоятью плети в грудь. Он захлебнулся и отпустил лошадь.

— Прочь! — крикнул я, зверея.

Урядник Расковалов тем временем, стоя со своею палкой в боевой позе, отвечал на злобу нападавших абсолютно мирным голосом.

— Будя, робяты! Стой! Будя! — говорил он.

Отогнанные собаки брехали с прежней злобой, и урядник Расковалов едва ли слышал свой голос сам. Однако это его ничуть не смущало.

— Будя, будя, дураки! — читал я по его губам.

А от соседних саклей и отовсюду сбегались к нам собаки, за ними мчались ребятишки, а там уже группами и в одиночку шли в нашу сторону мужики. Я заметил у нескольких ружья — старые и, вероятно, кремневые азиатские ружья. Я посмотрел на урядника Расковалова. Урядник Расковалов, заметя мою тревогу, оглянулся по сторонам и с сожалением, но вполне весело покачал головой, как если бы он был у себя на деревне, в своей Бутаковке, и ожидал от приближающихся с ружьями мужиков предложения пострелять ворон, чем обычно занимаются подростки. Он что-то прокричал мне. Я не расслышал.. Лошадь мою опять принялись хватать за узду, и я, вконец рассердившись, сдернул с плеча винтовку. Я выстрелил дважды в небо. Собаки и толпа на миг отпрянули. Но это только на миг. Выстрелы возбудили толпу еще более. Кто стал хватать камни, кто кинулся в ближние дворы, вероятно, за оружием. Основная же масса людей вновь окружила

нас. Урядник Расковалов выхватил шашку.

— Не подходи! — оскалил он зубы.

И глаза его, только что бывшие мирными, налились белой слепотой, как у очень пьяного или не владеющего собой человека.

Это была первая моя рукопашная схватка. И я не нашел ничего иного, как лишь подражать уряднику Расковалову.

— Шашки вон! — закричал я себе и в тот же миг вспомнил, что за шашка теперь у меня. — Чертов мусульманин! — закричал я Раджабу, в единый миг представляя его коварным человеком и приписывая ему всякие гнусности. — Отобрал у меня! — я имел в виду свою серийную, образца восемьдесят первого года шашку, на которой не лежало никакого дурацкого запрета. — Отобрал у меня и подсунул мне черт знает что!

Без этой моей, образца восемьдесят первого, серийной, я чувствовал себя совершенно безоружным — ведь урядник Расковалов был с шашкой, а я, подражавший ему, без нее. То есть выходило, я был вообще без оружия. Меня охватило непреодолимое желание вырваться из круга и ускакать. Но лишь я захотел этого, как понял — это невозможно, потому что это было страшнее — вырваться и ускакать было страшнее, нежели остаться. Винтовка моя сама собою дострелял обойму — и, слава Богу, вновь в небо, а не в толпу. Я ее метнул обратно за спину и, как шашкой, взмахнул плетью.

— Ура! — закричал я.

— Ура! — закричал и урядник Расковалов.

Наши четырехрогие российские вилы на длинном черенке встретили меня. Я увидел того человека — с вилами. Он на меня скалился, как и я на него. И в глазах его было нечто такое, чего, вероятно, не было у меня. Ему нужно было меня убить. Я пожалел о моей образца восемьдесят первого года, серийной. Вилы пришили мне к тулову левую руку. Я заулыбался, не веря этому. Лошадь шарахнулась. Вилы остались у меня в боку. Черенок их замотался из стороны в сторону. Мне стало очень неловко. Я не упал. Я удержался в седле и медленно, будто тем подчеркивая пустяшность ран, правой рукой выдернул из себя вилы. Что с ними делать дальше, я не знал. И опять почувствовал себя неловко. Туда, где были вилы, пришла ужасная боль. Я не терял сознания. Я просто не понял, что со мной делается. Я видел, как несколько местных мужиков прикладами старых ружей и палками отгоняют толпу. Я видел, как меня снимают с лошади и спешно несут в чей-то двор и потом в саклю. Я видел, как меня раздевают, старуха в белом платке, прикрывавшем ей лишь подбородок, смотрит мои раны, горгочуще кричит, и ей приносят теплую воду, чистые тряпки, плошки, очевидно с мазями и притираниями, тусклые и грубые инструменты явно времен крестоносцев. Я видел, как заходит, зажимая рот тряпкой, урядник Расковалов и старуха, отвлекшись от меня, мельком осматривает его. Потом старуха опять горгочет, и ей приносят кувшин, она льет из него в плошку, мне поднимают голову и заставляют из плошки пить. Я пью и не понимаю, что. Вкуса я не чую. Остатками она моет руки, инструменты. А потом я вижу, как урядник Расковалов сидит без папахи и шинели с завязанным ртом и сквозь боль бубнит:

— Ну, доложу я по команде. Ну, пришлют пушки. Понимаете вы, нет, нехристи? Пушки. Топ. По-нашему пушки, по-вашему топ. Ну пришлют топ, и придется вам отсюда топ-топ. Но хрена на вас. Зубы-то мне все равно не вернете!

Белобородый в белой чалме старик заискивающе отвечает ему по-турецки. Двое молодых людей с кремневыми ружьями стоят у дверей сакли. Мне в правую ладонь тычется что-то мокрое, теплое и волосатое. Брезгливый озноб проходит по мне. Я поворачиваю голову. Белый козленок на толстых крепких ножках пытается сосать мне пальцы. Я цыкаю на него. Он, не сгибая ног, высоко подпрыгивает. Старуха горгочет на белобородого, и тот гонит козленка прочь. Я поворачиваю голову к старухе и вижу свою левую руку, превращенную в куклу, вижу, что я без мундира и нижней рубахи и грудь моя аккуратно забинтована.

— Во! — слышу я радостный голос урядника Расковалова. — Сейчас господин штабс-капитан распорядится, я мухой слетаю в крепость — тожно какую аллу-муллу запоете?

Через несколько минут я пришел в себя.

— Раны глубоки? — спросил я старуху.

— Спросить-то их можно, ваше благородие, — сказал урядник Расковалов. — Да бес толку. Понимают только аллу-муллу. Я вот двух ихних шашкой достал — ето тоже поняли. Вон во дворе их родственники со стариковскими мужиками лаются, нам секир-башку выпрашивают!

Во дворе действительно стоял злой гвалт. Старик, уловивший мой взгляд на дверь, подал успокаивающий знак. Я предположил остаться в доме до поры, покамест за мной пришлют санитаров из лазарета. Но когда по настоянию старухи вновь выпил ее отваров и достаточно пришел в себя, посчитал лазарет при ранах от мужицких вил позором. “Это опозоренье мундира!” — сказал я себе сурово голосом полковника Фадеева. Я приказал собираться. Хозяева и урядник Расковалов запротестовали. Урядника Расковалова я поставил во фронт с шашкой наголо, и это на всех произвело самое отрезвляющее впечатление. Хозяева боязливо и согласно закивали головами. Старуха, заворчав, взялась перевязывать меня наново, более годно для дороги.

— Что, дед. Зубы за тобой! — сказал старику урядник Расковалов.

Мне подвели мою лошадь под дорогим ковром. Старик знаками показал, что ковер мне в подарок. Зубы урядника Расковалова были оценены в мешок табака.

— Смотри у меня, дед. Деревню держи в руках! — нашел необходимым напутствовать старика урядник Расковалов.

Старик сел на серого араба-полукровку. Родственники с ружьями тоже расселись по седлам. Двое взяли мою лошадь в повод. Я догадался о почетном моем положении. Мы тронулись. Первые же шаги остро отдались мне. Я привстал на стременах и оперся правой рукой на луку, тем несколько утишив толчки. Нас привели на майдан — деревенскую площадь, заполненную галдящим народом. Причем я заметил: во все время дороги нам не встретилось ни одной собаки. Перед нами расступились, как несколько минут назад смолкли и расступились те, кто

требовал нас для расправы, во дворе старика. Я догадался о предстоящем суде над зачинщиками. Мне это не было интересно даже в здоровом состоянии. Я показал старику на солнце — мол, низко, и нам надо спешить. После многих церемоний с извинениями и изъявлениями дружеских чувств нас с богом отпустили.

— Вот что плохо нам, погранстражникам, ваше благородие, так это — нас могут живота лишать, а мы нет! — сказал урядник Расковалов.

Я смолчал. Я все больше слабел и порой чувствовал — вот-вот упаду на шею лошади. Я опять увидел себя одиноким и никому не нужным, столь не нужным, что меня любой мог затравить собаками или пырнуть вилами. К Наталье Александровне я неожиданно испытал настоящую ненависть. “Убила бы!” — вспомнил я ее голос.

— Сам бы тебя убил! — сказал я ей, теперь зная, как это невозможно — убить.

“Убила бы! — стал дразниться я и нашел причиной случившегося несчастья ее винтовку. — Она мне подсунула винтовку, на которую якобы наговорила Марьяша! Хорош же вышел наговор!”

— Хорош же вышел наговор! — сказал я и вспыхнул еще более. — Да как же не наговорила, когда именно наговорила! Еще как наговорила! И от этого наговора я не стал стрелять в них, в ее собратьев по вере! Да что за напасть-то! Шашкой нельзя. Винтовкой нельзя! А им можно хоть вилами! Вот он где, закон природы! Жестокий, но неизбежный закон: или — ты, или — тебя. Надо было еще тогда, две недели назад, образцово исполнить приказ. Какое мне должно быть дело до всех до них. Ведь никому нет дела до меня. Я отказался в них стрелять. А они взялись меня травить собаками, пырять вилами. И вышло: не я — их, а они — меня.

Я придумывал множество вариантов, как нужно было себя вести и что бы из этого вышло. Все варианты оказывались прекрасными. Я впадал в еще большую ненависть. Мне нужно было ненавидеть Наталью Александровну, нужно было ненавистью сделать ей больно. Мне это было очень нужно. Я думал: вот узнает, каким-нибудь образом узнает о моей ненависти — и ей будет больно. А потом мне приходила мысль, что нисколько ей не будет больно, что она уже едет в Петербург или как его ныне — в Петроград, едет к своему незадачливому мужу и уже не помнит меня, уже отвечает на ухаживания другого академического штабс-капитана, да не такого, как я, а штабного, лощеного, в форме от каких-нибудь Норденштрема, Фокина, Савельева, надушенного и уверенного в себе, никогда не помышляющего не исполнять приказа. Он ухаживает, а она его принимает, потому что… Да потому что у нее просто гипноз перед всем академическим в связи с незадачливостью мужа. И на фоне представляемых этих отношений вся моя жизнь выходила пустой.

Через два часа пути, уже в сумерках, урядник Расковалов, до того мерно и молча идущий позади своего ишака, обернулся:

— Достигли, ваше благородие!

Я осмотрелся. Мы выходили на покатую, перегнутую на середине гребнем, но в целом ровную поляну перед седловиной двух крутых, едва не отвесных, лесистых вершин, за которыми смотрелся ледяной хребет, от чего сама седловина казалась ледяной. Поляна была сжата черными базальтовыми скалами и лишь правее того

места, где мы входили в нее, имела долину с двухсотсаженной трещиной ущелья на противоположной ее стороне — явно одного из тех самых, не внушающих командованию опасности. На чистом снегу поляны, разрезанной тенями от гор на синюю и розовую половины, несколько толстых и раскидистых дубов с расщепленными кронами походили на крючки старинной нотной грамоты. Они мне напомнили меня самого, скособоченного и одинокого. Я механически определил их хорошими реперами для батареи и столь же механически отметил эти дубы хорошими ориентирами для неприятельского наблюдателя.

У меня, вероятно, резко поднялся жар, потому что я стал на память читать боевое наставление действий артиллерии в горах, представляя себя на академическом экзамене. Одновременно я хорошо видел перед собой не профессорскую комиссию, а урядника Расковалова, но это ничуть не мешало мне. “Недостаточная топогеодезическая сеть или ее отсутствие, — читал я, — затрудняют определение координат огневой позиции, исходя из чего следует признать единственно возможной лишь привязку позиции в условной системе”. Так оповещал я урядника Расковалова артиллерийскими премудростями, тотчас же производя быстрые устные расчеты для стрельбы с данной поляны, игнорируя определение ее по широте и долготе. Мне вспомнились Киевские маневры двухлетней давности, и я поразился собственной недогадливости — в нынешнем моем представлении недогадливости, — состоявшей в том, что я тогда не смог прийти к мысли о возможности определения неприятельской батареи по корректирующему ее огонь аэроплану.

— Ведь как просто, господин урядник! — сказал я с такой силой убеждения, что урядник Расковалов приложил ладонь к папахе. — Это совершенно просто! И в первом же бою по первому же аэроплану над нашей позицией я непременно накрою их батарею!

Урядник Расковалов, продолжая отдавать честь, возразил замечательно меткой фразой.

— Так что, ваше благородие, орудиев у нас в полусотне присутствует отсутствие!

Мне показалось, что ничего более меткого я не слышал. Я как бы впервые посмотрел на урядника Расковалова, увидя его не низкорослым, с разбойною внешностью, а очень симпатичным. Мне захотелось сделать ему хорошее.

— Ловко же ты, братец, орудовал против собак! — сказал я.

— Нам не впервой, ваше благородие!— ответил урядник Расковалов.

И это показалось мне чрезвычайно умным.

— А что же, урядник, не пошел бы ты ко мне вестовым? — предложил я.

— Так что, ваше благородие, нам сподручнее кульерным!— было мне ответом.

На этих его словах я упал и не свернул себе шею лишь потому, что застрял в стременах. Лошадь шарахнулась и несколько шагов проволокла меня лицом по заснеженным колючкам. Меня принесли в палатку командира полусотни, где я

наутро очнулся. Перемена пространства без перемены времени меня потрясла. Мир показался мне чистым и новым. И хотя я видел только темную палатку с подстегнутым для тепла войлоком, остывающей жестяной печкой и неряшливо разбросанной амуницией, однако же и эта часть его показалась мне чистой и прекрасной. Я ощутил себя дома. Мне не надо было спрашивать, где я — как обычно спрашивают в моем положении. Я очнулся, удивился перемене пространства без перемены времени — ведь с момента, как я упал, и до момента, как я очнулся, по моему представлению, никакого времени не прошло. И это меня потрясло. Это меня потрясло, но не испугало. Я знал: я нахожусь дома. Сразу же для меня не стало ничего, кроме этого дома. Он у меня слился с родным домом, с домом отца, с теплой узкой и длинноватой комнатой моей, когда однажды, еще в детстве, я проснулся от ощущения чего-то жесткого и теплого, что меня накрывало. Я полез из постели, еще ничего не понимая, но отчего-то уже догадываясь, что в доме праздник. Я полез из постели, из-под этого теплого и жесткого, что, конечно же, оказалось Сашиной шинелью. Саша приехал ночью. Приехал совершенно неожиданно, как ранний первый снег. С вечера ложатся спать под бесприютный стук мокрых веток в ставень, когда совершенно невозможно себя представить где-то в поле — так это контрастно к уютной натопленной комнате, к сильной лампе, к любимой книге перед сном. А утром вдруг просыпаются от мягкого, но настойчивого света, излучаемого тихим первым снегом, упавшим за ночь. И поначалу непонятно, снег ли лежит за окном или сам свет. Я не помню, совпал ли тот Сашин приезд с первым снегом. Думаю, что не совпал, потому что осенью Саша никак не мог приехать из училища. Просто он приехал, и я проснулся от светлого утра и жесткой теплой тяжести его шинели. Сейчас я тоже был укрыт шинелью, чьею-то шинелью с погонами есаула. Я покойно вновь заснул и проснулся от осторожных хлопот возле печки. Невысокий темноватый казак подкладывал дрова и дул на угли. Я позвал его, думая, что это урядник Расковалов.

— А? — вздрогнул казак от моего голоса.

Это не был урядник Расковалов. Увидев меня, проснувшегося, он вытянулся и приветливо гаркнул:

— Доброго утреца, ваше благородие!

— Ну я и поспал! — сконфузился я.

— А как не поспать! Маленько приболели — как не поспать! — подбодрил меня казак. — Он, Савушка, чо! Савушка он и есть Савушка. Кого он понимат! Их благородие мало что не сберег, дак ешшо на вершной его поволок, да не сдержал! Это я про лицо ваше говорю — оцарапал он вас!

— Урядника Расковалова Саввой зовут? — спросил я.

— Никак нет. Владимиром окрещен. Да у нас в Бутаковке все прозвища имеют. Каждый — свое. К примеру, я, извиняйте, Бараном числюсь, и все мы Бараны от самых дедов, хотя фамиль наш Бутаковы, от самого Бутака происходит, который с Ермаком Тимофеичем пришел! — с радостью ответил казак.

Я увидел, что он собрался мне говорить без умолку, и прервал его вопросом о командире полусотни.

— Это мы мухой! — еще более обрадовался казак Бутаков-Баран. — Это мы мухой! — И, как был, без папахи и распоясанный, выбежал наружу.

На грубой табуретке около изголовья я увидел два сушеных инжира и довольно плохонькое яблоко. Не успел я улыбнуться чьей-то заботливой руке, как вспомнил Наталью Александровну, представив ее в уютном вагоне первого класса. Боли при этом я не испытал и с грустью подумал, что все-таки я не умею любить, просто не умею, и все. Я захотел представить ее себе, но с удивлением увидел, что не могу, словно после встречи нашей прошли долгие годы, в которые я был увлечен другими женщинами.

— Ну не умею, так не умею! — беспечно сказал я — по крайней мере, попытался сказать беспечно.

Я осмотрел палатку, обычную армейскую полевую палатку, поставленную на колья и утепленную подстежкой из войлока. Посреди нее стояла жестяная печка с трубой, в шаге от нее — козловый стол, на столе — лампа, кружка и неаккуратно свернутая карта. Под столом в двух пузатых тороках угадывались кипы бумаг.

— Меня ждут! — сказал я, полагая непреодолимое презрение к ним командира полусотни, старого малограмотного есаула.

На одном колу висели мои винтовка и фуражка, на другом — овчинный сибирский полушубок и красный башлык с белым тесемчатым крестом, вероятно, принадлежащие хозяину палатки. Мои вещи лежали у входа. Сапоги, просушенные и вычищенные, — подле табуретки.

С улицы донесся голос моего собеседника, казака Бутакова-Барана.

— Рынко! — закричал он. — Рынко! Докажи командиру — их благородие осознались!

Две-три минуты спустя, полагаю, завидев командира, казак Бутаков-Баран радостно прокричал о моем осознании еще раз. Я попытался встать, но лишь с грехом пополам спустил ноги. Неприятное представление о том, что ребра мои разойдутся, удержало меня. Я стал щупать раны, надавливая и со страхом ожидая боли. Раны оказывались мягкими и не столь болезненными. Я мысленно поблагодарил старуху. Встать же и обуть сапоги не успел и встретил командира сидя. Откинулся полог палатки, на миг показав плотную, сияющую белизну утра, и в палатку почти вбежал невысокий человек в той же, что и урядник Расковалов, черной папахе, в бараньей тужурке, отороченной по-сибирски.

— Японский городовой! Бориска! — было первыми словами этого человека.

4

И не голос, а именно эти слова про японского городового, стремительно и кратко придвинувшие мне декабрь пятого года, конец японской войны, Сашино возвращение, его пьяные слезы перед матушкой — именно они заставили меня узнать во вбежавшем человеке Сашу.

Я вскочил ему навстречу и отшатнулся обратно, малодушно вскрикнув от боли.

— Ну так оно и есть! Бориска! Академический капитан Бориска! — радостно, но с обычной иронией констатировал Саша и безо всякого якова, обнимая меня, взялся ругать за то, что я, по его мнению, дал себя ранить столь оскорбительным способом.

Непреложная истина — судьба есть особа пристрастная. Ничем иным нельзя было объяснить все события последних дней, сложившиеся для меня весьма плачевно, а потом нанизывающие один подарок за другим. Все мои страдания и все умствования навроде равенства конца дороги с револьвером, каковые одолевали меня еще вчера, теперь, при виде Саши, показались пошлыми. Передо мной был Саша, и, чтобы сдержать слезы, я грубым, но неровным голосом спросил его:

— Что же ты не давал о себе знать? Мы тебе разве не родные?

— А-а, экий грех выискал! Знаете ведь, что ничего со мной не случится! — без смущения и с прежним ироническим смехом ответил Саша.

— А отец? А матушка? — спросил я.

— Да что им за дело обо мне! — отмахнулся Саша.

— Ну хотя бы об их смерти ты знаешь? — злясь, спросил я.

— Знаю, штабс! — как-то неприятно оскалился Саша, и по этому оскалу и еще по тому, как он заспешил из палатки, я понял — это было для него новостью. Он уже откинул полог, но вдруг обернулся.

— Ты завтракай, — сказал он. — И аллюр три креста в отряд. Тебе в лазарет надо, а не тут у нас… У нас сестер милосердия нет!

— Я вполне здоров! — зло и твердо сказал я.

— Завтракать — и через час чтобы!.. — повысил он голос.

— Ни через час, ни через день!.. — сжал я зубы.

Он внимательно посмотрел на меня и вдруг совершенно равнодушно сказал:

— Ну и подыхай тут!

Странным вышел подарок судьбы. Я этому не поверил и некоторое время просидел на топчане, ожидая Сашиного возвращения. Я сидел и ждал, а Саша не возвращался. Это было так неожиданно, так необъяснимо, так невозможно, что было сродни удару вилами. Я не поверил, что Саша был на это способен. Я, как мог, одной рукой прибрал себя и тоже вышел.

Сияние утра ослепило меня. Я зажмурился. Но и зажмурившись, я чувствовал, как свет сильно давит мне на глаза. Я закрылся рукой и из-под руки осторожно огляделся. Застава прилепилась к черной скале, подковой замыкающей вчерашнюю поляну. Молодые ели и сосны вперемешку с молодым же дубняком бородой обрамляли скалу. Застава состояла из полевых зимних палаток, расположенных в линейку. Тут были кухня со столовою — одна большая сорокаместная палатка, такая же казарма, палатка-склад, рубленая низкая баня, и к скале был поставлен полукрытый загон для мулов. Ишака урядника Расковалова в загоне не было. Мулы, смежив ресницы, грелись на солнце. Моя лошадь лизала солонец.

Сашу я увидел на кухне около печи, сложенной из дикого камня на глине. Он, выпятив губы, пробовал суп. Рядом стоял большой, на голову выше Саши, и, вероятно, физически очень сильный повар — казак лет сорока, длиннорукий, с круглой и как бы уже привычной разбойничьей физиономией. На мое появление Саша никак не переменился. Повар же в любопытстве сощурился, но не забыл вытянуться, хотя, будучи занятым с Сашей, то есть старшим по чину и должности, мог бы этого не делать. Я отметил это.

Вообще порядком застава меня удовлетворила. Я лишь в недоумении нашел не совсем, на мой взгляд, оправданное расположение ее в глубине поляны. Она оказывалась прижатой к скале, то есть в случае боя лишенной маневра. Однако я предположил наличие каких-то особых, мне покамест неизвестных, причин такого расположения и постановил себе узнать о том вскоре же. Я вспомнил гребень на поляне, как бы перегибающий ее надвое. Его следовало тщательно осмотреть. Он представился мне чрезвычайно интересным, если не ключевым. И долина перед входом в ущелье тоже требовала обследования. Но неприязнь Саши заставила отложить это дело на потом. Я ушел к себе, то есть к Саше, в палатку и занялся бумагами. К ним давно никто не прикасался. До обеда я занял себя ими, разбирая, раскладывая в нужном порядке и стараясь каждую прочесть. Работы выходило на несколько дней. Вскоре мне в вестовые Сашей был прислан высоковатый, но болезненного вида и робкий казак Махаев по прозвищу Удя, о чем он мне тут же сообщил. Я признал его бестолковым и заставил возиться с печкой. А на душе у меня вновь стало скверно.

Я все время думал о Саше, искал оправдание его неприязни и доискался до того, что свалил на него самые неожиданные грехи.

— Да он просто-напросто не видит во мне никого, кроме младшего братца! — пришел я к выводу и тотчас бестолковость Уди приписал проискам Саши. — Во мне он видит лишь объект для иронии. Он намеренно прислал мне самого бестолкового казака…

Работать было невыносимо, и руки, вернее, здоровая рука моя порой сама собой опускалась, и я садился на табурет в бессилии.

— Да вы поберегитесь, ваше благородие, — робко советовал казак Удя. — Бумаги-то ишшо с Кашгарки привезли. До се они не сгодились, дак и дальше подождут!

Я вставал и вновь углублялся в работу.

С тем и пришло обеденное время. Меня позвали в столовую, где собрались свободные от службы казаки — человек двадцать с хорунжим. Команда на мое появление прозвучало вяло, будто устав стал внушаться едва перед моим приходом и внушиться не успел. Столь же формально прозвучали представление хорунжего Махаева и доклад. Я подавил в себе раздражение, справедливо предположив, что данные привычки культивируются в полусотне самим Сашей. Я разрешил всем сесть, сел сам на первое же свободное место. Саша задерживался, и без него обеда не начинали. Все явно ждали от меня чего-то и искоса, с оглядкой смотрели на меня. Я выдержал и эти косые взгляды. Не выдержал повар. Он выглянул из-за печки.

— Едрическая сила!— свирепо заругался он. — Черпака по лбу захотели? Службы не знаете?

— Самойла Василич, разливал бы побыстрее, лучше бы дело-то пошло! — откликнулся старший урядник с глубокими шрамами на лице по фамилии Трапезников.

— Я вот разолью! — еще более заругался повар. — Без Ляксандры Лексеича я вам, буди, разолью! Вы будете у меня седни ести! Это же вообща едрическая сила!

— Все четыре колеса? — спросил тот же урядник, вероятно, привычную присказку повара.

— Четыре! — сказал повар, молча пронзил всех взглядом и отвернулся за печку.

— Получим сегодня обед! — накинулись все на Трапезникова.

Дело повеселело с приходом Саши. Все с готовностью вскочили, на что Саша как бы устало назвал казаков саньками-встаньками.

— У императора на представлении так тянуться будете! — сказал Саша, сел на угол стола, видно, его привычное место, спросил с надеждой о ком-то, не вернулись ли, получил отрицательный ответ, несколько помолчал и с иронией представил меня:

— Начальник штаба нашей полусотни. Академии Генштаба выпускник, мой родной братец, штабс-капитан Норин Борис Алексеевич! Надеюсь, скоро в полусотне писарские должности откроются!

Слова прозвучали некрасиво, но их смягчил взглядом старший урядник Трапезников, как бы сказав мне, для моей же пользы ничего не брать в голову. Мало заботясь о впечатлении, я сказал первые же пришедшие мне слова:

— Прошу простить ошибку командиру полусотни по поводу моего выпуска из Академии Генерального штаба. Я закончил не ее, а Михайловскую Артиллерийскую Академию!

Саша буркнул всем известную в армии присказку об артиллерии, которая-де “скочет, куда хочет”. Я проигнорировал его бурчание и далее сказал, что все необходимое для плодотворной работы штаба потребую в самой непререкаемой форме, и, видя, как Саша артистически посерьезнел, как бы даже несколько прииспугался, вместо него разрешил приступать к обеду.

— Прошу обедать, господа! — сказал я.

— Ну, коли штаб требует — приступайте, казаки! С богом! — сказал Саша и осенил стол перстами.

Я, более ни на кого не обращая внимания, съел предложенные мне мясные щи, кашу с мясом и крепкий зеленый чай — все весьма сносного вкуса. Покидая столовую, услышал сердитый голос повара.

— Это же вобща! — возмутился он, вероятно, думая, что я уже ушел. — Вам хоть начальство, хоть елизарихина коза! Вы, буди, границу эк же несете. Турчата-то, буди, уже в Бутаковке контрабандой торгуют да у ваших баб под подолами елзакаются, а вам вобща!

Саша пришел следом за мной.

— Ты, братец, здесь ни на кого не дуйся. Это казаки, и все наши антимонии им, по счастью, недосягаемы! — сказал он с порога.

— Службу надобно требовать везде и всегда! — ответил я, не понимая, отчего он считает мое поведение антимонией. — Мы — армия, а не…

— Армия проверяется не в артикулах и бумажных соответствиях, а в поле! — резко возразил Саша, кинул папаху на топчан и подсел к остывающей печке. — А вообще, — сказал он вдруг, — а вообще, что это мы с тобой, братец, как два шакала, сцепились, а? Скажи-ка, чем жил ты эти годы? Что на самом деле дома? Что Маша?

Он хотел подняться, но вдруг потерял равновесие и повалился, судорожно ухватившись за топчан.

— Да ты пьян, Саша! — вскричал я вне себя.

Он молча сел на топчан, оперся на колени — небольшой, сухой, простоволосый, в нагольной тужурке, скрывающей его погоны. Я отложил бумаги и в ожидании разговора неотрывно глядел на него, вдруг увидев, что он уже старик. Ему было всего тридцать семь лет, но жизнь его показалась мне завершенной. Он узнал мою мысль.

— Ты прав, Бориска, — сказал он. — Бытию моему приходит каюк.

Я смолчал на это. А он явно ждал вопроса или возражения. Однако я смолчал, потому что почувствовал, что при вопросе или возражении он будет говорить одно, а при молчании моем он скажет другое. И это другое будет тем самым, что именно ему необходимо.

— Я вот что распорядился, — сказал Саша. — Завтра посадим тебя на твоего мерина и отправим обратно в отряд. Может быть, никогда и не свидимся. Потому надо бы сейчас кое-чего сказать.

Из полусотни я никуда не собирался. Я перебил Сашу и попросил дать мне провожатого для осмотра нашей позиции. Саше загорелось пойти со мной самому. Он велел Уде собрать закуску. Я стал протестовать. Но Саша совершенно по-детски взглянул на меня.

— Я все тебе сам покажу. Ну, попутно пару раз выпьем. Кто знает, может, более

и не встретимся!

— О ком ты в столовой спросил, не пришли ли? — вспомнил я.

— Охотники мои! — сказал Саша. — Вторые сутки, как в срок не укладываются. И знаю, что вернутся, черти. Но беспокоюсь… Вон то ущелье, — он показал рукой в сторону, — другу моему сердечному сотнику Томлину покоя не дает!

Я сказал о своих опасениях по поводу двух обходных ущелий, вероятно, тех же, о которых беспокоился Томлин. Саша махнул рукой:

— Пустое! Томлин тоже все время талдычит про эти обходы. Но никаких обходов не будет. Надо знать турку!

— Чем же такая уверенность обеспечена? — спросил я.

Саша откинул полог палатки;

— Вот чем, господин штабс-капитан. Видите снег? Так вот, он с октября ущелья забил. По ту сторону границы у нас агентура есть. Проверено.

— Забил — так прочистят, — сказал я.

— Поживи с мое в Азии, братец, — в превосходстве сказал Саша.

— Но ты бы пошел? — спросил я.

— Я бы пошел! — не задумываясь, сказал Саша. — И еще как бы пошел! За ночь бы мы прошли эту дыру, а утром…

— Так отчего же не даешь этого шанса им? — спросил я.

— Азия — это Азия! — снова отрезал Саша.

— Но у них масса немецких инструкторов. Операции их планируют немецкие генштабисты! — закричал я.

Саша посмотрел на меня со вниманием и как бы между прочим, только для себя, задумчиво сказал:

— Этот командир батареи, вероятно, и орудия-то располагает в пяти верстах от передовой позиции.

Он сказал только это и как бы для себя. И не военному человеку, возможно, фраза эта никакой информации бы не принесла — разве что только пренебрежительным тоном Саши внушила некоторое напряжение. Военный же человек, я полагаю, всякий военный человек знал слова генерала от инфантерии, героя болгарского освобождения Михаила Ивановича Драгомирова, который при всех его заслугах перед Отечеством, при всей его любви к русскому солдату, при всех его научных изысканиях в области стратегии и тактики, однако, на мой, пусть всего лишь штабс-капитанский, взгляд, допускал очень большую ошибку, когда силой своего авторитета ориентировал артиллерийских начальников ставить орудия лишь на прямую наводку, то есть непосредственно с пехотою, тогда как то же пятиверстовое расстояние, то есть расположение орудий в тылу и стрельба с закрытой позиции по невидимой, но рассчитанной цели, при выучке давала столь же

эффективные результаты и при том сохраняла жизнь артиллеристам и сами орудия. Саша сказал так, и это могло означать только одно — он уличал меня в трусости.

Саша почувствовал, что в своем ироническом отношении ко мне превзошел всякую меру. Он поднял обе руки вверх:

— Каюсь, каюсь, Бориска! Я этого не говорил! Прости пьяного дурня.

Такого еще не было, чтобы Саша пусть и в шутливой форме, но просил у меня прощения. И сколь я ни был удивлен, если не растерян, я не смог сдержать себя и сказать о том, что по необходимости поставлю орудия и на пятьсот, и на двести шагов, пойду с пехотною цепью. Но только по крайней необходимости.

Саша был в Маньчжурии и имел общее дело с нашей артиллерией, может быть, не раз выручавшей или прикрывавшей их конные части. И, имея общее дело с артиллерией, он не мог не видеть ее трудов и успехов. А потому, говоря слова генерала Драгомирова, он явно игнорировал истину в пользу своей иронии. Это-то и заставило меня сделать ему резкую отповедь, которую он терпеливо выслушал, хотя и продолжал трясти вверх поднятыми руками и всею своею физиономией изображать полное, но все-таки дурашливое раскаяние.

— Завтра же отправлю Савушку по инстанции, и он у меня не вернется обратно, пока не притащит с собой батарею единорогов. То-то мы отучим азиатов с германскими генштабистами якшаться! — обещал мне Саша.

Единороги, орудия восемнадцатого века, снова были иронией. “Да она у него в крови!” — махнул я рукой и, взяв у Уди флягу, хорошо глотнул. А более ничего мне не оставалось делать. Саша, одобряя меня, хотел сделать то же. Но я показал на выход. Саша с готовностью подчинился.

На поляне, по-прежнему сияющей и сиянием давящей на глаза, он показал мне совершенно не различимую без подсказки тропу к ледяной седловине.

— Вон там и вон там, — показал он, — я держу пикеты, изнуряю казаков, потому что друг мой сердечный Томлин, вроде тебя, спокойно спать не может, если там, в пикетах, кто-нибудь из казаков дуба не дает. Коварные азиаты ему мерещатся.

Я сверился с картой. Седловина служила перевалом ко второму обходному ущелью.

— Там пикет держите, а здесь почему же нет? — показал я на дорогу в отряд. — Вчера ведь мы с урядником Расковаловым вышли на поляну и никого не видели.

— Савушка ишака гнал перед собой? — спросил Саша.

— Перед собой, ваше благородие, — подтвердил Удя.

— Ну так попробовали бы вы пройти, коли бы он взял его в повод! — усмехнулся Саша.

— То есть? — не понял я.

— А то и есть! — еще раз усмехнулся Саша. — Гонит перед собой — это один знак. Ведет в повод — другой. Погоди, вот еще услышишь бутаковский условный язык!

— Слова будут произносить задом наперед? — спросил я.

— Услышишь, — с едва скрываемой гордостью ответил Саша и сказал Уде: — Ну, давай на Марфутку Никонориху! — потом взглянул на меня. — Вечером обмундируешься в наше. Сапоги с овчинным чулком, шапку…

Мы пошли — я впереди, он сзади. Я полагал — он будет рассказывать о себе. Но он лишь пояснял все окрестные приметы. Я не выдержал и спросил, где же он был все эти годы, почему молчал и каким образом оказался с бутаковцами.

— В Азии говорят: дорога позади, а разговор впереди! — уклонился он от ответа.

Александр Васильевич Суворов за такие ответы: увидишь, услышишь, дорога позади, разговор впереди — в нарушение своих принципов явно приказал бы Сашу высечь.

— Ты же собираешься отправить меня в отряд, братец. Так какой же у нас разговор впереди? — съязвил я.

— Ночь — лучшее время для разговора! — отговорился Саша.

Марфутка Никонориха оказалась тем самым гребнем, перегибающим поляну надвое. Едва мы вышли на него, как открылся вход в ущелье по ту сторону долины. Расстояние до него было с версту, и моя батарея — надо помнить: батарея единорогов — могла бы с этого гребня плотно закрыть его. Коварнее оказывалась долина. Склон, выходящий к нам, не просматривался и мог служить надежным местом сосредоточения войск неприятеля для атаки. С такого расстояния нашими горными орудиями я их достать не смог бы. Нужно было траншейное орудие, изобретенное в войну с Японией, то есть едва не десять лет назад, но так и не оцененное военным ведомством. Или же нужно было бы отводить орудия к заставе, увеличивая расстояние. “Но, — отметил я, — прежде чем достичь этот мертвый склон, им бы пришлось преодолеть склон открытый — а тут-то вам, господин Норин, и была бы вся работа!” Чтобы не расстроиться от воспоминаний, я спросил, почему же место называется столь необычно. Саша велел ответить Уде.

— Так что, ваше благородие, — сказал Удя, — в Бутаковке у нас баская бабенка у Никонора Будакова в женах содержится. Дак столь гульна Палаша-бабенка, что под кажным, кто хотел, побывала. Уж Никонор ее бил, и на дыбу в сарае подвешивал, и в водопойной колоде топил — а она все одно. Никонор с нее теперь в неопределенных потерях числится. Мы поперва здесь заставой крепиться думали. А потом вышло — место баско, да неспокойно: и ветра, и у всех на виду. Сверху, с гор, обстреляют — и будем в неопределенных потерях числиться. Одно слово — Марфутка Никонориха.

Слова Уди с болью заставили меня вспомнить Наталью Александровну, по моему представлению, пребывающую сейчас в первом классе петербургского поезда в обществе гвардейского сердцееда. Я попросил водки. Выпив, попросил еще.

— Артиллерия тоже не летним кована! — одобрил Саша.

Я ничего не стал объяснять, лишь повернулся к ущелью спиной, то есть как бы

к грозящей оттуда смерти. Придут — тогда и помирать будем! — куда как просто после второй кружки решил я.

— Мне две штуки в жизни надо, — сказал Саша, выпивая свою долю. — Томлин бы вернулся, и буран бы после него на неделю, чтобы все тут к японскому городовому занес!

Я опять смолчал.

Вернулись мы уже в сумерках. Тень от горы накрыла поляну и вмиг сгустилась. Вершины, как зажженные свечи, еще некоторое время сияли, но вскоре тоже погасли.

Сменились пикеты. О Томлине никто ничего сказать не мог. Потому ужинали в напряжении.

— Мы с ним за Каракорум ходили, — сказал Саша, как бы этим утверждая положительный исход общей тревоги.

— Ну и чо, Ляксандр Лексеич, — возразил повар Самойла Василич. — Талан охотничий — сам знаешь: сегодня кон, а завтра ерихон!

— Типун тебе на язык, старый ты пердун! — рассердился Саша.

— Оно бы лучше, — согласился Самойла Василич.

Саша спросил у казаков, вернувшихся из пикетов, получили ли они положенную норму водки.

— Служивую баклажку получили? — спросил он.

— Благодарствуй, Ляксандр Лексеич, куда без нее. Ишшо разболокаться не начали, а Самойло Василич уж призвал в затылок строиться! — ответили казаки.

— А что, ребята! — вдруг обернулся ко мне Саша. — Не устроить ли нам сегодня по случаю встречи нашей с братом сабантуй, а?.. Этакий светский бал! А, ребята? — отвернулся он от меня к казакам.

— Балу! Балу! Побалуй нас, Ляксандр Лексеич! — оживились казаки. — Водку пить — не на боя ходить! Мы бутаковски — таковски!

— Ну а коли бал, то даю час времени: помыться-побриться-переодеться. Приготовить костер. Балмейстером назначаю хорунжего Махаева! — скомандовал Саша.

— Кого — час! — возразил Самойла Василич. — Одной посуды немеряно перемыть! Да нового сготовить! Да горячей воды емя хоть по черпаку нагреть! Кого — час! Мало, Ляксандр Лексеич!

Саша секунду размышлял и, сдвинув папаху на брови, отрубил:

— Общие работы, господа казаки! Хорунжий Махаев, ровно через час доложить о готовности!

— Есть, господин есаул! — вытянулся во весь свой маленький рост хорунжий Махаев, и не успел я выйти, как он уже зло кричал на кого-то. — Я те потелюсь! Я

те…

Я пришел к себе, то есть в палатку Саши. Раны мои заныли. Я прилег, подавив желание развязать их и посмотреть. Мне показалось, без бинтов они бы устало и свободно вздохнули. Я подумал о гангрене, но вскользь, с надеждою — меня она не коснется. Незаметно я уснул.

5

Через час я поднялся с трудом. У меня снова был жар. Саша сидел за столом, положив голову на руки. Я вышел по нужде. Казаки завершали приготовления. На кухне сердился Самойла Василич:

— Субординацию не знаете? Не в родной бане! Где я вам столь воды наберусь? По черпаку на сусало — и вобща!

Я подождал злого крика хорунжего Махаева. На сию минуту он или куда-то отлучился, или не нашел причины кричать. Вернувшись в палатку, я тронул Сашу за плечо.

— А? Томлин пришел? — встрепенулся он, однако поняв тщету своей надежды, заругался. — Вот же сколько упрямый! — стал он говорить про Томлина. — Ни себе самому, ни кому-либо другому покою не даст. На черта оно ему сдалось, это ущелье!

— Если серьезно, я бы оборудовал позицию на Марфутке, — не выдержал я.

— Какую позицию! — заругался Саша и на меня. — Что за страсть людей напрасными работами мучить! Это сколько же я должен изнурять казаков — и все напрасно! Ведь напрасно, я вам говорю! Местные едва-едва проходят, а где уж армии пройти! Вы там, в академиях, приучились сочинять позиции. А мы эти позиции в Маньчжурии на себе несли. Солдатики цепью в этих позициях сидят, а офицер пожарной каланчой над ними стоит — им цели указывает. Потому что полезь и он в эти позиции, солдатики стрельбу будут вести в благое небушко — столько им видно из этой позиции!

Об этаком примере я знал. В училище нам его подавали образцом офицерской чести. В Академии к этому определению прибавили определение “недопустимый” — так резко стали меняться взгляды наши на приемы войны и на роль офицера в бою, не вполне в армии, однако, принимаемые.

— Там у нас будет возможность маневра! — сказал я.

— Возможность маневра солдатской вши между чубом и усами? — усмехнулся Саша со своею прежнею иронией, а потом резко, как надоевшему юнкеру старый воспитатель, выговорил мне , что я слишком любил читать книги, отчего у меня развился вредный культ сочинительства и фантазий. — Да если сюда к нам кто и завернет, так только обозная часть — и только с тем, чтобы посрать за ветром и притом только весной! Так что если, Бориска, есть у тебя какие-то стратегические мнения, то завтра с рассветом прошу — верхом на мерина, и в путь по начальству — вплоть до наместника. Как раненого, я тебя отпущу не только с легкой душой, но и с чувством исполненной обязанности.

Я вновь увидел Сашу старым одиноким человеком. Оскорбляться на такого было бы бессовестным. Я молча застегнулся — сколько смог одной рукой — и вышел из палатки.

Костер, уже разгоревшийся, но до поры заваленный свежим хворостом, сильно дымил. Дым стелился низко, и казак, смотревший за ним, вполголоса ругался. Я

узнал Бутакова-Барана.

— Что, разве к снегу? — с надеждой спросил я о стелющемся дыме.

Бутаков-Баран оглянулся, поприветствовал меня и сказал неопределенно, мол, как же знать, что в здешних местах к чему.

— Разве же не служил ты ранее в горах? — спросил я.

— Так что, ваше благородие, мы везде служили: и в горах, и в пустынях. Одно слово — стража!

— А на Каракорум ходили? — спросил я.

— Ето Ляксандр Лексеич с сотником Томлиным Григорием Севостьянычем ходили на спор, что живыми вернутся! — ответил Бутаков-Баран.

Несколько казаков, готовых к балу, вышли к нам. Среди них был и урядник Расковалов с медалью за японскую войну на шинели. Я протянул ему руку. Он застеснялся и едва не спрятался за других. К палатке Саши, подхватившись в усердии, пробежал хорунжий Махаев. Видя его, Бутаков-Баран стал ворошить хворост на костре. Пламя прорвалось, сыпнуло вверх искрами. Сразу погасли звезды, вплотную придвинулась чернота. Я вспомнил ночь с Натальей Александровной и не поверил, была ли она. Равно же вспомнил батарею и тоже не поверил, была ли. Я спросил Бутакова-Барана, можно ли было вернуться с Каракорума невредимым.

— Не замерзнешь, ваше благородие, так поносом изойдешь. Не изойдешь поносом, так в яму посадят да сгноят. Не сгноят в яме, так где-нибудь в спину подстрелят. Кто нашего брата казака любит! — ответил Бутаков-Баран.

— Тяжело казачье бремя? — спросил я.

— Друго-то как найдешь! — удивился Бутаков-Баран. — Кем уродился, тем и живи. У другого — только с виду хорошо. По мне вот думается, например, их благородию штабс-капитану как хорошо, так бы и обменялся с ним. А полезь в вашу долю, так, буди, по своей-то казачьей шкуре слезьми умоешься. Нет, как баушка Орина говорит, свой талан не порвет кафтан. Нам чужого не надо.

Выходили к костру все новые казаки. Меж собой они говорили о бале и завтрашнем дне.

— Зачитат приказ — и ушлют нас всех завтра куда! — говорил один.

— Да уж, Петро. Зачитат “За Царя и Отечество” — и более свою Нюрку не пошшупашь! — отвечал ему другой.

— Ох, робяты! — скалился третий. — Я как вернусь, как где свою застану, так там ей и вбулындю. Моченьки нет!

— Полусотня! В две шеренги!.. — взвыл от Сашиной палатки хорунжий Махаев и стремглав, на полусогнутых от усердия ногах порскнул к той, ему лишь видной точке, от которой он наметил правый фланг построения.

— Кто там по дому заканюкал? Кому черпака отвешать? — выкатился из кухни

повар Самойла Василич в форме вахмистра и двумя Георгиевскими крестами на шинели.

Он остановился, большой, длиннорукий, мордастый, прочно поставил свои кривые большие ноги, свирепо огляделся кругом.

— Вам, варнакам, только бы в монопольку бегать, а потом по заулкам баб сокотить! — рявкнул он.

— И вобща! — передразнил его кто-то.

— Кого? — грозно спросил Самойла Василич.

— Едрическая сила! — передразнил другой.

Такого случая, чтобы рядовые могли задирать вахмистра, я никогда не наблюдал, да такого в армии не могло быть. И только особая атмосфера полусотни, складывающаяся из-за отпечатка на служебных отношениях

отношений бытовых, домашних, определенных еще в их Бутаковке, позволяла подобные выходки. Интересно было бы подождать развязки ее. Но в этот момент хорунжий Махаев достиг намеченной точки, остановился, повернулся лицом к палаткам, вытянулся и выдохнул:

— Становись!

Казаки хлынули строиться. Вышел Саша. Хорунжий Махаев, срывая голос, подал команду “смирно”. Казаки, явно задирая и его, команду исполнили недружно. Хорунжий Махаев посинел от злобы. Я увидел — поручать власть над людьми ему нельзя.

Саша прошел мимо меня, встал в шагах семи-восьми, отчего я оказался как бы в стороне. Я внутренне улыбнулся этакой детскости. При виде Саши казаки с удовольствием подтянулись. Они явно принадлежали ему. Мне было это по-братски приятно. “Он совсем не старик, он молодец хоть куда! — подумал я. Что-то общее с Раджабом находил я в нем и здесь же видел в нем свои, то есть наши общие, родовые, черты, характерные лишь для нашей семьи особенности жестов, осанки, тембра голоса. — Вот он, как дите, чурается меня, иронизирует — а деваться ему некуда. Все уже увидели, что мы одинаковые!” — думал я, и мне хотелось, чтобы он снова отпустил в мою сторону что-нибудь этакое, ироническое, как, например, за обедом предположил с моим появлением множество писарских должностей. Я смотрел на него и видел, сколько он одинок. Он даже на Каракорум ходил поспорив. И я понимал, почему он поспорил. У него никого не было. Ему нужен был кто-нибудь. Ему нужен был родной и любимый человек. Он страдал от его отсутствия. Он капризничал, как дите, считал, что волен распоряжаться собой, ни на кого не оглядываясь. Считал: вот я погибну, тогда узнаете! Этак я думал и был рад, что во все время сносил его иронии, все насмешки. Я с удовольствием решил уступить ему и принять мнение о полной непроходимости злополучного ущелья, как и о полной беспечности или лености неприятеля, не увидевшего или не пожелавшего увидеть своих выгод. И вообще я был готов принять от него все.

Саша сказал казакам несколько слов о делах нашего фронта и других фронтов,

напомнил нашу задачу не пропустить в пределы империи ни одного нарушителя и лазутчика, а если придется, то достойно встретить и регулярную неприятельскую часть, поблагодарил за службу, спросил у Самойлы Василича, готово ли у него, и пригласил всех к столу, так сказать, на бал, который свелся к тому, что, поздравив нас с Сашей со встречею, казаки выпили, раскраснелись и взялись петь песни, плясать, состязаться в борьбе, фехтовании, в различных сноровках, то есть казачьих хитростях. То и дело вспыхивали воспоминания о Бутаковке, о прежней службе. В какой-то момент, когда общая стройность обязательно разрушается, один казак из молодых по имени Климентий завел протяжную и жалостливую песню, причем женскую, то есть ведущую повествование от лица женщины, про то, как в дремучем лесу за Каменным Поясом у ручья лежит раненый казак. “Лежит тятя мой, отец-батюшка, отец-батюшка мой бел-честной атаман. Стрелен он стрелой — шипы каленые. Срублен он мечом — саблей вострою. Стоптан он конем — злым конем бухарина…” — сильным басом, но протяжно, так протяжно, как никто более не мог, явно любуясь своим голосом и своею возможностью так одиноко петь, выводил Климентий. Несколько раз другие казаки пытались его одернуть “Климко, давай другую!” — но он, видимо привыкший к такому обращению, вел и вел свою одинокую партию…

— Климко! Ермака давай! “Ревела буря” давай! — с досадой не отступались казаки и даже пытались заводить свою песню, но и впятером пересилить не могли.

Он, видя их тщету, озорно прибавил и там, где по смыслу слов, вероятнее всего, следовало бы по-женски встосковать и пустить слезу, он, не заботясь о смысле, перешел на подлинный рокот, от которого, как от грозы, воздух задрожал и уплотнился, ударил в уши.

— “Тятя-батюшка мой, атаман войска славного, войска славного, бутаковказацкого, уходя с крыльца, мне говаривал, мне говаривал, извещал меня!..” — и на последних словах извещения близко сидящие к нему казаки от невозможности терпеть — спешно и с руганью отшатнулись по другим скамьям:

— А ну тебя к лешему, варнак!

Я видел, что прибавить голоса Климентий был в силе и из озорства прибавить собирался, но Самойла Василич, нахлобуча на уши папаху, зашел ему за спину и крепко схватил под мышки. Климентий от щекотки взвился змеей, дернулся высвободиться, однако же Самойла Василич вцепился в него по-рачьи накрепко. Климентий дернулся в другой раз, но снова у него не вышло.

— Это тебе не с Агнеей кувыркаться! — приговаривал Самойла Василич.

— Дядя Самойла, не буду больше! — взмолился Климентий.

— Сегодня, буди, ты меня и дразнил! — допытывался Самойла Василич.

— Дядя Самойла, Христа ради прошу! — молил Климентий.

Молодые из казаков, ровесники и друзья Климентия, вшестером ввалились в палатку и, предчувствуя потеху, всей ватагой намахнулись на Самойлу Василича.

— Едрическая сила! — крякнул Самойла Василич, и один из молодых, волчком

повернувшись, сел на пол.

— Сила! Сила! — в азарте закричали остальные, но следом за первым из толпы выпал второй.

— Подай науку, Самойла! — прихватились озорством старшие казаки. — Черпаком их, черпаком, Егорьевским своим оружием! — и тут же бодрили молодых: — Ах вам язви! Кого это ноне за молодежь! Бурландачи это, а не казаки!

— Ванька, кого нашел, поделись! — спрашивали они первого молодого, а второго пугали простудой. — Не сиди, долго-то не сиди, Шароваристой, нерву застудишь! — и опять отвлекались к тем, кто еще стоял и увертывался от клешневых длинных рук Самойлы Василича.

Шароваристый и Иван без клички, по крайней мере, покамест не употребленной, оба сбитые с ног молодые казаки вскочили, а на их место пристроился третий, тоже получивший свою долю советов от зрителей.

— Все четыре колеса! — меж тем взревел натужно Самойла Василич.

Я отвлекся от упавшего третьего казака и увидел: Самойла Василич перехватил Климентия поперек и, как бревном, кинул в соперников, так что четверо, придавленные Климентием, упали на не успевшего встать своего товарища. Последнего же, на кого Климентия не хватило, Самойла Василич, взяв за шиворот и мотню, положил сверху. Неуловимым движением, вроде бы и ничуть не отвлекаясь, он сдернул с крюка из-за печки черпак и звонко прошелся по куче — кому уж сколько досталось.

— Ай да робяты! Ай да казаки! Получили по пятаку! — в восторге кричали зрители сваленным казакам и дразнили советами нападать в следующий раз на какого-нибудь отбившегося от шайки бурлындача.

— Кто такие бурлындачи? — кое-как докричался я до соседа своего хорунжего Махаева, с обычною злобою наблюдавшего потеху.

— Бурлындачи-то? — спросил он, пряча злобу. — Да мы этак на линии ихное ворье называем. Бандиты, одним словом!

Я вспомнил слова Саши о каком-то особом бутаковском языке и спросил снова, почему именно бурлындачи?

— А где мы границу держим, там их так и зовут: барантачи. Овец они стадами угоняют. Вот и барантачи. По неграмотности казачата наши

прозвали их бурлындачами! — с выделением слова “по неграмотности” ответил хорунжий Махаев. Потом не удержался и прибавил о том, как нелегко приходилось на границе: — Нас там было по казаку на сто квадратных верст. А банд ихних — что блох в старой овчине, целые тысячи!

В разговор с каким-то воспоминанием захотел вступить Бутаков-Баран. Хорунжий Махаев мгновенно озлился. Бутаков-Баран смолк. Хорунжий Махаев вновь учтиво повернулся ко мне:

— Провожаешь, бывало по службе, обоз торговцев ихних. А конвою всего три

человека — я да двое подчиненных (он особо сказал слово “подчиненных”). А бывало, что и без офицеров (он опять выделил слова “без офицеров”) в конвой ходили. Так вот этих бурлындачей соберется против обоза человек этак…

Разговор хорунжего Махаева был неприятен. Он говорил со мной, но глазами быстро-быстро следил за всеми, как бы подозревая везде злые по отношению к нему намерения, отчего я чувствовал себя лишним, отвлекающим его от насущного занятия.

— Вот нас трое, а их несчетно… — рассказывал хорунжий Махаев.

— Это сотник Томлин! — не выдержал Бутаков-Баран.

— Как разговариваешь с офицерами! — вскочил со скамьи и замахнулся хорунжий Махаев.

— Ой-е! — сказал по-женски Бутаков-Баран.

И от короткого его удара хорунжий Махаев опрокинулся через скамью.

— Зарублю, как бешеную собаку! — взревел он.

Однако не только рубиться, а и встать на ноги ему не дали. Одни казаки кинулись на него, другие — на Бутакова-Барана. Кинулись, растащили по углам, закружили, завертели, и вышло так, будто они за весь вечер друг с другом не виделись.

— Кого ты, дурак? — будто и вправду ничего не понимая, спрашивали они у хорунжего Махаева. — Буди, перепил? Кого тебе припотемило?

Я догадался — комедию они затеяли для меня, испугавшись, что я прикажу Бутакова-Барана арестовать.

— Зарублю, скотина комолая, где ты? — придушенно кричал хорунжий Махаев.

А его шепотом, чтобы не слышал я, увещевали смолкнуть и громко, чтобы я слышал, опять спрашивали, когда-де он успел напиться и что такое ему примерещилось. Разумеется, я поспешил поверить в комедию. Я подошел к Самойле Василичу, как к старшему по званию за вычетом хорунжего Махаева.

— Позаботьтесь, вахмистр, о порядке в казарме! — строго сказал я и пошел из палатки, как бы показывая, сколько мне, офицеру, оскорбительно пребывать среди пьяных.

— Слушаюсь! — усердно вытянулся мне вдогонку Самойла Василич, и вдогонку же полетела обращенная к казакам знаменитая его “едрическая сила с четырьмя колесами”.

Небо неожиданно оказалось ясным и из-за обилия звезд отливало латунью. Мне не захотелось лезть в карман за часами, и по звездам я определил, что времени было уже к одиннадцати. Казаки оставили ристалище и сгрудились у костра. Саша в своей меховой безрукавке, присев, тянул к огню руки. Шашка у него лежала на коленях, и красный анненский темляк кровью струился по бедру. На мои шаги Саша оглянулся. Мне показалось, он собрался сказать что-то ироническое. Но он лишь молча посмотрел.

— Ранее, как к покосам, не вернуться! — сказал кто-то, продолжая разговор.

Фраза через логическую цепочку о том, что им всем есть куда вернуться, а нам с Сашей нет, привела меня к Наталье Александровне, которая в моем представлении все еще ехала в мягком вагоне в обществе гвардейского

прохвоста. По сути дела, она именно сейчас и должна была ехать, коли собиралась выехать через неделю после нашей поездки в Салибаури. Но в моем представлении она была в вагоне с гвардейским ухажером сразу же, лишь мы расстались.

— Жди — к покосам! — возразил другой.

— Зиму-то тут отсидим, а по весне пошлют Кистинополь брать! — сказал третий.

— Томлин не идет — вот что худо! — угрюмо сказал Саша.

— Сегодня сон видел: наше Махаево, луга наши, — стесняясь, сказал первый казак. — Вроде всей Бутаковкой мы на покосы выехали, а одни, без баб. Я думаю: а куда это они подевались? — а на Махаевом, вижу, трава стоит выше лесу — в жизни не прокосить!

— Сны сбываются!— сказал в ответ старший урядник Трапезников, глубокие шрамы на лице которого в бликах огня казались еще глубже. — Сны сбываются, верно вам говорю. Один казак увидел во сне, что золото нашел. Проснулся, хвать — пусто. Не-е, говорит, сны не сбываются! На другой раз увидел, что в штаны навалил. Проснулся, хвать — тут оно! Не-е, говорит, сны сбываются!

— А ну тебя, Трапезников! — рассердился первый казак.

Саша спросил меня о шуме в казарменной палатке. Лицо его было устало и печально. Возможно, так же выглядел и я, потому что он вдруг мягко и по-французски сказал мне идти спать. Я отказался.

— Иди, иди! — сказал он более настойчиво. — Не дай Бог, свалиться!

Мне не хотелось быть одному. Анненский темляк по-прежнему мерцал кровью. “Нам с Сашей некуда вернуться после войны”, — с расслабляющей жалостью вновь подумал я и нашел виной тому Наталью Александровну. “Как же искусственны и надуманны, как далеки от жизни те сочинения, где женщина вдохновляет нас на великие подвиги!” — подумал я, готовый на все, включая оставление службы ради того только, чтобы увидеть ее, чтобы убедиться уж не в любви ее ко мне, а хотя бы лишь в том, что она, Наталья Александровна, просто есть. Мне стало так же непереносимо тяжело, как случилось со мной у Зекера наутро. Стыдно признаться, но я даже застонал. Саша и казаки оглянулись на меня.

— Раны!— соврал я.

— Ну, все, казаки! Всем — отбой! — решительно встал от огня Саша.

Но в палатку нашу он пришел не сразу.

Удя, уже успевший затопить печку, помог мне раздеться. Я лег на топчан и уставился в потолок, то есть в утепляющую войлочную подстежку, по которой

мелькали блики от печки. Они мне напомнили блики станционных огней по потолку вагона. Я закрыл глаза, а проснулся от слов Саши.

— Спит наш академик! — не вопросом и не утверждением, а как-то всего лишь отметкой факта сказал он и здесь же в сердцах ударил по столешнице рукой. — А тот оллояр бродит!

— Придет, ваше благородие! — робко ответил Удя.

— А вот чую я, Матюха, — не придет! — с капризом выдохнул Саша.

— Сколько раз бывало: потеряем его, а он объявится! — возразил Удя.

— Сколько раз бывало, а теперь не будет! И какой японский городовой попутал меня сдаться на его уговоры! Ущелье ему не нравится, видите ли! — опять ударил по столу Саша.

— Вы и в ранешно время, в Маньчжурии, чуяли, что смертынька к нам придет! На седло встанете — от пуль шинелка дыбится, а хоть бы одна тронула! Не так чуют-то! — снова возразил Удя.

— Ты много знаешь, как чуют! — огрызнулся Саша.

И в горах, как я механически отметил, верстах в двух — вдруг несколько раз выстрелили.

— Он? — дернулся я, забыв про раны.

А Саша и Удя уже вылетели из палатки. Я поспешил следом. Самойла Василич и Трапезников в нательных рубахах, на ходу обуваясь, по козловьи прыгая, бежали в нашу сторону.

— Четыре раза! — кричал Самойла Василич. — Четыре раза! Один — из нашей винтовки!

Выстрелы посыпались вновь, и Самойла Василич опять среди них различил два наших,

— Он! Он чертяка! — ударился в короткий пляс Саша.

— Он! — согласился Самойла Василич. — Он, скупердяй! Лишнего патрона не стрелит!

— Ему же тяжело таскать лишне-то! — радостно осудил Трапезников.

— Чей последний? — спросил Саша Самойлу Василича, когда выстрелы стихли.

— Ихнай!— ответил Самойла Василич.

Мы все смотрели в сторону седловины. Сзади тревожно, но тихо переговариваясь, сбегались казаки. Одни спрашивали, что случилось. Другие осаживали их, говоря, чтобы молчали. Все ждали еще выстрелов. Их не было. Я мысленно метался по карте, оживляя ее, превращая графические ее условности в реальные скалы, овраги, поляны, тропки, ручьи, деревни и выискивая там место Томлину.

— Ты у меня там только подставь башку под пулю! Я тебе потом лично ее оторву! — погрозил Саша в седловину.

Я метался по карте и гадал, кто же мог стрелять в Томлина, ведь никого перед участком нашим на многие десятки верст не было. Еще час назад я не верил ни в снежные заносы, ни в данные штаба отряда и уступал Саше только по снисхождению. Теперь же, когда моя догадка оказывалась очевидной, мне не хотелось признать ее. Мне хотелось ошибиться, ибо моя ошибка сулила нам покой, а ошибка Саши и штаба предвещала катастрофу. Я предполагал восстание, достигшее нашей местности. Я предполагал шайку бандитов. Я предполагал местных жителей. Но ни в одно из этих предположений я не верил. Я видел только — не было неприятеля перед нашим участком, теперь он появился. Мы все ждали выстрелов. Они не возобновлялись. И через минуту-другую нам стало казаться, что они прозвучали совсем не со стороны седловины. Такое в горах бывает. Эхо разносится по ущельям и может выплыть совершенно с противоположной стороны. Равно же и расстояние до них, определенное мной в две версты, могло быть совсем иным. Нужен был ориентир более надежный. Но взять его покамест было негде.

— Это що, господа казаки! — вдруг пьяно и как-то особенно развязно закричал кто-то от казармы. — Друга моего сердешного Колю изваздали. Меня со скотиной закрыли!..

— Тешша оклюнулась! — не то с досадой, не то с веселием сказали казаки.

— Убрать! — приказал Саша.

Кто-то побежал к казарме. Старший урядник Трапезников пояснил мне:

— Его заранее до бесчувствия поить приходится, ваше благородие, нето всю Бутаковку изгодолит!

Мне этого пояснения совсем не было надо. Я уже не помнил никакого Тешшу, хотя он около казармы продолжал скандалить. Я зримо представлял, как по двум ущельям, столь игнорируемым начальством, — по крайней мере полковником Фадеевым, — тянутся две колонны турецких войск. Одна, за седловиной, обтекает нас слева и выходит к отряду. Другая, сминая нас, бьет по отряду справа.

— Если они там, — сказал я никому, но вслух и показывая за седловину, — то утром они будут там! — показал я в сторону отряда. — А эти, — показал я на ущелье за Марфуткой…

— Кто? — резко спросил Саша.

— Турки, — ответил я.

— Они там! — отмахнул рукой на юг Саша.

Мне показалось, он не верит себе, а говорит так лишь из одного упрямства. Скажи мои слова кто-то из казаков, ну, вот Самойла Василич или Трапезников, и Саша бы не подумал возражать. Чтобы не вступать в бесплодный и вредный спор, я спокойно сказал:

— Господин есаул, я намерен немедленно сообщить о стрельбе командованию.

Извольте распорядиться о доставке.

— А если это татарская свадьба? — с иронией спросил Саша. — Каково будет вашим академическим погонам, господин штабс-капитан?

— Где прошел козел, — медленно, стараясь жестко, сказал я словами Наполеона, правда, несколько искаженными, — там пройдет осел, то есть обоз, а перед ним — целая армия!

— Не свадьба это, Лександр Лексеич. Это Томлин! — поддержал меня Самойла Василич.

— И что? — резко повернулся к нему Саша.

— Тебе решать, Лександр Лексеич. Да только Томлин лишка не пернет, не только выстрелит. Значит, турки перед ним! — ответил Самойла Василич.

— Ну коли у козла или осла в брюхе засвербило и от холки подалось к хвосту, надо и холку потрепать, и под хвостом почесать, — сказал Саша.

Вообще-то я догадался, что это и было тем самым условным бутаковским языком, и даже догадался, о чем он. Все проще простого. Брюхо — юг. Холка — север. Хвост — запад. И Саша сказал всего лишь о своем согласии с Самойлой Василичем о турках с запада, из того самого злополучного ущелья, и о своем намерении проверить его. Обо всем этом я догадался. И догадался, что употреблял сей изысканный язык Саша не по злому умыслу сокрытия от меня секретов, а по инерции своего иронического отношения ко мне. По этому отношению, меня для Саши не существовало. Я, по-бутаковски пренебрегая уставом, пошел в палатку.

— Зачем так-то, Лександр Лексеич, — услышал я упрек Самойлы Василича.

— Эка вышло! — с досадой в ответ сказал Саша.

Однако досада была с неизбывной иронией, как если бы Саша втайне поступком своим любовался. Спрашивать, за что, было бесполезно. Равно же бесполезно было негодовать, обижаться, переживать иные мучительные чувства. Саша показал — брата ему не надо. “Не велика и для меня потеря!” — зло и холодно сказал я.

“Смертыньки ему стало надо! — вспомнил я разговор его с Удей о Маньчжурии. — Уж не от того ли, что отец наш отказал ему в реверсе?” Подозрение было из ряда вон и клеймило более меня самого, нашедшего у себя гнусность этакое подумать. Но мне стало сладко так думать, стало сладко знать, что Саша оказался слабее меня, коли не смог преодолеть в себе чувства, как это сделал я. Так думая, я видел, сколько я не справедлив, однако не останавливался. Я знал, что злое чувство мое недолго, что лишь Саша мне улыбнется или, как у огня часом назад, участливо скажет, — и у меня снова к нему ничего не останется, кроме любви. Но тем более холодно и мстительно я хранил в себе это чувство. “Да. Думай обо мне самое низкое, — сочинял я, — думай обо мне, как о коммерсанте, от страха за свою подленькую жизнь сумевшего бросить батарею на фронте в пользу погранстражи на тишайшем участке. Думай так. Думай обо мне, как о трусе. Но если перед нами неприятель, я останусь здесь. А если — теперешняя стрельба всего лишь какое-то

недоразумение, то я, по выяснении его, минуты не останусь в полусотне, рядом с тобой. И ты опять будешь думать, что я удираю от первых же пустых выстрелов. Ты так будешь думать. Но придет

случай узнать тебе подлинную причину моего перевода сюда, и ужаснешься ты своей несправедливости!” — этак сочинял я, наслаждаясь своим сочинением, а тем временем Саша, не сказавшись мне, как то положено, ушел за седловину во главе охотников.

— Они тока до первого поста ушли! — оправдывая Сашу, сказал мне Удя.

Я молча пожал плечами — хоть до Константинополя! — и я пообещал, что никогда, сколько бы мне ни было стыдно, никогда не расскажу об этой нашей встрече сестре Маше. Пройдет время, вернусь я обратно в батарею — и забудется встреча моя с братом, которому все мы, его родные, были не нужны!

Подобным образом завершив обиду, я отвлекся на карту. Работу прервал хорунжий Махаев.

— Имею доложить о случае оскорбления офицера нижним чином! — подал он листок бумаги.

— Полноте, хорунжий!— попытался я отмахнуться.

— Не понимаю вас! — тотчас же, словно ждал, откликнулся хорунжий Махаев.

По букве воинского устава он оказывался вправе требовать разбирательства. Но кроме уставов был в армии еще неписаный кодекс, по которому ни один начальник в целях сохранения доброго имени своей воинской части и в целях собственной безопасности без крайней нужды ни за что никакому рапорту подобного свойства действия не даст. К тому же Бутаков-Баран совсем не казался мне законченной бестией, тогда как хорунжего Махаева не только я, но и его земляки-сослуживцы не отличали за кротость и добросердечие.

— Ждите командира, хорунжий, — сказал я вместо объяснения.

Однако он сосчитал мой ответ заранее. Ему, знающему о том, что я все видел, и, вероятно, догадавшемуся о моих симпатиях, важно было, чтобы рапорт принял именно я. Для него это было своеобразной сатисфакцией, если не большим.

— Вы обязаны мой рапорт принять и занумеровать в книгу! — выказал знание делопроизводства хорунжий Махаев.

Я вновь попросил его ждать командира, на что он, не скрывая злобы, усмехнулся:

— Рапорт, господин штабс-капитан, я все равно подам. А вот с нижними чинами шурякаться — как бы потом сожалений не иметь. Они, казачишки, себя ведут всяко. Ино бывает, в бою пуля с тыла летит. Благодарность у них такая.

Я, подавляя желание ударить его, нашелся с ответом:

— Благодарю за подсказку. Об одном таком казаке я теперь буду знать!

Он молча ушел. А я прикрутил в лампе фитиля так, что пламя затрещало и

запахло горячим керосином. “Все это, — мысленно заорал я, имея в виду и рапорт хорунжего Махаева, и выходки Саши, и неудачное расположение заставы, — все это через несколько часов не будет иметь никакого значения! Если стрельба за ледяной седловиной не есть недоразумение, то через несколько часов для нас все в мире уже не будет иметь никакого значения!” Я заорал, а, собственно, и орать-то было уже поздно, потому что уже сейчас весь мир для нас прекратился. Едва лишь посветлеет — и неприятель атакует нас, сомнет, расстреляет гранатами. Едва лишь рассветет, как нас не станет. Я ощутил это состояние, когда меня не станет. Оно оказалось естественным, простым, не страшным — столь не страшным, что я более испугался не его, а отсутствия своего страха, будто я прожил долгую, измучившую меня жизнь. “И она улеглась в эти несколько дней?” — спросил я себя, помня свое состояние от посвиста случайной пули при дурацкой атаке Раджаба. И еще я спросил себя, не это ли есть предчувствие смерти.

Спросил, а ответить не сподобился — стало скучно. Вопрос уже не занимал меня. Его вытеснил предстоящий бой. Саша в него не верил. Но я твердо знал — он будет. И будет мне последним. И мне не было страшно. Напротив. Мне было весело и бодро. Я даже послал Удю за водкой.

Вместо Уди водку принес Самойла Василич.

— Вот ведь какой конфуз может произойти, Борис Лексеич! — начал он оправдываться за поступок Саши.

Я стал все сводить к пустяку, якобы совсем меня не тронувшему…

— Да как же! Ведь я вижу! — не согласился со мной Самойла Василич. — Оно ведь больно-то бывает, когда от родного человека. От чужого принять всякого поганства нет ничто — сплюнул да забыл. А родной когда…

— Это все давняя история!— сказал я, только чтобы прекратить разговор.

Однако же он не только прекратился, но завязался длинный и неожиданно коснулся интимной жизни Саши, то есть, по-иному сказать, последствий того самого злополучного случая с реверсом. Я не знал — а оказалось, что выпустился Саша из училища в полк, квартировавшийся в Вильне. Замечательным оказалось и то обстоятельство, что туда он выпустился по ходатайству влиятельного лица, с сыном которого в училище он был дружен. Влиятельное лицо по фамилии Степанов, о чем я со скрытой усмешкой поспешил себе отметить, оказывается, имело под Вильной солидное имение и солидный вес в виленском обществе, что предвещало сыну его и другу сына Саше службу не скучную, чем они не преминули воспользоваться, влюбившись в первую тамошнюю красавицу, некую мадемуазель Изу. “Ну где же нам полюбить Таню или Машу. Нам нужно шляхеточку Изу!” — мысленно съязвил я. И съязвил совершенно кстати, ибо дальнейшим утверждением Самойлы Василича было то, что сия Иза ответила Саше взаимностью. “Ах, прав был батюшка наш Алексей Николаевич!” — сгоряча хотел я хлопнуть в ладоши, но лишь причинил себе в ранах боль и осекся. Поводом для восклицания, конечно же, было неверие мое в рассказ Самойлы Василича, лично в тех событиях не участвовавшего, и если сейчас что-то знающего, то в лучшем случае знавшего со слов самого Саши или вообще из третьих уст. Ну какая же первая красавица губернского общества

позволит себе полюбить безвестного и простого подпоручика! И если допустить ответное чувство сей Изы к Саше, то необходимо со всей безжалостностью, каковой только и оперирует истина, сказать, что сия Иза не была ни первой, ни второй, ни третьей красавицей, а вероятнее всего, была именно той окологарнизонной вертушкой, какую в ней предположил батюшка Алексей Николаевич. Вероятно, подобного же реалистического мнения на жизнь был и сам Самойла Василич, потому что спорное свое утверждение о взаимности чувств первой виленской красавицы и Саши он попытался обосновать теорией, приплетя длинное рассуждение о наличии или отсутствии в мужчине некой орлиности или орловости.

— Орел ведь он у нас, Лександр-то Лексеич! — сказал Самойла Василич. — Знаете, нет, но бывает наш брат мужик, с виду солидный, степенный или, наоборот, варнак, буян, которому все нипочем. Бывают такие — а не орлы они! А бывают не особенно-то видные, ну, вот, скажем, как есаул наш Лександр Лексеич. И не велик, и не могуч, и уж не ахти красавец — а вот орел! И бабы, то есть женщины, это дело шибко чувствуют. Их хлебом не корми. Им нарядов не покупай. А коли ты орел — протекция тебе обеспечена, в могилу за тобой пойдут, и вообща.

“Едрическая сила и четыре колеса” — прибавил я мысленно.

— Это-то, видно, и тронуло красавицу! — продолжал Самойла Василич. — Ответила она ему, прилегла душой!

“Прилегла! — закричал я мысленно. — Этакое счастье: прекрасная панночка благосклонно отнестись к ухаживаниям желторотого подпоручика

изволили-с! Надо подпоручику к папеньке спешить: “Ах, реверсу мне обеспечьте, родитель мой!” Да как же бы ты жил, братец, позволь тебе отец реверс!”

Возмущение мое имело основанием то обстоятельство, что в офицерской начальственной среде совершенно не жаловались браки с католичками и иудейками. Куда ни шло относительно финок, но девиц польского и еврейского вероисповеданий иметь женами не рекомендовалось до такой степени, что бывали случаи препятствий по службе или по учению в академиях. Саша со своим — орлиным! — характером подобных преследований явно бы не снес и оставил бы службу. И куда, интересно, он бы пошел? Принялся бы за занятия коммерцией или стал бы прислуживать в имении друга своего Степанова? Замечательная перспектива! И замечательно бы снесла эту перспективу прекрасная панночка!

С этим возмущением я пропустил несколько фраз Самойлы Василича и услышал его, когда он говорил уже о том, как Саша вернулся в полк после разговора с отцом:

— Вернулся в полк Лександр Лексеич да и бухнул командиру на стол рапорт об увольнении от службы.

“Блистательное решение, господин подпоручик!” — с издевкой бросил я Саше.

— Грешным делом, — говорил далее Самойла Василич, — я потом спрашивал его, куда бы он пошел, случись начальству рапорт удовлетворить?

“Куда?” — спросил и я.

— А куда, говорит, — отвечал за Сашу Самойла Василич. — Куда, как не в Африку! Там в те годы как раз война была. Какие-то буры с кем-то воевали. Вот их-то он и способился защитить.

“Ого!” — подивился я неожиданному ходу Саши и более подивился тому, что сам этого хода за ним предположить не сумел, хотя бурскую войну против англичан в Южной Африке хорошо помнил и помнил наше общественное сочувствие бурам. Впрочем, недогадливость мою можно было оправдать просто тем, что я не соотнес события по времени.

— И пока рапорту хода не было, — повествовал мне далее Самойла Василич, — у нас у самих война началась. Лександр Лексеич — туда. С нее вернулся — опять в Вильну. А зазнобица его, душенька, уже в скоротечной чахотке тает. Схоронил он ее и в казачью бригаду в Персию определился, а оттуда прямиком к нам на Кашгарку прибыл — что-то у него там, в Персии, по службе не сложилось. Не любил он того вспоминать. А только что я знаю с его слов — казаками-то там были персияки, прости их, господи, — одно что наши бурлындачи. А он им командиром должен был. Ну, к нам прибился да безысходно у нас до нынешней весны лямку протянул. Это столь времени у него душа скорбела, Борис Лексеич! — налил в кружки Самойла Василич. — Ничего ему не надо было. Безысходно жил он на линии. А к нему этакой же прибился — сотник наш Томлин Григорий Севостьянович, тоже оллояр едрической силы. С женой не сложилось. Нет чтобы ее струнить — дак он от нее в бега. Бабу, говорит, править — только жистю терять. Вот два бубыря и скакали по Кашгарке да в Каракорумку бегали — только хвосты кобыльи веяли.

“И я от Натальи Александровны оказался на границе!” — сравнил я.

— Ныне же по весне, видно, отлегло у нашего есаула, — помолчав, сказал Самойла Василич. — Ныне по весне он вдруг у нас засобирался. Шуточками-прибауточками, а день ото дня стал вдруг поминать о том, де засиделся он в азиатцах, надобно ему в Европы выехать. Нам с Григорием Севостьянычем говорит: айдате поедемте в Европы. В какие такие Европы? — спрашиваю я, а вдруг тоже загорелся: чего бы не поехать? Срок службы вышел. Мне сорок годов стукнуло, два года переслуги у меня, пора во второй разряд переходить да печку на старость ставить, а я кроме, своей Бутаковки и азиатцев, ничего не видывал. А айда, Лександр Лексеич, говорю, я хоть атикетов не мастер-знаток, а, буди, воинский устав, он везде за атикет сойдет, стыдно за меня не будет! Так мы нынешней-то весной мимо дома прямо на Вильну и побежали. Ну, приехали. Он по знакомым-товарищам прошелся, друга своего Степанова навестил. Сказать бы, не его самого, а родителя его, потому что сам Степанов где-то в другом полку служил. И от родителя узнал наш Лександр Лексеич, что Степанов той красавице, царствие ей небесное, ну раздорогущий памятник на могилу поставил. Тоже ведь любил, выходит, он ее. Это нашего есаула Лександра Лексеича взяло. Он — на кладбище. Мы — за ним. Он — к могиле. Мы — туда же. Он как памятник увидел — так и потерял сам себя. “Иза!” — скричал — и нет его.

Самойла Василич это сказал, и вдруг издалека на меня стало накатывать воспоминание, или даже не воспоминание, а какое-то мерцание — зыбкое, сиреневое, какое осталось от детства на реке Белой, — сиреневое мерцание тени

ближе к сумеркам в устойчивую жаркую погоду… Вот таковым сиреневым мерцанием издалека на меня вдруг поплыла случайно услышанная из чьего-то разговора фраза, да, именно случайная фраза про капитана… (я даже закрыл глаза, чтобы четче представить это мерцание) про капитана… Сте… совершенно верно, капитана Степанова, владеющего имением под Вильной. Кто говорил, кому говорил, в связи с чем — этого я тогда не запомнил.

Мне ведь совершенно не было дела до неизвестного мне капитана Степанова. Слышал я этот разговор и эту случайную фразу уже здесь, то есть там, в Батуме, и слышал, сколько помнится, летом, едва приехал. Вероятнее всего, разговор о капитане Степанове мог произойти как раз потому, что этот капитан Степанов не прошел конкурса в Академию, а значит — капитан Степанов из разговора и капитан Степанов, муж Натальи Александровны, — являются одним лицом! И из этого могло выйти тоже только одно: этот Степанов — Сашин друг. Я это открыл, и меня затрясло от приступа ревности.

Рассказ Самойлы Василича я определил слезливой пиеской для девиц: ах, несчастная любовь, тиран родитель вроде Монтекки, смерть любимой, горе любящего, и в финале памятник, поставленный соперником. Отдать в театр — весь сезон будет обеспечен аншлаг, а галантерейным лавкам за носовые платочки — баснословные барыши. Рассказ Самойлы Василича меня не тронул. Но ревностью я переполнился сверх меры и тому причиной нашел следующее. Я увидел капитана Степанова человеком пусть недалеким, не преодолевшим конкурса в Академию, и не орлом, если оперировать определениями Самойлы Василича, но человеком благородным, способным на глубокие чувства и единственным из всех нас по-настоящему несчастным. Я думаю, что этого его чувства Наталья Александровна не знала. Но я подумал, что если бы она знала, то неуважительного своего отношения к мужу не изменила бы, из чего выходила человеком поверхностным и капризным. И увлечение ее мной выходило случайным. Она не увидела меня. Она просто поддалась своему капризу, предметом которого мог быть — если не был до того или не будет еще потом — любой другой человек. Вот это-то, вероятно, и было причиной моей ревности, усугубленной тем, что волей поступка, совершенного мной две недели назад, я стал соучастником порочного отношения капризной женщины к благородному человеку. Повторяю, по-настоящему несчастным из всех нас я увидел лишь капитана Степанова.

Самойла Василич говорил что-то свое, что-то рассказывал про Сашу, про его чувство и горе, а я думал совсем другое. Я понял, что люблю Наталью Александровну. И вместе с тем понял, что поступил по отношению к ее мужу подло.

6

От ледяной седловины возобновилась стрельба, сразу из ружейной перешедшая в ружейно-пулеметную, ничуть на татарскую свадьбу не похожую, ибо всякий, кто знал татар — хоть казанских, хоть сибирских, хоть кавказских, — сказал бы, что у них не было заведено обычая на свадьбе пользоваться пулеметами. Я обрадовался этой стрельбе. Она заставила меня вспомнить, что я прежде всего офицер, командир с четко означенными служебными обязанностями, перед которыми любая подлость или праведность совершенно не имели значения, если они не отражались на исполнении этих обязанностей. “Будешь переживать в той, послевоенной, жизни!” — сказал я себе, лукаво зная, что ее у меня не будет.

Мы с Самойлой Василичем вышли из палатки. По-своему справедливо предполагая выступление полусотни на выручку товарищам, хорунжий Махаев строил казаков.

— Вот садит! — говорили казаки про пулемет и перебирали по родству тех, кто сейчас под этим пулеметом был. — Щуряк у меня там!.. Тебе он шурин, а мне родной дядька!.. Ага, а у меня там брательник!

— Все наши! Всех выручать надо! Правильно я говорю? — куражливо вскричал Тешша.

— Я те! — пригрозил ему хорунжий Махаев, направляясь ко мне доложить о построении.

Я дал команду разойтись, а хорунжего Махаева, Трапезникова и Самойлу Василича пригласил к карте.

— Вот, господа, мы здесь. А он, — разумеется, противник, — здесь! — показал я на обходное ущелье.

— Сквозняком мимо нас продуют, ваше благородие! — сразу понял мои опасения насчет флангового удара Трапезников.

— Снег не даст, — возразил хорунжий Махаев.

— Едрическая сила! — укорил меня взглядом Самойла Василич за то, что я не открывал этого раньше. — Вот где надо его ловить! — тронул он пальцем карту в месте Марфутки Никонорихи.

— И я это приказываю! — раздельно и четко сказал я.

— А командир Александр Алексеич? — попытался возразить хорунжий Махаев.

— Задача поставлена самим начальником отряда. Я имею особые полномочия! — солгал я, вдруг ощущая, как это легко и завораживающе — лгать.

И далее я все делал с этим легким и завораживающим ощущением, и мне все удавалось легко, и все походило на нечто такое, как если бы я вдруг, выпив в хорошей компании друзей, заразился компанией и бросил на пропой все мои деньги: а пьем, ребята! разберемся потом! Чудесная русская черта. И ею заразились казаки.

Я помнил вчерашнюю их абсолютную принадлежность Саше и ждал проявлений этой принадлежности. Я ждал, что хорунжий Махаев снова спросит: “А командир? А казаки наши за ледяной седловиной?” Я даже ждал, что с этим подступят ко мне все остальные, и, ожидая, я с легкостью думал, пусть подступят, пусть даже откажутся подчиняться мне. Я буду выполнять задачу один. Наверно, это была наша общая с Сашей черта. И наверно, в этом было что-то казачье. Потому казаки не подступались, а сначала как бы в недоумении, не веря, но потом все более сноровисто, все более деловито и все более легко взялись собираться к работам на Марфутке.

Я набросал записку в отряд, строго следя за тем, чтобы в ней было лишь сообщение о противнике, обнаружившем себя боем, и не было бы никаких моих личных соображений, то есть не было бы моей претензии на штабной хлеб. В таком виде она давала полковнику Фадееву больше шансов на снисхождение и положительную реакцию.

Ко мне подошел Климентий, тот, кто своим мощным голосом едва не выжил всех из столовой палатки.

— Ваше благородие, — попросил он. — Вы Савушку, виноват, урядника Расковалова в отряд посылаете. Прикажите письмецо мое в Бутаковку переправить. Не то он отказывает — мне не до письмецов, говорит.

Я передал уряднику Расковалову его письмо.

— Что, жалко Агнейку-то вдовухой оставлять? — поддел Клементия за моей спиной урядник Расковалов.

Хорунжему Махаеву, старшему по работам на Марфутке, я нарисовал схему позиции и способ ее оборудования. Он угрюмо выслушал указания, взял листок и откозырял.

— Вот вернется командир и все к лешему переприкажет! — не удержавшись в последний момент, себе под нос буркнул он.

Я весело подмигнул ему в спину и, немного проводив казаков, вернулся переодеться.

— Стихают! — показал Самойла Василич за седловину.

— Хорошо. Должно, скоро придут! — кивнул я.

— Должно, так, — от сглаза крестясь, согласился Самойла Василич.

Он принес мне казачьи полушубок, шапку, сапоги. С его помощью я переоделся. Он же перевязал мне погоны и подогнал портупею. Я прибрал бумаги, огляделся и пошел на Марфутку.

— Идите, идите от греха! — напутствовал меня Самойла Василич. — А с Лександром Лексеичем я сам столкуюсь. Буди, не съест совсем-то уж.

Поглядев на часы, я велел Самойле Василичу не позднее семи утра прибыть с завтраком. Он шумно вздохнул, что могло означать лишь одно — он-то придет, да вот не придет ли на Марфутку раньше другой приказ.

— Я остаюсь на Марфутке при любых обстоятельствах, и посему завтрак туда подать не позднее указанного срока! — прикрикнул я.

Казаки на Марфутке приступали к работам. Их слышно было даже через пронзительный скрип моих шагов. Я растревожился. Под такой шум мы прозеваем неприятеля. “А в сорок-то винтовок мы что тут сделаем? — кольнула меня тревога.

Об окопах не могло быть и речи. Казаки разгребали снег и мулами свозили сваленные деревья в бруствер по гребню, ствол к стволу сучьями наружу, в сторону противника, особо следя за тем, чтобы не топтать видимого ему склона.

— Чтобы и в биноклю не разглядели! — говорили они.

Оборудовать запасной позиции мы не поспевали. Да она и не была нужна. Оставив гребень, мы открыли бы дорогу в отряд. А для сохранения полусотни более смысла было не затевать дела вообще.

Стрельба за седловиной угасла. Я рассчитал время возвращения Саши, и чем ближе оно было, тем более я гнал казаков. Я видел яростные глаза Саши и слышал свирепые его слова: “На мерина — и аллюр три креста из полусотни!” — и я знал, что не уйду. Мне более нигде не было места, как только здесь. Я вспомнил поучения Раджаба о том, что на войне для пользы дела и пользы своей надо думать только о войне, и увидел, сколько они ошибочны. Я думал только о том, что войны не касалось. Я думал о Наталье Александровне и ее муже. И от этих дум мне было хорошо. С ними я легко принимал свое небытие. И все-таки, когда прибежал совершенно измученный Бутаков-Баран и сообщил, что все вернулись — правда, без Томлина, — от предстоящего мне объяснения с Сашей я испытал душевный дискомфорт.

— Что есаул? — спросил я через удары сердца.

— Как вышли, ваше благородие, так все и пали — столько умаялись! — чрезвычайно весело сказал Бутаков-Баран.

— Что Томлин? — спросил я.

— Господин есаул распорядились днем снова пойти в поиск. Сейчас тёмно, несподручно, и снегу — во! — снова весело ответил Бутаков-Баран.

— Так что за бой? — опять спросил я.

И опять весело же Бутаков-Баран сказал, что все пустяшно.

— Что же пулеметы? Откуда? — спросил я, от его веселости раздражаясь.

— Господин есаул сказали — утром проверим! — едва не в счастии ответил Бутаков-Баран.

Дальше с ним разговаривать было бесполезно. “Ну, господин есаул, — сказал я Саше. — Теперь нас рассудит день”. Я так сказал и подумал, как славно вышло, что Саша ушел с охотниками. Я отпустил Бутакова-Барана отдохнуть.

— Передайте Самойле Василичу, чтобы он не очень-то будил казаков и особенно господина есаула! — с улыбкой напутствовал я его, хотя догадывался — через какой-нибудь час Саша уже будет здесь. И, выгадывая этот час, еще более гнал

я казаков. Я видел, как, несмотря на их старания, медленно движется работа, и злился, кричал, понукал, кривясь от боли в ранах, бегал из конца в конец и нет-нет да тревожился о боевом охранении, не прозевает ли, не уснет ли и не попадется ли неприятельским охотникам. Казаки, спотыкаясь от усталости, успевали бодрить меня уверенностью, что не прозевает, не уснет и не попадется, а в нужный момент подаст сигнал.

— Бутаковски — мы таковски! — говорили они о себе с какою-то потаенной иронией. — Бутаковца не объегоришь!

— Не объегоришь бутаковца — это верно! Окромя разве что Курли! — с привычной уже, хотя сейчас и веселой, злостью поддел хорунжий Махаев одного из казаков.

— А кого я! — с обидой отозвался тот.

— Курля, Курля, Курля-ля-ля! Расскажи про короля, Стешку Обатурного, от тебя угульного! — пропел хорунжий Махаев.

— Какого Стешку Обатурного? — удивился я. — Стешка Обатурный — это же польский король Стефан Баторий!

— Ну-к шо! — не поняли меня казаки.

— Так ведь он жил в конце шестнадцатого века и безуспешно осаждал Псков! — объяснил я.

— Дак, а мы-то с каких пор казаки, ваше благородие! Мы-то казаки еще с дедов, с Ермака Тимофеича! — засмеялись надо мной казаки. — Дед Курлин на войне короля-то прихватил да маленько сплоховал. Не каждый день королей-то ловил. А тот шибко прыткий оказался. Не стал ждать, пока дед Курлин им по-казацки займоваться начнет!

— Ваши-то где были! — с обидой и явно привычно огрызнулся Курля.

— Вперед! Быстро! — кричал я на казаков, пока наше сторожевое охранение не дало выстрел.

Все смолкли и застыли. Я думаю — все посмотрели на меня. Я полез за часами и попросил Удю их завести, потом скомандовал к бою. Мы рассыпались по брустверу. Я глядел на снежную целину за ним, еще не видя ее, но зная ее совсем иной, нежели вчера. Она была моей. Она принесла выстрел. Саша теперь мог мчаться ко мне.

Команда моя получилась преждевременной. Пришло наше сторожевое охранение, пришло своею же тропой, что уже само по себе говорило об излишней моей поспешности. Выстрел оно сделало по неприятельской разведке. Стрелявший казак оправдывался за выстрел.

— Вот так, ваше благородие, — показывал он мне расстояние в двадцать сажен. — Вот так подошли. Ну, я и стрелил.

Напарник его, иззябший и не согревшийся дорогой, мрачно возражал тем, что надо было вообще подпустить и скрутить.

— Дак их же было с десяток! — оправдывался первый казак.

Я похвалил обоих. Казаки, оставившие работу, вмиг озябли. Я разрешил разжечь костер. А тут подоспел и Самойла Василич. Первыми его словами были, конечно, слова про едрическую силу вместе с четырьмя колесами. И означали они крайнее недовольство костром.

— Ну ладно казачишкам. Им все — бара бир! — не сдержался он выговорить и мне. — Но вы-то, Борис Лексеич, вы!.. А как он, буди, гранатой по дыму стрелит!

— Да прямо в котел! — задрали его казаки.

— Черпака захотели? — огрызнулся Самойла Василич.

— Что есаул? — спросил я его.

— Пусть поспят. Пришли-таки. В снегу по самые маковки! — поспешно ответил он едва не словами Бутакова-Барана.

— Пусть поспит! — согласился я.

После завтрака уснули и казаки. Самойла Василич, собрав посуду, попросил разрешения остаться. Я разрешил. Через час верхние гребни на востоке четко обрисовались розовой линией, а еще через несколько минут так посветлело, что стал виден провал ущелья. Я долго смотрел в него, пока меня не отвлек Удя. Он проснулся, поднял голову, молча и напряженно слушая.

— Что? — спросил я его.

Он тоскливо показал за седловину.

— Томлин? — вскинулся я.

Однако, оглянувшись, понял — не Томлин, а что-то другое привлекло Удю. Понял — потому что ничего не увидел и не услышал, а скорее ощутил далекое угрюмое ворчание в той стороне. Я замер. Помогло это или нет, но мне удалось понять, что вся сторона за седловиной вздрагивала и дышала большим непрерывным боем. Я сразу представил себе отрядное наше начальство. Вероятнее всего, оно уже отдавало приказ на достаточное прикрытие нашего направления. Самойла Василич, тоже уловив бой, спросил, каковы у нас там силы. Я сказал, что довольно незначительные.

— А как же, ваше благородие? — спросил он, будто я был в том виноват.

Я пожал плечами. Он побледнел. Он, кажется, только сейчас понял, что будет с нами сегодня. Он оббежал глазами спящих своих земляков, перекинул взгляд через бруствер, вернул его к землякам.

— И что же, тут нам? — спросил он, нажимая на слово “тут” и забывая титуловать меня.

— Вы, вахмистр, желали бы в другом месте? — с издевкой спросил я.

Причиной подобного моего тона стала догадка, что непривычные к бездумной армейской дисциплине казаки сейчас кинутся обсуждать мой приказ, признавая его неприемлемым. “Кого-кого? Как ето? Не-е. Есаул нам такого не приказал бы.

Айдате, робяты, будить есаула! — почему-то именно голосами хорунжего Махаева и Тешши стал я мысленно передразнивать их. — Не желам. Мы границу обязаны охранять. А погибать тутока мы не подряжались!” Я стал их так передразнивать и поймал себя на том, что случись действительно так, я не знаю, каким образом смогу их остановить. “Господи! — по-настоящему взмолился я, представляя ситуацию, когда и Саша встанет на их сторону. — Господи, помоги мне! Пусть он спит до полудня!”

— Ваше благородие! — сильным шепотом, который, однако, тут же разбудил всех, вскричал часовой от бруствера.

“Ну вот!” — сказал я себе и расстегнул кобуру в намерении застрелить первого же, кто посмеет отказаться выполнять приказ. Я совсем забыл, что собирался оставаться на Марфутке в одиночку. Казаки проснулись и единым махом, будто и не лежали, рассыпались по брустверу.

— Вон, вон, ваше благородие! — стал мне показывать часовой на проплешины в густом кустарнике по выходе из ущелья.

Там, щупая снег палками и оставляя за собой четкую синюю полосу следа, в нашем направлении выдвигался пехотный взвод. Снег был глубок. Но не настолько, чтобы движение остановить.

— А вон еще! — показал чуть в сторону Самойла Василич.

Еще один взвод вышел немного правее. Я стал всматриваться в глубь ущелья. Там появился третий взвод, и, разумеется, следом надо было ждать четвертый, пятый и так далее. Я смотрел и более думал не об этом. Мне нужно было знать, видят ли они нас, слышали ли ночью наши работы, с какого места будут они строиться в цепи. Перед этим теперь уже не воображаемым, а натуральным количеством противника мы в сорок наших винтовок стали казаться портняжными иголками, не более. И от этого сравнения очень захотелось в стог сена — ищи нас там! Среди нашего молчания только Тешша сказал и не себе, и никому, но, как всегда, с претензией.

— Придавят сейчас, как вшу на ногте!

— Не сокоти! — оборвал его хорунжий Махаев.

— Вот доля! — снова сказал Тешша. — Я безотцовство хлебал. И посербетине моей — то же!

— Задохни! — зло прошипел хорунжий Махаев.

И снова стало тихо. Я попросил Удю принести мне мою винтовку, оставленную на время работ в одной из пирамид и теперь одиноко лежащую вместе с посудой Самойлы Василича. Стрелять из нее я не смог бы, но с ней было спокойней. Я приставил ее к брустверу и приказал Уде ни при каких обстоятельствах ее не забывать. Следовало еще обговорить наши действия. Опережая меня, с этим ко мне подошел хорунжий Махаев. Я велел позвать — Самойлу Василича и Трапезникова. Не успели они подойти, как вдруг смерклось — да столь быстро, что мы невольно оглянулись окрест. На наших глазах ледяная седловина исчезла в плотной массе

бурана. Сильно дохнуло ветром, успевшим облепить нас, первыми и влажными снежинками, а следом обрушился на нас град. Казаки, как один, приседая, нахлобучили шапки на самые носы и весело оскалились. Ближний хорунжий Махаев что-то прокричал. Я смог разобрать лишь слово “Кашгарка”. Град накатывал волнами и наискось. В секундные передышки между волн, когда он несколько редел, я открывал лицо и смотрел за бруствер.

— Да садитесь, ваше благородие! — позвал Самойла Василич. — Кого там смотреть? Он ведь сейчас в кучу сбился и стоит, как баранье стадо!

Замечание было верным. Но я вспомнил, что в Маньчжурии Саша стоял под неприятельским огнем. Я понимал, что это дурость, — однако не захотел прятаться. Злая веселость казаков передалась мне.

Град словно бы порвал небесную холстину, и в дыру вывалилось солнце, после тьмы такое сильное, что нельзя стало различать теней. По сути, их не было. Толстая корка льда отражала саму себя со всех сторон и наотмашь била по глазам. Я потерял ущелье. И, хуже того, я вообще потерял ориентацию — столь все стало сияюще одинаковым.

Кто-то первым оглянулся назад, на отрядную дорогу. Оглянулся и я. Конная группа в пять-шесть всадников и столько же вьючных лошадей угольно-черными знаками из прямых и поперечных клиньев выходила к нам. Передний знак можно было расшифровать как урядника Расковалова с его ослом. Он вел помощь.

Один из конников, опережая Расковалова, неровным курц-галопом направился к нам.

— Господа казаки! Где здесь штабс-капитан Норин? — заглушая хруст льда под конями, закричал он.

— Раджаб! — кинулся я навстречу.

— Ха-ха! Штабс! — слетел он с седла.

— Стоять, сотник! — крикнул я в ужасе перед его объятиями.

Он в удивлении уставился на мою руку.

— Успел! — стал ругаться он. — А я не поверил твоему уряднику! Думал, напраслину он на юного друга моего наводит!

— Какую напраслину? — не понял я.

— А, черт побери! Все кругом отходят! А он мне белиберду несет!

— Кто отходит? — не понял я, а в мыслях обругал Раджаба: “Врешь, абрек! Кто отходит, если мы тут и тебе приказано прикрыть вместе с нами фланг!”

— Все отходят! Весь отряд отходит! — отмахнулся он. — А я вот тебе в подарок прихватил!

Я увидел на вьюках горную пушку.

— Раджаб! — только и смог сказать я.

— А куда мне тебя подевать! Урядник твой говорит: “Этот наш обалдуй штабс с десятью винтовками хочет турецкую дивизию остановить!” Э-э, думаю, это точно мой юный друг! Ты знаешь, что около двадцати тысяч обошли наш фланг?

— Как же двадцать? Откуда известно! — снова обругал я Раджаба.

— Все бегут туда! — вместо ответа показал он на север. — А тут пехотный батальон с двумя этими, — он ткнул рукой во вьюки, — куда-то тащатся. Я: “Кто командир?” Подбегает поручик и рукой под козырек: “Командир взвода горных орудий!” Я: “Честь имею, поручик! Перед вами командир третьего горско-моздокского казачьего полка Раджаб-бек! Приказ его превосходительства: одно такое, — я показал на эти сумки, — придать нашему полку!” Поручик: “Вашество, но вот у меня приказ поддержать пехотный батальон!” Я: “Людей тебе оставляю, а эту штуку забираю себе! Исполнять! Кругом!” Так что давай, мой юный друг, показывай место!

— Урядник! — посмотрел я Расковалова.

— Так что! — приставил он руку к шапке.

— Да какой приказ! — оборвал Раджаб. — Я же говорю — отходят. Смотрю, пограничный казак от одного к другому бегает. “Ты чей?” — спрашиваю. “Отдельной казачьей!” — отвечает. “Норин у вас?” — “Так точно, и есаул, и штабс-капитан!” Ну, думаю, мне и одного штабса достаточно! И к начальству: “Отпустите!” Так что, штабс, показывай место нашему подарку!

— Господин командир! Борис Алексеич! — в один голос позвали от бруствера хорунжий Махаев и Самойла Василич.

— Вон туда! — показал я место пушке, поворачиваясь на зов.

— Вон туда, быстро! — повторил команду Раджаб.

Мы вместе уставились на лощину.

— Чертов град! — начал ругаться Раджаб, закрывая глаза рукой. — Лошади сдурели, едва не понесли. Пришлось укрываться в ельнике. Время потеряли.

— Им тоже досталось! — кивнул я на лощину, ничего там не видя.

— В цепи разворачиваются. Количеством батальон будет. Густо идут! — подсказал Самойла Василич.

— Значит, нет приказа? — спросил я урядника Расковалова.

Он вновь виновато прижал руку к шапке. Я увидел, как неумело снимают орудие казаки Раджаба, и побежал к ним.

— Это вот так и сюда, а это сюда! Да возьмите же инструмент! — стал я учить казаков.

— Господин штабс-капитан, действия наши обговорить бы! — напомнил хорунжий Махаев.

— Сейчас! — отмахнулся я, не в силах оторвать себя от родного дела.

И, будто прибавляя мне этого родного дела, в ущелье по-родному грохнул орудийный выстрел. Мы все замерли. А над нами прошел родной мне ветер и лопнул окрашенным облаком, не долетая заставы. Он пригнул всех

к земле. Лишь я один устоял, как бы даже и наслаждаясь происшедшим, — по крайней мере, я чувствовал, что расплылся в улыбке, — но здесь же соображая, что сейчас последует другой ветер, который, сориентировавшись на окрашенное облако, лопнет над заставой, где спит с казаками Саша. Ветер, конечно, последовал. Не успели все подняться, как он прошелестел над нами и с треском превратился в облако за заставой, миновав скалу. Все опять ткнулись в землю. Так быстро выстрелить второй раз одно орудие не могло. Значит, их было не менее двух. И нас на Марфутке они или не знали, или игнорировали, считая первой задачей разбить заставу. Из этого выходила и моя первая задача — не дать им это сделать. Такая задача весьма успешно выполнялась мной две недели назад. Я приказал командовать полусотней хорунжему Махаеву и сам схватился за инструмент. Я стал показывать Раджабу и его казакам, что и как делать, и одновременно составлял себе план действий, основой которого было первым же выстрелом отвлечь огонь от заставы, совсем не помня, что, кроме меня, никого из артиллеристов здесь не было и, значит, никто не смог бы мне помочь быстро и грамотно управляться с пушкой. Ведь даже простейший прицел по горизонтали, то есть поворот пушки на нужный мне градус, казаки по отсутствию опыта не были в состоянии сделать. Я это забыл, но тотчас понял и велел подать пушку к брустверу и закрепить сошники. Казаки растерянно и неловко стали хватать ее где ни попадя.

— Да что же вы! А ну поднимай тут, навались тут! — вне себя закричал я да так, что и Раджаб кинулся к лафету.

А по заставе пошли выстрелы гранатами.

— Едрическая сила! — закричал Самойла Василич.

— Все сгорит! — зло кинулся ко мне хорунжий Махаев.

Я оглянулся. Дым разорвавшихся гранат, смешиваясь с новыми разрывами, вздыбленным загривком собаки встал над заставой.

— Ломом! Ломом! — закричал я на казаков, тщетно пытающихся закрепить сошники.

Казаки схватились за лом. Я, пренебрегая болью в глазах, уставился на ущелье, но лишь больше ослеп и ничего не увидел.

— Где они? — спросил я Самойлу Василича про орудия.

— Чуток в глубине! — заспешил он объяснить. — Буди, видели там изгиб. Как раз у изгиба две штуки!

Я вспомнил этот изгиб и быстро сосчитал дистанцию.

— Стоять! — приказал я казакам у орудия. — Сейчас стоять, а потом по моей команде вот этой штукой, — показал я на правило, — и вот так колеса, — показал я, как взяться за колеса, — двигать ее чуть вправо, чуть влево, сколько скажу!

Казаки послушно взялись за лафет и колеса. Я нашел репер. Конечно, прекрасно было бы стрелять с прямой наводки и с пристрелкой. И прекрасно было бы стрелять не из этой старушки, родившейся задолго до меня, а из образца девятого года с совершенным прицельным устройством, системой отката ствола и большей скорострельностью. Однако же превосходно было уже то, что была хотя бы она. Я ее погладил по казенной части, как теленка по крестцу, и приказал гранату.

— Гранату! — крикнул я, запоздало понимая, что казаки не разбираются и в артиллерийских патронах. Я оторвался от прицела. — Ты, ты, ты… — стал я тыкать рукой в первых, кто попадался, оставляя их при пушке, а остальных отгоняя к зарядным ящикам. — Ты раскрывай вот этот ящик, ты подноси патрон и вгоняй его сюда, а потом быстро за другим патроном!..

Едва ли кто успевал запомнить за мной.

— Вахмистр! Вахмистр! — кричал я Самойле Василичу. — Как только огонь по заставе прекратится, ты — быстро туда, а оттуда с имуществом — в отряд!.. А теперь следить за моими разрывами!

О Саше я уже не помнил. Да и что за нужда была помнить, когда казаки от заставы уже чехвостили к нам.

С грехом пополам мы зарядились гранатой. Я взял шнур. Пушка по-телячьи взмыкнула, махнула длинным языком и прыгнула в сторону.

— Выстрел! — сказал я себе, открыл затвор, а потом посмотрел на Самойлу Василича. — Что?

Можно было бы не спрашивать. Уже по тому, как пушка прыгнула, я понял — сошники не были закреплены, и граната ушла к чертям собачьим.

— Чуток не угодили! — с сожалением откликнулся Самойла Василич.

— Закрепить лафет! — рявкнул я на казаков и на Раджаба.

— Бревном ее придавить, косопатую! — подсказал кто-то из бутаковцев.

Что-либо объяснять у меня не было времени. Я побежал к Самойле Василичу.

— Где? Сколько — чуток?

Он мне стал показывать в ущелье. Я кое-как, жмурясь и отирая слезы, различил дым своего разрыва.

— Теперь бы правее и чуток ближе! — попросил Самойла Василич.

Я в сердцах обругал его за такие поправки и снова сделал прицел.

— Выстрел! — снова сказал я себе, открывая затвор после второй гранаты.

— Опять чуток в сторону! — застрадал Самойла Василич.

— Вы наконец закрепите мне лафет, сотник? — заорал я на Раджаба.

— Борис Лексеич, пехота из лощины пошла! — сообщил Самойла Василич.

— Пошла — попросим обратно! — сцепил я зубы и погнал ствол на минусовые

градусы, собираясь стрелять прямой наводкой.

Предельный отрицательный угол по вертикали у этой пушки был пятнадцать, то есть лучший, нежели у современной. Даже при значительном уклоне, какой был с нашей стороны гребня, этого минуса с лихвой хватало.

Я погнал ствол вниз, а он вдруг остановился, словно бы наткнулся на невидимый рубеж. Остановился и даже как-то этак причакнул: вот бежал-бежал, ткнулся во что-то и — чак!

— Что? Почему? — не поверил я, чуть приподнял ствол и с размаху пустил его обратно еще раз.

И он еще раз мне на той же отметке остановился — чак!

Пушка была неисправной. И того поручика, командира взвода и ее хозяина, следовало отдать под суд. Не меня, как то собирались сделать, а его.

— Под суд! — выдохнул я, сознавая, что теперь это уже не имеет никакого значения. А потому закричал:

— Орудие за бруствер!

Никто меня не понял.

— Орудие за бруствер! — взвыл я.

— Но эти бревна? — от растерянности уставился на меня Раджаб.

— Рубить, пилить, растаскивать! Но орудие за бруствер! — сорвал я голос.

Я знал, что это значило — орудие за бруствер. Догадался об этом и Раджаб. Да и кто бы не догадался. Но это был мой день. Иного у меня не могло быть.

— Полминуты тебе, сотник! — холодно сказал я и потом остановился безучастно наблюдать, как казаки истово взялись рубить сучья, веревками растаскивать бревно за бревном. Все было так просто и обычно. Все было как в жизни. Нужно было только прожить полминуты, пока казаки делают проход, и еще полминуты, пока они выкатят орудие. И эта минута тоже была как в жизни. Ничего такого, что не походило бы на жизнь, не было. А жизнью было лишь то, что было вокруг меня. У меня сейчас была минута. И ее мне вполне хватало для жизни.

К концу этой минуты снова налетел ветер — да не такой, который мог бы лопнуть окрашенным облаком или вздыбить шерсть на загривке собаки над заставой, — а самый обыкновенный, живой, выкатившийся из-за ледяной седловины огромным стогом почерневшего сена. Он налетел, выкатил этот стог, закрыл солнце и загасил сиянье. Стало все хорошо видно. Два орудия у изгиба ущелья брали меня в прицел, и густое чернение пехоты выходило из лощины. Я глубоко вдохнул в себя и не почуял боли в ранах. А может быть, и почуял. Но эта боль была ничтожной частью меня. Казаки уже растащили проход.

— Орудие за бруствер! — сказал я, и пошел следом, только оглянулся на бежавших от заставы казаков.

Граната в стороне удачно попала в гребень, подняла и расщепила несколько

бревен. Казаки упали. Только Удя, оскалясь, остался рядом.

— Что, чуешь смерть, казак? — возможно, с похожим же оскалом спросил я.

Удя пробубнил невнятное, наверно, то, что обычно отвечал Саше. Казаки поднялись и рывками выкатили пушку за бруствер, тут же увязнув в снегу. Я посчитал позицию достаточной, приказал шрапнель. Я поставил трубку на разрыв снаряда, едва он вылетит. Невдалеке снова лопнула граната. По колесу возле моего виска ударило с такой силой, что колесо переломилось, и пушка как бы припала на одну ногу. Я заорал ей стоять — в том смысле, чтобы держала горизонтальный прицел, хотя уже никакого, ни горизонтального, ни вертикального прицела мне было не надо. Цепи — собственно, не цепи, а густые толпы, не развернувшиеся в цепи из-за глубокого снега — я смести не смог бы, лишь стреляя в противоположную сторону. Стрелять по ним было просто неинтересно. Или, точнее, стрелять по ним было равнозначно озлобленному битию младенца.

— Ввашу мать! — обругал я их скверно и в презрении.

Кажется, я выстрелил четыре раза. Я не смотрел, что было там. Я ждал наказания Господня. Я ждал прямого попадания по мне гранатой. Ее покамест не было. И я оглянулся на казаков — на тех, которые таращились за бруствер и не верили моей работе, полагая, что противник залег и сейчас поднимется, и на тех, которые бежали от заставы.

— Прекрасная работа, юный мой друг! — опомнился Раджаб.

— Где есаул? — гневно спросил я Самойлу Василича, не видя Саши и предполагая его спящим.

— Так что! — вдруг помертвел и вытянулся старый вахмистр.

— Что-о? — захлебнулся я своим гневом.

— Ишшо ночью… в голову!.. — донеслось мне.

Так наказывать Господь не имел права. Я подумал об этом, и граната прилетела.

— К орудию! — завопил я и увидел, что Раджаб лежит лицом в снег, а тужурка на его спине размашисто и грубо изорвана. Белые позвонки с острыми шпицами расколотых ребер вперемешку с клочьями тужурки тонут в застывающем, словно Кусиян, озере.

— Дак кого это? — с обидой вместо ужаса спросил один из моих казаков.

— К орудию, вашу мать! — потребовал я с угрозой.

7

В марте следующего, пятнадцатого, года, находясь на излечении в Горийском госпитале — это городишко в Тифлисской губернии, — я получил письмо. Уже потеплело. Но день выдался ненастный, вьюжный. Бураны, как

и на Марфутке, падали с окрестных гор каждый час, и я оставался в палате. Буквально днями пришла весть о награждении меня за первый мой бой орденом Святого Георгия. То есть начальство отряда и, полагаю, в первую очередь полковник Алимпиев, сочло возможным не только избавить меня от суда, но и оставить в силе свое представление к награде. Известие госпиталь взволновало, ибо за три месяца я обнаружил здесь немало друзей и внушил к себе самое теплое отношение персонала. Думается, не следует и объяснять, как это произошло. Больные и раненые сходятся быстро. Я к тому же был привезен в госпиталь по спискам безнадежных, что, вероятнее всего, было чьим-то преувеличением. Я был контужен и сильно обморожен. Дополнительно к этому кого-то сильно испугала воспалившаяся моя рана от вилы. Но в конце концов все это не сыграло рокового значения. Я долгое время хворал воспалением, впадал в беспамятство, бредил, однако выжил. Сказывали, многих мне подобных свезли на кладбище. Я же выжил, чем принес несомненную радость всем госпитальным. К ордену мне полагался чин капитана не в очередь. Ожидался приезд для вручения если уж не самого наместника, то весьма высокопоставленного лица, так что госпиталь в связи с различного рода посещениями, осмотрами, комиссиями и ревизиями на предмет наивозможно лучшего представления его начальству стал походить на присутственное место. В эти-то дни я и приобрел привычку уходить в город, заручившись поддержкой пожилого санитара, ссудившего мне ветхий фейерверковский мундир тем лишь для меня благой, что принадлежал он по родному мне, так сказать, ведомству, то есть был артиллерийским. На дальние прогулки меня покамест не хватало. Я мечтал сходить до недалекой реки, до базара, до крепости. Но лишь выходил за ворота — начинал задыхаться, мучаться головокружением. Однако, вооружившись тростью, ходил по окрестным госпиталю улочкам, постоянно озираясь на могучий хребет, подступивший к городишку с юга. Хребет отнюдь не имел ничего общего с ледяной седловиной, замыкавшей нашу поляну тоже с юга. Несоответствие меня не задевало. Я ходил по улочкам и оглядывался на него. И если от какого-либо места он оказывался скрытым, я вдруг начинал напрягаться и нервничать. Даже собаки не задевали меня столько. Их в городишке было предостаточно, и вели они себя не в пример мирно. Однако же память моя могла работать иначе. Но вот собак я не боялся, а оттого, что в каком-нибудь месте улочки, оглянувшись, не мог увидеть хребта, я терял покой. Будто я ждал оттуда чего-то. И то, чего я ждал, могло, пока я не вижу, исказиться или совсем миновать. Разумеется, это было нервное. Я об этом догадывался. Но все же волновался и чего-то ждал. Я вспоминал полусотню, наш бой, слова Самойлы Василича о гибели Саши, разбитую спину Раджаба, жестокий удар по колесу орудия осколком, мои выстрелы, мою грубость — то есть вообще все, что помнил. Этими ли воспоминаниями сгладил я себе остроту переживания, ежедневное ли наблюдение страданий и смерти здесь, в госпитале, тому способствовало, однако я

как бы привык к мысли, что Раджаба и Саши нет. Более меня мучило неведение, чем завершился бой. В документах о моем поступлении в санитарный транспорт у меня значилось двадцать четвертое декабря — и это прямо говорило о благополучном завершении боя. Следует только сосчитать: двадцать четыре минус девять, то есть из даты моего поступления в санитарный транспорт вычесть дату нашего боя на Марфутке, как всякому станет ясно, что я две недели не мог быть неизвестно где. Эти две недели я мог быть только на попечении полусотни. Я не по разу на дню проделывал это несложное арифметическое действие, чем-то мне напоминающее детские мои упражнения с греческой грамматикой, и каждый раз у меня выходило превосходно. У меня выходило, что полусотня жива. Но все-таки мне нужны были подробности. По мере выздоровления пришли и прежние терзания о поступке моем в отношении капитана

Степанова. Но теперь я знал, что люблю Наталью Александровну, каковою бы она ни была, и терзания уже не причиняли мне той боли. Я знал, что люблю ее, если даже не умею любить. Я дал себе обещание поехать в Батум и если уж не справиться о ней у полковника Алимпиева, то хотя бы подышать тем воздухом, которым мы с нею дышали вместе. И тут мне в помощь вышла наша российская неразбериха, наше российское чиновное мышление, по которому откомандированным от своих частей офицерам прекратили пересылку содержания, объясняя сие действие как раз тем, что кругом неразбериха, что никто ничего понять не может, и откомандированным следует за содержанием приезжать в свои части самим. В любом случае мне выходило в Батум ехать, выходило как бы самою судьбой.

Посредством различных наших воспоминаний — кто, где и в составе какой части служил, — не полагаясь на газеты, освещающие наши события таким образом, что более честно было бы совсем их не освещать, мы составили себе приблизительную, а возможно, и более точную, нежели у командования, картину боев, из которой выходило, что панические настроения, вроде тех, о каковых говорил Раджаб, были присущи едва ли не всей массе войск. Наши части в рвении своем сумели даже оставить Ардаган, город в столь глубоком нашем тылу, что при самом малом неприятельском продвижении оказалась бы отрезанной вся Карсская область, то есть весь наш фронт. Некоторые наши командиры умудрялись потерять свои части, а некоторые с отчаяния сдавали их неприятелю. Сказывали даже о том, что медицинские чины карсских госпиталей во всем составе, за исключением наиболее преданных долгу, в спешном порядке отъезжали железной дорогой на Тифлис. Вообще вышла у нас самая неприглядная картина, хотя отдельными местами наши части дрались превосходно, до последнего патрона и штыками, не отойдя от своих позиций ни на шаг. А о командире сибирской казачьей бригады Калитине говорили даже, что он взял обратно Ардаган с потерею лишь шестнадцати человек и с истреблением неприятеля до двух полков. Но эти места, как и последующий разгром неприятеля и наш выход на прежние рубежи, общей нашей неприглядности не исправили. Начальное небрежение противником повернулось нам массой потерь. Все это знать было невыносимо и прибавляло к физическим страданиям душевные, хотя большей частью первые мы переносили с терпением. Я не буду говорить о своих болячках. Скажу о подпоручике Кутыреве из нашей палаты. Он уже перенес две ампутации ноги — до колена и выше колена, —

ампутации, не давшие гарантии против заражения. Далее резать уже нечего. И он знает, что этой весной его не станет. Но он всегда аккуратен и смотрится молодцом, словно этой весной ему выпадает обвенчаться с любимой женщиной. Мне, влюбленному и как бы более счастливому против него, это знать тяжело. Причем столь тяжело, что я порой ловлю себя на предательстве. Я ловлю себя на том, что мне хочется, чтобы Наталья Александровна любила не меня, а его. Верно, не умею я любить. А он, подпоручик Кутырев, он даже обещает составить мне партию в прогулках, и я его поддерживаю. Он читает древнюю историю и удивляет нас суждениями о ней. Я ему рассказал случай моего награждения. Он принял это нормально, и, более того, он сказал, что мы надолго потеряем себя и свое государство, потому что большая масса граждан осознала несоответствие своего положения с их представлением об этом положении, то есть, проще говоря, общество наше вскоре расколется. Этакий раскол чреват для всякого общества — для российского же тем более. Почему именно для российского “тем более” — не мне судить. Он видит больше. Объем и остроту его виденью дает сама краткость отведенного ему времени.

— Я за время от моего ранения прожил очень большую жизнь, — сказал он. — Я понял, что я всех пережил, что тех, с кем я был, уже нет, и я остался один, и мне не с кем вспоминать.

Я сначала не понимал, о чем он. Я думал, что все его сослуживцы погибли, и сочувствовал ему. Вообще я слушал всех, печалился со всеми и радовался, но мне постоянно было стыдно, что сам я ничего не могу сказать о моих бутаковцах. Я помнил свой последний миг, призыв к орудию, помнил, что у меня не было права отвлекаться, не было права отдаться чувствам. У меня было лишь право хладнокровно стрелять. И рассказывать об этом, конечно же, было по меньшей мере смешно и глупо — хорош, командир, не знающий о судьбе своего подразделения! Потому я сочувствовал подпоручику Кутыреву и завидовал ему — он ведь знал о своих людях, знал, что все они погибли, и сам он, исполнив долг, умирает в госпитале.

Думаю, не следует говорить, как я обрадовался, когда мне принесли письмо, оказавшееся от бутаковцев, точнее, от сотника Томлина Григория Севостьяновича. Особенно радостно было получить письмо еще и потому, что последние минуты боя, мои минуты, я вел себя с казаками не лучшим образом. Теперь же письмо говорило, что казаки меня помнили, обо мне беспокоились — то есть не таили на меня зла. Я с жадностью схватился читать его и вдруг понял, о чем говорил подпоручик Кутырев, потому что вспомнил — точно в таком же состоянии глубокой старости, когда рядом никого из сверстников уже нет, я тоже жил. И было это не знаю уж на какой день нашего боя. Я уже был контужен, но боем руководил. Я вспомнил — мы удержались на Марфутке. Мы остановили неприятеля и встали друг против друга. Мы промерзли так, что кипяток остывал во рту. По крайней мере, мне так запомнилось. Неприятель перестал стрелять. Видимо, была сильная пурга, а потом опять прояснилось. И я помню, что мы замерзли. Вы бы знали, что это такое — сверкающая тишина в горных снегах. С ней не сравнится ни одна колыбельная песня ни одной самой любящей и доброй матери. Я стал старым. Мне исполнилось девяносто лет. Я реально ощущал возраст. Я это ощутил и захотел поднять казаков в

атаку. Если неприятель не стреляет — надо заставить его стрелять, надо просто подняться в атаку. Я это ощутил и открыл глаза. Я нимало удивился, увидев над собой войлочную подстежку, закуржавленную моим дыханием. Я понял — казаки решили меня сберечь. Я понял, как это подло — быть сбереженным. Мне следовало подняться в атаку. Я начал вставать, но оказалось, что я не просто лежал в палатке. Я еще был в эти войлочные подстежки заботливо увернут. Я взбесился от такой заботы. Не помню, как я одной рукой одолел путы. Я выбрался наружу. Я не стал оглядываться. Я вынул шашку и пошел за бруствер.

— Полусотня! — сказал я.

Я это сказал по привычке. Ведь я был одиноким стариком, дожившим до девяноста лет. Я не хотел оставаться в одиночестве. Я злобно кричал на казаков, когда они не могли четко исполнить моих команд. Но я не имел на них злобы. Я их любил. И без них я не хотел пребывать в никому не нужном моем девяностолетнем возрасте. Ничуть я не имел злобы и на неприятеля. Ведь пока он стрелял — мы были живы. Он обеспечивал нам жизнь — и с какой стати я должен был его ненавидеть? А теперь по его милости мы умерли. Он перестал стрелять, и мы умерли. Я понял, что теперь его ненавижу. Я сказал:

— Полусотня!

Я сам себя не услышал. Но ведь я помнил, что я так сказал. Нам нужна была стрельба. Я пошел, чтобы вызвать стрельбу. Неприятель же не стрелял. Я сказал:

— Сейчас встречу первого же и буду медленно кромсать его шашкой, чтобы он кричал, чтобы все слышали и стреляли.

У меня не было моей шашки, серийной, образца восемьдесят первого года. У меня была шашка Раджаба с ее заклятием не трогать безоружных. Но я сказал, что буду кромсать первого же.

Я дошел до лощины, где они лежали. Я увидел голубые глаза. Я принял их за глаза Натальи Александровны. И мне стало хорошо. Я вообще увидел себя в лугах над Белой в тот день, когда я потерял с солдаткой невинность. Я увидел, что сделал это не с солдаткой, а с Натальей Александровной. Мне стало хорошо. Но я испугался, что к старости, к девяносто первому своему году, я буду тосковать по ней безмерно. И я вспомнил, что глаза Натальи Александровны не голубы. Эти глаза были голубыми и кроткими, какими никогда не были глаза Натальи Александровны. И я увидел: да, я не в лугах над Белой и не в доме полковника Алимпиева в Салибаури. Я увидел турецкого солдата, лежащего будто скатка. Он лежал, как свернутая шинель, и смотрел. Рядом лежали еще. Лисы или шакалы грызли их, а этот кротко смотрел и ждал. Я ничего не понял. На старости лет я выжил из ума, и мне нечем было понимать. Я опять сказал:

— Полусотня!

Я так сказал, и у меня порвались губы. А лисы или шакалы не испугались. Они только поджали хвосты и ощерились. Но тех, других, кого грызли, не бросили. Они отбежали, когда я выстрелил. Был день, сверкающий день в снегах под Олту или для большего благозвучия — в снегах Сарыкамыша, потому что словцо Олту не очень

уж в данной фразе звучит и тем более что все чаще бои наши в прессе стали называться боями в районе Сарыкамыша. Был день, сверкающий день в снегах Сарыкамыша. Солнце согрело мне щеку. Я открыл глаза. Я лежал подле голубоглазого турка. Значит, когда я сказал полусотне команду, я упал. И значит, я не стрелял. Я просто упал и сейчас, открыв глаза, увидел — я лежу подле голубоглазого, но самих голубых глаз нет. Есть только поджатые к тощим согнутым лапам подрагивающие хвосты, есть только урчащая и безжалостная стая лис или шакалов. “Мы вас нашли по свежему следу к турецким цепям, — писал сотник Томлин Григорий Севостьянович. — Вы были без сознания, и вас ждали шакалы. Мы их отогнали выстрелом. Бережет вас Бог, что мы надоумились пойти по следу, но не дай Бог кому-то увидеть то, что мы увидели на заставе и на Марфутке. Мы только смогли отдать последнюю почесть, что свезли всех в ямы от гранат и завалили камнями. Об остальном, как у нас все вышло, я напишу в другой раз, потому что не особо знаю, найдет ли вас это письмо. Начальник санитарного транспорта сказал, куда вы будете доставлены. А так ли, я не знаю. Вы сообщите мне, и я все вам напишу. Вот, Борис Алексеевич, поминайте всех наших казаков-бутаковцев и брата вашего Александра Алексеевича, нашего командира. С ним мы ходили на Каракорум, и теперь мне без него худо”.

Я пролежал в постели весь день. Я понял, что сгубил полусотню, чего не сделал бы Саша. Как бы поступил он, я не знаю, но уверен, что людей бы он сохранил.

Через своего санитара я добыл вина, и мы, все кто мог, напились. Подпоручик Кутырев с нами не участвовал. Он опасался, что вино губительно расслабит его волю. Мы с ним крепко пожали друг другу руки, ибо жили в никому из нас не нужном девяностолетнем возрасте. От Томлина письма больше не последовало.

8

Нового командующего армией генерала Юденича мы ждали на Святую Пасху.

Я здоровьем поправился. Беспокоила врачей лишь остаточная после контузии моя нервозность, но для ее преодоления рекомендовались мне курорт и отпуск домой. Сестра Маша прислала хорошую сумму денег с теплым пожеланием выздоровления и нетерпеливым ожиданием моего приезда. Племянники, мальчик Бориска и девочка Ираидочка, к письму приложили свои каракули, и именно каракули возвратили мне давно утерянное чувство дома. О гибели Саши, как и о нашей встрече, я ей ничего не сообщил.

Деньги я употребил на шитье нового мундира и новых сапог, рискнув их заказать здесь же, в городишке, портному, Николаю Ивановичу, и сапожнику по имени Вахтанг. Николай Иванович, неведомым образом уловивший в этаком заштате последние веяния моды, убедил меня сшить вместо обычного кителя некий френч, только-только появившийся в столице.

Я с каждым днем хорошел душевным и физическим своим состоянием. Этого нельзя было сказать о подпоручике Кутыреве. Его поместили в отдельную палату с постоянной сиделкой. Он умирал. Страдания доводили его до беспамятства. Утешить его было нечем. Порой во взгляде его я видел муку от моего посещения. Вероятно, он уже не боялся смерти, переступил порог, и все по ту сторону порога, все, связанное с жизнью, его мучило. Я испытывал стыд за свое выздоровление, особенно за усиливающееся мое желание женщины. Наталья Александровна не утратила для меня значения. Она только отодвинулась вместе с событиями, осталась как бы в них, прошедших, как остались там Саша, Раджаб, бутаковцы. Пока подпоручик Кутырев мог держаться, я мысленно дарил ему Наталью Александровну, и, пока дарил, она была живой. А только стало, что Кутырев шагнул за свой порог, Наталья Александровна тоже последовала за ним, и я боялся, что с его смертью умрет и она. Здраво рассуждать — так оно бы и превосходно. Но чувство здраво не рассуждает, как, впрочем, и хорошее здоровье. А оно, здоровье, брало свое. Я мучился по физическому обладанию женщиной. И мог бы обладать, если бы прилагал к тому усилия. Однако не прилагал. Или, вернее, более прилагал их, чтобы избежать такого обладания. Причиной, конечно, была Наталья Александровна.

Мой сосед, пожилой капитан Сергей Валерианович Драгавцев, получивший ранение легкого — по счастию, не роковое, — мое состояние увидел, как увидел и то, что я пользуюсь вниманием у сестер милосердия.

Вообще, как ни странно, война дала массу свободного времени, так как массу же дел и условностей, абсолютно необходимых в мирной жизни, признала ненужными. Этим она обнажила чувство бесстыдства — не потери стыда в смысле совести и долга, а потери стыда в смысле чувственности. Даже и мое событие с Натальей Александровной можно было объяснить этой потерей. Равно же ею могло объясниться и отсутствие угрызений за это событие и за прямо-таки скотское физическое влечение.

— А вам, Борис Алексеевич, опять Танечка Михайловна глазки строила! —

говорил Сергей Валерианович.

— Да вот еще! — будто сердился я.

— А ведь вы не прочь бы, а, Борис Алексеевич! — улыбался Сергей Валерианович. — Да и следует. Иначе вы скоро прослывете в невыгодном свете!

Три здешние сестры милосердия и одна фельдшерица — весь женский персонал медиков — были как на подбор существами привлекательными. Маленькая черненькая, с примесью местной крови красавица Танечка Михайловна была девушкой довольно строгой и серьезной. Однако, думалось, что это был только вид. Она действительно смотрела на меня несколько необычно и в разговоре была более задумчива, то есть больше слушала, но меня ли слушала или себя, я не знал. Сергей Валерианович из своего опыта считал это положительным обстоятельством, называя ее взгляд “строить глазки”.

Другая, Ксеничка Ивановна, была замечательна веселым нравом и лучистыми серыми глазами, непередаваемо сочетающимися с прекрасными темно-русыми бровями и тремя-четырьмя конопушками на чудесном носике. Руки ее, мраморно-точеные, представляли верх совершенства. Третья, Анечка Кириковна, обладала превосходными, некрупно вьющимися волосами с рыжевато-охристым оттенком, явно повторяя в этом портреты времен Боттичелли. Она и фигуркой обладала наиболее стройной из всей четверки. И все время оставляла впечатление здоровой, радостной, выросшей в небольшом и уютном поместье девушки. Четвертая была высока и строга. Она была из учителей, пойдя с началом войны на курсы, и оказалась у нас в госпитале уже при моем пребывании. У нее был муж, тоже медик, пропавший без вести в Восточной Пруссии. Звали четвертую Александрой Федоровной. Все они четверо были целомудренными, несмотря на беспрестанные приставания выздоравливающего нашего брата. Этакого нельзя было сказать об остальных, особенно тех, кто работал в санитарных поездах.

Мне прежде всего понравилась Ксеничка Ивановна, которую я занимал рассказами об артиллерийских премудростях и прочими своими знаниями, кажущимися ей чрезвычайно интересными. Я этот интерес принял за интерес к себе. Она столь внимательно слушала и столь лучилась своим взором на меня, что я не смог однажды не вздрогнуть от толчка в сердце, который впервые испытал при Наталье Александровне. Я стал за ней ухаживать. И она не давала повода к прекращению ухаживаний. А потом вдруг вышло, что она уже давно любит другого человека, какого-то музыканта. Где этот музыкант, она не говорила. Вероятно, он совсем о ней не думал. Но она его любила, говоря, что ни за кого более не выйдет замуж и лучше уйдет в монастырские больницы. Именно ее более всего я мог бы представить своей женой. И, конечно, при известии о музыканте я несколько мучился. А Сергей Валерианович изрядно, но в рамках надо мной потешался, одновременно поучая меня не мучиться, а утроить настойчивость.

— Вы ведь ей очень интересны. И музыкант может оказаться вполне мифом, потому что так ей легче скрыть свое чувство! — поучал Сергей Валерианович.

Все бы это было совсем неплохо, кабы не умирал мой подпоручик Кутырев и кабы я не стал себе составлять зависимость смерти его, Саши, Раджаба и бутаковцев

от встречи со мной. Была война, и никакой зависимости не существовало. Это было очевидным. Но в некоторые отчаянные дни такие настроения брали верх.

В день, когда нам объявили о генерале Юдениче, меня охватило очередное подобное настроение. Чтобы развеять его, я вне срока пошел к Николаю Ивановичу. Ателье его, состоявшее из двух комнат, размещалось в первом этаже маленького двухэтажного дома в самом начале кривой и опрятной улочки, опоясывающей крепостной холм. На одной из соседних улочек однажды я обнаружил примечательную медную доску в знак того, что на этом месте в одна тысяча восемьсот двадцать восьмом году размещался военный лазарет, в котором умер от ран герой русско-турецкой войны генерал Н. Я и сейчас сначала прошел в эту улочку и именно к этой доске, думая, что подпоручику Кутыреву, тоже герою, таковой доски не будет, а уж потом повернул к ателье Николая Ивановича.

— Вы с каждым часом выглядите лучше! — приветствовал меня Николай Иванович и, увидев меня мрачным, прибавил: — Ах, господин капитан! Вероятно, некая особа имела честь быть причиной вашего байроновского вида!

Я увидел свой неоконченный френч, увидел, что он уже хорош, но в нерасположении заметил о приближающемся сроке готовности.

— Не извольте, не извольте! — выставил перед собой растопыренные руки Николай Иванович. — Все будет в самом лучшем ажуре! Ведь уж сколько я господ офицеров за свою жизнь обшил!

Обычно при виде моего френча я мстительно представлял Наталью Александровну с ее мужем. Я представлял, как она в своем Питере мимолетно и снисходительно вспоминает меня — вспоминает мимолетно и снисходительно в том числе и потому, что ее муж уже во френче, а мы все, серая скотинка, провинциальные офицеришки, и понятия о нем не имеем.

“Ах, как мне их жалко, этих милых штабс-капитанов Боречек и Раджабиков, ведь они еще не знают, сколь трепещет женское сердце при виде этого великолепного френча!” — обычно говорила в моем представлении Наталья Александровна.

“Ан нет, дражайшая! Мы уже капитаны и кавалеры, и мы уже ходим во френчах!” — говорил в ответ я, далее рисуя картину моей встречи с Натальей Александровной.

Картина доставляла мне мальчишеское удовольствие, в эти минуты я особенно видел, что никакой женщины, кроме Натальи Александровны мне не надо.

Однако же в день, когда нам объявили о генерале Юдениче на Святую Пасху, было по-другому. Меня одолевала зависимость смерти Саши, Раджаба, бутаковцев и подпоручика Кутырева от встречи со мной. Я молча посмотрел на френч и молча вышел из ателье. Я побрел к главной улице, тянущейся от крепостного холма с севера на юг, к реке и громаде хребта. Там через реку строился прекрасный кружевной металлический мост, предназначенный соединить городишко со станцией железной дороги. Мост был почти готов. По нему можно было во время отдыха рабочих прогуляться. Я пошел к мосту. Но не выдержал вида

надвигающейся с каждым шагом громады хребта и поворотил.

В палате я лег лицом в подушку и лежал, пока не начал задыхаться. Ксеничка Ивановна, улучив минутку от других работ и, верно, кем-то предупрежденная о моем настроении, сделала попытку развлечь меня своим веселым щебетаньем. Я ее попытку неучтиво проигнорировал. Она потупила чудные свои глазки и ушла. Взялся меня отвлечь Сергей Валерианович.

— Генерал Юденич, генерал Юденич, — как бы для себя произнес он, а потом прибавил, уже обращаясь ко мне: — А знаете ли, Борис Алексеевич, вы ведь в Батуме служили. Знаете ли, при вас или после вас такой был случай.

Я в ожидании дальнейших его слов вдруг озяб.

— Там был случай, — не видя моего состояния, сказал Сергей Валерианович, — когда один ротный командир не исполнил, вернее, отказался исполнять поставленной задачи, исходящей как раз от генерала Юденича.

— Какой задачи? — попытался я по-детски сделать вид, будто ни о чем не догадываюсь.

— Толком не знаю, Борис Алексеевич, нам приказа по армии не зачитывали. Но был слух, что, конечно, тот командир был отдан под суд и всякое такое. Задачу же выполнять вызвался другой.

— Кто? — опросил я.

— Вы представляете, Борис Алексеевич, именно вызвался! — не слыша меня, сказал Сергей Валерианович. — Я не одобряю неисполнения, но некоторым образом сочувствую тому ротному командиру. Вероятно, приказ был таков, что задевал честь или что-то в этом роде. Иначе ведь отказаться от выполнения задачи просто немыслимо. И я ему в некотором роде сочувствую. Это — как с лейтенантом Шмидтом в пятом году. Это же судьба и не более. Как честный человек, он не имел права оставить команду без командира. Но ведь еще есть присяга! Ведь на нас еще лежит присяга! И тут всякий уже выбирает себе судьбу, Борис Алексеевич! Но — чтобы вызваться охотником на такое дело, которое затрагивает честь!..

— Кто же вызвался? — не слыша себя, спросил я еще раз.

— Я не могу знать, Борис Алексеевич! Я полагал, что вы больше знаете! Да и не важно кто. Важно — вызвался! — ответил Сергей Валерианович.

Вот, видимо, не хватало мне лишь этого известия. Я снова оказался на Марфутке, спеленутый войлочными подстежками и заиндевелый. Горло мое невероятно быстро опухло, и через несколько минут я уже был в жару и едва держал себя, чтобы не бредить. У меня началась сильная ангина. Вдобавок заболело сердце. Ноющей болью оно образовало сквозную от груди под лопатку трубу калибром не менее трех дюймов — как раз моя незабвенная батарея!

Врачи всполошились. Им стоило немалых трудов в течение двух месяцев ставить меня на ноги, и когда это у них получилось, когда я из безнадежных перешел в палату выздоравливающих, я стал служить госпиталю своеобразным экспонатом умения врачей и своеобразным примером для других безнадежных.

Теперешняя же моя внезапная болезнь все это у врачей отнимала. Конечно, врачи понимали, что это всего лишь возврат болезни, следствие незалеченной контузии.

Но они рассердились на меня, предположив мою ангину и мою боль в сердце следствием моего непослушания, следствием моих отлучек и прогулок в город.

Жар продержался два дня. В самый тяжелый момент, ночью, около меня попеременно дежурили Танечка Михайловна и Ксеничка Ивановна. Впадая в дрему, я видел их обнаженными и ласкающими меня. Просыпаясь, я видел, что при всем моем бессилии к исполнению пригрезившегося я был готов. Мне становилось весело. Я пытался шутить. Но от этого все пугались за меня еще больше. Под утро второго дня случилось совсем неприятное. У меня на миг остановилось сердце. Вдруг я проснулся оттого, что боль прекратилась. Я проснулся, увидел входящую Танечку Михайловну. Я ей улыбнулся, и у меня остановилось сердце. Мне стало легко и радостно, отчего я в испуге по-детски ойкнул, а голова моя скатилась по подушке набок.

Я это говорю совсем не с целью нагнать на кого-то жалости, а лишь потому, что все эти события позволили врачам по отношению ко мне ввести самые строгие санкции, на основании которых меня замуровали в постель до такой степени, что не только выйти из палаты, а встать с постели мне было невозможно, и для оправления мне подавали судно, пойдя мне навстречу лишь в том, чтобы судно подавал мне все-таки санитар, а не мои красавицы. Но на большее врачи не пошли. И попрощаться с умершим именно в эти дни моим подпоручиком я не смог. Остановка сердца меня напугала. Иначе бы, конечно, я не послушал врачей. А тут притих и лежал целые дни напролет, лежал и от скуки спал. И вот, пока я однажды спал, подпоручик Кутырев умер. Я проснулся, а Сергей Валерианович, крестясь, сказал:

— Умер ваш друг подпоручик!

Вот лишь из-за этого, из-за подобной несправедливости судьбы, я и остановился на сем эпизоде из моего пребывания в госпитале. Ни проститься с подпоручиком Кутыревым, ни похоронить его я не смог.

Боль ко мне возвратилась, сердце застучало, трехдюймовая труба вернулась на место, жар спал, горло смягчилось. А я лежал и думал о том, что при внешних благоприятных обстоятельствах судьба выходила мне горькой и одинокой. Никого из близких людей около не оставалось. Все они уходили так, будто я перед ними был виноватым, уходили они без какой-либо возможности проститься. Удрученный, я совсем не замечал одновременных с ударами и подарков судьбы — хотя бы в лице полковника Алимпиева, сотника Томлина, прелестных и самоотверженных фельдшериц, из которых одна могла бы стать мне хорошей женой, будь только я настойчивым.

Собственно, после нескольких дней переживаний о подпоручике я к подобной мысли пришел. Боль моя не проходила. Всевозможные прослушивания и простукивания какой-либо определенности не дали. Врачи, я полагаю, пожали в недоумении плечами. Сергей Валерианович, наблюдая их, сказал свое резюме:

— Да у вас, Борис Алексеевич, просто душа болит. Вам нужны положительные эмоции. Вам надо счастливо влюбиться!

— Ну так я займусь нашими прелестницами! — без энтузиазма сказал я и подумал, а почему бы и в самом деле не исполнить сказанного.

— Только изберите одну, Борис Алексеевич! — предупредил Сергей Валерианович.

Помимо моей воли она, одна, уже избралась. Но она была женой другого и, если не издеваться в мстительном воображении, благородного человека, давнего друга Саши. Она избралась, однако ее надо было исключить из своей судьбы.

— Но будет ли впереди столь счастливая возможность, как нынче? — размышлял я. — Ведь скоро снова в службу. И вдруг, — я впервые об этом подумал. — И вдруг я останусь калекой. Кому же я тогда стану нужен!

Я решил себя заставить влюбиться. Я подробно стал разбирать каждую из прелестниц и в конце концов объявил:

— А вот стану приверженцем Мехмеда и сделаю женами всех! — Тут я поспешил оговориться: — Всех, кроме Александры Федоровны. Больно уж строга!

9

А дни чередой пошли теплые и солнечные. Духота в палатах стала невыносимой — особенно если учесть наличие в них больных и раненых, пользующихся, подобно мне, суднами. Я догадался, что врачи не могут распознать, болит ли у меня, есть ли у меня эта трехдюймовая труба под лопатку. И я нагло соврал им о совершеннейшем отсутствии у меня и того, и другого. А потом решительно сказал о своем намерении встать и вести образ жизни, приличествующий выздоравливающим. Я пригрозил вообще покинуть госпиталь, если они будут упорствовать на своем режиме. Глаза Ксенички Ивановны лучились самым неподдельным осуждением, и это меня бодрило.

— Ах, выкраду я вас, Ксеничка Ивановна! — говорил я ей взором же, как говорил этакое и другим моим прелестницам, смущая их.

Мне было плохо. Но я так вел себя — и врачи разрешили мне встать. А может быть, они устали противостоять всем нам и житейски махнули рукой: все равно не сегодня, так завтра попадете вы все в свои части, а там один Бог знает, не первая ли пуля свалит вас наповал, так что и не надо будет вам полностью восстановленного здоровья. Хотя легочное ранение грозило Сергею Валериановичу осложнением, он сам попросил распахнуть окно. Я это сделал с удовольствием. Палата ожила не только весенним дыханием природы, но и весенним шумом городка. Я лег животом на подоконник и смотрел на воспрянувшую от тепла улицу. Сергей Валерианович несмело встал сзади меня и настороженно втягивал в себя свежий и за зиму лежания в госпитале ставший ему чужим воздух. Каждый миг он был готов от окна отпрянуть. Да в общем-то быстро и отпрянул, начав покашливать. Я на него оглянулся.

— Щекотит и как-то даже обжигает! — виновато и, по-моему, даже пьяно сказал он.

Я закрыл окно. Но палата успела наполниться весной. Сергей Валерианович лег в совершенном счастьи.

— Господи Боже мой! — сказал он, розовея. — Как много можно взять из такого малого!

И правда, опьяненный этими несколькими глотками, он быстро уснул. Я пошел во двор и в дверях госпиталя столкнулся с Анечкой Кириковной, опутанной сиянием прилипшего к ней света.

— Остановитесь! — крикнул я из мрака коридора.

Она не поняла, почему должна остановиться, но, счастливая от весны, рассмеялась. “Да вот я ее и изберу себе!” — перевел в уме, зачарованный.

— Ах, это вы! — узнала меня Анечка Кириковна, легко подошла и приникла, тотчас же отпорхнув в ближайшую палату, оставив мне шелест сперва непонятных слов: — А у Ксенички Ивановны сегодня вечер свободен!

Когда смысл мне дошел, я в негодовании, большей частью, конечно,

наигранном, вскричал о том, что мне нет дела до свободного вечера Ксенички Ивановны при ее пылком отношении к какому-то пресловутому музыканту.

— Мне есть дело только до вас, Анечка Кириковна! — вскричал я и устремился за нею, да прямо-таки нос к носу столкнулся с Ксеничкой Ивановной. Она, бедная, только лишь воскликнула:

— Однако же, Борис Алексеевич!

— Да вот! — захотел я что-нибудь соврать.

— Вижу, Борис Алексеевич! — вновь воскликнула Ксеничка Ивановна и побежала прочь — кажется, даже и в слезах.

Самым верным было бы побежать за нею и добиться ее прощения, которое пусть не сразу, но было бы обязательно. Я это понял. Как понял я и то, что музыкант более жил в ее воображении, возможно, даже в защитных целях. Я это понял. Но я увидел себя котом, стремящимся за одной кошечкой, да вдруг меняющим ее на другую, и признал свое поведение постыдным, тем более постыдным, что и внутренне я в сию секунду был готов увлечься Анечкой Кириковной. И какая удача, что в коридоре в эту минуту никого не было. Иначе быть бы мне посмешищем на весь госпиталь.

Я пошел во двор, постоял в кругу офицеров, слушая их и все время повторяя в уме случившееся. Мой одногодок Володя Дубин, подпоручик, призванный из университета, высокий красавец и компанейский человек, но, кажется, временами достаточно и злой, обнял меня за плечи.

— Что ты, дарагой Борис, закручинильса? — спросил он, подражая местному говору. — Или хочешь випит хароший вина?

Я увидел, что выпить он хочет сам. И я знал — денег у него нет.

— Хочу! — сказал я, хотя совсем не хотел.

На призыв к пирушке откликнулись еще несколько человек. Я понял — мне никак не исправить своего постыдного поступка. Ксеничка Ивановна будет весь вечер втайне от себя ждать моего извинения. Она будет его не хотеть, она будет весь вечер гнать от себя это тайное желание. Но именно его исполнения будет ей надо. А я не появлюсь. И нанесу тем еще большее оскорбление. Я это понял. Однако же отказать компании, желающей выпить и не имеющей денег в то время, когда я их имел, я не мог. Да ведь и что за дело мне было до Ксенички Ивановны, коли она любила музыканта. Объясняя себе так, я превратил музыканта, бывшего только что в ранге выдумки, в подлинно существующего даже благородного, достойного Ксенички Ивановны человека. Вернее и проще, а главное, достойнее было бы оставить компанию — оставить даже всего лишь на время — и найти Ксеничку Ивановну. Я уж забыл мечтать об Анечке Кириковне. Я думал только о Ксеничке Ивановне. Но я почему-то этого не делал. А почему не делал, я понял, когда уже вечером в постели, будучи пьяным, переживал свой конфуз вновь.

Я понял, что пойти к Ксеничке Ивановне было бы еще более постыдным поступком, так как он разжег бы ее теперь уже очевидное чувство, то подлинное

чувство, на которое я из-за Натальи Александровны ответить не мог.

— Да вот она же со своим мужем! — стал я злиться на Наталью Александровну. — А он во френче!

Последнее обстоятельство — наличие у капитана Степанова щегольского френча — меня разозлило более всего. Я злился долго, а потом устал и совершенно замечательно для пьяного человека нашел выход. Я придумал пойти к Ксеничке Ивановне в день, когда на мой френч сам генерал Юденич прикрепит орден Святого Георгия. А времени до этого момента, времени, когда мы должны будем встречаться о Ксеничкой Ивановной не по разу на дню, в момент принятия этого решения я учесть не сподобился.

Утром, разумеется, я признал решение не годным и с тоской подумал о Наталье Александровне. Я находил ее гораздо менее красивой Кеенички Ивановны. Я находил ее гораздо менее чистой, а то и совсем не чистой, коли она смогла изменить мужу. Но со своим чувством к ней я ничего сделать не мог.

Я с тревогой ждал встречи с Ксеничкой Ивановной. То есть наоборот, я не хотел этой встречи.

В палату пришел Володя Дубин и тем же подражанием местному говору стал тормошить меня. Я вспомнил подпоручика Кутырева.

— А ты провожал его? — спросил я.

— Канечно, дарагой, до самой могилы! — ответил Володя. Я попросил его сходить со мной после врачебного обхода на кладбище.

— Слушаюсь, дарагой, вах! — беспечно согласился Володя. И мы пошли с ним вдвоем на кладбище, располагавшееся на горе к востоку от городишки невдалеке от артиллерийского парка. Давящая громада хребта оставалась справа и чуть сзади. Я сдерживался, чтобы не оглядываться. А когда мы пришли на место, я оглянулся на город. Громада хребта показалась мне не столь опасной и даже как будто отчаявшейся догнать меня. Прямо под ней бурлила вздувшаяся река. И по ту сторону ее к громаде прилепилась железная дорога со станцией. Я отыскал строящийся мост и потом перешел глазами на городишко, на резко взметнувшуюся шапку крепостного холма, словно нарочно оставленную посреди ровного места. За крепостным холмом широко и на много русел раскинулась другая река, Лиахви, впадавшая в первую, а за нею невысокие горы ограничивали долину с запада. На севере резко белел Кавказ с двумя характерными и знакомыми по фотографическим снимкам вершинами — Казбеком и Эльбрусом. Я перешел глазами вновь к громаде хребта, вновь нашел его отставшим от меня. Я не был готов к этому. Но, чтобы не затревожиться, догадался посмотреть на монастырь, прилепившийся высоко к склону хребта.

— Местные говорят, что туда следует ходить только с бараном, чтобы его там зарезать в качестве жертвы! — угадал мой взгляд Володя.

— Как же относятся к этому монахи? — спросил я.

— Мирятся по причине обычая, рожденного еще до постройки монастыря! —

пояснил Володя.

Мы пошли дальше, и я ждал, что громада двинется вслед. Она не двинулась. Сердце продолжало болеть, труба от него уходила под лопатку, но громада оставалась на месте.

— Вот так-то, сударыня! — сказал я.

Я положительно выздоравливал и становился прежним — только без шашки Раджаба и винтовки Натальи Александровны. Странно, но мы были готовы терять на войне подчиненных, были готовы терять на войне друзей. Но никто никогда из нас не подумал, что мы будем терять оружие.

Мы пришли к могиле подпоручика Кутырева. Около двое местных копали новую. С ними мы негромко поздоровались. Они оглянулись, хрипло отозвались. И я вдруг увидел быстро спрятанный, но необычно выстреливший в меня взгляд одного из этих двух. Я снова удивился — отчего бы? Местный мужик лет тридцати или чуть более, невысокий, по виду сильный, горбоносый и желтоглазый, посмотрев на меня, тотчас отвернулся и продолжил свою работу. Я удивился, но решил принять взгляд за случайный. Мы перекрестились, молча постояли, присели. Володя обернулся:

— А что, мужики, разве еще кто-то из наших умер?

Оба копавших опять оглянулись. И один, желтоглазый, снова посмотрел на меня с необычайным вниманием.

— Не знаем, господин офицер! — ответил он, переводя взгляд на Володю, а потом снова возвращаясь ко мне.

— Впрок, выходит, копаете! — усмехнулся Володя.

— Мы люди работные! — ответил желтоглазый.

— Местные? — спросил я.

Желтоглазый согласно кивнул и смутился.

— Как звать? — спросил я.

— Я — Вано, а он — Шота. Он по-русски не понимает! — смягчил голос, но не взгляд желтоглазый.

— Ты где же выучился? — спросил Володя.

— Служил воинскую повинность, господа офицеры! — ответил желтоглазый.

— Служил где, в каком городе, каком полку? — спросил я, предположив, не встречал ли он меня ранее.

Желтоглазый помолчал и потом неохотно и явно лукаво ответил, что служил он далеко. Товарищ его спросил что-то на своем языке, и желтоглазый стал ему отвечать. Мы отвернулись. Когда же встали и пошли, он вдруг догнал нас, снял шапку и виновато обратился ко мне.

— Ради Бога! — сказал он. — У господина офицера есть брат?

— Есть! — едва шевельнул я холодеющими губами.

— Подъесаул Норин ваш брат? — вскрикнул желтоглазый. — Он в Персии служил, в городе Решт? Дай Бог ему доброго здоровья!

Первым моим порывом было возразить, что Саша не служил ни в какой Персии, а после японской уехал от нас в полк, а оттуда, по смерти своей любимой женщины, поступил в службу в Сибирское казачье войско и жил в Кашгаре. Однако едва я успел открыть рот, как вспомнил ответы военного ведомства на запросы нашего батюшки Алексея Николаевича по поводу судьбы Саши. Я, находясь тогда вне дома, ответов этих в руках не держал и знал их содержание из писем матушки. Там, по ее словам, значилось, что Саша при неясных обстоятельствах пропал то ли в Персии, то ли в Синцзяне. Второе утверждение вполне могло соответствовать действительности, если, по рассказу вахмистра Самойлы Василича, Саша с сотником Томлиным позволяли себе длительные вольные отлучки в глубь Синцзяна на Каракорум. Но вот в отношении Персии? Тогда я подивился этакому расплывчатому предположению военного ведомства, а про себя подумал, что мне надо заняться выяснением самому. Последующая смерть родителей, учеба в Академии дали мне слабость отложить поиск на потом. Бывает в людях такая инерция к родственникам.

Так вот, я было поспешил открыть рот и ответить неожиданному знакомому Саши об ошибочном его утверждении насчет службы Саши в Персии. Последующее же воспоминание ответ мой задержало. Я смолк. Желтоглазый заметил мой порыв. Он счел его за утверждение.

— Здравствуйте, дорогой мой! — приветственно, но вместе с тем как-то молитвенно раскинул он руки.

— Вот так встреч! — вперед меня отреагировал Володя. — Такой знатный ты мужик, Вано, да? Ты из самой Персии, да? Наверно, ты сам шах персидский, да?

— Нет! — смутился Вано. — Я — Вано, я вместе был в Персии с их братом подъесаулом Нориным! Мы немножко уважали друг друга!

— Какой чудесный встреч! За такой встреч надо винит кувшинчик вина, да! — развеселился Володя.

— Вино? — растерялся Вано, опустил руки, оглянулся на товарища — Шота!.. — и дальше сказал ему по-своему.

Шота, недовольно наблюдавший за всей сценой, столь же недовольно ответил. Вано загорячился. Шота ответил ему уже сердито. Вано нам сказал:

— Минуту, господа офицеры! — подбежал к товарищу и в упор ему что-то выпалил.

— Ва! — отмахнулся Шота.

— Ва! — передразнил его Володя.

А Вано схватил ковровую чересплечную сумку и оглянулся в поисках просохшего бугорка.

— Господа, пожалуйте, господа, на наш хлеб-соль! Сейчас здесь за встречу выпьем, а вечером прошу ко мне в дом! Подъесаул Саша Норин был мне как брат!

Когда на сухом месте разложили небогатую, да и по предпасхальному посту вполне уместную снедь, я неровным голосом спросил Вано, как же и где он с Сашей служил.

— Все расскажу, дорогой мой, не знаю вашего имени-звания, — радостно обещал Вано.

— Капитан Борис Норин, Георгиевский кавалер! — подсказал Володя.

— Титу! — от неожиданности перешел на простой тон Вано и принялся объяснять обо мне своему товарищу.

— Так где же и как? — потерял я терпение. Вано принялся поздравлять меня, высказывать свое восхищение тем, как я в таком молодом возрасте достиг всего.

Стал сердиться и Шота — сердиться только на Вано, нам же выражением лица и всей учтивой позой он выказывал расположение. Вано, послушав его, сказал по-русски:

— Ничего! — и нам объяснил, что Шота не хочет, чтобы Вано рассказывал.

— Это такой ужасный тайн, да? — спросил Володя.

— Как вам сказать, — замялся Вано. — Может быть, лучше, чтобы об этом никто не знал. Да только Саша Норин… — он несколько слов сказал для Шота, потом снова перешел на русский. — Саша Норин был мне братом, а потому его брат должен знать мою к нему благодарность. А бояться что? Бог да не простит мне, если я эту благодарность не скажу!

Я же подумал о странном — как бы это вернее сказать — фатуме, что ли, даже и не о странной моей судьбе, а именно о каком-то более суровом и более определенном явлении, с каковым я неукоснительно пошел по следам Саши: и муж Натальи Александровны, ротмистр Степанов, ведь уж коли кавалерист, то и ротмистр, а не капитан, но Наталья Александровна его назвала мне почему-то капитаном, так что пусть будет капитаном, — так вот: и капитан Степанов, и бутаковские казаки, и теперь вот местный мужик Вано. Я об этом подумал, а Шота что-то вдруг сказал товарищу своему и тот нам перевел:

— Сосед мой и товарищ говорит, что это было написано в тифлисской газете, как мы в Персии воевали!

— Воевали? С кем? — поразился словам Вано Володя.

— Было дело под Полтавой! — усмехнулся Вано. — Было дело! — и взялся с пятого на десятое рассказывать, стараясь рассказать все, но от этого как бы ничего не рассказывая. Во всяком случае, я мало что понял и просто усомнился в правдивости услышанного и понятого. Не поверил и Володя.

— А ты, друг ситный, часом не сочиняешь? — спросил он, забыв свой нарочный местный выговор.

— Вот крест святой — это было с нами: со мной, с ним, с Сашей Нориным и

еще другими нашими товарищами! — не обиделся на слова Володи Вано.

Володя поглядел на меня:

— А что, капитан, у тебя есть брат подъесаул?

— Есаул, — выдавил я.

— Есаул! Дай Бог ему здоровья! — обрадовался Вано. — Я вам совсем плохо рассказал. Придете ко мне, сядем за стол, я вам много расскажу, все расскажу! — он сказал, как его найти.

Мы пошли. На полпути Володя спросил мое мнение. Я неопределенно пожал плечами.

— И чем он сейчас занимается, этот твой братец? — спросил Володя со злостью.

Я не ответил. У меня не было обычая иметь дело со злыми людьми. Я только почему-то с особенной силой пожалел о потере шашки Раджаба, пожалел не о самом Саше и не о самом Раджабе, а только о его шашке. Может быть, так вышло у меня потому, что Саша с Раджабом оставались со мной, а шашки при мне не было. Володя больше с вопросами не приставал. И разошлись мы молча, каждый ушел в свою палату, хотя обо мне сказать одним словом “ушел” было бы слишком просто. В коридоре я столкнулся сначала с Анечкой Кириковной и потом для полноты ощущений — с Ксеничкой Ивановной. Мимо той и другой я прошел, едва буркнув приветствие. Анечка Кириковна, было приготовившаяся привычно и лучезарно улыбнуться, в недоумении осеклась. А Ксеничка Ивановна, наоборот, подняла головку свою и гордо пронесла ее мимо меня.

— А вот так вам, чернавки! — бросил я обеим вослед, хотя они-то как раз ни в чем не были виноваты.

Сергей Валерианович читал газеты.

— Хм, — сказал он, — штаб армии, оказывается, уже в Карсе, я же все еще его числил в Тифлисе! Надо же! — и обратился ко мне.

Положительно, у вас успехи! Наши прелестницы, кажется, дуются на вас и друг на друга!

— Конечно! Они знают в женихах толк! — сказал я, вдруг на минуту поверив в то, что я жених действительно хоть куда: и капитан в двадцать шесть лет, и Георгиевский кавалер, совершенно забыв, что женщины как раз это-то менее всего понимают и ценят. Они понимают и ценят в женихе хорошее финансовое положение — а его-то как раз у меня не было. Жалованье командира батареи в разряд ценностей указанного рода не входило.

Сергей Валерианович принял мои слова за иронию. Разубеждать его я не стал. Он настороженно спросил о моем самочувствии. Я более-менее вежливо отмахнулся. А потом улегся в постель, уткнулся глазами в потолок и лежал так до сумерек, отказавшись от обеда. Я бы пролежал и дольше. Но оказалось, я пропустил последнюю примерку. Николай Иванович заявился в госпиталь сам. Разумеется, я

рассердился на него. Он в силу своей профессии совершенно не обратил на это внимания. Я нехотя облачился в мундир, то есть во френч, чувствуя, как все на мне сидит превосходно, но испытывая от этого только еще большее раздражение. “Для какого черта я согласился на этот френч, будто мне не в действующую часть, а на тот пресловутый Невский проспект состязаться со всевозможными капитанами Степановыми!” — ругал я себя. Все же остальные, которых набилось в палату сколько было возможно, не могли сдержать своего одобрения. И Николай Иванович сиял, поворачивал меня и так и этак, показывая красоту покроя и шитья, показывая свое умение.

А мне было тошно еще и оттого, что у большинства их, командиров взводов и рот, живущих только на должностные оклады, средств на этакие вычурности, как мой френч, не было. Я чувствовал себя выскочкой, парвеню, предателем, теленком, не сдержавшим своего телячьего восторга перед первой же глупостью — тем более несносной глупостью, что сделана она оказалась на деньги сестры. Кое-как стерпел я стыд с примеркой. Я бы сказал: не стыд, а глумление, — если бы был Николай Иванович хоть в чем-то виноватым. Его же винить можно было только в умении и усердии. Потому я сдержал себя. В душе же я знал теперь, что френч мне пригодится, что по выходе из госпиталя облачусь я в свою прежнюю амуницию и буду тем счастлив.

После ухода Николая Ивановича тихонько ушел из госпиталя и я. Найти домик Вано оказалось не трудно. Примерно в том месте городишки, недалеко от реки, где, по объяснению самого Вано, должен был находиться его дом, я спросил у прохожего, верно ли иду, и знает ли он Вано. Прохожий с подозрением оглядел меня и спросил, путая свои слова с русскими, зачем мне понадобился Вано и какой именно Вано. Я назвал и Шота. Он снова пытливо посмотрел на меня и велел идти за собой. Из ближнего дома выглянул некто и спросил моего провожатого, куда и кого он ведет. Мой провожатый, еще раз взглянув на меня, объяснил, что встретил меня вон там, — он показал, где, — и что я ищу Вано. Во всяком случае, я их понял так. На разговор откликнулся еще один некто из соседей и еще несколько некто из близлежащих домов.

— Вано? Какой Вано? — стали говорить они друг другу, а я вспомнил путь наш с урядником Расковаловым через деревню, в которой мы подверглись нападению.

Быстро темнело. Я тронул моего провожатого:

— Так ты знаешь, где живет Вано?

От дальнего дома в это время крикнул нам еще один некто.

— Эй, что там у вас, православные? — примерно так он крикнул в моем представлении.

— Этот человек ищет какого-то Вано, — ответили ему.

— Эх, люди! А я кто же, по-вашему? — спросил некто от дальнего дома.

И мой провожатый хлопнул себя по лбу, весело оскалясь. Я ничего не понял. А Вано спешил ко мне и стыдил соседей, перемежая свой язык с русским:

— Ни стыда в вас, ни совести, соседи! Век с вами живу, а вам лень запомнить мое настоящее имя, данное мне в крещении!

Но обвинял он соседей зря. Он же сам чуть позже в этом признался. Соседи, оказывается, не желали из предосторожности незнакомцу в мундире выдавать своего товарища.

Я не знаю, как сказать о дальнейшем. За столом, пока были соседи, Вано говорил всякую всячину, упоминая лишь о своем знакомстве с Сашей. Я догадывался, что соседи знают персидскую историю Вано, но, сообразно понятиям Востока, делали вид о полном своем неведении. Да и была в том определенная житейская осторожность, ведь история эта… ну, да вот здесь-то я терялся, не знал, как определить ее, совершенно разрываясь надвое оттого, что в истории этой участвовал Саша, и я был на его стороне. Но история эта выходила далеко за рамки не только государственного закона, но и за рамки дозволенного понятиями о чести офицера российской армии, и я, конечно, здесь был против Саши, я здесь был на позиции Володи, то есть подпоручика Дубина.

Суть дела была совершенно бесхитростной. Вано, оставшись со мной наедине, изложил ее очень внятно, оговорив сперва давешний свой бестолковый рассказ присутствием Володи, которого он нашел нужным опасаться.

О каком-то неуловимом, но исключительном сходстве нас с Сашей мне говорили еще в пору, когда он жил дома после возвращения из Маньчжурии. Потому я Вано поверил. Я также не усомнился в его рассказе. Но вот изложить рассказ самому у меня не выходило тогда и не выходит сейчас, как не выходит сказать причину неисполнения мною приказа, оказавшегося приказом генерала Юденича.

И все-таки суть такова. Саша, оказывается, служил в Персии в сформированной из местных жителей, но с русским офицерским составом казачьей бригаде. В беспорядках, названных потом персидской революцией, Саша очень помог Вано и его сообщникам, которые едва ли не были зачинщиками этих беспорядков. Эти отчаянные головы — три десятка грузин и несколько русских — бомбами, маузерами и безрассудной храбростью повергли страну в хаос, начисто парализовав власть и дав, — это уж я прибавляю от себя, — российским бомбистам. Зачем это было нужно, Вано ответить не мог, заменив настоящий ответ словами о свободе для персидского народа. Собственно, и наши мятежники, всякие там бомбисты, социалисты и прочий сброд, именуемый себя революционерами, тоже свои цели, укладывающиеся лишь в жажду власти, именуют стремлением к освобождению народа от царской тирании, о всеобщей справедливости. Но таковой справедливости не может быть просто-напросто по той причине, что этот сброд своими устремлениями и действиями уже эту справедливость попирают. Добиваясь ее торжества грязными способами, они, по сути получают еще большее право на еще большую несправедливость, если, конечно, нынешний порядок вещей называть несправедливостью. Есть такой тип людей, натура которых хиреет без приключений в лучшем случае и без создания злых и гнусных дел в худшем. Как паровой котел взрывается, если не находит выхода своему пару, так и эти люди умирают, если не творят зла. Могу поверить, что многие из них не подозревают в себе этих качеств. Но суть дела от того не меняется. И если вспомнить слова подпручика Кутырева, то

можно отметить, что таких людей нынче становится все больше и больше и ведут они себя все нахальней и дерзче. Прискорбно, если и Саша был из этой породы.

Слушая Вано, я об этом думал, но не находил в себе сил судить Сашу. Истинно выходило выбирать себе судьбу. Или даже не выбирать, а уже мириться с ней, так как она выбиралась невозможностью моей переломить братские чувства. И еще — слушая Вано, переводя его рассказ на свой поступок, я видел и себя тем же революционером, тем же мятежником, тем же человеком, рожденным для созидания зла.

Каким-то странным образом еще до выступления Вано и его товарищей Саша, офицер персидской казачьей бригады, сошелся с Вано на дружественной почве, а потом, в момент выступления, оказал им поддержку тем, что оставил свое воинское подразделение в казарме и, выражаясь языком тех же социалистов-бомбистов, распропагандировал соседние воинские подразделения. Более того, он, как человек, война для которого была профессией, дал много ценных тактических подсказок Вано и его товарищам, что не могло не сказаться на успехе дела.

После же, когда свою революцию эти люди сотворили и, разумеется, тотчас же подверглись гонениям новой, посаженной ими, властью — хоть здесь-то это очевидное зло в какой-то степени обратилось в некое подобие справедливости! — так вот, когда все эти революционеры от новой власти подверглись гонениям, Саша вынужден был оставить бригаду и покинуть Персию. Вероятнее всего, таким-то образом он оказался на Кашгаре у бутаковцев.

Я ушел от Вано, так и не постигнув, зачем все это им было нужно. К ночи, как то бывает в горных местностях, похолодало. Громада хребта дыхнула нерастаявшим снегом. Холоду прибавляли и бесчисленные латунные звезды. Четыре месяца назад я подобно же вышел из палатки и, ленясь достать часы, определил время по звездам. Помнится, тогда было одиннадцать ночи. Сейчас было гораздо раньше, но тоже темно. В госпитале должны были уже запирать ворота. Я пренебрег этим и пошел болтаться по городу.

В моем мундире фейерверкера мне было зябко, а я все равно пошел и, выйдя к центру городишки, то есть к крепостному холму, пошел влево и назад, на главную улицу, где светился дом местных владетельных князей Амилахвари. Глава дома княгиня Анета, по слухам, соперничала с женой наместника и в Тифлис не выезжала, в свою очередь не жалуя соперницу здесь, в городишке, играющем для местного края большую роль. На праздники она с домочадцами посещала госпиталь. Я ее видел в начале февраля, но был еще болен и запомнил только, что она была невысокой, худой, темной и привлекательной.

Я пошел мимо дома к мосту. И удивительно — я слышал приближение конного экипажа, то есть цоканье подков о мостовую и мягкий шелест орезиненных колес. Я даже слышал энергичное дыхание лошади. Но я не сообразил, что экипаж летит на меня. Я отпрянул с дороги, лишь когда лошадь с храпом дала в сторону и осадила, а экипаж, оказавшийся беговой коляской, едва не опрокинулся — и опрокинулся бы будь потяжелей и тяжестью выворотил оглобли. Вылетевший из нее молодой человек в легкой шинели без погон, в офицерской фуражке вскочил и с руганью

замахнулся не меня плетью.

Я был виноватым, и реакция молодого человека была справедливой. Но, думаю, мало кто стерпит плети. Моя любовь к физическим и боевым упражнениям прорвалась наружу быстрее, чем я смог определить свои действия. Я единым порывом сбил его с ног и выхватил плеть, благо она не была захлестнута за кисть.

— Ах ты, хамское отродье! — вскричал молодой человек.

— Извольте! — вытянул я его плетью.

Молодой человек вскочил с мостовой и рванул шинель нараспашку так, что пуговицы шрапнелями посыпались окрест. Под шинелью, как я и ждал, у него был револьвер. Я снова опрокинул его на мостовую и почувствовал, как задыхаюсь, как обмороженные легкие пошли горлом наружу, Я не закашлял — я зарычал и без сил припал к коляске.

— Скотина! Как ты смел! — тыкал меня револьвером молодой человек.

Я не в силах был защититься. Рык, не дающий мне вздохнуть, клинил и рвал мне легкие. Лошадь в возбуждении плясала. Коляска дергалась, вместе с ней туда и сюда мотался я. Вероятно, это-то отвергло молодого человека от выстрела. Рыцарство не позволяло ему бить немощного.

— На князя посмел, каналья! — кричал он, тыкал в меня револьвером, но не стрелял.

Я же не был в силах даже ему ответить. Видно, Бог берег нас обоих, потому что, будь у меня силы, я бы отобрал револьвер и застрелил его.

Сбежались люди. До этого улица мне казалась пустынной. Но на нашу брань народу собралось изрядно. Мне было стыдно своего положения, ведь в глазах сбежавшихся все получалось так, будто я был жертвой. Я пытался распрямиться и вздохнуть свободно. Ну, да где там! Я только усугубил себе. От бессильного напряжения у меня потекли слезы. И сквозь эти слезы в отблесках фонаря я увидел приближающихся к нам Володю Дубина с Ксеничкой Ивановной. Я понял, для чего меня берег Господь. Он воздавал мне по делам моим. Я на миг распрямился, пытаясь встать в боевую стойку. Молодой человек снова ткнул меня револьвером. Тычка мне вполне хватило. От столь длительного отсутствия воздуха в легких я по всем меркам должен был уже сдохнуть, а не пытаться нападать на соперника. Он ткнул. Я вновь переломился и, в попытке ухватиться за борт коляски, разбил себе губы.

Тотчас Володя Дубин с размаху дал молодому человеку оплеуху. Несколько человек из собравшихся схватили его. Другие схватили молодого человека. Пока он тыкал меня револьвером, они в растерянности или в удовольствии наблюдать редкую сцену стояли. А при Володе Дубине ожили.

— Как ты смел, хам! — кричал князь, тогда как несколько людей держали его и опасливо отбирали револьвер.

Володя не оставался в долгу и кричал в превосходстве драчуна, нанесшего удар, но не получившего сдачи.

— Иди сюда, иди сюда, морда! У тебя осталось еще одно ухо? — кричал Володя.

— Хам! Застрелю! — кричал князь.

— Ты? Застрелишь? — со злобой превосходства отвечал Володя. Ты застрелишь подпоручика-ширванца? — он имел в виду славный 264-й Ширванский полк, в котором служил до ранения. — Иди сюда!

Молодой человек рвался к нему. А люди, держащие его, пытались уговорить:

— Князь! Князь! Оставьте!

— Князь? — совсем рассвирепел Володя. — Ах, ты к тому же князь! Ты скотина, а не князь! Ты напал на раненого! Он с Сарыкамышских позиций ни на шаг! Они там все померзли в снегах! А ты! Стреляться, слышишь, князь! Со мной будешь стреляться! Со мной, офицером-ширванцем!

Я во всем этом не заметил, как рядом стала Ксеничка Ивановна. Я чувствовал, как кто-то отирает мне лицо, бережно поддерживает меня и даже поколачивает по спине в попытке помочь прокашляться. Я все это чувствовал, но не отдавал отчета в том, кто это делал. Я был занят попыткой распрямиться, вдохнуть воздуха. А Ксеничку Ивановну я узнал по ее рукам, великолепным маленьким рукам с точеными коралловыми пальчиками. Эти пальчики душистым носовым платком отирали мне слезы. И я, наблюдая их, наконец узнал. Ведь ранее они столько сделали в облегчение моих страданий. Они, пожалуй, были единственными такими на всем белом свете. “Мне нет дела ни до какой Ксенички Ивановны! — Так или почти так: — Мне есть дело только до вас, Анечка Кириковна! — вчера кричал я, подлинный хам и негодяй, совсем в своем телячьем, жеребячьем, бычачьем,

котовьем восторге забыв про эти коралловые пальчики, самые терпеливые, чуткие, самые незаменимые во всем свете. Я так оскорбительно кричал вчера. Я принес им боль, и они ее стерпели. Они вновь были рядом и вновь пытались облегчить мои страдания.

Вот каким жалким негодяем был я. И из своего жалкого негодяйства, конечно, я не мог позволить, чтобы Ксеничка Ивановна была рядом. Не в силах приказать ей уйти, я толкнул ее. Она не поверила. Я вновь толкнул ее и едва не упал сам. Меня подхватили и понесли в сторону. А Ксеничка Ивановна, стерпев, заботливо шла рядом.

— Со мной будешь стреляться! — рвался к молодому человеку Володя.

Как все закончилось, я не представляю. Кажется, унял брань прибежавший полицейский чин. Во всяком случае, я слышал жуткую, пронзающую уши трель его свистка. Под такую трель ругаться было невозможно.

10

Теперь я мог сказать, сколько благотворно влияет женщина своим присутствием в армии на боевой дух мужчины. Помнится, в начале войны мы спорили об этом явлении — сестрах милосердия непосредственно в боевых частях. Я не был особым противником их, но смел полагать, что раненый мужчина будет в присутствии женщины испытывать дополнительно к мучениям физическим еще и мучения морального характера, сознавая свою беспомощность. Сейчас я понял, что был не прав. И я был не прав потому, что не учел одного обстоятельства. Я не учел того, что это мучение от сознания своей беспомощности в присутствии женщины заставляет мужчину преодолевать беспомощность.

Конечно, свое теперешнее открытие я сделал не совсем в тех условиях, какие единственно могли быть проверкой, то есть не в боевых условиях, а лишь в момент нелепой уличной драки. Однако стоило Ксеничке Ивановне, исполняя свой врачебный долг, отвести меня на несколько шагов в сторону, стоило ей прикоснуться ко мне, или, точнее, стоило ей вообще появиться рядом, как я нашел в себе силы подавиться своим кашлем — то есть хотя и в бессилии, но смолкнуть и, подобно Сергею Валериановичу у распахнутого окошка, опасливо глотнуть долгожданного воздуха.

— Борис Алексеевич! Вы просто негодяй! — в уходящем страхе и одновременно в приходящем облегчении, гораздо большем чувстве, чем облегчение, разбранила меня Ксеничка Ивановна.

А я, бесстыдно опираясь ей на плечо и в изнеможении закрыв мокрые и ничего не видящие глаза, подумал о Наталье Александровне. Я подумал, смогла ли бы она меня разбранить вот так — и со страхом за меня, и с любовью ко мне, — разбранить, если бы даже я ее не любил, точнее, не только бы не любил, а и показал бы, что не любил.

Я это подумал прежде всего, лишь смог вдохнуть воздуха. А уж потом подумал я о своем подлом положении зачинщика драки, бросившего товарища, который пришел на помощь. Я так подумал и резко обернулся обратно в драку.

Но дело там уже было закончено. Володя Дубин в злобе кричал молодому князю, но был крепко удерживаемым за руки. И молодой князь, в злобе же порывающийся на Володю, не мог высвободиться от надежно его держащих многих рук.

Полицейский чин натужно сверлил улицу свистком. Лошадь, схваченная под уздцы, плясала, и коляска продолжала дергаться, будто я все еще за нее держался. Отчего-то я посчитал в тот миг, что она дергалась не от волнения лошади, а от моего кашля.

Я обернулся ринуться в драку. А меня шатнуло в сторону, и я упал. И снова Ксеничка Ивановна подхватила меня. Я почувствовал ее руки. И вдруг я испугался за нее. Что-то сильным ударом пришло мне в грудь. Я как бы стал ею, Ксеничкой Ивановной. И мне стало видно, как ей счастливо сейчас, в этот миг, пока она может

служить мне, быть мне необходимой, и как ей станет одиноко через миг, когда я перестану нуждаться в ее помощи.

— Господи, — сказал я, как пьяный, и, не обращаясь именно к Богу, а только посредством этого восклицания сокрушаясь о себе. — Господи, ты ведь мне ничего не дал! Не дал даже Натальи Александровны, не говоря уж о Ксеничке Ивановне! — И в порыве прошептал Ксеничке Ивановне: — Простите, простите меня, дорогая моя Ксеничка Ивановна!

Я так прошептал в порыве, порывом же подавляя желание назвать ее любимой. Прошептал и увидел, что этого делать было не надо. А если и надо — то как-то по-другому, то есть надо было делать так, как говорил Раджаб: на войне надо думать только о войне! — из чего выходило, что в драке надо было мне думать только о драке и слов этих Ксеничке Ивановне не говорить, не показывать ей посредством этих слов своей нелюбви.

И мне вспомнился пятый год у нас в Екатеринбурге, перемеженный воспоминаниями Вано о персидских событиях.

Мои намерения служить государю на поприще истории той осенью вновь сменились моим стремлением к военной службе. Я в числе меньшинства старших гимназистов не разделял чувств демонстрантов. Да, это было понятным — стремление служить государю и ликование по поводу каких-то там свобод, не столь им дарованных, сколь у него вытребованных кучкой развращенных властолюбцев, были просто несовместимы. Но я вышел со всей гимназией на демонстрацию, потому что сами события были такими, которыми нельзя было пренебречь, от которых нельзя было отмахнуться, из-за которых нельзя было думать только о себе. Они были как раз сродни тому, о чем, может быть, невнятно, но говорил подпоручик Кутырев, и — Господи, пронеси! — в которых участвовал в Персии, приближая их к Российской империи, Саша. Я не принимал этих надвигающихся событий, да я и не мог их видеть. Наверно, было бы ужасно их видеть. Ужасно потому, что я всегда хотел своему государю только благоденствия. И, даже любя Наполеона, даже соревнуясь с ним, я никогда бы не согласился променять свой капитанский чин — это ныне-то, после высшей государственной награды! — свой капитанский чин и свое капитанское, даже не обеспечивающее мне сносного существования, жалованье — прошу прощения за стиль, — я никогда бы не согласился превозмочь Наполеона в нашем соревновании тем путем, каким пошел он. Кумир мой Наполеон был вне исторической досягаемости, чем и был хорош, чем и притягивал. Нет, не так. Так выразившись, я соврал против истины. Тогда, в пятом году, в году потрясения империи и в году моего последнего класса гимназии, я его исторически понимал. Я понимал, что там, во Франции, он это делать мог. А здесь, в Екатеринбурге, он этого делать не мог. И не мог по простой причине: здесь, в моем представлении, был уклад жизни, который был приемлем всем. Низвержение неприемлемого уклада жизни во Франции я приветствовал. Но, как и всякий человек, я не мог приветствовать низвержения уклада жизни приемлемого. И, конечно, не понимал, отчего не только смутьяны, а и мои одноклассники столь бурно взялись приветствовать временные уступки государя, временный отход его от приемлемых условий жизни к неприемлемым. Более того, в пятом году я увидел то, чего, может

быть, не увидел никто, включая, конечно, в это число и Сашу, приехавшего из Маньчжурии едва не на Рождество. Я увидел: коли государю тяжело в войне, коли ему тяжело в правлении — чья же воля ему подскажет, кто же ему поможет, если этого не сделаем мы, его подданные?! Саше за войну я простил все, даже его подначки и даже растерянные батюшкины глаза, бывшие до того для меня высшим судилищем. Саша был офицером императорской армии, сражался и получил орден Святой Анны. Оттого, каким бы ни был он в своем поведении — был ли он пьян по возвращении домой, пахло ли от него духами развратных женщин, не любил ли он меня — я ему простил все. Остальное же я судил, не колеблясь, исходя из полезности государю, исходя из службы ему. Вот только так я участвовал в событиях пятого года и вышел со всей гимназией на демонстрацию только потому, что не мог предать товарищей и этим предательством навредить государю. Большинство их, моих товарищей, жили против нашей семьи хорошо, имели благ больше. Уж чего сказать, батюшка наш Алексей Николаевич за многие лета беспорочной службы даже при дворянской сословности не имел хорошего дома. Тогда как родители моих товарищей при купеческой, заводовладельческой и иной неслужилой сословности благ от государя имели гораздо больше. И, имея гораздо больше благ, они вышли на демонстрацию, они обрадовались уступкам государя, они как бы изменили ему. Но все равно я не мог предать их, не мог этим предательством изменить государю. Мне этого не простил бы мой батюшка. Никогда он мне о том не говорил. Он и все из его общества государю служили верой. Это я и Саша от него приняли. Как приняли и то, что столь же верно надо служить своим товарищам, служить даже тогда, когда они радуются государевой слабости, ибо чувство единения с товарищами нам заповедал сам государь.

Более того, эту государеву слабость, эти уступки государя я воспринял государевой мудростью, мне недоступной, но меня и не касающейся. Уступки его мне не нравились. Но я их воспринял потому, что им радовались мои товарищи.

Вот так я подумал за ту секунду, в которую удержался сказать Ксеничке Ивановне о моей к ней любви. Это была счастливая секунда, дающая мне целое открытие жизни. И я видел опрокинутый для меня, упавшего, заштатный, но хороший городишко с превосходным крепостным холмом. Я видел глубь черного и вдруг почему-то беззвездного неба, хотя часом назад, когда я выходил от Вано, небо, казалось, рухнет от их тяжести. И я видел Ксеничку Ивановну. Я видел, что она не столь уж и хороша, как мне казалось. У нее и шейка-то оказывалась короткою. Вдруг, да и ножки-то ее, мне под юбкой совсем не видные, оказывались неудовлетворительными. Вдруг да и великолепные бровки, лучистые глаза и четыре конопушки на лучшем в мире носике — ну да все в Ксеничке Ивановне мне показалось заурядным. И я понял, что мне привалило счастье иметь ее женой. Даже по времени, даже по чину и реверсу, уже отмененному, но даже и по отмененному реверсу мне привалило счастье предложить Ксеничке Ивановне стать мне женой.

И лишь я это понял, я понял еще, я понял, что я способен на большее. Я способен из-за Натальи Александровны от этого счастья отказаться.

За мгновение, пока я оглянулся на Ксеничку Ивановну, я это понял. Я так взглянул на нее, что она это тоже поняла. Она отвернулась и пошла прочь. Мне

стало легко. Я смог избежать обмана — и мне стало легко.

Полицейский чин живо столковался с народом. Нас привели во двор к Амилахвари.

— Будь добр сидеть завтра дома! Я пришлю секундантов, — кричал князю Володя.

— Перестань, подпоручик! — весело просил я.

Полицейский чин смотрел на меня с угрозой. Мой мундир фейерверкера давал ему в его глазах на то право. Но моя наглая веселость — наглая опять же в его глазах — заставляла недоуменно сдерживаться.

— Сейчас тебе будет совсем весело! — сказал он мне в воротах.

Володя закричал на него. Он Володю не стал слушать.

— Сейчас тебе будет совсем весело! — повторил он.

Двор в тревоге мерцал огнями и тенями. Каждый из челяди свирепо показывал решимость пролить кровь за честь господина.

Меня и это развеселило.

— Смотри, какие лица! — оказал я Володе.

— Сейчас, сейчас тебе будет совсем весело! — напомнил полицейский чин. Я не стерпел.

— Молчать! — сказал я, наливаясь злобой.

— Что? Что? — загалдела челядь, решительно показывая жажду во имя господина пролить не столь свою кровь, сколь пустить ее нам.

Сам князь, взошедший на крыльцо и, видно, только что опомнившийся, но, конечно, наших слов в гвалте не услышавший, не оглядываясь, приказал отпустить нас.

— Отпустите их! — крикнул он и по-русски.

— Что? Что? — загалдела челядь, показывая, что не может сдержать праведного порыва и идет на ослушание воли господина.

С крыльца же послышались женские голоса, среди которых выделился один, сердитый, глуховатый. Полицейский чин в еще большей растерянности прямо-таки скакнул к крыльцу, чем мне опять напомнил мое пребывание в том злополучном селении, где после нападения на нас с урядником Расковаловым я, раненный, лежал в сакле, а козленок ткнулся мокрым носом мне в ладонь и отскочил высоко, совершенно не сгибая ног. Одновременно при этом глуховатом голосе ослабли крепко меня держащие руки двух молодцов. “Княгиня Анета”, — подумал я и не ошибся.

Едва не сметая молодого князя, из дома на крыльцо вышла маленькая и сухая женщина в местное наряде.

— Тквен, охеребо! — услышал я сердитые и внятные ее слова к молодому

князю и к челяди.

Слов я, разумеется, не понял, но различил их четко и принял за брань.

Челядь мгновенно присмирела. Два моих молодца, равно, как и те, кто держал Володю, совсем отпустили нас и, кажется, были готовы отказаться от того, чтобы вообще когда-либо прикасаться к нам. А княгиня сбежала с крыльца прямо к нам, отчего и мы с Володей встали во фронт.

— Что, господа? — сказала нам сердито княгиня. — Как некрасиво!

Меня охватил стыд — и не именно за только что содеянное, но и вообще за все мои поступки в течение жизни.

— Извините, тетушка княгиня! — в детском испуге сказал я.

— Негодники! — вскричала на нас княгиня, а уж мои слова и особенно тон моих слов заставили ее улыбнуться.

Говорили, что ее, княгиню, все боялись, и особенно боялись невестки, а одна из них якобы каждый раз при встрече падала в обморок, отчего так за всю жизнь и не пожелала свекрови даже доброго утра. Я же увидел добрую женщину, всего лишь напускающую на себя суровый вид властительницы своего древнего края. Ведь, по рассказам, прежде вся эта часть Грузии принадлежала именно семье Амилахвари. И грузинское царство Картли состояло из четырех так называемых знамен, то есть военно-административных частей, одно из которых как раз было знаменем Амилахвари. Было отчего хотя бы по традиции напускать суровый вид. Но сейчас слова мои заставили ее улыбнуться. Она еще успела вскричать: “Негодники!” — успела улыбнуться на мой детский стыд и испуг, но тут же посуровела:

— Быстро привести себя в порядок, а потом ко мне — на суд! — и распорядилась по челяди заняться нами.

Нас привели в ванные комнаты, хорошо, по-европейски отделанные, попросили раздеться, принесли лохани с горячей водой и хорошенько, как бывало в детстве, вымыли, растерли, обсушили, причесали, подали вычищенную нашу амуницию. Где в то время был молодой князь, я не знаю. Но когда мы предстали пред добрые, но вынужденно суровые очи княгини, он был уже подле нее, то есть не совсем подле, не по правую или там левую руку, как принято в наших представлениях о правителях, а сидел он на мягком европейском стуле во вполне европейской зале с приглушенным светом и со скромным, но достаточным столом. Мы вошли, и он встал. Я увидел, что это он сделал вынужденно.

Княгиня, окинув нас взглядом, предложила представиться, а потом пригласила за стол.

В зале мы оказывались лишь вчетвером. Я был бы более удовлетворен дополнительным присутствием женщин, хотя бы невесток княгини. Но здраво рассудил, что гости мы выходили далеко не почетные, так что с нас оставалось и этого много. Вместо стола можно было бы за здорово живешь получить козлы да розги — в моем-то мундире нижнего чина. Отвлекаясь, я вынужден сказать, что стыд мой перед княгиней не был мимолетным. Мне по-прежнему было стыдно за

свои поступки, и я с каким-то возмущенным недоумением взирал на свою прежнюю и безупречную жизнь, как бы спрашивал с нее за нынешние поступки, как бы ставил их ей в вину. С этим же возмущенным недоумением я глядел на себя, теперешнего, и спрашивал, за что же о теперешнем спрашиваю с себя тогдашнего. Времени и обстоятельств для более полного и глубокого разбирательства сейчас у меня не было.

— Вы и мундир носите чужой как раз для свободы безобразий, молодой человек? — сурово спросила княгиня, а меня от слов ее, попавших совершенно метко, вдруг повело в сторону, вдруг рубцы от вил стали тянуть куда-то налево. Вся зала расширилась и увеличилась в высоту, княгиня отдалилась и помельчела. Внешне состояние мое стало походить на то, которое испытывал в бою, когда вырастал над всей местностью и вмещал ее в себя, отчего приходило совершенно четкое и восторженное понимание невозможности моей смерти. Но отличалось нынешнее мое состояние от тогдашнего отсутствием восторга и присутствием угнетавшего ощущения рубцов, тянущих влево, и еще более угнетающего стремления сохранить равновесие.

— Есть ли у вас матушка с батюшкой, молодой человек? — спросила княгиня, а я услышал ее слова через это стремление сохранить равновесие.

— Никак нет, ваше сиятельство! — с трудом, но, думаю, четко ответил я.

Княгиня перекрестилась на мой ответ о родителях и вновь спросила:

— Так что, и за безобразия уже теперь ни перед кем не стыдно?

От ее слов я дышать перестал — столь мне стало нужно собрать силы для сохранения равновесия. Я даже взмолился Богородице, в Покров которой родился, взмолился о том, чтобы княгиня меня отпустила. Ни перед кем из начальства я столь не испытывал стыда и раскаяния, столь не страдал от них, столь не страдал от непереносимого моего состояния от борьбы за сохранение равновесия. Вот как на меня взором своим повлияла княгиня — а что уж говорить про ее невесток, существ, надо полагать, куда более невинных, тонких, хрупких, нежели я.

— И Святое Писание вам, наверно, уже ничего, кроме как досада! — укорила княгиня и следом наставила: — А вы не отворачивайтесь от Бога, не ярмо железное он, нести его тягот не составляет!

Странно, но последние слова чуточку облегчили мое состояние. Они были столь же меткими, что и все остальные, но в данном случае меткими наоборот. Если остальные вгоняли меня в стыд, то эти слова были меткими потому, что доподлинно отмечали мои отношения с Богом и чтением Святого Писания, вызывавшим у меня с самого гимназического детства если не огульную досаду, то скуку-то уж явно. И матушка моя, чувствуя ее, скуку, просила меня неустанно: “Боренька, ты стремись к Богу, не отставай от него!” Вот потому-то сейчас, услышав от княгини ее слова, я с пришедшей досадой или, вернее, скукой испытал некоторое облегчение.

— Не забывайте Бога, молодой человек! Вам за него вот-вот идти в сражение! — напутствовала княгиня еще раз и велела сесть напротив себя с торца стола. Досталось и Володе.

— А вы, — заклеймила его княгиня, — сколько я знаю, вы так совсем социалист!

— Помилуйте, Ваше сиятельство! — кажется, искренно возмутился Володя.

Он был посажен напротив молодого князя. А князь был действительно молодым, по виду, так совсем лет восемнадцати — двадцати, с юношеской розовостью щек и первым пухом над губой, тщательно оберегаемым и в воображении уже именуемым усами. Красиво очерченные глаза свои он не мог на нас поднять — и, вероятнее всего, лишь при княгине. Одет он был в гражданское платье, о котором я подумал: уж не от Николая Ивановича ли. А по манерам и посадке за столом угадывался в нем выпускник корпуса, уже выправленный и отмуштрованный. Скорее всего, мундир ему одеть не дала княгиня.

Я рассмотрел его, и мне снова стало стыдно — теперь уже за то, что сцепился с этаким юнцом, что я, боевой офицер, применил боевой прием против юнца. “Так ведь он замахнулся кнутом!” — подумал я. Однако и это стыда мне не сбавило.

Молодой князь оказался родственником княгини, каким-то образом испросившим отпуск из части. Представляя его нам, княгиня и ему выговорила:

— Вот видишь, к чему ведут праздность и стремление от службы! Ты поднял руку на защитников отечества, получивших в бою ранения! Я соотнесусь с твоим начальством по поводу твоего отпуска!

Соотнестись, разумеется, стоило, ибо нет ничего более развращающего в службе, как выделение кого-либо поблажками. Но соотнестись и не стоило, ибо и без соотнесения было ясно, что эти поблажки мог предоставить начальник только по чьем-то ходатайстве. А уж по чьем — стоило поискать княгине среди своих родственников, ведь чадолюбие местного народа известно. Причиной отпуска могло быть только чувство к какой-нибудь местной симпатии, от которой, вероятнее всего, столь спешил не опоздать на ужин к княгине сей Ромео.

— Ну, а теперь, господа, я требую вашего примирения, и да будет тому свидетелем Бог и хлеб, его милостью нам даруемый! — завершила свою нотацию княгиня, помолилась и позволила войти в залу своей девушке и слуге-мальчику, налившем нам вино в глиняные чашки, почему-то мне сказавшие о своей древности и этим определившие искренность примирения с молодым князем.

— Простите меня, князь! — встал я первым и увидел в глазах княгини одобрение.

А князь не ожидал этого. Он устремился опередить меня, вскочил, едва не уронив стул и вздернув скатерть. Он вскочил, но тут же застыдился своей резкости, присущей лишь юному возрасту, застыдился и самой своей юности, столько ему сейчас вредной — разумеется, лишь в его воображении. Я внутренне улыбнулся. И, наверно, не внутренне. Наверно, лицо мое каким-то образом отреагировало на его невинную неловкость. Потому что он вдруг мимолетно изменился лицом, и я вновь увидел в его глазах гнев и ярость. Он нас не прощал. По крайней мере, не прощал сейчас, еще не отойдя от стычки или по юности характера. “Ну и Господь с тобой!” — решил я не заметить его чувства.

— Простите меня, господа! — услышал я его неискренние слова.

Неискренне сказал и Володя:

— Простите нас, ваше сиятельство!

— Бог простит вас, дети мои! — осенила нас крестом княгиня и велела прибавить света.

11

Известие о переезде командования армией в Карс оказалось не только верным и, с шуткой говоря, может быть, не столько положительно отразившимся на положении в войсках, сколько положительно отразившимся на делах моих. Командующий армией генерал Юденич очередной свой вояж к наместнику решил совместить с посещением нашего госпиталя, не дожидаясь Пасхи. И о том я узнал, едва вернулся от княгини.

Расстояние между ее домом и госпиталем было небольшим. Однако, по ее распоряжению нас отвезли на экипаже. Причем, полицейский чин ждал около ворот. Мне его стало жаль. Вспомнив своих бутаковцев, я было его не обнял. Помешал, конечно, Володя, изменившийся, едва мы вышли от княгини. Завидев полицейского чина, он переметнулся на него.

— Что, дядя! — сказал он выговором какого-то мастерового. — На себе понесешь или все-таки…

— Оставь, подпоручик! — приказал я.

— Только в служебной обстановке! — отрезал он, имея в виду свое отношение к моему приказу.

Как бы ни было, а от полицейского чина я Володю отвлек, однако он тотчас же вспомнил о Ксеничке Ивановне. Едва мы сели в экипаж и тронулись, он с усмешкой, видно, отражающей его не прошедшую от стычки злобу, сказал:

— Однако же наша Жанна д‘Арк доблестно покинула нас обоих!

— Оставь! — снова сказал я.

— Останови! — крикнул Володя кучеру и вышел. Я при этом вздохнул с внутренним облегчением. Сторож в госпитале оказался предупрежденным княгиней и пропустил меня без препятствий. Сергей Валерианович услышал мой приход, проснулся, заворочался, предложил зажечь свет. Он явно заскучал в мое отсутствие.

— О, что это с вами? — воскликнул он, увидев мои разбитые губы. — Вам ведь вот-вот представать перед генералом Юденичем!

— Это ж в Пасху! — возразил я.

— Да никак не в Пасху, а завтра к полудню! — воскликнул Сергей Валерианович.

— К полудню? — спросил я только из-за того, что почувствовал: завтра к полудню в моей жизни произойдет перелом, завтра к полудню она расколется на две половины, на ту, что была до белого крестика на георгиевской ленте, и на ту, что будет после. “Как я вовремя встретил княгиню!” — с благодарностью к всему, что меня связало с ней, подумал я. Сколько ни было приятно сознавать себя выделенным этакой великой наградой, до сего мига этого сознания я не прочувствовал. Я и белый крестик Святого Георгия жили врозь. И отдельная его жизнь давала мне только знать, что мы связаны с ним, что принадлежим оба к чему-то одному большому и

редкостному, избранному Богом. Отдельная его жизнь меня только выделяла из всех, но не ставила передо мной задачи измениться, стать человеком, достойным милости государя. Это было схоже с тем, как если бы муж и жена жили порознь. Да что муж и жена. Я не знаю жены, и Господь с нею! Это было — как если бы сын жил отдельно от отца и, хотя сознавал, что должен беречь его доброе имя, но все-таки позволял себе некоторые вольности. Вот он жил отдельно от отца и вдруг узнал о его приезде. Конечно, узнав, он бы напрягся, кинулся бы прибрать в доме, кинулся бы исправить дела по службе, стал бы суетиться и волноваться по всякому другому поводу, стараясь выглядеть перед отцом в самом лучшем свете. Вот так примерно случилось со мной, едва Сергей Валерианович сказал мне весть о завтрашнем приезде с моим белым крестиком генерала Юденича. И встреча с княгиней Анетой оказывалась как раз тем, что дало мне возможность стать перед отцом, перед белым крестиком, чистым и прибранным. Превосходность этой чистоты и прибранности была далека от идеальной и даже далека от той, которую бы я мог обеспечить, не случись этих последних событий — но ведь недаром в народе говорят, что за одного битого двух небитых дают. А у меня, благодаря драке и благодаря короткому, но какому-то светлому разговору с княгиней, в душе настало нечто такое, что меня освободило от напряжения, полученного мной с момента отказа исполнить задачу, а может быть, с начала военных действий. Я стал себя чувствовать словно бы в детстве. И мне стало необходимым побыть сейчас одному. Я попросил Сергея Валериановича оставить меня и погасить свет.

— Понимаю, — ободряюще сказал он.

Я лег в постель и стал смотреть в незанавешанное окно. Ничего не было видно, кроме неясных теней на небе — вероятно, это сгущались тучи. Но смотреть в эти тени мне было хорошо. Я смотрел и будто ни о чем не думал, но вместе с тем много думал, ощущая в сердце чистоту, уже привычную трехдюймовую трубу под лопаткой и чистоту. Особенно чисто было от того, что я смог сказать Ксеничке Ивановне. Я знал, как ей сейчас было больно. Но и знание о боли, и сама боль были чистыми. Они были нанесенными, если так можно выразиться, не в спину, а в грудь, то есть не из-за угла, а в честном бою. И если она сейчас обо мне думала как о подлеце, мне от этого было все равно, потому что я знал, что кто-то, ну, например, княгиня Анета, ну, например, матушка моя с неба видит гораздо больше Ксенички Ивановны.

А потом я стал думать о Саше, Раджабе, моих бутаковцах. Потом я стал думать о Наталье Александровне, потом снова о Ксеничке Ивановне. И после я стал думать о Персии. А может быть, я стал думать обо всем этом вперемешку. Обо всем враз я думал и будто ни о чем не думал, а видел себя в детстве осенью, дай Бог памяти, осенью одна тысяча восемьсот девяносто пятого года, да, пожалуй, именно этого года, когда мы с матушкой отчего-то задержались в деревне на Белой, и однажды один молодой крестьянин, вернувшийся со службы, взял меня бродить с ружьем в лугах.

Ничего вроде бы не случилось — набродились да устали. И, кажется, с мужиком тем мы более не виделись. Но вплелись в это воспоминание и Саша, и Раджаб, и мои бутаковцы. Вплелись Наталья Александровна и Ксеничка Ивановна.

И княгиня Анета с матушкой с неба вплелись. Или, наоборот, вплелись в воспоминания о них воспоминания об этой осени, о дне нашем с крестьянином в лугах над Белой. Вплелись не то серебряной паутиной в глухих черемуховых зарослях, столь глухих, что даже осенними дождями эту паутину не сбило, не то вплелись присмиревшей и посветлевшей и без того светлой осенней бельской волной, бьющей вдруг в почерневший от осеннего запустения берег.

От такого вплетения я сам присмирел, потому что вдруг отчетливо стал понимать, что завтра, получив белый крестик, перейду туда, где все будет по-новому. Все оно, все мое самое дорогое, останется здесь, и во всем этом меня не будет. Все самое дорогое и все самые дорогие останутся, а я уйду.

— А я их не предам? — спросил я.

Утром я вскочил с первым шарканьем санитаров. Вскочил от бесстыжего моего желания женщины и столь же бесстыжей заботы о моем мундире,

о моем френче. Ночные рефлексии мои совершенно отступились. Я, как молодой петушок, просто жаждал на сегодня не видеть никакой иной картины, а только себя во френче, к которому генерал Юденич, заслуженный боевой начальник, от имени государя императора прикалывает белый крестик высшего в империи ордена,

Чуточку охлынул я в умывальнике, когда ткнулся в наполненную водой пригоршню разбитыми губами. Я тут же сбегал к зеркалу, перед которым вынес решение о том, что вид мой с разбитыми губами вполне укладывается в мое представление о себе во френче.

— Ну, подумает генерал, что я губошлеп! Разве с меня убудет!

Я так подумал и побежал за бритвенным прибором, вспоминая пушок молодого князя, воображаемого им усами, и решая, не отпустить ли усов мне.

— А вот встречу я сейчас Ксеничку Ивановну! — начал я пугать себя на ходу и тут же отвечать себе: — Ну так что ж, как-нибудь обернется! — и воображаемая мной сердечная боль Ксенички Ивановны стала мне даже льстить. — Наталья Александровна мне принесла вон какую боль — да я ничего, выжил!

А слова меня не убеждали. Я видел, сколько они лживы и сколько я за них прячусь. Ведь с Ксеничкой Ивановной можно было объясниться просто. Можно было пригласить ее в укромное место и сказать о своем чувстве к Наталье Александровне.

— Это-то и было бы хорошо, это-то и было бы по-Анетински! — говорил я себе, бреясь.

Мысли же бежали вперед. В мыслях я уже открывал двери Николая Ивановича, стаскивал его с постели, одевал свой френч, мчался к сапожнику. В мыслях я уже стоял перед генералом. В мыслях я уже был Бог знает где, даже в императорском зале, где получал за четвертой третью степень ордена. В мыслях я был с Сашей, с Раджабом, с моими бутаковцами, с княгиней Анетой, с матушкой и отцом с неба. Но все они уже были другими. Все, кто был в моих утренних мыслях, были отличными

от тех, которые были ночью.

Я удрал с утренней молитвы, завтрака и врачебного обхода. Я прибежал в ателье Николая Ивановича и в темноте стал дергать колокольчик, пока Николай Иванович всполошенно не прибежал из задних, жилых комнат. Суетливо примеряя на мне готовый френч, он, конечно, тоже обратил внимание на мои разбитые губы, но обратил внимание игриво, мол, не юная ли ветреница исцеловала их до того, что они распухли.

— Скажите, не она ли? — игриво спрашивал он.

— Да уж! — буркал я, представляя себе Ксеничку Ивановну.

Потом я побежал к сапожнику, и мы с ним долго натягивали, а потом стягивали, и снова натягивали тугие хромовые сапоги. Я топал ногами, нажимал на носок и на пятку, щупал большой палец, морщил и расправлял голенища, смотрел на мои старые сапоги, старые и уютные, как обжитая комната. Что-то в новых сапогах мне не нравилось. Сапожник видел мое недовольство, волновался, спрашивал причину. Я молча топал, перекатывался с пятки на носок и обратно, опять щупал голенища и большой палец. Потом сообразил, что сапоги хороши, а не нравится мне сегодня лицо сапожника, отчего-то ставшее для меня персидским.

— А не перс ли ты, уважаемый? — спросил я без стеснения.

— Неперс? Какой неперс? — спросил сапожник.

— Ты перс? Персия? — постарался упростить я вопрос.

— А, да, перс! — согласился сапожник. — Перс. А зовут меня Вахтанг, господин офицер!

— Как в Персии живут? — спросил я.

— Я здешний перс, — ответил сапожник.

— Но ведь там были события, там шаха свергли, там взрывались бомбы и была стрельба! — рассердился я.

— Не знаю, господин офицер! Я здешний сапожник Вахтанг! — сказал сапожник.

— Черт знает, что! Саша и всякие бомбисты бегали по его родине, а ему и дела нет! — сказал я и, вышедши, прибавил: — То-то мне его рожа не понравилась!

А в госпитале была уже такая суета, что об объяснении и мечтать не приходилось. Как и все остальные, я тотчас же был водворен в палату — и того с меня было хорошо, что хоть не полез по требованию начальства послушно в постель. Присланный Николаем Ивановичем мой френч был без жалости арестован, и сапоги мои были отобраны. По плану церемонии встречи генерала Юденича мы все должны были лежать в постелях и выражать мужественно сдерживаемые муки страданий от ран, совмещенные с неодолимым желанием быстрее вернуться на поле брани — ну, совершенно в духе полотен Давида. И награды генерал должен был по плану прикреплять к нашим госпитальным рубахам. Более абсурдного плана предположить было невозможно. Ведь госпиталю было выгоднее показать результат

своих трудов — веселых, выздоравливающих пациентов, выстроенных, например, в коридоре и гаркающих генералу молодецкое “Здравия желаем, Ваше Превосходительство!”.

Но нас загнали в постели. Я из-под одеяла вылез тотчас же, лишь доктор ушел. А Сергей Валерианович махнул рукой:

— Буду терпеливо потеть под одеялом!

От скуки он вынудил, меня рассказать причину моих разбитых губ. Рассказывая о драке, я невольно вновь проникся тем моим душевным состоянием, которое предшествовало ей, то есть рассказу Вано о Саше в Персии. Я спросил Сергея Валериановича, известно ли ему о персидских событиях.

— Кажется, там наши интересы обеспечивает всего лишь одна казачья бригада, — припомнил он, спросив далее, что за нужда у меня случилась в таком вопросе.

Рассказывать о Саше я не решился, а ответ свел к праздному любопытству, чем взмученность свою душевную только усугубил и не мог успокоиться до появления генерала.

Вихрем прошумел за дверями палаты госпитальный персонал, направляясь из глубин госпиталя к выходу — и мы сообразили: он появился. Я залег под одеяло.

— Ну, держитесь! — напутственно сказал Сергей Валерианович Я молча кивнул.

Перед нашей палатой были две большие палаты, в которых генерал несколько подзадержался. Я вслушивался в шумы оттуда, особенно из второй, ближней к нам палаты, и едва дождался минуты, когда сдержанный гул голосов и шарканье тапок, обутых поверх сапог, плеснулись в нашу сторону. Дверь открылась. Учтиво склоненная голова начальника госпиталя блеснула мне лысиной и посторонилась, дав место небольшому и плотному человеку с несколько, на мой взгляд, польскими чертами лица, в пенсне и накинутом на плечи халате.

— Здравствуйте, господа офицеры! — сказал человек, искрясь уже усталой улыбкой.

Мы с Сергеем Валериановичем, не сговариваясь, но дружно и без положенных нам планом страданий на лице и в голосе ответили.

— Вот-с, ваше высокопревосходительство! Капитан Норин. Получил в результате декабрьских боев под Сарыкамышем контузию, сложнейшее воспаление и обморожения! Поступил в санитарный транспорт по разряду безнадежных. Но, как видите, стараниями-с… — присогнуто представил меня человеку начальник госпиталя.

Человек несколько неловко и несколько боком подошел ко мне, пожал руку и оглянулся. Тотчас ему были поданы лист грамоты и коробка. Человек зачитал грамоту, взял из коробки орден и согнулся ко мне прикрепить его, следом же подал новые золотые погоны капитана. Я ничего не испытал и стал заставлять себя испытать некое благоговейнейшее чувство. Но не смог. Не смог даже хорошенько запомнить всей сцены — так все было обыденно и просто. И даже обидно. Я только

запомнил сильное внутреннее напряжение от того, что стал заставлять себя испытать благоговение.

— Поздравляю вас, господин капитан! — сказал человек, все так же искрясь улыбкой. — Мы с вами в некотором роде крестники!

— Разве? — спросил я, абсолютно забыв формулу ответа высшему начальству. После его слов я в голове и забухавшем сердце держал лишь о том, что ему все известно, но он чисто по-стариковски не может отправить меня на виселицу.

— Желаете вернуться в прежнюю свою часть или у вас будут просьбы об иной службе? — спросил человек.

“В Персию! В Персию с бомбами!” — едва не закричал я, предполагая, что он все знает и о Саше, но тоже по-стариковски ничего решить не может.

Начальник госпиталя, все так же пригибаясь, скороговоркой дал медицинское заключение о моем здоровье с предписанием остального лечения дома и последующей службы в условиях, исключающих переохлаждение организма, особенно легких.

— Ах вот как! В таком случае будем исходить из рекомендаций врачей! — оказал человек.

— Нет, в Персию! — закричал я, но, видимо, закричал уже мысленно, так как сердце снова на миг остановилось, я кашлянул, выталкивая воздух, и закрыл глаза.

— Капель ему! — сказал врач.

— Слушаясь, доктор! — сказала Ксеничка Ивановна, сказала обыденно, совсем за меня не испугавшись.

Я обиделся. А потом услышал резкий и невозможный запах нашатыря. Я открыл глаза. Передо мной были великолепные бровки и глаза Ксенички Ивановны, по которым бежали летние облака, перемещая их светом и тенью.

— Ну вот, все в порядке! — сказал начальник госпиталя.

— Желаю вам, господа, всего наилучшего во благо нашего Отечества! — сказал человек и пошел из палаты. Я остановил его:

— Ваше превосходительство!

— Слушаю, капитан! — так же несколько неловко, как и входил в палату, обернулся человек и уронил с одного плеча халат.

Золотой погон полного генерала или, по уставу, генерала от инфантерии и такой же белый крестик на Георгиевской ленте, какой он только что прикрепил к моей рубахе, до того скрытые халатом, сказали мне, что именно держал в уме генерал, говоря о нашем крестничестве — ведь он получил и полного генерала и орден тоже за Сарыкамыш.

— Благодарю вас, ваше высокопревосходительство! — едва нашелся я.

— О дальнейшей службе можете соотнестись непосредственно со мной! — лучисто улыбнулся генерал.

Свита его попятилась. Он остановился переждать. Я смотрел ему в спину и вспоминал своего отца. Что-то схожее было между ними.

Последней пошла из палаты Ксеничка Ивановна. Я окликнул ее. Она не обернулась. Я окликнул громко. Но мне осталась только закрытая дверь.

Сергей Валерианович вскочил с поздравлениями.

— Однако же сколько вы слабы еще, крестник командующего армией! — отметил он.

Я смолчал. Я хотел заснуть. Но офицеры из других палат прибежали поздравлять меня и набились битком. Я стал от них сонно отмахиваться. Меня посадили, прислонив к спинке кровати. Я моргал, тяжело приподнимая веки.

— Я угощаю, господа! — сонно пробормотал я. — Ужин за мой счет!

Ничего такого, что бы отделило меня от прошлого, не было. “В Батум! В Батум!” — говорил я себе.

12

Этим днем мне уехать никак не вышло. Только на ругань с начальством госпиталя, пьяненьким после обеда с командующим где-то в уездном собрании, но непреклонным, потребовалось четыре раза войти к нему в кабинет. А что уж говорить было о собственной нашей пирушке.

Ксеничку Ивановну остановить хотя бы на минутку никак не вышло. А вместе не мог я поговорить и с Анечкой Кириковной, будто все знавшей о Наталье Александровне. Татьяна Михайловна тоже объединилась с ними. Так что из всех женщин госпиталя в мой триумфальный день сердечно меня поздравила лишь Александра Федоровна, поздравила и даже поцеловала сухим вдовьим поцелуем.

На четвертый раз, уже утром следующего дня, я получил разрешение на выписку. Пришлось, конечно, обмануть начальника и клятвенно пообещать непременный мой отъезд никуда иначе, как только домой.

— Дайте слово офицера! — потребовал он.

— Даю слово офицера! — с легкостью сказал я, оговорив себе право съездить в Батум, в часть, от которой был я откомандирован в полусотню. Я ведь, кажется, уже говорил, что денежного содержания откомандированные от частей офицеры из-за штабной неразберихи перестали получать, отчего было постановлено истинно Соломоновым решением самим офицерам приезжать за ним в свои части.

— Господи, Боже мой! Сколько от вас одного мороки! — сказал начальник госпиталя мне вслед, кажется, и с облегчением.

Я от души пожелал ему всех благ, пришел в палату, сел на свою кровать и сказал Сергею Валериановичу:

— Ну вот!

И этими словами вдруг я отчертил границу, за которой остались все, кто был до сего момента. С этого слова я почувствовал свой уход вперед, в иную жизнь, в ту самую жизнь, которая после получения письма с известием гибели моей полусотни и пришедшим с тем известием ощущением своей глубокой старости, мне была не нужна. В ней не стало даже подпоручика Кутырева, единственного человека, с которым мы делили свою старость. Я надеялся на белый крестик Святого Георгия. Я надеялся, что он даст мне новую жизнь, ведь, ощущая себя стариком, я сознавал неестественность этого ощущения, я видел жизнь, и внешне мне в нее очень хотелось попасть — чего только стоили мои отнюдь не старческие вожделения! Я надеялся на белый крестик. Но он сам остался в прежней жизни.

Я посмотрел на Сергея Валериановича. Мы с ним прожили бок о бок несколько времени и при этом ничего не узнали друг о друге. Эту свою невнимательность я тоже отнес к своей старости, хотя вернее было бы ее посчитать как раз признаком молодости, не умеющей копаться в воспоминаниях и рассуждениях, а умеющей сразу действовать. Я посмотрел на него, и мне захотелось узнать о нем. “А зачем?” — спросил во мне старик.

Сергей Валерианович сам оторвался от своих газет.

— Значит, решились? — спросил он.

— Я боюсь от безделья чего-нибудь натворить! — ответил я, и ответ во многом оказался правдивым. Я даже обрадовался такому ответу.

— А после Батума в свою часть? — спросил Сергей Валерианович.

— Именно, — подтвердил я.

Вот, кажется, и такого разговора нам хватило. Оба смолкли, посмотрели друг другу в глаза.

Я пошел получать обмундирование — новое и старое. Очень неожиданными мне показались казачьи шапка, полушубок-сибирка и сапоги с овчинным чулком. Я их и не узнал, ожидая своей меховой куртки, фуражки и башлыка. Потом вспомнил о переодевании ночью на заставе, вспомнил, как мне в том помогал вахмистр Самойла Василич, перевязывал мне погоны, подгонял и затягивал портупею. Меня кольнуло сомнение — не поехать ли действительно домой, то есть к сестре Маше, и не навестить ли оттуда эту самую Бутаковку?

— Потом, потом! — тотчас же прогнал я сомнение. Ничего, кроме Батума с Натальей Александровной, разумеется, давно оттуда уже уехавшей, но все равно, ничего, кроме них и последующего зачисления в любую действующую часть, я не хотел.

Выдавая мне казачью одежду, госпитальный каптенармус с надеждой смотрел на меня — не откажусь ли от нее в его пользу. В самом деле, куда бы я в ней годился в наступающую летнюю пору. Но день сегодня был ветреным и снежным. И в глазах каптенармуса читалась неприкрытая досада на неурочную погоду, которая, по его мнению, могла меня заставить во все казачье одеться. Мне его взгляд не понравится. Я получил все. Я получил и старую амуницию, и новую, то есть френч, галифе и сапоги. Недоставало только фуражки. Я хотел спросить, нет ли фуражек в гарнизонных магазинах. Но каптенармус, выдав мне мое, как свое собственное, впал в горе и едва скрытое озлобление.

— Никак нет, ваше благородие. Про гарнизонные магазины не могу знать! — едва не в слезах ответил он.

Я нашел санитара, снабжавшего меня фейерверковским мундиром, отдал ему казачьи сапоги, полушубок, шапку, попросив найти мне приличную фуражку. Сверх меры обрадованный привалившим добром, он через час показывал мне четыре фуражки разных размеров, одна из которых вполне мне подошла.

— Зачем же четыре? Ты ведь знаешь мой размер? — спросил я.

— Так от усердия, ваше высокоблагородие. Чтобы как лучше! Я непременно побежал в магазин, мухой мне, кричу, для георгиевского кавалера головных уборов! — выдохнул санитар и не сдержался, посетовал: — Вы бы, ваше высокоблагородие, с шубчиком-то расставаться погодили. На улице падера какая, враз простудитесь!

Я отмахнулся. В палате я переоделся в старый свой мундир, прикрепил к нему

орден. Сергей Валерианович спросил про френч. Отмахнулся я и от него.

— Холодно в новом в этакую падеру! — буркнул я Сергею Валеирановичу.

Я пошел оформить проездные документы. В коридоре нос к носу я столкнулся с подпоручиком Дубиным, в мгновение чрезвычайно углубившимся в себя. Тут же столкнулся я с Анечкой Кириковной, впервые увидевшей меня при форме и от того простовато, но восторженно и волнующе распахнувшей глаза.

— Вы?

— Я, Анечка Кириковна! — громко сказал я, проходя мимо и о том жалея.

На крыльце я прежде всего увидел громаду хребта, срезанную тучами едва не в половину, так что монастырь цеплял тучи куполами. На видный остаток хребта и на окрестные горы Господь будто накинул марлю, и она очень подчеркивала рельеф, выявляя то, чего не было видно без нее. Отсутствующая летняя зелень деревьев подчеркивала, что кругом были горы, только горы, сплошные горы со всех сторон, и не было будто нигде ни единого ровного местечка. И если не ветер, то картина заснеженного утра умиротворяла бы, просила смотреть на нее и думать. У нас, в нашей природе, глаз только скользил по стене леса или стене строения в городе, от того думалось только о сугубо нынешнем, бытовом, как бы не было у нас истории, не было ее меток. А здешнее разнообразие планов, сочетание деревьев, гор и построек, покрытых тонкой марлей, будто мне эту историю стали говорить.

Я прислушался к себе. Вдруг почувствовал, что никакой трубы от груди под лопатку нет и сердце не болит. “Только бы не остановилось!” — подумал я и сам остановился около перил. Я простоял на крыльце минуту, слушая себя и прохватываясь не столько холодным, сколько сырым ветром, заворачивающим из-за угла, и шагнул с крыльца как-то по-стариковски и видя себя со стороны лишь стариком. Я даже стал ощущать, что и виски у меня седые. То есть я как бы сравнялся с теми сорокапятилетними капитанами, которые обычно к этаким годам ими становятся. Я шел по улице против ветра чуть сутуловато, но прямо, как и подобает хорошо выученному офицеру, шел чуть устало, но легко и уверенно, как подобает офицеру, у которого впереди еще всего много. То есть ощущение старости сменялось во мне ощущением зрелости. Именно зрелым я себе казался, зрелым, много увидевшим в жизни, но и много от нее ждущим. Я таким себе казался, а когда вошел в помещение коменданта гарнизона и увидел себя в зеркало, то едва не шарахнулся от неожиданности. Вместо зрелого мужа там был молодой, разрумянившийся от ветра и счастья юноша, которому вопиюще не соответствовали капитанские погоны и белый крестик ордена. “И такого она полюбила?” — в изумлении и досаде перевел я мысли на Наталью Александровну и на Ксеничку Ивановну.

Я тут же скорчил угрюмую мину, благо, что на душе от увиденного стало действительно худо. Но уж где там! Открытие мое в мгновение ока сообщилось всей комендатуре, и всякий при моем появлении на свой лад удивлялся именно неожиданности сочетания моей якобы цветущей юности с высокими чином и орденом. Так случилось во всех отделах комендатуры, напомнив мне штаб Олтинского отряда, когда офицер возмутился моим причислением к пограничной

казачьей полусотне.

— Капитан! — таращились на меня и пожилые, и молодые, и всякий выражал свое удивление каким-нибудь продолжением, какой-нибудь пакостью, кажущейся им восхищением или милой остротой: — Капитан! Да что с вашими погонами? Уж не растеряли ли вы пары звездочек с каждого? — говорили одни, намекая на приличествующий моему виду чин подпоручика. Другие же восклицали: — Капитан! Если вы, конечно, капитан, а не молодой человек в мундире любимого дядюшки! — и так далее.

Это было бы все переносимым — оскорбительным, по все-таки переносимым — если бы не беззастенчивые взоры, направленные на белый крестик ордена. Он-то уж совсем выводил из себя всех. Выводил до того, что некий плешивый чин с четырьмя пресловутыми звездочками на погонах, то есть штабс-капитан, в открытую усомнился в том, мой ли орден.

— А ведь по чину Георгий не положен! Да! — заявил он, уперши глаза в лепной карниз комнаты. — Если он сейчас капитан, то капитан не в очередь. Значит, на самом деле он штабс. А штабсу извольте иметь Станислава!

Я перенес все издевательства с терпением стоика. Они говорили, а я терпел, с каждым последующим разом находя в терпении больше и больше удовольствия, будто опять становился одиноким стариком. Только при последней выходке плешивого штабса я внутренне набычился и кинулся вспоминать статьи свода законов, касающиеся награждений за боевые отличия. В секунду я пролистнул их все, вспомнив, конечно, свою детскую мечту поразить государя знанием законоуложения Юстиниана Великого. Я и без этого плешивого писаря знал, что представлен был я в полном соответствии со статусом, то есть со статьями законов, предусматривавших как раз мой успех по прикрытию отходящих наших частей перед фронтом более сильного противника да еще и в условиях восставшего в нашем тылу местного населения. Я знал, но в данном случае смутился перед плешивым, забыл, что я рангом выше и могу в полном соответствии с этим поставить его на место или просто вызвать стреляться. И я был по-стариковски доволен собою, доволен тем, что смутился, что забыл, что не поставил и не вызвал.

Я выправил документы на проезд в Батум. До поезда, проходившего из Тифлиса в одиннадцать вечера, оставался весь день. Я пошел в госпиталь, вспоминая короткую встречу с Анечкой Кириковной и фантазируя, как она непременно сообщила о том Ксеничке Ивановне, и как Ксеничка Ивановна от сообщения еще более замкнулась.

— Пусть покамест мне мешает Наталья Александровна! — стал я фантазировать мое объяснение с Ксеничкой Ивановной. — Да ведь вы меня просите. Я обожаю вас. И я люблю вас. Вы только наберитесь терпения, пока Наталья Александровна уйдет! — такие слова придумывал я и верил им, видя их в полном соответствии с моим миром. Я придумывал, что более ранняя моя встреча с Ксеничкой Ивановной заняла бы место встречи с Натальей Александровной. Вот были бы мы счастливы! — думал я и вновь внушал Ксеничке Ивановне немного потерпеть.

— Но как же просьба Натальи Александровны оказаться с нею рядом, лишь она позовет, и как же мое обещание на это! — вдруг вспомнил я, и шел некоторое время в совершенном смятении, потом же нашел выход: — Как позовет, так я окажусь у нее с тем, чтобы сказать, что она женщина замужняя, и я мужчина, полюбивший свою жену! И ничего между нами более быть не может!

— Да ведь она мне может больше никогда не встретиться! — еще нашел я выход. — Она уехала в Петроград. Я уеду… — а тут-то всплыл Батум, и с ним всплыл вопрос: зачем же я еду в Батум? — В Батум? — переспросил я и быстро нашел: — В Батум я еду поблагодарить полковника Алимпиева и всех остальных, кто стал причастен моей судьбе!

И вся ситуация стала мне напоминать предбоевую. К вечеру, пусть покамест далекому, но к вечеру все должно было быть разрешено. Я увидел цель. Я увидел сроки ее достижения. Четыре месяца назад я спросил Сашу на олтинской заставе про то треклятое ущелье, перед которым я на следующий день положил свою полусотню.

— Ты бы пошел? — спросил я про ущелье.

— Я бы пошел! — не задумываясь, сказал Саша. — И еще как бы пошел! За ночь мы прошли бы эту дыру, а утром…

Три же месяца назад в самую ночь, когда погиб Саша, но когда я еще о том не знал, и ждал его, и, ожидая, предполагал отмену всех моих распоряжений, я себе сказал, что останусь на позиции даже в том случае, если Саша прикажет всем покинуть ее. Я, отправляясь на позицию, велел Самойле Василичу не позднее семи утра прибыть туда с завтраком.

Он вздохнул с сомнением, не придет ли раньше другой приказ, то есть приказ Саши, оставить ее.

— Я остаюсь там при любых обстоятельствах, а посему завтрак подать туда не позднее указанного срока! — прикрикнул я.

Кроме того предстоящего и единственного дня, кроме позиции, спешно оборудуемой казаками напротив выхода из ущелья, у меня ничего не было. Потому и не важным становилось, как все случится. Важным было все предстоящее в тот день.

Так было перед боем три месяца назад. Так же происходило со мной сейчас. Только тогда я приказывал. Тогда я приказывал полусотне мужчин, подразделению, в силу его малости для моего чина даже оскорбительному, но ставшему мне родным. Тогда приказывал полусотне мужчин, а сегодня просил одну женщину. И я сейчас увидел, что сегодняшнее мое состояние равно тому и решить я его мог только теми же средствами. Я поверил в свои фантазии насчет объяснений с Ксеничкой Ивановной. Я поверил в свои слова и в свое счастье. У меня выпадало нынче навечно быть с Ксеничкой Ивановной. И я малодушно — отмечаю, малодушно, — но и справедливо полагал, что имею право отказаться в пользу Ксенички Ивановны от данного мной Наталье Александровне слова появиться перед ней в тот миг, лишь она позовет.

Я вошел в коридор госпиталя иззябший, но с сильной мыслью тотчас же все разрешить, то есть тотчас же сделать Ксеничке Ивановне предложение. Я пошел ее искать. И нашел в обществе подпоручика Дубина. Ксеничка Ивановна заполняла бумаги, а он сидел подле и говорил ей веселое. Ксеничка Ивановна краснела и не очень весело смеялась. На меня она взглянула мельком. Я подождал несколько секунд и попросил Ксеничку Ивановну уделить мне внимания. Володя, то есть подпоручик Дубин, повернулся ко мне.

— Господин Георгиевский кавалер, фельдшер Галактионова заняты по службе! — сказал он.

— Перестаньте, Дубин! — в гневе вскричала Ксеничка Ивановна. Я улыбнулся и вновь попросил у нее внимания. Она, не глядя на меня, согласилась высвободить минутку, как только закончит бумаги. Я поблагодарил ее и пошел к себе в палату собирать саквояж, купленный в то время, когда я заказывал френч и сапоги.

Ксеничка Ивановна пришла вскоре же. Сергей Валерианович мгновенно нашел себе занятие вне палаты.

— Ксения Ивановна! — назвал я ее полным именем и далее сказал скороговоркой, будто напугался, что она уйдет. — Ксения Ивановна, я прошу вас простить меня, и я прошу вас стать моей женой!

Сразу же взволновавшись от просьбы простить, Ксеничка Ивановна не обратила внимания на вторую просьбу. А когда же смысл ее к ней дошел, она побледнела и схватилась за щеки, неотрывно и, кажется, с ужасом глядя на меня. Я просьбу стать моей женой повторил и шагнул к ней, отнял руки от лица и нежно сжал их:

— Не отказывайте, прошу вас.

Она отвела взгляд свой. Отвела не из стыдливости или еще подобного чувства, а отвела в переживании чего-то глубокого и тяжелого, пришедшего к ней с моими словами. Я это увидел и убедился в правильности своего выбора. Трудно и со страхом решаемое сейчас, по моему убеждению, потом должно было стать прочным и неколебимым.

— Разве так можно, Борис Алексеевич! — спросила Ксеничка Ивановна через какое-то время.

— Я умею только навсегда! — сказал я, может быть, и не скромно, но верно.

— Да вы же не знаете моей жизни! — сказала Ксеничка Ивановна. — А я не знаю вас. У вас репутация распутного человека, пользующегося успехом у женщин! Вы не будете мне верны!

— Какая же репутация! Нет у меня никакой репутации! — вскричал я, пораженный ее словами. — Не хватало, чтобы у меня была репутация!

Я был поражен словами Ксенички Ивановны, но смутить меня, уже решившегося и уже пребывающего в бою, было невозможно. Кто-то из великих сказал: для экстремальных ситуаций, каковыми являются бой и вот такое объяснение, совершенно необходимы слова о том, что плохое решение лучше,

нежели потеря времени в поисках решения хорошего. Я не то чтобы усвоил их, эти не очень великие, но необходимые слова. Я, кажется, характером был такой. И, конечно, заявление Ксенички Ивановны меня только задело, но не остановило. Я догадался, что такую репутацию получил в связи с флиртом своим здесь, в госпитале.

— Мнение ваших ветреных подруг только лишь оттого не оскорбительно, что исходит именно от них! А я и без слов буду вам надежным и любящим мужем! — сказал я.

Она на миг взглянула на меня. В глазах ее опять быстро бегущие облака перемежили свет с тенью.

— Но вы не знаете меня! Если по отношению к вам допущено несправедливое мнение, то меня вы не знаете! Я, я… — она, вероятно, хотела охарактеризовать себя как-то отрицательно. — Я даже курила и спала среди мужчин! — нашла она в себе порок, которого, видно, и сама испугалась, и тут же принялась объяснять: — Я была в санитарном транспорте! И мы застряли в Сарыкамыше! Мы в вокзале сделали госпиталь. Кругом стреляли. Нам нельзя было выйти. Работа была, Борис Алексеевич, страшенная! Не было ни постелей, ни лекарств, ни перевязочных материалов, ни санитаров! Раненые все прибывали и прибывали, а мы уже были отрезанными. Я принимала их, принимала и на какие-то сутки упала. Наклонилась к одному. Говорили, что нас отрезали, что вот-вот возьмут в плен. Я ужасно боялась. Я взяла себе револьвер умершего офицера. Я смогла взять чужую вещь. Более того, я взяла ее у мертвого человека! И вот тогда меня научили курить. Это было омерзительно. Борис Алексеевич, вам нужна другая женщина!

— Да вот вздор! Мне лучше знать, какая женщина мне нужна! — рассердился я.

— Нет. Мне лучше знать! — сердито же возразила Ксеничка Ивановна. — Вы образованный. У вас высокий чин. У вас орден. Вам надо расти в генералы. И вам нужна жена с хорошей репутацией, из хорошей семьи!

— Ну вот, вздор! — совсем рассердился я. — То у меня репутация, то уже репутация у другой женщины! Вот хорош был сотник Томлин! Он от злой жены взял да сбежал безвыходно на линию! И он сказал, что женщину учить — только время терять! А посему наше дело решено. Вы отпрашиваетесь на час у начальства, и мы идем к священнику! У меня отпуск домой! Мы поедем к моей сестре Маше в Екатеринбург! Вернее меня вам более мужа не сыскать!

Эти слова были правдой. Они были правдой не в том смысле, что я был лучше всех мужчин, а в том, что верным бы я был Ксеничке Ивановне навсегда. И коли бы не погиб на войне, стал бы и генералом. С верной и любимой женой — это совсем было бы мне просто.

А из коридора вдруг Ксеничку Ивановну позвали.

— Фельдшер Галактионова! — громко и тревожно позвала Танечка Михайловна, и мне пришло в голову, уж не подпоручик ли Дубин настроил ее.

— Ну вот, мне нужно к больным! — побежала Ксеничка Ивановна. А я остался. И, кажется, более нелепого положения во всей жизни не имел.

— Вы прибавьте, что у вас уже есть жених-музыкант! — закричал я вдогонку.

Ксеничка Ивановна у двери остановилась, решительно обернулась.

— Мне, наверно, не будет более лестного предложения, чем ваше, Борис Алексеевич! Вы прекрасный человек. Но я не люблю вас! Простите меня! — сказала она и ушла.

Я сел на кровать и стал переживать о потерянной шашке Раджаба. Она, Ксеничка Ивановна, взяла у мертвого офицера револьвер. Точно так же кто-то взял у меня шашку Раджаба. Он подумал, что я вот-вот умру. И почему же должна пропадать такая великолепная шашка! — вот только на такое переживание толкнули меня слова Ксенички Ивановны до той поры, пока наконец смысл ее последних слов до меня не дошел. Мне, наверно, следовало бы размышлять совсем об ином. Мне следовало бы сказать: “Экая незадача — “Не люблю Вас!” Велика ли трагедия для хорошенькой девушки — не любить. И совсем это ничего — не любить. И на здоровье. Не любит сейчас — полюбит завтра. Ведь сказала же мне, что я прекрасный человек. И сама она прекрасный человек, иначе бы я не стал делать ей предложения. Что же не полюбить прекрасного человека, будучи самой прекрасной!”

Вот так, наверно, следовало бы мне подумать и на своем настоять. А я сел сожалеть о потерянной шашке Раджаба, пока не постиг слов Ксенички Ивановны.

Вошел Сергей Валерианович, с укоризной поглядел на меня.

— Все-таки, Борис Алексеевич, нехорошо с вашей стороны! Ксеничка Ивановна бежала от вас в слезах!

Вместо ответа я попросил его сходить за моим санитаром. Потом послал санитара за извозчиком, простился со всеми, кого увидел, и поехал на вокзал. При прощании глаза Сергея Валериановича спрашивали о чем-то, вернее всего, о том, не будет ли поручений в отношении Ксенички Ивановны. Я смог лишь криво улыбнуться. А уж что он прочел в такой улыбке — один Бог ведает.

На повороте улицы я оглянулся. Я ждал увидеть Ксеничку Ивановну. Улица была пустой. Ее перебегала собака, да ветер гнул деревья. Ну, совсем знакомая картина.

— А что, уважаемый, не отвез бы ты меня в кофейню? — спросил я извозчика, большого, громоздкого молоканина.

— Никакого труда, ваше благородие! — отозвался он. Я же хотел услышать: “Весь кафейн закрит, сардар. Восстаний!” — как было мне ответили в Батуме, а потому сказал катить прямо на вокзал.

На реке пришлось дожидаться очереди — старый мост был узок и пропускал мало. Река неслась поднявшаяся, мутная, если не сказать — грязная, неслась с гулом. Можно было даже слышать, как она тащит по дну своему камни. Несколько бедолаг брели вдоль берега и опускали в воду сетчатый кошель на длинной палке — ловили рыбу. Сразу за ними, за рыбаками и рекой, дыбился огромный хребет, вдруг на секунду напомнив мне тот самый собачий загривок, который встал утром моего

дня над заставой. Я вспомнил, как я тогда оглянулся. Тогда ведь получилась ситуация, в которой я, опытный артиллерист, не мог из-за раны и неумения казаков обыкновенно справиться с пушкой. Раджаб при общем хаосе отступления отобрал у какого-то ротозея горную пушку во вьюках, привез ее мне, нет, прежде он увидел посланного мной в отряд урядника Расковалова, цепляющего за каждого начальника с просьбой прочитать записку о помощи. А все только думали о том, как бы удрать. Ксеничка Ивановна тоже рассказывала про Сарыкамыш, из которого тоже все устремились удрать, за исключением тех, кто был верен долгу.

— Перед вами командир третьего горско-моздокского казачьего полка Раджаб-Бек! — вспоминал Раджаб о том, как он отобрал пушку, выдав себя, скрывая свои сотничьи погоны буркой, за командира полка. — Поручик явно обалдел, он даже не смог сообразить, что тридцатитрехлетних половников не было со времен восемьсот двенадцатого года. Раджаб этим обманом отобрал у него пушку, притащил ее мне. Без своих батарейских я невыносимо запаздывал, но казаки собрать пушку не умели. И на маневрах из такой кое-как собранной пушки я не стал бы стрелять. А они уже били по нас гранатами.

— Без всего останемся! — подскочил ко мне хорунжий Махаев. Батарейное, дивизионное, бригадное имущество — это, конечно, было святым. Но люди мне всегда были дороже. Эти казаки, на которых я только что злился и невозможно ругался, были их казачьего имущества мне дороже. Но я все-таки на заставу оглянулся. Дым от разорвавшихся гранат, смешиваясь с новыми разрывами, вздыбленным загривком собаки встал над заставой.

Вспомнив это, я понял, отчего хребет, мирно стоявший за рекой, был мне невыносим. Было все так просто. То, что меня мучило за все время моего выздоровления, оказывалось простым. Мне стало легко. Кроме события с Ксеничкой Ивановной во всем другом мне стало легко. Я сказал, что правильно делаю, уезжая в Батум.

Пока мы ждали очереди на мост, вдруг одна арба подъехала к берегу. Я посмотрел просто так — едет и едет к берегу арба, в которую впряжен ишак, кстати, довольно крупный ишак. И не было мне интереса, когда мужик стал по берегу собирать камни, стаскивая их в арбу. Он снес сначала ближние, потом пошел за дальними, потом перегнал арбу подальше и опять сделал все так же — сначала снес в арбу ближние камни, потом дальние. А потом, пошарив и не найдя подходящих камней, возможно, уже вывезенных им, он вошел в воду, в самые первые струи, первые, но ничуть не лучшие против тех жутких, клокочущих посредине реки и каких-то просто язычески и дико алчных. Он вошел, согнулся, нащупал, вытащил один камень, снес его в арбу, поплелся снова, нащупал, вытащил и снес другой, третий, четвертый. Он знал свое дело. И смотреть на него было мирно. Собой он являл картину мирную, повседневную, но и какую-то значимую, ритуальную, будто был жрецом. Я сравнил его работу со своей работой во время боя и даже отчего-то сравнил с Ксеничкой Ивановной.

Я посмотрел на очередь к мосту и вдруг сказал извозчику ехать на вокзал, сдать там на хранение мой саквояж и затем вернуться ко мне. Сам же я решил выйти и присоединиться к мужику. Помог ли бы я ему или не помог — для меня было делом

десятым. После слов Ксенички Ивановны я захотел быть рядом с кем-то из тех, кто что-то делает и тем отвлекается от душевной невзгоды.

— А! — сказал я на первых же шагах к реке. — А ведь Саша был прав! — И, конечно, эти слова я отнес к событиям в Персии, и, конечно, при них я себя увидел нашедшим дело, отчего все недавние мои рефлексии стали казаться смешными и стыдными.

— Плохо вы поступили, Ксеничка Ивановна! — энергично сказал я, уже зная, что Ксеничку Ивановну не оставлю. — Экая беда, она меня не любит! — в веселом изумлении и как некое открытие сказал я себе, спускаясь по мостовой насыпи вниз. — Вы полюбите меня, Ксеничка Ивановна! И!.. — я при этом даже задохнулся, но отнес это к нездоровым легким. — И вы, Ксеничка Ивановна, — я далее сказал с мечтой, — вы мне народите мальчика Бореньку и девочку Ираидочку!

То, что Бориска и Ираидочка были детьми сестры Маши, я понял уже в следующее мгновение. А пока говорил, мне моя мечта казалась моим изобретением.

С моста я услышал:

— Он что! Он куда! Эй!

Это я услышал русские возгласы. Местные же вдруг взорвались своим языком, гораздо более тревожным и клокочущим. Я не стал оглядываться. Я взглянул прежде всего на моего мужика.

Наверно, ему речные камни были необходимы. Иначе зачем бы он полез в реку в такое время. Арба его, впряженная в ишака, была заполнена на треть. А сам мужик саженях в десяти от берега, взявший особенно подходящий камень, гладкий валун на вид пуда два весом, корячась, повернулся к берегу. Вода хлестнула его выше колен.

Это я увидел, когда услышал клокот на мосту. Я не оглянулся, а просто прыгнул к реке. Ибо в это время мужик неловко ступил, упал и вдруг скрылся под водой. Но прыжка моего хватило только натолкнуться на колючки и на камни, ими скрытые, отчего, конечно, я позорно кувыркнулся, потерял фуражку, но кое-как выровнялся, вскочил и кинулся к берегу.

То ли бедняга, упав, сразу хлебнул в дыхательное горло, то ли его ударило по голове камнем, но через какое-то время он показался бесформенным комом в волнах, неожиданно далеко к середине реки, и опять скрылся, слился с бугристой, грязной водой. Покончено с ним было так же быстро, как и на Марфутке, в бою.

Я перекрестился и полез на мост. Извозчик-молоканин подал фуражку. Народ галдел и тыкал руками в сторону уносящегося в волнах тела. Кто-то побежал вдоль реки дальше меня. Но бесполезно было гнаться за свирепой рекой. Я достал деньги, велел извозчику отдать их семье утопленника, а потом приехать на вокзал. Сам же я пошел туда пешком.

Я не знаю, какое употребить слово к тому, что я увидел на вокзале — разве лишь сказать нечто похожее на грязную клокочущую воду реки. Раньше я не обращал внимания на тех наших госпитальных офицеров, которые отправлялись по

выздоровлении к месту назначения и так же как я, съездив на вокзал, в остаток дня до поезда возвращались обратно.

Сейчас же я подходил к вокзалу, уже на ближних подступах в улочках и крошечной привокзальной площади — переполненному повозками, телегами, арбами и немолчным, словно река, гулом, который, казалось, невозможно было пробить даже выстрелом. Я подходил к вокзалу, а перед глазами у меня стоял несчастный утопленник. Нелепость его смерти была сродни той, какая ждала меня в день моего отъезда из Батума от панической стрельбы необученных солдат при разыгранной Раджабом атаке. Раджаб с казаками ввосьмером или даже всемером, да, именно всемером они, выпив и разгорячившись, развернулись в лаву против пехотной или инженерной части, ведущей укрепления на берегу реки. “Фить!” — сказала в тот миг возле моего виска птичка. И если бы она дюймом-другим взяла левее, я и этот утопленник были бы по нелепости нашей смерти братьями.

Я опомнился только тогда, когда не смог протиснуться к дверям вокзала, в которых застряла большая армянская семья со скарбом. Два обросших армянина тщетно пытались протащить огромный тюк то ли на вокзал, то ли, наоборот, оттуда. Около них суетились женщины, старые и молодые, с младенцами на руках и всяким другим скарбом. А всех их с двух сторон сжимала огромная толпа местных людей и солдат.

— Да что ж вы, канальи! — кричали отовсюду армянам. — А вот дайте им пинкарей, толку-то враз прибудет! Экий народ! И у кассы их не оттолкнуть, и в дверях не обойти, а к турку-то, небось, не шибко!.. — и много всякого другого кричали с той и с другой стороны, крича, сжимали, и ни одна сторона не догадывалась уступить, чтобы противоположная выдавила несчастный тюк.

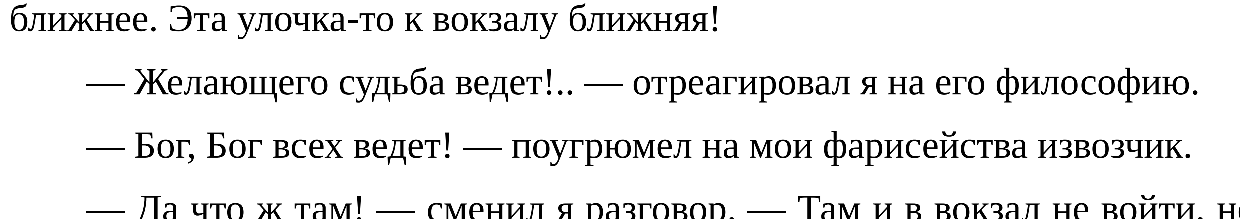
Я наконец отвлекся от утопленника, огляделся, попытался остановиться, ибо понял, что извозчик меня в этакой толкотне нипочем не сыщет. Но остановиться мне не удалось. “Желающего ведет толпа, нежелающего тащит!” — перевел в уме я латинское изречение.

Этот мне мелькнуло вспышкой шрапнельного разрыва в ярком небе, то есть едва заметно. Я энергично стал выдираться из толпы. И я стал ругать извозчика за то, что он не предупредил меня о вокзале — ведь наивно было предполагать, будто он ничего не знал. Я пошел пешком, а он ничего не сказал.

Я его ругал, но чуял, что, в сущности, оба мы оказывались хороши. И мне теперь оставалось рыскать по улочкам в надежде на которой-то увидеть его. Что же — занятие, достойное офицера. “А вот дать ему пинкарей — толку-то поболее будет!” — посоветовал я в отношении себя.

Меня и без пинкарей потерли изрядно, пока я выдирался, захватив крестик в кулак от тревоги его потерять, и на мое счастье в той улочке, по которой я пришел, я натолкнулся на извозчика. Он сам окликнул меня, так как я совсем не ждал его встретить сразу же.

— Так что, ваше благородие, господин офицер, верно я рассудил, что вы будете в этой улице! — закричал он. — Думаю, человек сделал Божье дело, дал страждному, — значит, он добрый человек. А у доброго всегда все прямое да



ближнее. Эта улочка-то к вокзалу ближняя!

— Желающего судьба ведет!.. — отреагировал я на его философию.

— Бог, Бог всех ведет! — поугрюмел на мои фарисейства извозчик.

— Да что ж там! — сменил я разговор. — Там и в вокзал не войти, не только к кассам!

— Так что же у кассов вам делать, ваше благородие? — отозвался он. — Там непременно в цепью сцепились армян дюжины две, а иным и не подойти. Уж такой народ, что самый ловкий по всему свету! Вам и до вечера к кассам не пробиться. Это вы суету себе придумали — нынче же в полдень на вокзал поехать, когда поезд только к ночи будет!

— Так ведь билет же надо! — не совсем понял я, о чем он.

— Тьфу на билет, прости меня, Господи, грешного! — перекрестился он. — Я советую сейчас где ни то отдохнуть, а к поезду я вас здесь встречу, и вещички ваши привезу, и в вагон подсоблю. Божие дело вы сотворили. Грех вам не помочь! — он еще перекрестился.

— А билет? — спросил я.

— Дадите кондуктору, сколько там — тем и обойдется! — подсказал он.

— Что дадите? — раздельно, в полном непонимании того, как это: дадите, спросил я.

— Да обыкновенно, ваше благородие! Дадите кондуктору и езжайте себе хоть куда! — не понял моих слов он.

Я же, конечно, вспомнил своего бедного подпоручика Кутырева, говорящего о близящейся катастрофе. Я и вокзальное безумие присовокупил в иллюстрацию его слов. Я и декабрьский наш позор, а следом и позор в Восточной Пруссии сюда прибавил. Но, вместе взятые, они никак не одолевали непонятного слова “дадите”.

— Что дадите? — спросил я еще раз.

— Да ведь билета вы, ваше благородие, вполне можете не получить. И что же, вам год в вокзале жить? — снова не понял меня он.

— Так, стало быть, я поеду бесплатно для того, кто меня повезет? — спросил я.

Извозчик снова перекрестился — видно, и сам понял весь грех своего совета.

— Ну, барин, — сказал он в испуге. — Господь с вами! А только мы — что ж. Мы — как сподобнее! — И, отвергая возможные в его понятии мои

подозрения насчет денег для семьи утопленника, он быстро стал объяснять, как и кому отдал их, повторяя, что у них, у молокан, такого, чтобы чужое взять, — не бывает никогда.

Я без него знал, что не бывает. Меня не волновало, дошли ли деньги до семьи. Я знал, что дошли. Меня гнало в тупик другое — как же и на основании чего возьмет с меня плату один человек, а повезет другой. И — того хуже — как же этот

один человек за свой обман и за свое воровство потом получит с другого человека, обманутого и обворованного, еще и жалованье. И — еще хуже — как это все можно советовать в качестве примера. Вот уж доподлинно становилось по Кутыреву: масса граждан осознала несоответствие своего положения с их представлениями об этом положении! — то есть хам осознал, что нормы, заставляющие его прятать свою суть, не соответствуют его сути!

Я велел молоканину ехать в ближайшую гостиницу. Когда вывернули вновь к мосту, я в стороне увидел новый, строящийся. Я велел поехать к нему. Молоканин безропотно повиновался и отыскал вдоль рельсов некую тропу, по которой и поехал, порой рискуя опрокинуться. Хребет стал от меня по левую руку столь близко, что стал просто казаться стеной.

Когда я взошел на мост, рабочие остановили работу. Я не сомневался, что кто-то из них сейчас спешно зовет начальника. И начальник меня встретил тотчас же — довольно молодой и энергичный инженер в форменном платье, в пенсне и с маленькой, но красивой бородкой. Мы представились друг другу. Я рассказал, как наблюдал за строительством с горы, когда стал выходить из госпиталя в город, как несколько раз порывался прийти. Он было принялся показывать мне мост, металлический, легкий, весь инженерный — другого слова и придумать ему было нельзя. Но увидел, что я на ветру буквально деревенею, и заспешил увести меня с ветра, а потом и совсем предложил ехать к нему на квартиру.

Дорогой он стал расспрашивать о боях. Я не хотел говорить и заставил его рассказать о строительстве. Он во всех деталях стал пояснять мне свое решение, свои расчеты, называть людей, работающих с ним, рассказывать про свою жену, с которой они поженились уже во время строительства моста и которую он привез сюда всего двумя месяцами назад. Звали его Владимир Леонтьевич, а жену — Ирина Владимировна. По тому, как он это сказал, я понял — он ее в домашней обстановке называет дочкой, а она его папиком. Был он чином коллежский асессор, то есть равен был мне. Он очень обрадовался, узнав, что родом я из Екатеринбурга, ибо сам родом был из нашей же Пермской губернии.

— А не знаете ли вы там станцию Баженово? — спросил он.

Я ответил, что бывать тех местах мне не приходилось, но станцию знаю.

— Вот в тех местах отец-то мой некоторое время строил дорогу. Какие чудные детские годы я провел там! — воскликнул он и потом с этим восторженным чувством представлял меня своей жене.

Еще в дороге, между инженерными пояснениями, он стал говорить о плачевном состоянии хозяйства страны и приводить примеры этого плачевного состояния — ну вот хотя бы положение с железнодорожными перевозками.

— Ведь черт знает что! — вскричал он про железную дорогу, а молоканин с укоризной обернулся. Владимир Леонтьевич заметил укоризну и стал поправляться: — Да, да, каюсь. Великий пост! Но ведь мм… аллах… мм… ну, одним словом, ничто ни на что не походит! А цены-то стали как расти! Я уж не стану говорить про свой мост, стоимость которого обойдется казне и городу в двойную, а то и в тройную копеечку! Я вот спрошу у нашего, образно выражаясь, поводыря, почем

нынче фунт-то подковочных гвоздей!

А я по его прибавочной частице “то”, характерной уральскому говору, в самом деле признал в нем земляка.

— Этак-то ведь скоро на армии все отразится. Как начнут поставщики драть-то, если уж не начали. Солдатику-то надо будет выстрелить, а ему приказывать будут не стрелять: патрон сильно дорого казне обошелся!

— Да уж очень тоскливо вы, Владимир Леонтьевич, армию видите! — в соображениях армейской корпоративности возразил я. — Ведь одно дело было нам, раненым офицерам, вспоминать все увиденные неприглядности вашей армии, и другое было дело слышать хотя бы намеки на них от человека постороннего.

— А вот я вам сейчас в два-то счета распишу экономический закон — сами увидите! — живо отозвался на возражение Владимир Леонтьевич, даже в удовольствии прихолив и без того красивую свою бородку.

— Кроме экономического закона есть еще дух русского солдата! — совсем не к месту продолжил я возражение все из той же корпоративности. Более глубоко возражать мне не хотелось.

— С духом-то хорошо, государь мой Борис Алексеевич! Да сильно нас противник снарядами давит. А это-то уже экономический закон. Сколько я полагаю, к осени-то нам нечем будет воевать! — сильно и с прежним восторгом гнул он свою линию.

Я вспомнил бутаковцев и прежде всего этот эпизод, когда все поняли, что с Марфутки никому живым не уйти. И среди общего молчания только казак по прозвищу Теща сказал и ни себе, и никому:

— Придавят нас, как вшу на ногте!

— Задохни! — оборвал его хорунжий Махаев.

— Вот доля! — снова сказал казак Теща. — Я безотцовство хлебал. И моим достанется то же!

— Задохни, говорю! — оскалился хорунжий Махаев. Был такой разговор среди моих казаков, когда они поняли, что с Марфутки им живыми не уйти. Они поняли. Но никто не шевельнулся даже оглянуться.

Я напрягся к Владимиру Леонтьевичу неприязнью, хотя прекрасно понимал, что он был прав, и я сам знал о нашем огневом обеспечении, которое оказывалось ниже обеспечения столетней давности. Но и меня понять было можно. Хороший буду я командир, если стану в решении своих боевых задач и в решении задач обеспечения моих людей оперировать не уставом и не необходимостью, а экономическим законом, проваливающим наше тыловое хозяйство. Поставят мне задачу и дадут тысячу патронов — я буду решать ее одним способом. А поставят задачу и дадут один патрон — я буду ее решать способом другим. И — никаких экономических законов для меня не должно существовать. Иначе скоро и к социалистам скатиться. Исходя из этого, я жестко сказал Владимиру Леонтьевичу:

— Виновных — на виселицу. На их место — добросовестных грамотных патриотов. Вот и весь экономический закон на время войны.

— Ну, вы уж, батенька, не скажите так-то при Ирине Владимировне! Она существо хрупкое, а вы уж очень круты, Борис Алексеевич! — стал успокаивать меня Владимир Леонтьевич, а потом спохватился: — Да и тему-то сменить пора. Сейчас отобедаем. А к поезду я вас провожу сам. У меня с начальником станции приятельские отношения. Вы только не судите строго мои хоромы. Хорошие-то квартиры с началом войны уже все заняты. Мы с Ириной Владимировной рады уже тому, что такую нашли!

От обеда и горячего вина с гвоздикой, специально мне приготовленного, я не отказался, потом не переборол себя, поддался уговорам хозяев и заснул на диванчике, укрытый пледом. Проснулся я в одиночестве. Холодный неуютный полумрак узкой, чужой квартиры напомнил мне, что я за все время после выхода моего из-под ареста впервые остался один.

— Один, как тот утопленник в реке! — сравнил я свое состояние и опять отметил чувство моей сопричастности к смерти всех, кому я хотел стать близким. Я подумал, что, пожалуй, и на Владимира Леонтьевича распространится моя причастность, пожалуй, так и на Ксеничку Ивановну! Нет, положительно, мне следовало от этих бездельнических рефлексий бежать в действующую часть.

— Завтра же, завтра я въеду в Батум! — попытался я обрадоваться и, через отсутствие там всего того, что мне было дорого, я вернулся к Ксеничке Ивановне, говоря, что с нею мог бы тоже жить на такой холодной, полутемной, неуютной квартире, но ни холод, ни тьма, ни убожество убранства — вообще ничего бы ровным счетом не значило, а значило бы только одно — только то, что оба мы были счастливы.

Лишь стемнело, вернулся Владимир Леонтьевич со свертками снеди, с корзиной бутылок и объявил, что состоится пирушка его товарищей, на которой будет и начальник станции, и что из-за этого Ирина Владимировна оставила меня без внимания, укатив к парикмахеру, к портнихе, в кондитерскую, на базар и еще куда-то туда, куда укатить хватает только женского ума.

От известия я поморщился. Ну, а что же — надо было ехать в гостиницу. А еще лучше — в госпиталь, и если уж не объясняться с Ксеничкой Ивановной, то просто выпить на дорожку в близком мне кругу.

И весь вечер я терпел, старался быть любезным и занимательным, но на самом деле только считал время. Меня спрашивали о войне, о турках, о моей батарее и подвиге. Я старался на все ответить. Отвечал, конечно, не так, как видел тогда, и не так, как чувствовал и знал теперь, а так, чтобы было ясно им, боя не видевшим, то есть упрощенно. Отвечая на вопрос об ордене, я вновь вспомнил плешивого штабс-капитана из гарнизонной канцелярии, для которого, видно, орден Святого Станислава с мечами был лелеемой мечтой. Вспомнив его, я вспомнил и едва ли не четыре статьи закона, дающие мне за мои бои право на мой орден. И почему-то вспомнил я утренний этот городишко, сочетание разнообразных планов, сочетание деревьев, гор, построек, покрытых тонкой марлей неожиданного снега, навеявших

мне мысль о здешней истории в противовес отсутствия ее у нас в нашем плоском и угрюмом рельефе.

— И без Ксенички Ивановны! — прибавил я.

Владимир Леонтьевич сидел подле Ирины Владимировны, влюбленно держал ее руку в своей, свободной же рукой трогал свою красивую бородку и восторженно говорил:

— Вы представляете, господа! Наш Борис Алексеевич напрочь не приемлет экономические законы!

Ему откликались разноголосо и разно по смыслу:

— Напрасно, напрасно, господин капитан! Армия в современных условиях должна наконец… — и далее замысловато объясняли что-то то, что должна армия, или далее совсем наоборот, говорили про то, что этого армия не должна. — А русский мужик силен не экономикой, а именно духом! И Богом!

Я видел в это время своих батарейских, таскающих горные пушки на руках и поспевавших ранее противника, видел бутаковцев, безмолвно, если не считать диалога казака Тещи с хорунжим Махаевым, полегших в неизвестной им стране, но на границе их империи. Зачем был им этот экономический закон? А равно с ними, зачем он мне? Какое счастье принесет он, если и без него у нас все было так, как заведено от века — империя дает нам возможность жить нашим укладом, говорить нашим языком. За это мы обязаны охранять империю. Если казак Теща вырос без отца, вероятней всего, погибшего на границе, то ведь прежде всего надо отмечать то, что вырос он именно в своем сословии, в своем укладе, остался казаком, а не пошел куда-нибудь в челядь, куда-нибудь на фабрику или в воровскую шайку. А дети утонувшего сегодня в реке мужика, они куда пойдут, если уклад их сословия разрушен? Они освобождены от обязанностей защищать империю. Но они освобождены и от ее опеки над ними. Что лучше?

Владимир Леонтьевич меж тем говорил об экономическом законе:

— Вы представляете, господа, экономический потенциал-то Германии! Ведь против того, чем обладает Россия, их возможности — да вот этот мизинчик Ирочки против ломовой лошади!

— Однако же их лошади не в пример нашим! — с одобрением и к германским лошадям, и к экономическому закону отзывался на слова Владимира Леонтьевича кто-то из его товарищей.

— И бьет нас германец и в хвост, и в гриву! — говорил другой товарищ.

— Он и лягушатников бьет! — как бы возражал третий товарищ, имея в виду французов, но возражал с тем же одобрением.

Я бы мог объяснить, отчего немцы бьют и нас, и французов с англичанами. После своего маленького императора французам воевать просто не приходит в голову, а англичане, отгороженные водой, воевать своими людьми никогда не собирались. Нас же бьют по простой причине, о которой сказал еще Раджаб и которую я превосходно знал до него. Нас бьют потому, что мы не обучены.

Солдатики напугались семерых мимо и мирно ехавших всадников! Отчего же? Да оттого, что не видели в своей жизни ничего подобного. А бутаковцы не дрогнули перед тьмой противника, поддержанной артиллерией. Явно в ущелье толклась бригада, но бригада таких же необученных солдатиков, что и те, которые открыли стрельбу по Раджабу и его казакам. По необученности мы и турки равны. А немцы нас превосходят как по качеству обучения солдата, так по качеству подготовки офицера и генерала. Немцы смогли найти и воспитать самое сильное звено армии. Немцы создали воспитателя армии, воспитателя солдата. Они нашли и воспитали унтер-офицера, отца и старшего брата любому солдатику. Отчего не сделали этого мы? Я бы мог объяснить и это. Но стоит ли, если я сказал главное — мы не обучены. И никакой экономический закон, пусть самым толковым образом обсказанный, дела не поправит. Пока мужик снова не станет сословием, пока не станет возможным с него спросить — ничто ничего не исправит. Под мужиком я, разумеется, имел в виду не именно мужика, крестьянина, а гражданина, будь он хоть купцом, хоть столбовым, хоть фабричным. А под сословием, разумеется, я имел в виду корпорацию, или монашеский орден, или хоть тайнее общество, или весь народ империи в целом — хоть что, но лишь с тем, чтобы это нечто обеспечивало гражданина. Имея это в виду я, мягко сказать, подозревал, что этакое обеспечение может дать только государство. И ничего иного искать не надо. Надо только любить свое государство и тем быть удовлетворенным.

Я бы мог так сказать. Но я видел совершенную ненужность такого высказывания. Владимиру Леонтьевичу и его друзьям такого неэкономического объяснения не было надо.

Я лишь вспомнил слова подпоручика Кутырева об осознании частью общества своего положения, которое в них, в глазах этой части общества, не соответствует тому, каковым оно, опять же по их представлению, должно быть. Выходило, я был скучен Владимиру Леонтьевичу и его друзьям. Скучны были все, кто думал по-моему. А коли по-моему думала армия, то была армия им скучна. Только вот от германца и турка надо было кому-то их оборонять.

— Солдатику-то надо будет выстрелить. А ему приказывать станут не стрелять: патрон казне-то очень уж дорого обошелся! — завершил свой экономический закон Владимир Леонтьевич и, искрясь любовью, целовал мизинчик жены Ирины Владимировны.

— А все-таки каков дух армии? Побьем мы их? — спросил меня тот из гостей, кто отмечал про битье нас немцами и в хвост и в гриву.

— Дух? — отозвался начальник станции. — Ирина Владимировна! Закройте ваши прелестные ушки! Дух армии, господа, испытать прошу ко мне в вокзал станции! — все при этом в понимании двусмысленности засмеялись и несколько конфузливо оглянулись на Ирину Владимировну. Начальник станции продолжал: — Вот ведь что, господа! Ведь наша станция не узловая. Она, так сказать, транзитная! Но, господа, все идет кувырком. Все, положительно все, господа: и мораль, и гигиена, и устои. Выходят наружу одни инстинкты. Спят, господа, все кому как придется, тут же едят, сквернословят. Туалетные комнаты, пардон, уже нет возможности пустить в действие. На нос хоть прищепку цепляй.

— Иван Петрович! — укорил начальника станции Владимир Леонтьевич. — Где же логика-то? Армия-то при чем? Вам самим следовало бы приложить усилия к водворению порядка!

— Да, Иван Петрович! — поддержала мужа Ирина Владимировна. — Мы ехали от самой Перми! И, кажется, нигде не было такого, как на вашей станции!

— Не скажите, не скажите! — стал защищаться начальник станции. — А Тифлис, а Баку, а Карс, да вот соседнее Михайлово, например! А вы — Пермь! Что Пермь! Вы бы еще какой-нибудь Сольвычегодск придумали! В каком-нибудь Сольвычегодске, я полагаю, так и совсем душе умиление. Там-то, в стороне от войны, в вокзале, верно, как в храме! А здесь уже, дражайшая наша Ирина Владимировна, тылы действующей армии, фронт-с, как теперь привыкли выражаться! И мне ведь прискорбно видеть эту картину. Разве же я не русский человек! Да только как я водворю порядок — чай, не Ермолов!

— Ермолов Ермоловым, господа, — потянулся свободной рукой к своей бородке Владимир Леонтьевич. — А однако же наш-то, Николай Николаич, Юденич-то, не хуже молодого Наполеона, мусульман в Чорохском крае пушками усмирил!

— Думаю, что время к поезду, господа! — вскочил я, будто вместо стула оказался на шмелином гнезде.

Все полезли за часами, и многие стали находить мою поспешность преждевременной. Я и сам увидел это. Но не ждать же было какой-нибудь тяги рубцов моих в левом боку или какой-нибудь враз пришедшей ангины с последующей трехдюймовой трубой от груди под лопатку.

— Оно, конечно, не ко времени! — рассудил начальник станции Иван Петрович. — Но вот поедемте-ка ко мне в кабинет, там и продолжим. Там спокойней будет по нынешнему времени. А то начальник-то я начальник, а и я порой к служебному столу продраться не могу по таком-то вертепу!

Идея не была никем поддержана. Поехали на станцию только мы втроем: сам Иван Петрович, Владимир Леонтьевич да я. А по дороге Ивану Петровичу пришла совсем прекрасная мысль. Он вызвал дрезину. И мы укатили верст на пять из города навстречу поезду на некий полустанок, где предупрежденный машинист притормозил и я взошел в вагон в гордом одиночестве.

Поезд подкатил к нам, тяжело остановился. Начальник полустанка и Владимир Леонтьевич побежали стучать в вагон первого класса.

— Мне во второй класс! — закричал я вдогонку, так как по статуту своей награды имел льготу на проезд во втором классе.

Владимир Леонтьевич оглянулся. Иван Петрович отчаянно замахал:

— Только в первый! — и обернулся ко мне: — Сейчас взойдете в вагон, если, конечно, взойдете, а то ведь и дверь из-за занятости вагона кондуктор открыть не сможет. Так вот, взойдете — сами увидите публику.

— Но ведь такие беспорядки на дороге весьма чреваты, Иван Петрович! — не

выдержал я.

— Да уж вот хоть воинскую команду вызывай для водворения порядка! — засмеялся Иван Петрович, прибавляя специально для меня: — С пушками!

Двери первого класса однако же открылись. Начальник полустанка и Владимир Леонтьевич, освещенные из дверей, покричали кондуктору, и тот безуспешно попытался пробраться в нашу сторону. Иван Петрович скомандовал одному из рабочих дрезины понести мой саквояж — и мы тоже побежали к открытым дверям. Я наскоро простился. А с подножки вагона, уже тронувшегося, вдруг, не выдержав, закричал, что скоро я вернусь сюда. Конечно, я имел в виду Ксеничку Ивановну. Оба, и Владимир Леонтьевич, и Иван Петрович, не разобрав моих слов, развели руками. Вид их, стоящих в форменных шинелях с разведенными руками на обочине дороги, был столь красноречив, что я вновь вспомнил слова подпоручика Кутырева. Вспомнил и поскорее поспешил от них избавиться.

— Скорее в действующую часть! — мысленно помолился я.

13

Утром поезд бежал вдоль моря, похожего на выспавшегося толстощекого младенца. Оно выспалось и тихо играло само с собой — то есть даже не играло, а разглядывало само себя, как с первым удивлением разглядывает и постигает себя младенец. Например, свою руку, еще вчера мечущуюся возле лица, совсем чужую и пугающую. Вчера он ее пугался и плакал. Сегодня он смотрит на нее, неосознанно признает своей и от того наполняется удовольствием и светом. “У-у!” — тихонько говорит он руке. А она, слыша его, тихо вздрагивает и осторожно приближается к нему. Картина первого постижения мира, будто до нее не было миллиарда подобных.

Несмотря на гром, грохот и ругань, всю ночь входящих, выходящих, ищущих места пассажиров, я проснулся бодрым и остаток пути провел за наблюдением моря и неторопливого ожидания приезда на Батумский вокзал.

Известно, что Батумский край был присоединен к империи одним из последних, менее сорока лет назад, а до того был едва ли не самым непримиримым по отношению к ней. Может быть, тому причиной было управление краем женщиной, так называемой ханшей. Именно женщины, стоящие у власти, порой делают то, чего ни за что не добьется мужчина — и тому много примеров, ну вот хотя бы из времен Кавказской войны, когда управительница Аварского края хунзахская ханша, кстати, родственница Раджабу и возможная моя родственница, случись Раджабу остаться живым и исполнить свое обещание женить меня на одной из своих племянниц — так вот, эта самая доблестная управительница разгромила отряд самого Шамиля. В решительную минуту боя, для хунзахцев грозившую катастрофой, она с обнаженной шашкой и открытым лицом появилась среди своих подданных и увлекла их так, что Шамиль вынужден был спешно спасаться, но был окружен и, верно, попал бы в плен, кабы не своевременное вмешательство с просьбой о мире некоторых авторитетных для аварской правительницы сил.

Так и Батумский край управлялся женщиной и сопротивлялся дольше всех. Конечно же, способствовало сему и то обстоятельство, что Батум был городом турецким. И хотя за эти без малого сорок лет он несколько перестроился в своей центральной части на европейский лад, однако все-таки остался турецким до сих пор, отчего дорога к вокзалу представляет самую любопытную картину. Поезд идет, можно сказать, по дворам и по квартирам, отстоящим от рельс на расстояние в пять сажен, не далее. И волей-неволей пассажир вынужден наблюдать внутреннюю жизнь этих дворов и квартир, частью строго скрытую от посторонних глаз, а частью будто специально выставленную напоказ. И в том, что поезд шел прямо по узкой улочке, была какая-то похожесть на наш екатеринбургской Покровский проспект, столь же в восточной от центра своей части занятый железной дорогой. Эта железная дорога прямо посреди центрального проспекта была наравне с полубатальоном гарнизона города — не батальон, а полубатальон! — предметом моих детских страданий. Уж кто мне внушил. что хороший город не мог иметь полубатальона и не мог иметь в центре у себя грязной железной дороги, я не знаю. Вероятно, картинки “Географии” Реклю толкнули меня так думать. И я так думал. И

я порой, чтобы не встречаться с этими вонькими шпалами и рельсами, ходил в гимназию через Хлебную площадь и Уктусскую улицу, то есть в обход. Да, впрочем, я, по отцовскому правилу, вставал утром рано и выходил в гимназию тоже рано, так что порой мне даже составляло интерес пойти не только через Хлебную площадь, а и совсем в противоположную сторону, например, через епархиальное училище и Новотихвинский монастырь, откуда спешным шагом, маршевым шагом или, еще сказать, шагом римских легионеров, выверенным и ритмичным, и от того наиболее результативным, я шел обратно к гимназии и поспевал в нее гораздо ранее многих своих одноклассников и своих учителей.

Прежде чем вкатиться в такую улицу, поезд отвернулся от моря, вошел в пригородную часть, занятую нефтяными складами, смотрящимися перед прекрасной живой зеленью и снежными вершинами так же, как смотрелась бы мазутная склянка на свежей скатерти перед свежим салатом из зелени, щедро покрытым густой розоватой сметаной.

— Вот он, экономический закон! — в мыслях сказал я Владимиру Леонтьевичу, сказал совершенно мирно, прекрасно сознавая, что экономический закон правил миром всегда, и я вполне был с ним согласен. Меня возбуждало против лишь крайняя его абсолютизация, выведение всего происходящего в жизни только из него, не давая шанса ничему остальному. “Прогресс неумолимо и достаточно быстро перейдет в стагнацию и регресс, как только общество начнет исповедывать единственно его, оставляя свои прошлые привязанности и ценности. Достаточно быстро — это так, что исповедующие прогресс, возведшие его в абсолют, не успеют заметить, как станут тормозом развития, причем тормозом в наихудшем его виде, потому что исходить будут не из неразрывной связи прошлого и будущего, а из возвеличения одного компонента этой связи, из превращения его в абсолют, в бога — надо ли отмечать, в бога ложного, отчего я произношу имя его здесь не с заглавной буквы!” — так читал нам общественную мысль в академии университетский профессор, читал в артиллерийской академии, которая сама по себе являлась вместилищем всего прогрессивного, вместилищем самой передовой технической мысли, хотя, может быть, именно этим отвратившей меня к работе с людьми. Впечатления профессор на нас не произвел, но запомнился. Кому-то он запомнился как раз этим старанием дать нам вектор. Кому-то — несносностью своей, по их мнению, клерикальности, так как упирал на равность духа машине. А наш родовой характер, как мне теперь могло показаться, сам по себе был чужд абсолюту, если только не тяготел более к созерцательности. Ведь вот и Саша нашел себя в тяготах против башибузуков, то есть каких-то кашгарских барантачей, каких-то туземцев на Кашгаре, где само время себя забыло и потеряло, и весь прогресс заключился в том, что лук со стрелами там все-таки были оставлены этими башибузуками ради винтовки.

Я приткнулся к окну и старался не замечать вокруг меня творящегося вагонного безобразия. Пассажиры, под самое утро сморенные и забывшиеся, вдруг ожили, вдруг все они засобирались к выходу, словно от быстрого их выхода из вагона, непременно связанного с давкой, толкотней и руганью, зависела жизнь их, или, по крайней мере, первых выскочивших из вагона ожидал на перроне привлекательный приз.

Я смотрел на растворенные окна домов, на открытую мне жизнь обывателей равно же, как смотрел на нее в первый раз, едва не год назад. И кроме мыслей о предстоящих встречах, кроме мыслей о Ксеничке Ивановне, которой не позднее завтрашнего дня следовало написать, мне приходили мысли о том, не остаться ли, подобно полковнику Алимпиеву, в этом крае.

Поезд мягко остановился. Вагон взревел и, кажется, затрещал от напора пассажиров.

Я вышел последним. Теплый благостный воздух обволок меня и заставил улыбнуться. Более того, он заставил вспомнить холодный мой госпитальный городишко, но вспомнить так, будто его не было, будто он лишь приснился, а это тепло, этот умиротворяющий воздух был со мной всегда, или, вернее, будто я никуда не отлучался. Я еще раз подумал о том, чтобы остаться здесь навсегда.

— Буду разводить цитрусовые уншиу! — весело предположил я. — А служить буду хотя бы в крепостной артиллерии. Через двадцать три года выслужу Владимира четвертой степени! Нет, уже не через двадцать три! — я сосчитал свои офицерские годы. — Уже через семнадцать! К тому времени я стану полковником даже и в крепостной артиллерии! Сад мой будет давать обилие плодов. Ксеничка Ивановна будет рассказывать мне по вечерам секреты нашей дочки и заботиться об ее удачном замужестве. А Бориска, сын, Борис Борисыч, будет готовиться к поступление в Константиновское артиллерийское училище. В кадетский корпус Ксеничка Ивановна его не отпустит. Он проживет с нами, закончит гимназию или, лучше для военной службы, закончит реальное училище.

С этими мыслями я прошел через вокзал, гораздо более спокойный, нежели Горийский. Иван Петрович был прав — чем ближе к боевым действиям и чем дальше от них, тем было больше спокойствия и порядка. И все беспорядки, все безобразия могли твориться только на определенном отдалении от боевых действий, именуемом тылом армии.

Я сел на извозчика и в приближении к штабу отряда стал всматриваться во встречающихся офицеров, отыскивая знакомых. А уж на крыльцо штаба всходил я в сильном волнении.

— К его высокоблагородию господину полковнику! — всеми силами борясь с волнением и от того уже нервничая, сказал я дежурному офицеру и равно же сказал адъютанту полковника в его приемной.

— Ба! Норин! — вскричал он, раскидывая руки.

Я всмотрелся и узнал адъютанта. Его звали Павел.

— Какими судьбами? Вот встреча! — адъютант дружески обнял меня и тотчас увлек к креслам. — Садитесь, садитесь, капитан!

Мы были с ним одних лет, но он был поручиком, и это его немного сдерживало. А то, что он был адъютантом начальника штаба отряда, настраивало его на покровительственный тон. В соединении обоих обстоятельств он пытался со мной разговаривать.

— Что же вы не телеграфировали? Вы рисковали не застать полковника! По секрету скажу, грозит нашему Михаилу Васильевичу понижение в чине до майора!

— Разве? И когда же именно? — в восторге вскричал я, понимая его слова как надо, то есть так, что полковнику Алимпиеву предстояло не понижение в чине до майора, упраздненного в восемьдесят четвертом году, а повышение в генерал-майоры.

— По секрету! — попытался изобразить озабоченность адъютант, но сияющие глаза не дали ему это сделать. — Из Питера в телефон уже сообщили, что Высочайший указ уже подписан. Теперь вот ждем бумагу!

— Как я вовремя! — не смог я от радости сесть на место и пробежался по кабинету, словно дите.

— Тише, капитан! — осадил меня адъютант. — У Михаила Васильевича совещание! Мне за шум будет взбучка!

— Он не с повышением в должности? Не с переменой места службы? Не с отъездом отсюда? — спросил я вдруг, помня свои мечты об оседании здесь на всю мою жизнь.

— Да куда уж! Михаил Васильевич из этих мест — никуда! Из-за них он и в полковниках засиделся! — то ли с радостью, то ли с сожалением сказал адъютант.

— Что же другие? Кто как служит? — я стал расспрашивать о знакомых и как бы между прочим спросил про своих батарейских.

— Ваша бывшая батарея? Четвертая, кажется. Она в отряде генерала Генина, отсюда далече! — вспомнил адъютант.

— Это что за отряд? — спросил я ревниво.

— Да вот уж с месяц, как сформирован отряд против турецких партизан, — пояснил адъютант.

— Против местных повстанцев? — спросил я.

— Там черт ногу сломит, капитан! И местные, и остатки турецких подразделений! Одним словом, ничего хорошего. Сели на наши коммуникации. Пришлось формировать специальный отряд составом больше бригады. И из нашего отряда туда отдали батарею, именно бывшую вашу! — объяснил адъютант и спохватился расспросить меня дальше. — Вы-то сами, капитан, к нам надолго? Слышали мы, как вас в Олту потрепали!

Я начал отвечать, но прервал меня телефон. А потом вошли два офицера по делам к полковнику Алимпиеву и сели ждать. Потом опять стал звонить телефон. Рассказа моего, хотя бы самого краткого, не вышло. Адъютант отмахнулся, мол, потом, а действительно ли ему было интересно знать обо мне, или внимание его было лишь долгом вежливости к человеку, вхожему к его начальству, я не понял.

Новость о моей батарее была мне неприятной. И когда по окончании совещания офицеры пошли из кабинета, я постарался быть незаметным, наивозможно скорчившись в кресле и опустив голову на грудь, изобразив тем усталость и дрему.

Адъютант меня выдал, с удовольствием закричал первым же нашим общим знакомым оглянуться на меня. Так что меня сначала изрядно помяли в объятиях, а уж потом я попал к полковнику Алимпиеву в кабинет.

Он поднял на меня свои усталые и красивые глаза, напомнившие мне в тот же миг Наталью Александровну. Поначалу он будто не поверил или не смог оторваться от смысла лежащей перед ним бумаги, а потом широко улыбнулся, вышел из-за стола, обнял, посадил в кресла, скомандовал завтрак, и первым же вопросом его был вопрос о шашке Раджаба. После госпиталя у меня не было вообще никакого оружия — конечно, это ему бросилось в глаза.

— Я соотносился по вашему поводу, когда в январе положение было восстановлено, — сказал он. — Утешительных вестей не получил. Зато как приятно было увидеть в газетах ваше имя! Мы здесь едва не всей крепостью ликовали! — он почему-то сказал не о гарнизоне и не отряде, а лишь о крепости. Но я не стал вдаваться в смысл.

Я кратко сказал о боях, о Раджабе, о приглашении генерала Юденича воспользоваться его протекцией в выборе места. И сказал, что хотел бы избрать себе Батум.

— Батум? — постучал пальцами по подлокотнику кресла полковник Алимпиев.

Я увидел, что он о чем-то озаботился.

— У вас отморожены легкие, — хмурясь и сожалея, сказал он. — Здешний же климат для таких легких не расположен. Вам надо в Крым. У меня есть там однокашник.

Я вспомнил госпитальные бездельнические свои рефлексии и запротестовал:

— Но, Михаил Васильевич! В Крыму от скуки мухи дохнут. Там нет дела! Разве что мне перейти в морскую артиллерию!

— Именно! — совершенно серьезно поддержал полковник Алимпиев.

— На главный калибр броненосного корабля! — сыронизировал я.

— Хотя бы! — не уступил полковник и опять заговорил о моем здоровье: — А как вдруг откроются каверны, как вдруг станет развиваться туберкулез или лихорадка. Тогда неволей побежите в Крым, да уж будет бесполезно. Не упрямтесь, Борис Алексеевич. Конечно, поживите здесь. Этого я запретить не могу. Но потом, действительно, воспользуйтесь приглашением командующего, —полковник Алимпиев опять озабоченно постучая пальцами по подлокотнику. — А Раджаб-бека просто до… — он запнулся, вероятно захотев сказать “до слез”, но выправился. — Раджаб-бека очень жаль. С его отцом мы здесь в семьдесят восьмом году воевали, — и встал все так же озабоченно. — Что-то с завтраком задержка. Вы минуту посидите в одиночестве, а я покамест бумагу дочитаю. Потом мы с вами спокойно позавтракаем!

— У вас в приемной люди! — вспомнил я двух офицеров.

— Ну вот займитесь сводками или газетами! — предложил он. Я понял, сколько

он занят и хотел пойти, тем более, что и мне дел по оформлению приезда, жалованья и по устройству жилья предстояло на весь день. Полковник на это лишь вызвал адъютанта и распорядился все дела оформить в наикратчайший срок. А по поводу завтрака сказал, что ему тоже нужна передышка.

— Тем более, что я хотел бы услышать подробности декабрьских боев, — прибавил он.

Завтрак был принесен на серебряном приборе, но простой. Мне показалось, полковник испытующе поглядел на меня. Я в ответ не повел и ухом — уж кому, а мне-то совершенно была привычной простая пища. “Ешьте и идите исполнять свои служебные обязанности!” — обычно своим видом внушал я всем, кто пытался возмущаться простотой пищи в офицерской столовой.

— Люблю серебро, — признался полковник Алимпиев и тут же невпопад сказал во второй раз: — А вот шашку Раджаба поистине жаль. Я эту шашку помнил у его отца. — Я виновато уставился в тарелку.

— Война, — вздохнул полковник и поднял свою рюмку, пускающую сквозь коньяк солнечный зайчик.

Завтрак вышел неспокойным. Нам следовало бы уединиться куда-то в отдельный кабинет ресторана. Здесь же, несмотря на просьбу не тревожить нас сорок минут, адъютант заглядывал в кабинет и с изображением муки на лице сильно шептал:

— Из штаба армии Генерального Штаба полковник такой-то… — или еще что-нибудь в этом же роде, так что полковнику Алимпиеву приходилось отлучаться к телефону. Один раз вышла даже какая-то неувязка. Я видел по лицу полковника, четко и внятно сказавшего в трубку: “Здесь Генерального Штаба полковник Алимпиев!” — как на том конце провода сказали нечто невразумительное, потому что полковник Алимпиев сначала покраснел, потом посуровел, потом отмяк и тотчас же вновь посуровел.

— Нет, нет! — сказал он. — На сегодня никаких особенных известий не было. Значит, с вашим мужем все благополучно! — Потом послушал и еще более сурово сказал, готовый положить трубку: — Вы отвлекаете меня от службы!

“Однако же! — скрывая улыбку, подумал я о нраве полковника. — Он умеет поставить на место и женщину!”.

— Ну, хорошо, через час. Я закончу совещание и приму вас! — сурово сказал полковник Алимпиев и столь же сурово вернулся к столу. Видно было — ложь о совещании сильно вывела его из себя.

Я выразил готовность распрощаться. Он все еще суровый во взгляде, улыбнулся:

— У нас есть время. Расскажите, наконец…

И я снова рассказывал о декабрьских боях — обо всем, что видел и пережил сам, что слышал в госпитале, то есть рассказывал ту картину, которую мы себе составили, и которая наше начальство не украшала.

— Как же Раджаб-бек сказал вам? — переспрашивал полковник Алимпиев. — Двадцать тысяч их обошли наш фланг, и все наши бегут? — и он далее молчал, переживая и в силу должности не имея возможности вслух выразить свое отношение по поводу услышанного. — А брат ваш, значит, погиб сразу? И в письме вам было написано о гибели всей полусотни? А на взгляд вы не скажете, сколько было все-таки неприятеля? — далее спрашивал он и сам же себя поправлял тем, что и того уже достаточно было, если турок было в два орудия и две роты — это против сорока пограничников! — и опять далее поправлял себя: — А, конечно, вы правы. Обходной маневр совершало не менее бригады. Иначе и смысла нет. Только вот как же вы удержали их? Эта история достойна описания и изучения. Вам следует изложить все в подробностях на имя командующего! — он вдруг отрывисто взглянул на стоящие у стены превосходные швейцарские часы. — Вот именно этим я вам настоятельно рекомендую заняться. Устраивайте дела. Адъютант мой отыщет вас! — он встал, но, кажется, встал поздно.

Дверь кабинета распахнулась, и на пороге встала сияющая и одновременно недовольная недавним телефонным разговором Наталья Александровна. А что именно с нею разговаривал сурово полковник Алимпиев, я догадался, лишь ее увидел.

— Какой вы, дядечка, противный! — сказала она, устремляясь к нему для поцелуя, и увидела меня.

Я не вскричал в негодовании по поводу того, что-де как же Петроград, как вагон первого класса с гвардейским ухажером? Я успел сообразить, что за время нашего расставания могли быть и Петроград, и Париж, и тот же Сольвычегодск, и какая-нибудь Патагония. За время нашего расставания все это она могла посетить и преспокойно вернуться сюда.

Я не вскричал вообще ни по какому поводу. Я, как малое дитя, замкнулся и, возможно, даже набычился. А может, выглядел я чучелом гороховым. О себе самом в тот миг я ничего не знаю. Я увидел ее и понял, что ехал к ней. Я стремился именно к ней и своим стремлением просто-напросто материализовал ее, вернул оттуда, из Петрограда, Парижа, Сольвычегодска и Патагонии. Только зачем? Ведь мне нужна была Ксеничка Ивановна.

— Ваше высокоблагородие! — вскочил я, щелкнул каблуками: — Благодарю вас за все сделанное для меня! — и откивнул, отчего вышло, что я этаким образом означил свой уход.

А глаза ее, только что с любовью клеймившие полковника, перешли на меня, удивились, вспыхнули, вдруг в смятении метнулись в глубь самих себя и вернулись, всего меня объяв сильной и недвижной чернотой. “Ну, озеро Кусиян!” — вздрогнул я.

— Дядечка, а у вас гость, — вяло сказала она, столь вяло, что, кажется, силы ее все ушли в глаза, и сама она сейчас должна упасть.

— Здравствуйте, Наталья Александровна! — снова щелкнул каблуками и откивнул я.

— Вы живы? — спросила она еще более вяло, можно сказать, совсем пусто, едва не в обмороке.

Полковник Алимпиев подхватил ее под локоть и посадил к нам за стол.

— Однако же я задерживаю вас! — вежливо, но с непонятной набыченностью обратился я к полковнику.

— Присядьте, Борис Алексеевич, — с едва скрываемой досадой попросил он.

— Дядечка, зачем же? Борис Алексеевич, наверно, спешит! — чуть более энергично сказала Наталья Александровна.

И мне показалось — она сказала это тем тоном, какой я ей и Саше приписывал в воображаемом мной разговоре.

— Ну что вы, есаул! — говорила она Саше в воображаемом мной четыре месяца назад разговоре. — Что вы, он такой симпатичный!

И они оба особенно смотрели друг на друга, потому что оба вкладывали в разговор один и тот же смысл.

— Да уж куда! — возражал Саша. — Вот ваш муж, капитан Степанов, он молодец!

— И братец ваш молодец! — со значительностью возражала Наталья Александровна.

Вот этакий тон мне послышался в ее словах. Он ударил меня. Я, кажется, помертвел и, ожидая, как рубцы потянут меня влево, стал отклоняться вправо.

— Да, да, Борис Алексеевич, ступайте! — увидел зависимость состояния Натальи Александровны от моего присутствия и полковник Алимпиев. — Ступайте! Ваши дела в лучшем виде исполнит мой адъютант! Да погодите! — суетливо остановил он меня. — Погодите, я вас провожу! — и только тут взял себя в руки. — Павел Петрович! — крикнул он адъютанту.

Адъютант вбежал и тотчас же доложил о моих делах, в целом уже исполненных — что-то оставалось в финансовой части, и я еще не мог сейчас же получить своих денег.

— Сейчас располагайте временем по своему усмотрению. Вечером надеюсь увидеть вас в офицерском собрании! — проводил меня полковник Алимпиев.

Я вышел от него, ровным счетом ничему не внимая. “Какая финансовая часть? — в негодовании думая я об адъютанте, слыша только голос Натальи Александровны. — Куда я иду? — спрашивал я себя, но слышал только голос Натальи Александровны. — А выставили меня зачем? — снова я спрашивал себя, но ничего, кроме голоса Натальи Александровны не слышал. — “Вы живы?” спросила она меня. — Однако же! А как бы Вам хотелось? — спросил я ее и вспомнил, что в телефон она беспокоилась о муже, а полковник Алимпиев ей отвечал, что все благополучно. — Что же, муж в действующей части? — спросил я, а сам в это время слышал только ее голос, только ее слова — ее голос и ее слова сегодняшние, только эти, которые она произнесла сегодня. Они насовсем заслонили все, что было между

нами прежде. Мне становилось от этого дурно. Я пошел на улицу. Но слышал и слышал ее голос и ждал, что среди уже произнесенных ею сегодня слов сейчас прозвучит всего лишь одно, но вот такое: “Подождите же!” Это слово сказал адъютант:

— Подождите здесь, у меня, капитан!

А я сказал:

— Да, да, разумеется! — а сам пошел.

И адъютант мне сказал вслед:

— Впрочем, действительно, следует прогуляться. Но через час ваши дела будут готовы!

Я вышел на крыльцо, встал на то место, где четыре месяца назад Раджаб встречал меня с дачи полковника Алимпиева. Впрочем, я не мог подлинно вспомнить, здесь ли это было. Я почему-то сейчас решил, что он стоял на крыльце, широко расставив ноги, сдвинув шапку на насмешливые и внимательно меня осматривавшие глаза.

— Поздравляю, у вас великое будущее! — сказал он.

А я ему показал кулак — совсем, будто мы юнкеры. Он уже обеспокоился о моей лошади, специально найдя больную, которую хватило всего на три часа пути. Я, по его расчету, должен был вернуться обратно в Батум.

Вот о такой белиберде стал я думать на крыльце. Я слышал и слышал голос Натальи Александровны и думал об этом, пока вдруг снова не стал жалеть о потерянной своей шашке. Я стал говорить, что шашка мне важнее и потеря ее невосполнима. Но кто бы поверил мне, если я сам знал, что так говорю впустую. Я слышал и слышал голос Натальи Александровны. И я пытался заслонить его потерянной шашкой, то есть сожалением о ее потере. Это было нечестно. Я видел нечестность. Я сознавал, что порождаю ее сам. То есть я выходил жалким и подлым. Но как по-другому — я не знал. Пока я не любил, я был сильным и уверенным в себе. Теперь же я стал жалким и подлым. “Какая гнусность, — думал я, сотрясаясь от усиливающегося внутреннего жара, отбирающего от меня силы и несущего мне дурноту. — Какую гнусную затею придумали те, кто стал утверждать, будто любовь окрыляет и подвигает. Я бы немедля приказал их расстрелять”. И вместе с тем я вновь приходил к выводу о том, что, может быть. все оно так и есть, как утверждают те люди, но вот только я не умею любить.

14

Моим занятием до вечера было, сидя в номере, заставить себя не думать о Наталье Александровне.

Прежде всего, лишь устроился, я вдруг нестерпимо захотел спать и упал в постель, не раздеваясь. Во сне я оказался летящим в лугах над Белой, как-то странно летящим, навроде дикого селезня, вылетевшего от того угла лугов, который назывался рямой. Я вылетел, а молодая солдатка, нагая, с распушенными волосами и пронзительными сильными глазами Натальи Александровны, схватила казачий карабин, чтобы в меня выстрелить. Я в страхе оглянулся и увидел все ее белое и нагое тело, безжалостно и против моей воли потянувшее меня. Сильные и белые осетры ее бедер, припавшие к черной отметине не то густой черемуховой заросли, не то еще чего-то пряного и таинственного, формой своей мне напомнившего географическое очертание Индийского полуострова, — я даже перевел в уме: да, да, оттого и пряного, что Индийского! — эти осетры разомкнулись, раздвинулись, готовые принять меня. Я забыл про винтовку. Я ловко сманеврировал крылом и упал бы в эту черную отметину, кабы не увидел, что она совсем не Индийский полуостров, а озеро Кусиян, недвижно черное, обрамленное черным недвижным лесом. Мне стало страшно. Однако сну моему этого показалось недостаточно. Он далее мне явил, как чернота Кусияна разверзается деревянным старым колодцем, за сруб которого я, уже падающий, успел ухватиться. А из этого колодца ко мне потянулись красивые женские руки. Я в готовности помочь, спасти эти руки, то есть того, кто их ко мне протянул, схватил их и вытащил все ту же солдатку, нагую, безжалостно меня к себе манящую. Я ее вытащил и, к стыду своему, прямо здесь, на срубе колодца, хотел исполнить то, что исполнил с ней на самом деле в давнюю пору моего юнкерства, как вдруг увидел вместо ног солдатки большой, хотя и не без изящества, рыбий хвост.

Я проснулся с жутко бухаюшим сердцем и неодолимым желанием Натальи Александровны.

— Бежать! Бежать отсюда! — взвыл я волком, пошел в буфет и выпил большую рюмку коньяку, опьянившую меня и на немногое время успокоившую. — Уехать, но куда? — стал я думать.

Из всех мест лучшим, конечно, выходила действующая часть. Один раз я засомневался в пользу дачи на Белой, представляя, как бы с кем-нибудь из местных стал охотиться во время разлива, чем несомненно бы занял себя. Сомнение мне показалось перспективным, Я за него ухватился. Я представил там даже Ксеничку Ивановну. Я представил ее с большим животом, то есть ждущую моего ребенка, что на самом деле могло быть только осенью если, конечно, она бы стала моей женой сейчас. А голос и слова Натальи Александровны уже ждали меня. Они тотчас приплыли, лишь стало проходить опьянение. Я понял тщету затеи с поездкой на Белую. Я вновь стал думать о действующей части.

Сама действующая часть была бы спасением. Но путь в нее, как недавний путь в полусотню, своим страданием по Наталье Александровне нагонял ужас.

Из буфета я ушел прогуляться и вернулся в номер уже через десять минут не в силах преодолеть изнуряющего желания идти искать Наталью Александровну. Я взял в номер коньяк, осетрину с хреном, ходил по номеру, пил и заставлял себя о Наталье Александровне не думать. Коньяк, в отличие от первой рюмки, более не пьянил. Я закусывал осетриной, усмехаясь на приснившийся рыбий хвост. Потом снова сколько-то дремал, просыпался, смотрел на часы и в окно, снова наливал коньяк в рюмку и снова ходил по номеру.

Чем ближе становился вечер, тем более я не хотел идти в офицерское собрание, но тем более я знал, что пойду. А зная, еще более не хотел. Я ничего не мог делать. Что бы ни начинал, в изнуряющей лихорадке тотчас же прекращал. И лишь ходьба по комнате, тоже, впрочем, изнуряющая своей ненужностью, кое-как меня отвлекала.

Так я проходил до вечера, отметив, что, возможно, прошел более десятка верст, и, вспомнив рассказ подпоручика Кутырева о том, как они полком шли на Сарыкамыш — более суток безостановочного марша по скверной снежной горной дороге в сильнейший мороз.

— Я полагаю, — рассказывал подпоручик Кутырев, — мы треть полка оставили в дороге. Я смотрел в лица солдат, все более пустеющие, теряющие свои индивидуальные черты, так что Иваны, Петры, Яковы, Матвеи, Спиридоны превращались в неких иванов, петров, яковов, матвеев, спиридонов, в некие оболочки с маленькой буквы. Я смотрел и видел, что теряю взвод, что как только начинается в солдате этот процесс потери большой буквы, следует ожидать потери солдата — упадет, не встанет и замерзнет. А остановиться и поднять его мы не могли. Мы знали, что в Сарыкамыше катастрофа. Лично я дошел только потому, что я был обязан привести в Сарыкамыш хотя бы одного солдата своего взвода. Обочиной дороги за нами шли волки.

Это воспоминание воскресило воспоминание о моих бутаковцах, моем стремлении подняться в атаку, чтобы турки стали стрелять. У меня в голове было только одно — заставить их стрелять. Потому что мы были живы, пока в нас стреляли. И это хорошо понимал подпоручик Кутырев, с которым мы пережили всех и жили одинокими стариками девяносто лет спустя в ненужном нам одна тысяча девятьсот… то есть в ненужном нам две тысячи пятом году.

Я это вспомнил. Я ощутил свое одинокое девяностолетнее стариковство и увидел, то есть почти ощутил, что его не может разрушить даже Наталья Александровна. Открытие окрылило. Я остановился на полушаге, пораженный внезапной легкостью.

— Вот ведь лекарство-то! — снова взвыл я волком.

Но то-то же было мне уже в другой миг ощутить снова наваливающуюся тяжесть желания быть с Натальей Александровной, чтобы слышать, видеть и ощущать ее.

Я достал из саквояжа френч, велел его отгладить, переоделся и пошел в офицерское собрание.

Перед моим приходом туда прибыл начальник гарнизона генерал Лахов. Я вынужден был пойти ему представиться. Это стало некоторого рода делом, отвлекшим меня. Мне сказали, где он. Я осмотрелся в зеркало, принял бравый служебный вид и пошел к нему. Он был в кругу полковника Алимпиева и других старших офицеров в игорной комнате. Карт еще не сдавали, а говорили о последних делах. Полковник Алимпиев вышел мне навстречу, взял под руку и подвел к генералу:

— Представляю вам, Василий Платонович, нашего первого героя.

Генерал, возрастом младше, нежели полковник Алимпиев, но грузнее его, отвлекся от беседы с соседом, теребящем в руках карточную колоду, поднял на меня тяжеловатые веки, показавшиеся мне персидскими. Я представился.

— Да-да, наслышан. Похвально, капитан. Присаживайтесь к нам. Расскажите! Потеснитесь, господа! — рассеянно сказал генерал.

Все сдвинулись. На освободившееся место солдат принес стул. Я присел.

— Какого года выпуска? — спросил генерал о времени моего окончания училища. Я сказал.

— Весьма похвально! — оценил он мое служебное продвижение и спросил полковника Алимпиева о вакансиях в отряде.

Сосед генерала, держащий в руках карточную колоду, сказал, удивив меня осведомленностью, о моем желании быть назначенным в действующую часть. Полковник Алимпиев возразил.

— Я бы настоятельно советовал ему завершить лечение, Василий Платонович! — сказал генералу полковник Алимпиев.

Я в это время думал, что он, генерал, мог знать Сашу по Персии, ведь он был командиром той казачьей бригады, по сути, персидской, но с русским офицерским составом, в которой, по рассказу Вано, служил Саша. И я, пожалуй, спросил бы генерала, кабы не его персидские, на мой взгляд, веки, умело скрывавшие то ли усталость от службы, то ли природное равнодушие. Он вроде бы разговаривал со мной. Но я видел — разговор ему не был нужен, и, в лучшем случае, он разговаривал только потому, что представлял себе необходимым со мной разговаривать. “Совершенно верно поступил Саша, когда от такого отца-командира сбежал делать персидскую революцию!” — с досадой на отношение генерала ко мне подумал я и поймал себя на том, что, кажется, впервые употребил в своем лексиконе слово “революция” и употребил его с одобрением.

— В действующую часть? — с запозданием откликнулся на слова соседа с карточной колодой генерал. — Так это к полковнику Генину! Как вы считаете, Михаил Васильевич?

— Капитану Норину необходимо завершить лечение, ваше превосходительство! — жестко сказал полковник Алимпиев.

— Скоро у нас воевать некому станет! — с усмешкой сказал сосед генерала. — Саенко и Степанов с самого начала, с февраля без замены!

Опережая меня, полковник Алимпиев встал:

— Ваше превосходительство, полагаю, разговор капитану Норину не интересен! Позволим же ему пообщаться в своем кругу!

Я с кривой усмешкой и уж не знаю с каким взглядом, что называется, почел за благо откланяться. И уже отошел на несколько шагов, от притока крови к голове мало что соображая, как услышал сзади чью-то нотацию полковнику Алимпиеву:

— Покровительствуете вы, Михаил Васильевич, этому офицеру!

Вместо полковника Алимпиева ответил генерал:

— Однако вы посмотрите на его служебное продвижение!

Кажется, он более одобрил меня — и меня, и полковника Алимпиева, — нежели не одобрил. Но точно ли так, я не уловил.

Я пошел к выходу. Из буфетной залы меня окликнул адъютант, а следом еще несколько знакомых офицеров. Я повернул к ним.

— Постойте, постойте, господа! — закричал первым поручик Шерман из крепостной артиллерии, человек большой, толстый и насмешливый, но хороший товарищ, один из тех, кто нашел меня на Батумском вокзале и увлек на пирушку в честь моего отъезда осенью прошлого года. Он был с университетским образованием и записным книгочеем, пошедшим в военную службу по соображениям романтическим, которые, конечно, он скрывал и которыми, кажется, теперь тяготился. — Постойте, господа! Я ведь прекрасно помню форму Георгиевских кавалеров — что-то там из оранжевого и черного, кажется, в поперечную полоску и колпак, обязательно колпак, господа, с красной бахромой с блестками!

Он этак закричал, но первым же кинулся меня обнимать и потчевать коньяком, опять городя всякую ерунду о форме кавалерского одеяния и о моем френче.

— Рекомендую, господа! — восторженно успевал вставлять он между насмешек. — Виртуоз артиллерии! Сбивал под Хопом турецкие батареи с позиций первыми же выстрелами, чем едва не разорил наших заводчиков, ибо не нуждался в большой массе снарядов!

— Да полно! — не выдержал и закричал я, не в силах вырваться из его объятий. — Дай же сперва выпить!

— А в самом деле! — видя возможность позубоскалить, подхватили другие знакомые офицеры.

— Экое одеяние на тебе, братец! — поручик же Шерман, оттолкнувшись от этих слов к Николаю Васильевичу Гоголю, вдруг оставил меня, отошел на шаг, изображая Тараса Бульбу, придирчиво оглядел мой френч и тем же громким голосом, холерически срываясь на смех, процитировал: “А поворотись-ка, сын! Что это на тебе за свиток! Экий свиток! Таких свитков еще и на свете не было!”.

— Перевираете, поручик! — стал поправлять его кто-то. — Цитируете из разных мест!

Но поручику Шерману и дела было мало до поправки. Смутить его было невозможно. С тем же холерическим срывом на смех он стал декламировать некое подобие старинного документа, на ходу им сочиняемое:

— А одета была на сем отроке фофудия вельми богата, из сорока соболев и золотым с эмалею белою и с образом Великомученика и Победоносца Георгия крестом, инда бостроги да терлики царские пред той фофудией посрамлены бысть!

— Дай выпить! — рявкнул я на поручика Шермана.

— Коньяку кавалеру! — скомандовал Шерман.

— Всем шампанского! — закричал я и достал деньги.

Пока поручик Шерман и еще несколько офицеров обеспечивали нас шампанским — по недавней традиции, конечно, с виноградников и подвалов Абрау-Дюрсо — остальные продолжали осмотр моего френча. Одни находили его весьма привлекательным и по наличию четырех вместительных карманов весьма удобным. Другие же относились скептически, называя его не в меру вычурным. Я стоически переносил все оценки и жалел старую форму, в некотором удивлении стараясь вспомнить, отчего же я вырядился во френч. Потом мне пришлось отстегнуть орден и поочередно окунуть его в шампанское каждому из присутствующих — так сказать, обмыть. Под громкое “ура!”, привлекшее внимание едва не всех в собрании, мы выпили.

— Иди к нам в крепость, капитан! Орден уже ты получил. Теперь можно и в крепости посидеть. Чины расти будут помедленней. Зато голова будет не в кустах, а на плечах! — снова взялся обнимать меня поручик Шерман.

— Кто сейчас на моей батарее? — спросил я.

— Подполковник, ты его не знаешь! — поручик Шерман назвал действительно незнакомую мне фамилию. — Не жалей! Последнее дело карательствовать. Каков герой был наш Павел Карлович, фон! — он имел в виду генерала от кавалерии фон Ренненкампфа, командующего первой армией, потерпевшей поражение в первых боях. — Герой был, когда железнодорожных рабочих да мужиков расстреливал в шестом году. А как против Гинденбурга да Шеффера!.. Ты знаешь, что он отстранен от должности? Нет? Точнейшие сведения, капитан! От нашего Павлушки! — этак он назвал адъютанта полковника Алимпиева и позвал его: — Паша! Поручик Балабанов!

При всем сознании своего отличного положения адъютант, еще по осеннему моему замечанию, не мог противостоять напору Шермана и даже, кажется, считал лестным быть в круге его внимания.

— Скажи, Паша, нашему капитану о Павле Карловиче! — попросил поручик Шерман откликнувшегося адъютанта.

— Мы, император Всероссиийский и прочая и прочая и прочая, в воздаяние отличия, оказанного нашим капитаном! — не преминул вместе с Шерманом поддразнить меня адъютант и сейчас же перешел на другой тон. — А что Павел Карлович? Не справились с армией ни в первый, ни во второй раз: ни в Восточной

Пруссии, ни под Лодзью. Под Лодзью наши совсем было взяли Шеффера в кольцо. Потери у того были до девяноста процентов. Но он ударным кулаком решился на прорыв. Да не к себе домой решил, не на запад, как, вероятно, попытался бы прорываться сам наш Павел Карлович, окажись он в подобной ситуации. А решил он ударить туда, где у нас было самое слабое место. Ну, и не трудно догадаться — самое слабое место у нас было именно на участке Павла Карловича, ибо он едва не всю армию двинул ждать Шеффера на запад. А Шеффер ударил на север. Так и упустили голубчика. Николай Николаевич, великий князь, разумеется, в гнев, кулаком по столу: а подать мне сюда этого Тяпкина-Ляпкина! Только лишь сам император спас его от суда. Теперь он за штатом. Да это что, господа! Я расскажу про нашего командующего, то есть бывшего командующего!

— Это злословие, господа! — с горячностью воскликнул юный, явно только летом выпустившийся из училища, подпоручик. Он воскликнул и сильно покраснел от своего восклицания: не испугался, а просто смутился, как это всегда бывает при неожиданном вступлении в разговор. До этого я несколько раз ловил на себе его обожающий взгляд — верно, я ему казался недосягаемым античным героем, перед которым злословить, как он выразился, было просто невозможно.

Я тоже не был сторонником подобного рода пересудов, тем более, что основной своей частью они выходили искаженными. Однако Сарыкамышское дело, неблаговидное поведение многих высоких начальств, увиденное или испытанное на себе нами, обитателями нашего госпиталя, гибель моей полусотни и гибель Раджаба, брошенных без всякого угрызения совести, — все это как-то незаметно пошатнуло меня, и я еще в госпитале стал с досадой ловить себя на том, что при подобных рассказах не испытываю прежнего сопротивления, хотя и не испытываю удовольствия, а более того, жалею их. “Ведь не какие-нибудь поганцы они, — бывало думал я про таких начальников, — и не чужие нам патагонцы! Все они наши! — я так думал порой, употребляя название “патагонцы” не с пренебрежением, а всего лишь в качестве синонима чего-то очень далекого не столько географически, сколько родственно. — Хотя и у далеких патагонцев тоже есть матери, невесты, жены, дети!” — обычно еще прибавлял я, и выходило, что сопротивление мое имело основой что-то навроде переживания за близких этим патагонцам и нашим начальникам людей. Возможно, и юный подпоручик исходил из тех же качеств, хотя прежде всего, конечно, здесь играли роль солидарность и воспитание.

— Это злословие, господа! — воскликнул, краснея, юный подпоручик.

И тотчас же с насмешкой ему отозвался поручик Шерман.

— А вы отмыли пальчики от гимназического чистописания? — спросил он.

— Перестань, он прав! — рассердился я на поручика Шермана.

— Боже святый! — артистически закатил глаза поручик Шерман. — Да когда же мы начнем что-то понимать! Ты только послушай, капитан! — и обратился к адъютанту: — Рассказывай, Паша!

— Да, собственно, ничего порочащего бывшего командующего нет! — едва пожал плечами адъютант. — Александр Захарьевич оставил армию и спешным

порядком появился в Тифлисе, не найдя ничего лучшего, как только посеять панику: “Армия погибла! Турецкие разъезды уже просочились в Авчала!” — а Авчала, господа, это уже пригород Тифлиса! И он такое стал говорить о своей армии, господа, когда она, брошенная им, насмерть встала под Сарыкамышем! Да вот Борис, то есть капитан Норин оттуда! Он лучше скажет!

Я поправил адъютанта о месте моего участия в декабрьских боях и хотел поправить о неточности по поводу того, как армия встала под Сарыкамышем. Встала там не армия, — хотел я сказать, — а встали сперва вообще одни дружинники, старики-солдатики, ополченцы. И через сутки пришел полк подпоручика Кутырева, пришел, оставив свои позиции соседям, то есть из боя пришел в бой. Потом пришел еще полк, такой же расстроенный предыдущими боями и невыносимым безостановочным маршем. И эти полки выдержали самые тяжелые дни, дрались в штыки на улицах Сарыкамыша, и даже Ксеничка Ивановна вынуждена была взять револьвер. А в это время масса войск без толковых приказов не могла ничего предпринять. Я так хотел поправить адъютанта. Но поправке моей никто не внял, — кажется, просто не расслышал.

— А вот вообще курьез, господа! — перекрыл общий шум поручик Шерман. — Паша, расскажи про муку!

— Да, про муку! — с удовольствием откликнулся адъютант. — Оставляя армию, Александр Захарьевич возложил почетную миссию сдать весь русский Закавказский край на плечи, то есть на погоны некоего генерала Б. — не будем уточнять его фамилии! — при этих словах адъютант сумел так характерно посмотреть на всех, что ни у кого не осталось сомнения в принадлежности этой буквы Б. фамилии недавнего начальника местного гарнизона, переведенного на должность командира корпуса. — Этот генерал Б. во исполнение поручения прежде всего отправил из корпуса весь запас муки, господа! А как только нынешний наш командующий генерал Юденич отменил приказ об отходе армии и решительно потребовал исполнения новой задачи — разбить неприятеля, этот генерал Б. доложил: “Наступать не могу! Нет муки!”.

Общий хохот заставил зазвенеть в буфете посуду. Смеялся даже юный поручик, неловко и с прежним обожанием глядя на меня. Заметив его взгляд, я вспомнил юного князя и нелепую нашу драку. Я это вспомнил — и опять мне все пребывание в госпитале, в том уездном городишке у подножия громадного хребта, показалось придуманным или приснившимся — совсем как давешний сон с лугами над Белой, озером Кусиян и солдаткой в виде русалки. Опять отдаленно и на очень краткое время появилась в моем воображении Ксеничка Ивановна. Сердце мое сжалось. “А вдруг Дубин ею любим!” — подумал я, но не захотел признать то возможным и почему-то подумал о наших с Ксеничкой Ивановной детях, о мальчике Бориске и девочке Ираидочке. “Как они будут смотреть на своих старших тезок, на Бориску и Ираидочку, детей сестры Маши! Равно так же они будут смотреть, как сейчас на меня смотрит этот юный подпоручик!” — подумал я, и мне этот взгляд моих детей на детей сестры Маши показался счастьем. — “Сегодня же ночью напишу письмо Ксеничке Ивановне!” — решил я и следом забыл решение, вполне, кстати, счастливый.

Вошел в буфетную залу начальник собрания и предупредил не увлекаться напитками, ибо впереди ждали танцы.

— В последние-то дни поста! — заметил я.

— Да полно, Борис! — возразил поручик Шерман. — Сейчас мы тут, а завтра под турецкими пулями!

— Пулями в спину, как в отряде Генина! — прибавил кто-то. Я, конечно, вспомнил при этом о некоем Саенко и о Степанове, оставшихся в отряде без замены, и утренний разговор в телефон полковника Алимпиева с Натальей Александровной.

— Нет, господа! — продолжил тот, кто сказал об отряде Генина. — Я бы не хотел там быть! И не по трусости, как вы знаете, а по подлости положения, когда тебе могут выстрелить в спину! Это что-то невероятное складывается в нынешнюю войну! Ты или сдайся, или пробивайся к своим! Но выжидать под видом мирного, а потом стрелять в спину доверчиво отвернувшегося человека! — этого, господа, я не понимаю!

— Это все штучки социалистов! Бомбы в портфелях, стрельба в театральных ложах — это их манеры! — откликнулись ему. Я чуть отвлек адъютанта в сторону:

— Скажите мне, Павел Петрович, о чем они?

— Об обыкновенном, Борис Алексеевич!

И это обыкновенное укладывалось в его словах в то, что отряд Генина несет основные потери не в открытом столкновении и даже не из-за нападений в засадах, а именно от стрельбы в спину. Под давлением нашей силы население выражает покорность и готовность к сотрудничеству и днем, в светлое время, действительно сотрудничает, но с наступлением ночи вытаскивает спрятанное оружие и нападает на наши подразделения. Нападут, обстреляют, подожгут и скроются. Или выследят обоз, санитарный транспорт, отдельных солдат. В немалой степени такому враждебному отношению способствует присутствие среди местного населения так называемых четников, специально подготовленных для террористической деятельности и антирусской агитации агентов, которых, по словам адъютанта, в Чорохском крае скопилось не менее трех тысяч.

— Командующий разрешил самые решительные и эффективные меры! — сказал адъютант. — Впрочем, — прибавил он, — это во всех деталях может вам сказать Михаил Васильевич!

— И какие же меры в число решительных входят? — ревниво спросил я.

— Ах, капитан! Выпьемте-ка лучше шампанского. У вас так все хорошо складывается. Ей-богу, прямо хочется оставить эту кабинетную службу — и в строй, в действующую часть, хоть вон в отряд Генина! — искренно воскликнул адъютант.

— В отряд Генина? — вдруг фыркнул седой и лысеющий незнакомый подполковник.

Мы оба оглянулись на него. Он, несколько отяжелевший от выпитого и этой тяжестью похожий на генерала Лахова, сначала ответил нам долгим, будто

скучающим взглядом, а уж потом снова заговорил:

— Уже здесь, в тылу, — потом смолк, как бы прослушал сказанное, и поправился: — Уже под Тифлисом нападают на офицеров, а вы говорите: “В отряд Генина”.

Последние его слова оказались перекрытыми новым сильным хохотом.

— Да не бывший ли командующий докладывал вам об этих нападениях? — спросил, просмеявшись, кто-то из старших офицеров.

Подполковник переждал время, отпил из бокала и неторопливо ответил:

— Извольте читать газеты. В сегодняшней сообщается о нападении где-то под Тифлисом, в Горях или в Горах, местных жителей на двух чинов, находящихся там в госпитале. Нанесены ранения. Кажется, один от ран скончался.

Стыдно сказать, но я самым невероятным образом сперва отнес это нелепое измышление к моему с урядником Расковаловым столкновению с местными жителями по дороге на заставу и никоим образом не мог, несмотря на довольно точное название нашего госпитального городишки, отнести его к нашей — моей и подпоручика Дубина — драке с молодым князем. Я даже хотел возразить подполковнику, мол, раны были действительно нанесены, но, по счастью, они оказались не смертельными. Меня опередил адъютант.

— В оперативных сводках не отмечено, — с сомнением сказал он.

И только тут я сообразил, о чем шла речь. Я улыбнулся.

— Вам что-то известно? — спросил адъютант.

— Ничего похожего не было. Это все — журналистские штучки! — успокоил я адъютанта.

— Еще и не это будет, господа! — с мрачным удовольствием пообещал подполковник.

— Русская мировая тоска! — откликнулся, всхохатывая, Шерман. — Жажда Армагеддона! Где вы, грядущие гунны! Пейте, ваше высокоблагородие, на наш век хватит! А эти: “Топчи наш рай, Аттила!” — и прочие подобные стишата хороши для эмансипированных дамочек и кокаинистов! По своему университетскому опыту знаю!

Он снова обхватил меня за плечи и увлек пить дальше. Я сказал, что выпью еще один раз и уйду. От слов Шермана об университете мне очень захотелось тишины и захотелось полистать книги — что-нибудь о древностях. Такие настроения приходили ко мне периодически, и я, если находил возможность, то целыми днями просиживал в библиотеках, совсем по-юношески мечтая об ученом труде историка. Пьяному мне такое желание пришло впервые. Ну да ведь и употреблять алкоголь я стал лишь с прошлого лета, а до того был к нему не столько равнодушен, сколько просто за занятостью не замечал его. Война, как ни странно, дала много свободного времени, но и как-то странно взвинтила, напрягла меня. Это новое ощущение пришло с самых первых дней ее, с прочтения известия о предъявлении Австрией

ультиматума бедной Сербии. Можно было не верить в надвигающуюся войну. Но не ощущать ее в те последние мирные дни было невозможно. Одни кинулись скупать товары. Другие кинулись успокаивать себя высшим разумом, который не позволит войны. Третьи, словно пьяные, закричали о скорой и непременной победе. А я войну принял сразу же. Ведь именно к ней я готовил себя. И с ней я забыл обо всем, что ее не касалось, конечно, и тишину библиотек в том числе. И тотчас же пришло много свободного времени, и тотчас же стало возможным тратить его на пьянство.

Разговаривая с Шерманом, я выпил дважды и пошел, сколько меня ни уговаривали остаться. Многие даже потащились за мной до выхода из собрания. И я, может быть, сдался бы. Но вдруг на крыльце меня догнал солдат, передавший просьбу полковника Алимпиева явиться к нему.

Сам полковник Алимпиев ждал меня в автомобиле. Он пригласил меня проехаться в город, а потом заглянуть для просмотра вечерних сводок к нему в кабинет. Я догадался о возможном разговоре, касающемся Натальи Александровны. Пришедшего с разговором в офицерской компании равновесия сразу не стало.

Мы отъехали. Полковник Алимпиев, опершись на свою георгиевскую шашку, минуту смотрел в темную улицу, потом сказал:

— Я не могу по известной вам, Борис Алексеевич, причине пригласить вас на ужин. Вам следует прекратить отношения с госпожой Степановой. В прошлый раз я допустил преступное легкомыслие, пошел на поводу у нее. При всей моей симпатии к вам, я не имел на это права. Найдите мужества и чести не губить ее.

От пустоты, пришедшей ко мне со словами полковника Алимпиева, и от стыда за свое порочное поведение, которое стало для меня таким только со словами его, я мог бы обещать все. Я будто впервые и будто со стороны взглянул на себя. Все мое мучительное чувство в этом новом взгляде увиделось мелким эгоистическим стремлением к удовлетворению прихоти. Что-то сродни княгине Анете нашел я в полковнике Алимпиеве, в его простых и прямых словах, в его простом тоне разговора. И что-то вечное, древнее, обдающее меня обязанностью перед этой простотой, нашел я в нем. И я пообещал.

— Я вам обещаю, — сказал я.

— Иного я не мыслил. Благодарю, — кивнул полковник Алимпиев. — Вам лучше отсюда уехать — в том числе и по состоянии здоровья. Вы или воспользуйтесь расположением командующего, или примите помощь от меня. Я говорю о Крыме.

— Я воспользуюсь расположением командующего! — сказал я и попросил об услуге связаться с командующим по возможности тотчас же.

Полковник Алимпиев согласно кивнул, опять помолчал и прибавил:

— Госпожа Степанова у меня единственное родное существо. За годы здешней жизни я отвык от всех остальных родственников. Да многих уже и нет. Давно умер брат мой, ее отец. Выросла она у меня.

— Я знаю, — сказал я.

— Моим благорасположением вы можете пользоваться в полной мере. В отношении госпожи Степановой мы с вами договорились! — сказал полковник Алимпиев.

Мы ехали, и я думал о том, что впереди у меня только пропасть. Действующая часть была уже другою стороной пропасти. А пропастью был путь в нее. Пропастью была и последующая жизнь без Натальи Александровны. Но та пропасть была как бы другой пропастью, не столь страшной против первой, так как я, подобно декабрьской ночи на заставе, уже начинал вновь ощущать приближение единственного моего дня. Осталось лишь собрать силы на дорогу к этому дню. Чтобы приблизить его, я вновь пообещал полковнику Алимпиеву:

— Я обещаю вам!

В это время сил на исполнение обещанного я имел достаточно. Но связаться с генералом Юденичем тотчас не получилось. Едва оператор пробился в Тифлис, там что-то не заладилось. Полковник Алимпиев посмотрел на меня: будем ждать? Сколько мне ни хотелось решить судьбу теперь же, я не взял себе характера настаивать на ожидании. Это было бы совершенным школярством. Полковник пообещал связаться со штабом командующего в течение завтрашнего дня. Мы вышли на улицу. Полковник велел шоферу ехать к моей гостинице. Когда шофер остановил возле подъезда, полковник снял перчатку, вынул из нагрудного кармана маленький конвертик, совершенно беспомощно, по-стариковски вздохнул:

— Знаете, вот роль поверенного в … — и посуровел: — А впрочем, в ближайшие сорок восемь часов вы должны покинуть расположение отряда. Считайте это приказом. А лучше — просьбой отца.

У меня хватило выдержки выйти из автомобиля, щелкнуть каблуками. Но в следующее мгновение я уже был у себя в номере и читал крошечное письмо Натальи Александровны, совсем его не понимая. Она написала только одно предложение: “Пожалуйста, вспомните свое слово — я жду вас завтра в десять часов по утру в месте, где вы слово сказали”. Но и его я не понимал, хотя странным образом знал, что именно мне в десять часов по утру предстояло.

15

Кажется, я не раздевался, кажется, не спал. И, кажется, совсем не было ночи. А было только это знание об утреннем десятом часе. И я ни разу, будто внезапно пораженный беспамятством, не вспомнил о только что данном дважды обещании. Еще затемно я выскочил из гостиницы, не рядясь, схватил извозчика и погромыхал к цветочному магазину. Там я в нетерпении застучал в двери, удивился тому, что хозяин в такой час спит, опять не торгуясь, подхватил из ванны с водой корзину алых роз. Хозяин принялся корзину обертывать мокрой холстиной. Ждать его и ничего не делать я не смог. Я обмахнул корзину холстиной сам.

В дороге я тоже не смог усидеть без дела. На одном из подъемов в гору, уже близ Салибаури, я пошел пешком и ушел вперед. А на знакомом повороте, с которого в прошлый раз, в ненастное ноябрьское утро оглядывал окрестности, я просто-напросто побежал. Едва не навстречу из-за гор хлынуло солнце. Я споткнулся, но побежал дальше, ничего вокруг не замечая, потому что все вокруг — даже фиолетовые, как баклажанные бока, тени, даже и они стали слепящими и обволакивающими.

Я, верно, ударился бы лбом в ворота усадьбы полковника Алимпиева, если бы Наталья Александровна не вышла вперед.

— Ну, Боречка же! — вскричала она.

Я увидел, что бегу мимо нее, что передо мной ворота. Я неловко обнял ее и хотел поцеловать, но только ткнул козырьком фуражки. Она отстранилась. Я еще раз попытался обнять ее и обнял, почувствовав, как сердце мое сильно в нее ударяет. Она отстранилась вновь, вдруг решительно выставив вперед локотки. Я принял их, эти локотки, орудием ее защиты от нового тычка козырьком, отстранился сам, оглядел ее, узнавая и не узнавая, сказал: “Сейчас!” — и побежал навстречу извозчику, дал ему деньги, схватил корзину и бегом же вернулся назад. За это время она отошла к воротам, открыла калитку и остановилась.

— Какой ужас, Боречка! Ну, не ждала от вас! — с нервным смешком сказала она о корзине с розами.

Я замер. Я только теперь почувствовал, сколько холодно и сколько брезгливо отстранилась она в первый раз, сколько решительно выставила локотки во второй. Меня словно кто-то встряхнул, и рубцы тотчас же потянули влево, а я сам, выравниваясь, стал клониться вправо и очень захотел обо что-то опереться.

— Это пошло — дарить даме корзину роз, словно какой-то актриске. Вы же умница, Боречка! — сказала Наталья Александровна.

— Да, мадам! Я согласен с вами. И всему этому вот где место! — Я швырнул корзину далеко в сторону, но неудачно, и она, взмыв вверх, застряла в ветвях ближнего дерева. Я прищелкнул каблуками и откивнул: — Честь имею откланяться!

Я резко повернулся. Ее слова я услышал уже в спину.

— Да вы впрямь будто в театре! — с яростью сказала она. От невозможности

ответить ей достойно или хотя бы спросить, за что она так со мной поступает, я стал задыхаться. Я резко обернулся. Она медленно ступила навстречу, охватывая меня всего своим взглядом, и сказала знакомое с прошлого раза слово:

— Убила бы! — сказала она раздельно, с болью и еще с тем чувством, которое я различил даже в моем состоянии, но которому теперь не захотел верить.

— Напрасный труд! — со злобой сказал я.

— Обними меня, Боречка! — попросила она.

— А не из театра ли это? — спросил я с прежней злобой. Она по-птичьи вскрикнула. Я увидел обезображенное сдерживаемым рыданием ее лицо. Она напомнила мне вдруг мою полусотню в тот миг, когда все поняли, и когда это понимание высказалось лишь диалогом казака Тещи и хорунжего Махаева.

— Вот же доля! — сказал Теша. — Я безотцовство хлебал. И моей посербетине, — да, именно так он сказал, надо полагать, имея в виду свою ребятню, — и моей посербетине — тоже!

— Задохни! — приказал хорунжий Махаев. И, кажется, был еще диалог, то есть была еще пара фраз между мной и Самойлой Василичем.

— И что же, нам — тут? — спросил Самойла Василич, упирая голосом на последнее слово.

— Вы бы, вахмистр, желали в ином месте? — спросил я. Вспомнив сейчас это, я увидел, как равно же Наталье Александровне, закричали по получении известий о судьбе мужей женщины в Бутаковке. Равновеликость сравнения была неуместной. Конечно, я это видел. Но только это сравнение смягчило меня. Я подошел к Наталье Александровне и тихо коснулся ее плеч:

— Наталья Александровна!

— Наташечка! — шепотом поправила она.

— Наташечка-Наташечка! — сказал я будто маленькой девочке, например, племяннице моей Ираидочке.

— Какой вы! — укорила Наталья Александровна. — Сидели болваном у дядечки в кабинете, а потом ушли!

— Так ведь, Наташечка!.. — хотел я оправдаться.

— У дядечки было можно! — переменившись, вскричала Наталья Александровна.

— Однако же! — переменился и я. — Однако же я имею просьбу Михаила Васильевича оставить наши отношения!

— И вы… — озером Кусиян, помертвелой водой его, поглядела Наталья Александровна.

Я не успел ответить. Она догадалась сама. И она не захотела слушать ответа.

— Да ведь нас все видят. А вы мне не подскажете! — холодно спохватилась

она.

Я оглянулся. Мы были в полном одиночестве. Разве что кто-то смотрел на нас из потаенного места — а так мы были возле ворот одни.

Я сказал об этом. Наталья Александровна же повлекла меня во двор. Я увидел знакомую с прошлого раза картину обычного в здешних местах широкого зеленого двора с характерными, украшенными резьбой деревянными постройками — сараем и кукурузней на высоких столбах, домом на каменном цоколе с высокой балконной лестницей. Только здесь, в отличие от усадьбы Зекера, в которой мы с Раджабом останавливались в прошлом ноябре, из-за рельефа местности дом и постройки были смещены влево. А справа двор круто уходил вниз, где превращался в сад. В середине двора я приостановился. Все здесь мне было знакомым, и все было неузнаваемым — столько в прошлый раз я не заметил и представлял потом по-другому. Я удивился такой своей рассеянности, явно меня, человека военного, не украшавшей. По ту сторону двора за деревьями угадывалась соседняя усадьба. Я спросил, уж не Марьяшечка ли со своим почтенным агой там живет.

— Нет, — ответила Наталья Александровна. — Она живет там! — и показала в другую сторону, за постройки.

— И что же у них, дал Бог, все хорошо? — спросил я,

— У них все хорошо! — ответила Наталья Александровна. И я нашел в ответе намек на то, что не хорошо у нас. Нашел, но смолчал, положив, что уже ничего изменить не смогу. Я спросил, будет ли и сегодня у нас Марьяшечка. Наталья Александровна ответила отрицательно — Марьяшечка со своим мужем уехали навестить родственников. Мне стало жалко того, что я никогда более ее не увижу. Я вспомнил ее гневное русское слово “скверно”, обращенное ко мне, слово, которого, по моему предположению, она знать была не должна. Я улыбнулся. Наталья Александровна заметила улыбку. Я увидел — она хотела на нее тотчас же отреагировать, но сдержалась и только предложила идти в дом завтракать. Я снял фуражку и помолился за свое сюда возвращение.

— Идемте завтракать! — попросила Наталья Александровна.

— Я вас помнил всегда. Но только я полагал, что вы в Петербурге, то есть, по-нынешнему, в Петрограде! — начал я оправдываться за свое поведение в кабинете полковника Алимпиева.

— Потом, потом, родной! — сказала она тихо. Я не мог ступить дальше. Слово “родной” сразу мне напомнило о моем обещании полковнику Алимпиеву.

— Ну и плохо, что вы дали слово дядечке! — поняла меня Наталья Александровна. — А я вот вымолю у него вернуть вам это слово! Идемте же. Я так хочу поскорей остаться только с вами.

Я продолжал стоять.

— Господи! — воскликнула Наталья Александровна. — Как с вами тяжело! И как просто с моим Степашей! Он бы уже на коленях тащился за мной!

Она так воскликнула и уже после поняла промашку. Мы оба застыли. Человек,

ради которого я дал обещание оставить отношения с ней, был назван. Он появился. Я теперь был просто обязан уйти.

— Нет!— закусила губу Наталья Александровна. Она была в легком узком платье и маленькой шляпке по моде, какой я ее мог нынче знать, а не по такой, какая была она на самом деле. И платье, и шляпка в соединении с маленькой фигуркой делали ее кем-то вроде гимназистки среднего класса. А глаза, глубокие, страстно пылающие и змеино застывшие одновременно, глаза и небольшая, часто вздымающаяся грудь выдавали в ней расцветающую женщину. Смесь или контраст — я не мог определить, что именно, — не давали мне возможности, как было в порыве минутой назад, повернуться и уйти. Я будто только что увидел ее. И я будто только что увидел или, вернее, почувствовал себя. “А при чем же здесь он? — подумал я про ее мужа. — Это если бы была Ксеничка

Ивановна, я был бы подлецом”. Такого открытия мне вполне хватало. За ним пришли уже, собственно, и не нужные оправдания моего здесь присутствия — и ее приглашение, и мой отъезд в ближайшие теперь уже тридцать шесть часов. Такого открытия мне хватало, чтобы остаться, но не снять с себя звания подлеца. Не успокоили моего внутреннего угнетения и вчерашние слова о том, что сегодня мы здесь, а завтра под пулями. Пустыми были эти слова. И если кого-то оправдывали, то только на миг. В следующий же после пуль миг оправдания быть не должно.

Вот с этим чувством я вздохнул, поглядел на Наталью Александровну, на небо — и запустил в него фуражкой. Наталья Александровна ахнула. Пока фуражка описывала свою кривую дугу и летела к дому, я подхватил Наталью Александровну на руки, крутнулся на месте, выдирая каблуками траву, поставил ее и после кувырка вперед побежал к фуражке, поднял ее, упер руки в боки:

— Ну, завтракать же, госпожа моя!

— А как же корзина роз? — вступая в игру, спросила Наталья Александровна.

— Голодному? — свирепо вытаращился я.

— Между прочим, господин мой, нынче утром наступила страстная пятница! — потупив взор, прощебетала Наталья Александровна.

— И? — растерялся я.

— Только водицы, господин мой, только водицы! — смиренно продолжила Наталья Александровна.

— Водицы? А, это же, кажется, там! — сорвался я бежать к роднику в углу двора, прибежал, приклонился к струе, отхлебнул, подставил голову и отскочил из-за того. что вода потекла за воротник.

— Иордань! — закричал я и снова головой полез под струю.

— Ну, грех же, Боречка! — крикнула Наталья Александровна. Я умылся, стряхнул воду с головы, носовым платком отер шею и лицо. На спину воды натекло много. Френч промок и неприятно прилип. Я энергично помахал руками и вернулся к Наталье Александровне:

— Слушаю вас, госпожа моя!

Она сначала посмотрела мне в глаза, затем осторожно прикоснулась к щеке:

— Как красиво ты все делаешь. Я так бы смотрела на тебя и смотрела!

Я сжал ее руку. Она ответила чуть-чуть, еще посмотрела в глаза.

В доме, едва вошли, я снова хотел обнять ее. И уже в третий раз она отстранилась. Я глазами спросил, почему. Она глазами же ответила: нет. Я не ожидал такого. Но отступить уже не хотел.

— Отчего нет? — спросил я вслух.

Она прошла к камину, зажгла приготовленную растопку, понаблюдала, как разгорается огонь, отошла к столу, отняла белое холстяное полотенце, открывшее два прибора, принесла из кухни завтрак. Я следил за нею и вместе рассматривал комнату, столько мне близкую. Когда Наталья Александровна поставила завтрак на стол, я спросил:

— Мне уезжать когда?

Она оглянулась, помолчав, ответила:

— В шесть часов сосед на лошади проводит вас. Я останусь здесь до утра. Ко мне придет соседка. Мне не будет страшно.

— Наталья Александровна! Вы понимаете, что я исполню слово? — спросил я.

— Вот потому-то все так выходит. Вы чужой, Боречка. И потом, и потом на вас этот мундир! Этот вызывающий белый крестик! Эта корзина роз! Все это пошло, Боречка! И еще! Еще ведь мне было сказано, что вы погибли вместе с Раджаб-беком где-то там, на своей противной Олту. Я ведь оплакала вас и схоронила. Я каждый день ставила свечу за упокой вашей души и каждую ночь выла волчицей. А вы, вы хотя бы мысленно послали мне о себе, хотя бы через звезды на небе, через Венеру, коли уж она вас по зодиаку хранит!

— Но вы же должны были уехать в Петербург, или как там его нынче. Вы оставили право позвать только себе! — стал возражать я.

— Помолчите и имейте мужество быть виноватым! — гневно прервала она. — Вы хотя бы мысленно внушили мне, что вы остались живы. Если бы вы любили меня, вы бы это сделали непременно. Я бы нашла вас. Я бы ушла от мужа. Я бы пошла в сестры милосердия, чтобы быть рядом с вами!

Если честно, мне трудно было определить результат такого моего мысленного послания. Еще в детстве ребятишки из нашей деревни уверяли меня в том, что стоит только прокричать в открытую трубу печки кому-либо какое-либо известие, как адресат его услышит тотчас же и непременно, сколько бы далеко — хоть на Камчатке — он ни находился. Вероятно, о подобном же способе говорила сейчас мне Наталья Александровна. “Да уж не вздорная ли она особа!” — в раздражении подумал я и отстраненно, чего сам не ждал от себя, поставил ее рядом с Ксеничкой Ивановной и увидел, какова бы она была сестра милосердия, уж такова была бы, что… — далее я придумать не смог, а только не смог представить, чтобы Наталья

Александровна осталась бы в Сарыкамышском вокзале или на нашей Марфутке.

Я хотел попросить ее не касаться ей неизвестного, то есть не говорить о работе сестры милосердия, как о простецком безделии.

— Наталья Александровна! — хотел я попросить ее остановиться.

— Наташечка, а не Наталья Александровна! — резко поправила она. — Я вам не генерал Лахов и не дядечка, чтобы меня называть по отчеству! — и вдруг запнулась, вдруг остановилась, и в словах, и во взгляде, а, верно, так и в мыслях своих она остановилась… — Да вы, Боречка, — с трудом и тягуче, словно мужик на базаре мед из бочки достает, стала говорить она. — Да вы, Боречка, меня вовсе не любите! Да вы связались с другой женщиной!

Она быстро села с ногами в кресло, собралась вся, замкнулась, превратилась в нечто неприступное и оттуда, из своего нечто неприступного, ненавидяще ударила меня глазами: — Да вы столь плотоядно улыбались, говоря о Марьяшечке! Да вы именно к ней бежали!

В эту минуту, не зная, что мне делать, я едва не воскликнул вслух благодарность Господу за то, что во всю мою прежнюю жизнь он берег меня от женщин. “Вот где счастье-то! — перевел я умом и вспомнил то ли от употребленной частицы “то”, то ли просто по ситуации, но вспомнил я Владимира Леонтьевича с его женой-дочкой Ириной Владимировной, вспомнил я их, милейшую пару, в счастье которой отчего-то мне сразу же не поверилось. Вспомнил я и вдруг понял: А его, счастья, с женщиной и быть не может!”. И я вдруг увидел себя со стороны, увидел этакого истукана, которому осталось уже и не тридцать шесть часов, а едва ли всего один час или едва ли и того осталось — ему, истукану, ничего не осталось, а он стоит и с женщиной препирается.

— Да этак мы с вами и черт знает до чего дойдем, ну ровно в вашем синема! — сказал я, намеренно припоминая ее слова про синема, сказанные ею в негодовании мне осенью.

— Боречка, нет! — в ужасе закричала она.

А уж куда нет, когда мне ничего иного не оставалось. Ничего мне не оставалось — я схватил ее из кресла да понес в спальную комнату.

— Боречка, нет! — снова закричала она. А я попытался найти ее губы своими. У меня не вышло — и я впился в ее прелестную шейку, ну будто паук в муху.

— Вы делаете мне больно! — сказала она.

— Вы заслужили, потерпите! — промычал я.

— Но ведь страстная пятница! — нашла она новую причину.

— Я отвечу! — промычал я.

— Вы мне помнете платье! — попыталась она высвободиться.

— Отгладите! У вас ночь впереди! — пресек я попытку.

— Вы мне противны! — сказа она.

— И это потерпите! — сказал я.

— Я сама разденусь, Боречка! — попросила она.

— Да вот вздор! — рассердился я.

— Оставьте, оставьте меня! Я вас не хочу! — не столько взмолилась, сколько, кажется, по-настоящему испугалась она.

Но мной уже овладел некий бой — остановиться было не столько против логики и жизни боя, сколько было это уже невозможным, потому что по-иному в бою я не знал. Я грубо бросил ее поперек постели и, ожидая сопротивления, навалился. Я навалился и не ощутил ничего знакомого, ничего того, что я ждал. Она тоже была чужой. Я увидел ее глаза, неподвижные, застывшие, таящие то ли ужас, то ли глубокую черную пустоту никого не любящей женщины. Я это увидел, но не захотел поверить. Я лишь сказал в азарте:

— Ага, опять Кусиян!

Сказал с тем же чувством, как если бы я увидел считавшуюся уничтоженной, но вновь появившуюся цель. И в том же азарте я рывками поднял ей подол. Она не сопротивлялась, а лишь судорожно и мертво обнимала меня за шею. Чтобы раздеть ее, я разомкнул это объятие, приподнялся и вновь, как час назад от хлынувшего мне навстречу солнца, ослеп от сияющей, девственной чистоты ее белья. Я стал шарить руками в поисках завязок, но ничего не нашел, а только почувствовал через тонкую ткань теплую и тревожную пульсацию ее тела. Я удивился тому, сколько этой пульсации не соответствовали глаза. И все равно я не мог остановиться. Я так захотел ее , что преградой не могло стать даже неснятое ее белье. После первых моих попыток она осталась неподвижной. А потом вдруг резко и неожиданно оттолкнула меня в сторону. Толчок меня отрезвил. Я лег на спину, чувствуя, как задыхаюсь, как легкие не справляются с тяжелым моим дыханием. Промелькнула драка с молодым князем, Ксеничка Ивановна, княгиня Анета и чем-то похожий на нее полковник Алимпиев. Я застыдился смотреть в сторону Натальи Александровны и уставился в гладкие, хорошо пригнанные ореховые доски потолка, будто попытался исчезнуть в их причудливых узорах, напоминающих накаты волн на пустой берег, песчаными косами встающий им навстречу. “Вон, быстро вон!” — сказал я себе, изнемогая от желания. И именно от него, от непреодолимого желания первые мгновения я не мог себя заставить подняться. А потом встал и пошел из спальной комнаты.

— Иди! — отрывисто и чужо сказала Наталья Александровна. Я невольно оглянулся. Она лежала так, как я ее оставил, с поднятым подолом. Снятое белье сияющим снежным комочком лежало подле. А мне навстречу открылась не черемуховая колка и не Индийский полуостров, а, словно глаза, недвижное озеро Кусиян.

— Иди! — позвала Наталья Александровна, а потом все время смотрела мне в глаза и говорила: — Не люблю! Не люблю!

За завтраком мы долго молчали. Я не выдержал первым и протянул через стол руку. Она коротко усмехнулась:

— Я пожалела вас!

— Благодарю, мадам! — улыбнулся я,

— Ну, Боречка же! — донеслось мне уже за ворота.

За всю дорогу я ни разу не оглянулся. А корзина, застрявшая в ветвях, и просыпанные розы остались последним, что я запомнил. Я шел весь легкий, едва не посвистывая, будто с меня сняли груз, положенный по ошибке. Я знал, что впереди будет пропасть. Однако я надеялся, что времени до ее появления мне хватит, чтобы прибыть в действующую часть.

В гостинице я весело отмахнул шагнувшему мне навстречу швейцару. Он услужливо поспешил за мной, догнал и с одышкой сказал:

— Ваше благородие, ваше благородие, вас спрашивают некто, сейчас, ах, Господи Царю Небесный, — он уткнулся в бумажку из кармана, — да вот, вас спрашивают сотник Томлин. Он остановился в номере!…

…Я без стука толкнул дверь, и номер дыхнул на меня табачным дымом, густо смешанным с запахом нечищенной и принесенной с поля амуниции, которой была забита прихожая комната. Из соседней плыл немолчный и рваный гул пьяной компании. Я вошел туда. Дюжина казачьих офицеров, сибирцев и кавказцев, сидели вкруг расхристанного стола с кусками мяса, хлебом и водкой. Говорили все враз. Один из сидевших ко мне спиной держал в руке стакан и говорил соседу:

— Ну только-то ступил он в сторону. Я еще ему говорю: да делай здесь, на дороге, кого стыдиться! — он же все равно пошел в лес, в сторону. Да что, говорит, смердить тут! Я не успел моргнуть — хвать, выстрел! У меня все оборвалось: Семен! Савенко! — и туда. А от дерева щепа мне по глазам хвать, хвать! Это, значит, по мне!

Сосед, кажется, его не слышал — да и не мог слышать, так как с другой стороны ему другой сосед говорил столь же горячо. Меня никто не замечал. Я молча стал гадать, который же здесь Томлин. А один из кавказцев вдруг с размаху ударил по столу. Бутылки подскочили. Я взглянул на него, как, впрочем, и все остальные.

— Батька-татка наш! Борис Чеевич! — раскинув руки и впиваясь в меня голубыми глазами, стал он подниматься из-за стола.

— Василий! — узнал я хорунжего из полка Раджаба. Махом же остальные вскочили, как на конь, шарахнули стол в сторону, так что некоторые бутылки упали. На них никто не оборотился. А в освободившемся проходе мы с Василием припали друг к другу.

— Мы с ним, мы с Борисом Чеевичем! — на миг оторвался Василий показать всем большой палец, будто не они, остальные его полчане, а я служил с ним бок о бок. — Вот как мы с ним! — и опять припал ко мне: — А Раджаб-бекушка-то наш сгинул! Сгинул наш басурманушка! — он стал крестить мою спину, а потом опять оторвался: — Да! А Григорий Севостьяныч где? Господа, сотник Томлин где? — и опять мне: — Вот уж как он обрадовался. Мы в гостиницу, а нам: мест нет, нумера заняты! — Томлин: да как это заняты! Нам с поля — и заняты? А ну показывай, кем

заняты! — а он: — Ну вот Георгиевский кавалер, сами понимаете, господин капитан Норин! — Ну наш Григорий Севостьяныч так о пол от радости и шамкнулся! — и опять остальным: — Да позовите же Томлина! — а сам вдруг схватился и дернулся к кровати:

— Он же вам вот что сберег! — он пьяно, рывком взял с кровати небольшой, но длинный и узкий ковровый сверток, перетянутый ремешком, попытался развязать, но рассердился и пырнул ремешок кинжалом. — Вот, Борис Чеевич, держите!

Я механически взял сверток и, не разворачивая, понял, что держу шашку, подаренную мне Раджабом.

— Ну что Томлин, господа? — пьяно взревел Василий.

Как по волшебству, из коридора в оставленные мной незакрытыми двери ответил громкий и по-всегдашнему насмешливый голос поручика Шермана:

— Пьяный обер-офицер третьего горско-моздокского казачьего полка в роли короля Ричарда Третьего! “Томлина! Полцарства за Томлина!”. Отсыпай мне положенное, Вася! Вот тебе Томлин!

И в номер впереди Шермана вошел уже распоясанный, с шашкой и портупеей в руках, без шапки, худой, чуть сутулый застенчивый человек с черным чубом и черными накрученными усами. Чем-то он походил на брата Сашу.

— А мы проводили до извозчика капитана Степанова. Домой, к жене Наталье Александровне рвется очень! — как бы оправдываясь, говорил этот человек, пока шел ко мне.

16

Мы поздоровались. Ладонь его оказалась небольшой и жесткой, с длинными чуткими пальцами. И подал он мне руку как-то деликатно, словно большому начальнику — с тем отличием, что без подобострастия. На некоторое время гвалт смолк. Надо полагать, все знали нашу историю и сейчас преисполнились ожиданием чего-то любопытного. Мы оба это почувствовали. Мы оба друг с другом поздоровались и остановились, не зная что делать далее — то ли что-то сказать, то ли еще что-то. Не выдержал хорунжий Василий.

— Эка вы, братки-татки! — в огорчении вскричал он. — Да разве же так встречаются! А хватай их, казаки, — и айда, протащим их на руках по гостинице, героев!

— Стоять! — успел растопыриться Томлин, а уже нас обоих смяли в охапку и выдернули вверх на руки.

— Ура! — закричал хорунжий Василий, оставаясь в качестве командира в стороне.

— Ура! — закричали все остальные.

Чего-либо складного разобрать было невозможно. Я то ли лежал, то ли сидел, или, вернее, и лежал, и сидел, причем, когда лежал, то неизменно вверх ногами, а когда сидел, то обязательно криво. Все кричали от восторга и одновременно кричали друг другу всякие подсказки, чтобы меня выровнять и не уронить. Кажется, лучше было Томлину. Я изловчился посмотреть на него. Он сидел на плечах двоих своих товарищей, поддерживаемый со всех сторон другими, и, кажется, его главной заботой было не зацепить кого-либо ножнами, и он вздевал их над собой, отчего, равно же мне, чувствовал себя неуверенно и искал равновесия. Каково было выражение моего лица, я не знаю. А сотник Томлин, постигнув бесполезность сопротивления, пытался играть роль и изображать полную безмятежность и даже удовольствие, будто пребывал на старой смирной кобылешке, сонно трясущей его по бутаковской поскотине. Однако хуже стало ему на лестнице. Если мне, более лежащему, нежели сидевшему, на лестнице стало комфортнее, так как впереди идущие опустились ниже, отчего ниже опустились и мои ноги, то он, сидящий на двух своих товарищах, едва не сверзился, так как ступать они стали вразнобой. Однако и в этом случае роли он не оставил, продолжил изображать безмятежность, чем замечательно выказал свой характер, о котором еще Самойла Василич на заставе выразился несколько причудливо, если не сказать иначе. Считая, сколько раз отвечает на турецкие выстрелы он, Томлин, казаки судили его.

— Ему ведь тяжело лишка-то патронов таскать! — сказал старший урядник Трапезников.

— Он лишка-то не перднет, не только не выстрелит! — поддержал его Самойла Василич.

И сейчас в его выдержке мне пришлось удостовериться воочию.

Нас протащили по коридорам, вынесли на улицу, по пути захватывая едва ли не всех встречных и выглянувших из номеров на шум. Все спрашивали о причине нашего ликования. И всем вперебой казаки отвечали. Но, кажется, ни до кого смысл толком не дошел. Громче всех старался хорунжий Василий. Но в натуге восторга отвечал он коротко и невразумительно.

— Герои встретились, господа! — кричал он, поминая Олту и Кашгар.

И вскоре понеслось по гостинице так, будто сотник Томлин и я прослужили всю жизнь вместе, едва ли не тридцать лет, при этом едва не завоевали Индию, а уж Хиву, Коканд и Кушку империя получила только благодаря нам.

Хорунжему Василию из всех сил помогал поручик Шерман. Он то импровизировал свою белиберду про Индию и прочее, поминал Александра Великого, разумея под ним меня, и про Чингис-хана, разумея под ним сотника Томлина. Как я уже сказал, сотник Томлин был черноват и усат, но ничего монгольского в нем не было, и, вероятно, монгольское поручик Шерман сюда приплетал по причине прежней службы сибирцев на монгольской границе, хотя бутаковцы, будучи сибирцами, служили, как я теперь знал, по Кашгару.

На улице нас взялись подбрасывать, подбросили несколько раз и, слава Богу, поймали. Потом помяли еще. И вся толпа повернула в гостиницу.

— Вы извините, Борис Алексеевич, за наше самоуправство! — сказал сотник Томлин про занятый мой номер.

— Да полноте, Григорий Севостьянович! — чистосердечно возмутился я.

А, признаться, я и не знал, как себя вести. Лишь я понял, что передо мной сотник Томлин, я сжался внутренней тревогой, я сильно заволновался — почти так же, как сжимался и волновался от вида хребта с горийских улочек. Физическая встряска — вот этакое таскание по коридорам — меня в большой степени выправила. Однако тревога осталась. И я сейчас, при чистосердечном возмущении, понял причину тревоги. Ее родило мгновенное ожидание спроса с меня за гибель полусотни. Однако вместо спроса я услышал от Томлина иное.

— А нас на Пасху впервые с ноября отпустили от службы. А остановиться нам негде! — стал объяснять сотник Томлин именно теми же словами, что и служитель гостиницы: — Он, то есть служитель, нам говорит: мест нет, господа! — а мы ему: как это нет, когда мы с аулов вернулись и всего-то на Пасху! — А так, говорит, видите, кто проживают! — и стал перечислять: этот такой, этот такой, а этот по протекции командования крепости Георгиевский кавалер!.. — ну я и хватился бежать к вам!

Я его слушал и улавливал что-то чрезвычайно схожее в нем с Сашей. Уж сколько считались хотя и неуловимо, но схожими мы с Сашей, но сейчас, по-моему, сотник Томлин и Саша сходством были гораздо ближе — столько ближе, что будто братьями были они, а не мы. Единственное, что их отличало, — это объяснительный тон сотника Томлина. Такого тона от Саши я не слышал во всю мою жизнь. И я спросил:

— Что же полусотня?

— Потом, Борис Алексеевич, потом, не в такой баранте! — извинительно улыбнулся сотник Томлин.

Мы ввалились в номер. Томлин недовольно и даже брезгливо повел носом, оглядел сваленную кучей амуницию, раскиданную по столу снедь и растопырил усы:

— А тудыть вас, гаспада ахвицера! — кого-то передразнивая, но в сильном недовольстве сказал он. — Настрамили, что шашку положить негде, не только хозяина ввести!

— Да Григорий Севостьяныч, да… — закричали все в голос и кинулись прибираться, открывать окна, складывать порядком амуницию.

— Вестовых отпустили, а сами уж — не к очагу кочережка! — еще сказал сотник Томлин.

— Да Григорий Севостьяныч! — бегали все по номеру.

А я смотрел и в ворчании его опять видел схожесть с Сашей.

Прибравшись, то есть по-новому растолкав в углы амуницию и наскоро вытерев на столе, все заспешили выпить. Разумеется, самую большую баклагу — некое подобие жестяной кружки, уж неизвестно как и кем сюда принесенной, — вручили мне.

— Разве стакана нет? — спросил сотник Томлин.

— По-полевому, по-аульски! Капитан тоже наш! — в несколько голосов возразили ему.

— Будет с меня и баклаги! — сказал я.

— А не вся баклага вам, капитан! Крестик в нее — и по кругу! — подсказали мне.

Я покраснел, отстегнул орден и положил в баклагу.

— Ура нашему!.. — закричали все, завершая фразу кто словом “капитан”, кто словом “кавалер”. Хорунжий же Василий, выпив свое, со словами: “Татка-братка ты наш!” — стал со мной целоваться.

А я вспомнил нашу дорогу на Олту, вспомнил Раджаба, замерзшую полусотню и не смог поднять глаз. Баклага пошла по кругу. Я сказал хорунжему Василию о том, что Раджаб не пропал, а геройски погиб у меня на глазах, и я о том из госпиталя отписал в полк.

— Как же?! — вскричал хорунжий Василий.

— Что? — спросил сотник Томлин.

— Да мой мусульманишко-то объявился! Он геройски погиб! — несколько с детской обидой ответил хорунжий Василий.

— А я тебе говорил, что ваших хоронил! — сказал сотник Томлин.

— Эх, голова моя! — схватил себя за чуб хорунжий Василий и закачался,

застонал не в силах сдержать слез.

— Будет. Я вон всю Бутаковку схоронил — да мне нет ничто! — хлопнул его по спине сотник Томлин.

И я действительно видел, что ему, как он сам выразился, нет ничто. И мне от его выдержки было легче. Баклага подошла к сотнику Томлину. Он посмотрел ей в дно, сказал нарочно по-мужичьи:

— Ну, не последний крест тебе на грудь, Лексеищ!

Я кивнул, прицепил мокрый орден к френчу и только потом подумал, что следовало бы его просто положить в карман. Ни у кого из присутствующих никаких наград не было, и моей следовало лежать в кармане. Вот этак я подумал, но уже посчитал неудобным снимать орден с груди. Так весь последующий вечер он висел у меня на френче и не давал мне покоя. Все мы напились изрядно. В какое-то время, уже в темноте, у нас хватило сил сходить в храм. Мы шли в него и говорили о своем намерении отстоять всенощную, отстоять до утра. Все, кроме поручика Шермана, охватывались этим намерением, обещали, а через несколько шагов забывали. Тогда кто-нибудь спрашивал:

— Так что, господа, до утра?

Ему вновь горячо обещали.

А вышло, конечно, что — не до утра. Вышло, как выходит у пьяных людей. И часу никто не выдержал. Хорошо было уже то, что никого не стали задирать, ни с кем прежде времени не кинулись христосоваться. Всяк истово и пьяно помолился и обратно пошли мы вразнобой. Я пошел с сотником Томлиным и поручиком Шерманом.

— Вот я потому не обещал, что знал! — сказал в превосходстве поручик Шерман.

— Писарям знать положено! — невозмутимо откликнулся сотник Томлин.

— Что ты имеешь в виду? — остановился поручик Шерман.

— Правописание! — сказал сотник Томлин. — А то некоторые пишут слово “сотник” с мягким знаком, вот так: “сотьник”.

— Ты это к чему, Григорий Севостьянович? — снова спросил поручик Шерман.

— А выпить хочется, Володя! И еще Степанову завидно. Он сейчас… а мы… — сказал сотник Томлин.

— Так в чем же дело! — кажется, не поверил, но сделал вид, что поверил, поручик Шерман.

Мне тоже показалось, что сотник Томлин задирает поручика Шермана. Но это мое предположение стало делом десятым. Я лишь услышал имя Степанова, как весь облился жаром. Я вспомнил блистающий сугробик белья Натальи Александровны и в контраст этой белизне темную отметину озера Кусиян. Мне захотелось Наталью Александровну. И в этот же миг я понял, что ее у меня никогда больше не будет. Я с силой сжал рукоять шашки. Далеко и давно, как в прошлом веке, всплыло чудесное

личико Ксенички Ивановны, чудесное, но все-таки нелюбимое. Я вдруг обернулся к сотнику Томлину:

— А что, Григорий Севостьянович, не знаете ли вы, нет ли у вас в отряде вакансии?

— Туть! — как-то несколько преувеличенно пьяно вскинулся сотник Томлин. — Да как же нет! И у нас в полку есть, и у других есть, на выбор!

— Хорошо! — сказал я.

— А разве моздокцы в отряде генерала Генина? — удивился поручик Шерман.

— Нарасхват! — отшутился сотник Томлин.

— А все-таки? — спросил поручик Шерман.

— Стык вашего и нашего отрядов обеспечивать надо, поручик? — спросил сотник Томлин. — А кто будет это делать, кроме нас, дураков-казаков? Числимся при полковнике Генине, а служим у генерала Генина.

— То есть? — попросил я уточнить.

— Ну правильно! — понял мою догадку сотник Томлин. — В Олтинском отряде чистит тылы полковник Генин, а в Чорохском — генерал Генин. Нам же, дуракам, то есть казакам, достается там и тут! Так что, Борис Алексеевич, как старому погранцу-бутаковцу, — он, разумеется, последние слова выделил особо, то есть, конечно, выделил их с иронией, но с иронией такой, которая всего лишь спрятала откровенное признание меня своим. — Так что вам, старому погранцу-бутаковцу, место мы исхлопочем!

После этого мы вдруг перешли на скорый шаг и замолчали. Я шел, и меня всего переполняла Наталья Александровна. Я ее видел с мужем, с капитаном Степановым. От этого видения я сильно возбуждался. Но вместе с видением в меня втекало нечто едкое. Чтобы уменьшить это нечто, я стал заставлять себя думать о службе, о, так сказать, другой стороне пропасти, до которой было всего каких-то два вечера — сегодняшний и завтрашний, если верить словам сотника Томлина об отпуске их из полка только на Пасху. И вместе со службой странным образом я стал думать о Ксеничке Ивановне. Умаляя едкое, втекающее в меня с мыслью о принадлежности Натальи Александровны капитану Степанову, я думал о службе, и эта дума приносила мне Ксеничку Ивановну. Сначала я посчитал такое сочетание странным, потом вдруг вспомнил свой страх от мысли о возможном моем увечьи, после которого я никому не стану нужным. И сочетание мне показалось логичным. Я заулыбался Ксеничке Ивановне, говоря:

— Вы-то, Ксеничка Ивановна, уж непременно будете со мной!

Я ее увидел на Сарыкамышском вокзале, мертвую от усталости, взявшую револьвер у мертвого офицера. Я стал заставлять себя видеть это еще и еще, и мне было хорошо, будто я сам оказался в том вокзале и будто для моей защиты была там Ксеничка Ивановна. Все было бы превосходно, если бы в эти сладкие минуты не была неотступно рядом Наталья Александровна, принадлежащая капитану Степанову. Что с нею делать, я не знал. Я дал второе или, может быть, уже третье

слово написать Ксеничке Ивановне, повторить свое предложение и заверить ее в моей любви — покамест существующей только в моих словах. Но ведь я был человеком долга, и потому я верил в свою любовь к ней. Я дал слово написать ей, но Наталья Александровна от того ничуть не отдалилась, а ее темная отметина и блистающий сугробик ее белья совсем затмили мне голову. Я взял да сказал слова сотника Томлина, изобразив, будто не знаю капитана Степанова.

— Верно! Выпить хочется и завидно какому-то неизвестному капитану Степанову! — сказал я.

Я думал таким образом усилить в себе то нечто едкое, что в меня капало от неотступности Натальи Александровны, усилить и усилением ускорить его конец, как прекращают степной пожар тем, что зажигают встречный пожар. Предприятие мое не прошло. Поручик Шерман скосил на меня глаза в самом неприкрытом подозрении и характерно всхохотнул. Язвительная тирада была готова слететь с его языка. Но, видно, помня мой нрав, он ее утаил, а сказал другую, хотя и намекающую, но не столь ему опасную.

— У Чингиз-хана однажды увезли жену, принудили ее и потом оправдывались тем. что якобы не знали! — сказал он.

— Правильно! — сказал сотник Томлин. — Нет такой женщины, которая бы не уступила. А потому правильно эти оправдывались. И ее выгораживали, и себя. Истинно азиатцы!

— Массовые аналогии прослеживаются и у европейцев! — снова с намеком холерически всхохотнул поручик Шерман.

Он, кажется, стал считать себя в безопасности — ведь его намеки не были понятны сотнику Томлину, и поручик Шерман посчитал, что я не буду на них реагировать.

— Один наш университетский преподаватель, — продолжил поручик Шерман, — соблазнил жену своего брата. А тот, не зная этого, соблазнил его жену. Наконец первый решился открыть дело и пришел каяться. А брат ему: да полноте, я прощаю тебя, прости и ты меня! — и стали жить обменявшись женами!

— Вы к чему это, поручик? — спросил я.

— О падении нравов, капитан! — ответил поручик Шерман.

Я недобро смолк. Поручик Шерман почувствовал и проворно отступил на шаг:

— На ваш вызов, капитан, я никоим образом не отвечу! Во мне семь пудов или по-европейски сто десять килограммов веса, и при любом оружии я представляю более выгодную мишень, нежели вы, капитан!

— А я этакого не вызову! — уже не сдерживаясь, сказал я.

— Так извольте принять мой вызов! — вспыхнул во все свои семь пудов поручик Шерман.

Я понимал, что своей глупой фразой о зависти “какому-то неизвестному капитану Степанову”, я сам себя толкнул на намеки и насмешки. Но и это

понимание уже не смогло меня остановить, как не остановил сотник Томлин. Он решительно встал между нами.

— А вот я вас обоих сейчас повдоль спин отвожу плетью, как мужиков, гаспада ахвицера, а мне за это государь-император свое монаршее благоволение выкажет! — сказал он.

Я уже ничего не слышал. Я уперся взглядом в поручика Шермана и, стараясь найти его больное место, сказал, что вызова его не приму, потому что университетские белые ручки более привыкли перелистывать книжные странички, а не возиться с оружием, по причине чего семь означенных пудов веса могут служить только прикрытием неких, не совсем присущих мужчинам, свойств характера. Конечно, я не имел права так говорить. Поручик Шерман совсем не был плохим человеком и офицером. Он был только просмешником и при своем холерическом характере был просмешником шумным. Военной службой, как я уже отмечал, он несколько тяготился, в свое время поддавшись патриотическому влиянию и поспешив сменить университетскую кафедру на стол военного штабного работника. Он не был ни трусом, ни белоручкой. А в боевую часть он не стремился лишь по причине врожденного сибаритства или врожденной лени, уже с военных учений догадавшись, что боевая часть — это круглосуточный труд, такой труд, что даже отдых там тоже является трудом, потому что в боевой части напряжение никогда не проходит. Это я уже успел освоить. Вот к такому он не был готов. Но и не просмешничать он не мог, неглупым своим умом постигнув то, что его семь пудов и его холерическая энергия служат ему хорошей защитой от ответов. Эту-то его черту — иметь преимущество и только оттого позволять себе нападать — я не мог вынести. И хотя в прежнем нашем знакомстве он был ко мне расположен и даже предупредителен, я сейчас позволил себе не сдержаться.

Вот так у нас вышло, и поручик Шерман полез за револьвером. А моя шашка непостижимым образом хватила его по голове. Разрубленная фуражка упала. Поручик Шерман покачнулся и стал заваливаться на спину.

— Ну, господа! — выдохнул сотник Томлин и поймал под мышки поручика Шермана.

Семи его пудов он сдержать не мог и лишь дал Шерману не упасть с размаху. Я остолбенел.

— Посвети! — скомандовал мне сотник Томлин, но спохватился, что свет нам сейчас станет опасен. — Нет, постой! Помоги отнести в сторону! — и прибавил: — Да убери же шашку! И вытри!

Я спросил, для какой нужды мне вытирать шашку. Я не собирался отказываться от содеянного и полагал, что кровь на моей шашке будет верным доказательством моей вины.

— Зачем? — спросил я.

— Вытри вот платком! — дал свой платок сотник Томлин.

Я механически исполнил его приказ и спросил, куда деть платок. Он, уже вновь отвернувшийся к поручику Шерману, не глядя, сунул платок в карман.

— Помоги! — снова скомандовал он.

— Я сам! — вдруг сказал поручик Шерман.

— Живой! — обрадовался сотник Томлин.

— Что мне сделается. Смажьте конским навозом, как мужики делают, да потуже завяжите. Для университета как раз сгодится! — сказал поручик Шерман.

— Плетью бы вас обоих! — заругался сотник Томлин.

— Лучше йодом. Кажется, только кожа рассечена! — отозвался поручик Шерман.

— Не вставай. Запачкаешь мундир. Сейчас мы тебя перевяжем! — сказал сотник Томлин.

— Я сам! — поручик Шерман приложил к ране свой платок и попросил фуражку.

Рассеченная, она никуда не годилась. Сотник Томлин нахлобучил ему свою папаху, сказал:

— Ну дела — вас Марфа родила!

— Марфутка! — механически поправил я.

— Ну, Борис Лексеищ! — как в прежний раз, по-мужичьи вздохнул сотник Томлин. — Уж Саша какой варнак был, а ты — русских словесей не отыскать!

— Шляхетьска крев! — сказал поручик Шерман.

Оглядывая свою разрубленную фуражку, он пришел в себя. Я это увидел. Слова его мне не понравились. Еще больше не понравились слова последующие. Всхохотнув, он сказал цитату из “Слова о полку Игореве” про шеломы и обратился к своей фуражке с декламацией: — Ты спас меня, шелом мой верный!

Вот эти слова мне совсем не понравились. Он, конечно, не увидел, но я увидел все так, будто я не умею рубить — уж коли матерчатая фуражка послужила спасением от превосходной шашки, то столь, видно, хорош рубака, столь хорош, что все выходило прямо по передразнивающим словам Раджаба: “Не обучены-с!”. Я вновь обозлился. И ни матушки с батюшкой с неба, ни княгини Анеты, поселившей в меня три дня назад что-то трепетное и чистое, — никого их сейчас не было, а была только моя злость. Я учился всему самым прилежным образом, вместе с артиллерией осваивая и рубку с фехтованием, и рукопашный бой, и конские скачки, и прочие физические навыки. И если бы я ударил действительно, то уж поручик Шерман не сочинял бы теперь панегирическую, то есть хвалебную, оду своей фуражке. Вот так мне его слова не понравились, и я спросил себя, отчего же я не ударил действительно, с навыком? Я искренно был рад и благодарил судьбу, и вместе благодарил Господа и его Матерь, мою покровительницу, но я был недоволен. Собой, как воином, я был не доволен. Очень глубоко в себе я спрашивал, а почему этак вышло, что я ударил без навыка? А вдруг такое произойдет в бою? Что уж заставляло меня спрашивать — страх или психология воина, я не знаю. Но я был недоволен и я спрашивал.

Поручик Шерман первым протянул мне руку. Я ее принял. И я себе понравился. Было стыдно от этого чувства, однако, заглушая стыд, я собой любовался, я себе говорил, что у меня нет права спустить никому из посягающих на мое Отечество и на мою честь.

Стычка всех нас взбодрила. В номере мы осмотрели рану, признали ее пустяковой, отерли кровь, присыпали порохом из винтовочного патрона.

— Надо бы по нормам местного обычного права измерить рану зернами и за каждое зерно взять с тебя, Борис, по барану или корове. А за отсутствием у тебя таковых, я согласен взять с тебя бутылками божоле! — гордясь раной, сказал поручик Шерман.

— Можно и шустовским! — подсказал сотник Томлин.

Они, разумеется, шутили. Но я пошел в буфет, а оттуда вдруг пошел на улицу, сел на скамейку, представил Ксеничку Ивановну и Наталью Александровну — впервые представил в такой последовательности. Ксеничку Ивановну я представил работающей в ее фельдшерской комнате и одновременно работающей в Сарыкамышском вокзале, ожидающей всякую минуту турецкого прорыва. Наталью Александровну я представил во множестве разных ситуаций, как действительно имевших место, так и воображаемых. Я стал думать, отчего же жизнь моя складывается вокруг нее — и Саша был дружен с ее мужем, и теперь сотник Томлин стал другом ее мужу, и превосходный человек полковник Алимпиев, решительным образом сыгравший в моей жизни, является ее дядюшкой. Я стал думать, не слишком ли много узлов начинает меня с ней связывать? Утреннее наше свидание на даче я вновь увидел оскорбительным, сильно взволновался, а потом объявил это свидание совершенно необходимым, поставившим в наших отношениях точку. Я решил, не откладывая, по утру, забыв о Пасхе, просить полковника Алимпиева вновь связаться с командующим армией и получить место в действующую часть как можно дальше отсюда.

— Да вот хоть в Крым, на какой-нибудь миноносец! — совершенно беспечно постановил я.

Следом же я решил уехать в штаб армии, в Карс. И по пути я решил непременно заехать в свой госпиталь, где непременно убедить Ксеничку Ивановну стать моей женой.

— Не любит! Хм, не любит! — зафыркал я. — Не любит, а я потребую! Ведь хоть какое-то чувство у нее ко мне есть! И за время моего отсутствия, за два дня и за две ночи, уже прошедших, и за завтрашний день и завтрашнюю ночь, вот за эти три дня и три ночи чувство ее выкристаллизуется, обернется мне положительным. Хм, не любит! Да вот вы только-то загрустите от моего отсутствия, Ксеничка Ивановна, а я уже заявлюсь! — я вспомнил, сколько боли ей доставила моя выходка с ухаживанием за Анечкой Кириковной, когда она мне явилась в дверях, вся опутанная в солнечный свет. — Вот теперь не стало того. кто бы причинил вам эту боль вновь, вы теперь загрустите, Ксеничка Ивановна, а я заявлюсь! Ах как взлучатся ваши чудесные глазки! — мне стало сладко от воображения и я в дрожи сказал: — До чего же чудесны вы, Ксеничка Ивановна!

В буфете я заказал несколько шустовских коньяков, лимоны и пирожные. В вестибюле мне встретились остальные мои постояльцы.

— Ну вот, помолились по-человечески! — сказали они.

Увидев поручика Шермана, они вскинулись, словно гуси.

— Что? Что? — в тревоге и сильном любопытстве пристали они к поручику Шерману.

— Четнический ятаган! Нападение в канун Пасхи на российского офицера! — с напускной и энергичной мрачностью стал говорить поручик Шерман, и, кажется, он был чрезвычайно доволен случившимся.

Принесли из буфета коньяки, лимоны, пирожные, прибрали и накрыли новый стол. И после нескольких, так сказать, приложений к сосудам, служивый люд вновь раскраснелся, разделился на отдельные пары или тройки и, не слушая друг друга, взялся изливаться и выговариваться. Как-то так пришлось, что я и сотник Томлин остались попечителями стола. Одних мы успокаивали, других ободряли, третьих понуждали чаще закусывать, четвертых просили не сорить вокруг себя пеплом. Меж собой мы не разговаривали. Мы молча и слаженно делали свое попечительское дело. Я стал вдруг себя чувствовать в своей батарее. Привычное это чувство меня преобразило — я ведь не всегда был монстром, о каковом еще Раджаб сказал фразой: “Тебя за твое поведение давно должно было убить!” Монстром я оказывался только в бездельные и праздные часы. А в службе я становился терпеливым, деятельным и неустанным, находящим истинное удовольствие от заботы о подчиненных и от точного исполнения задач. Сейчас с сотником Томлиным мы попечительствовали над столом, и мне было хорошо. Мы сидели порознь. Он слушал одних. Я слушал других. Но чуть что следовало поправить, мы, не сговариваясь, оказывались рядом. Мы вместе делали нужное дело, поправляли и вновь расходились по местам. И мне было хорошо. Я чувствовал себя в своей батарее и ловил себя на том, что жду рядом увидеть Ксеничку Ивановну. Я ее жду, а Наталья Александровна никак ее заслонить не может. Она манит слепящей белизной своего белья, своей темной отметиной озера Кусиян, но она находится далеко. А близко я жду Ксеничку Ивановну. Ее коралловые пальчики, ее чудесные бровки, ее четыре конопушки и лучащиеся серые глаза я жду рядом. И голос ее, и запах ее, скорее не запах, а тепло ее я жду рядом. Вот так мне стало хорошо.

— Послезавтра, послезавтра! — говорил я Ксеничке Ивановне. — А если вы не захотите добровольно, если будете упрямиться, я вас увезу да и дело с концом!

Я это говорил, но верил в другое. Я верил, что послезавтра утром я прибегу в госпиталь, возьму ее руки и просто скажу:

— Я за вами, Ксеничка Ивановна!

И я совсем не буду говорить глупое свое объяснение, мол, вот сейчас я еще вас не люблю, но я обязательно вас полюблю, и вот, мол, вы сейчас меня не любите, но вы обязательно меня полюбите. Не стану я говорить подобную глупость. Я возьму ее руки в свои и скажу просто:

— Я за вами, Ксеничка Ивановна!

У меня есть отпуск. Я повезу ее к сестре Маше. Они друг другу обязательно понравятся. Потом мы поедем на нашу бельскую дачу. Мы будем там жить, пока у меня не кончится отпуск. А потом я ее отвезу снова к сестре Маше и уеду в действующую часть. А она мне туда напишет, что ждет нашего ребенка.

— Все это будет уже послезавтра! — взлетал я от восторга и смотрел на всех с любовью.

И в этот миг я забывал, что собрался служить рядом с сотником Томлиным.

А они все кричали, они гадили на стол пеплом, неряшливо бросали закуски, лили мимо стаканов, размахивали руками. Я их всех любил. Я спрашивал себя, почему я их люблю. И я отвечал, что люблю их за то, что они из аулов, они из боевой части, они мне сродни. И еще я знал, что их люблю из-за Ксенички Ивановны.

— Как все хорошо у меня складывается! — думал я и говорил: — Послезавтра! — и смотрел, кому бы еще за столом помочь.

Мне казалось, что этак же смотрит сотник Томлин. Мы встречались взглядами. Он смотрел несколько чужевато, сдержанно, без радости. Но я знал, я уже знал, что мы дышим одинаково, в ритм, мы — только появись нужда — не сговариваясь, окажемся рядом.

Ко мне подсел поручик Шерман, обнял меня за плечи.

— Ах, Боречка, — сказал он с покровительством, но тепло. — Я вырос единственным в семье. У меня нет ни брата ни сестры. Давай станем братьями!

— Прости меня, Володя! — показал я на рану.

— А стоило! — жарко сказал он. — Какого черта я сижу в этой крепости! Этак я до конца войны буду сидеть. Турок после зимних боев сюда уже не придет!

— Да сиди! — в искреннем великодушии сказал я.

Каким-то часом назад я увидел себе обиду в его словах о своей фуражке. Теперь же я жалел его и думал: ну плохо ли, если человек любит тепло и уют? И пусть себе любит, пусть себе сидит в крепости.

— Ничего хорошего в действующих частях нет, Володя! — сказал я. — Там только холод, вонь и грязь!

— Боречка, возьми меня к себе! Ты прими батарею подполковника Саенко и возьми меня к себе! — сказал поручик Шерман.— Подполковника Саенко два дня назад убили. Вот проси у Михаила Васильевича его батарею! Он тебе даст!

— Потом, потом, Володя! — не желая объяснять своих планов, сказал я.

— Возьмешь с собой? — спросил поручик Шерман.

— Потом! — взмолился я.

Он снова обнял меня.

— Послезавтра! Послезавтра! — сказал я и встал выйти на улицу.

Сотник Томлин быстро взором обвел компанию. Он, наверно. подумал, что я встал, чтобы исправить непорядок. А я вышел на улицу, сел на скамейку. Во дворе при коновязи вдруг всхрапнули и забеспокоились кони. Я обернулся туда. Ворота были закрыты. Я продолжал смотреть. На мостовую, в трапецию падающего из окна света, вышла большая крыса. Она дерзко посмотрела на меня и шагу не прибавила. Я в омерзении посмотрел себе под ноги, нет ли там другой. Другая тенью скользнула в стороне. Из гостиницы с громким разговором вышли несколько человек. Крыса остановилась. Мне захотелось чем-нибудь в нее кинуть. Я стал искать камень и не заметил, как подошел сотник Томлин.

— Посмотрите! — показал я на крысу.

— А бельмес с ней! К нам на этаж не заберутся. А в остальном — нам какое дело. Скучно здесь, Борис Алексеевич! Скорее бы уж на линию!

— Это куда? — спросил я.

— Ну, в аулы, как здесь говорят. Не поверите ли, а лучше погранслужбы ничего нет. Один, ну, пара казаков на сто верст. Хочешь — туда поезжай. Хочешь — не поезжай. Главное, чтобы порядок был, чтобы империи урону не было. А когда с местными вась-вась живешь — оно легко порядок навести. Ты к ним с добром, и они к тебе с добром. Ты скот не дал угнать, обычай их уважил — они к тебе со всей душой. А для порядка — это прежде всего.

— Это там? — спросил я про Кашгар.

— Там! — кивнул он.

— А здесь? — спросил я.

— Здесь не так! — чуть помедлив, сказал он.

— Здесь как? — спросил я.

— А здесь всякий князя из себя изображает и волком на тебя смотрит. И обязательно в спину стреляет. Днем хлеб-соль с тобой ест, ночью нож в горло тебе втыкает! — сказал он.

— Не надо подставлять! — сказал я, вдруг вспомнив, что, по чьему-то рассказу, в Горийском уезде есть деревня с названием “Подставившая горло”.

— Неохота, да подставишь! — сказал сотник Томлин и перешел на полусотню. — А ребят я всех застал в линеечку. Как вы там на Марфутке залегли, так я и нашел. Мороз-то несколько дней стоял. Все вокруг сверкает. И они в инее лежат, тоже сверкают. И перед ними сажен этак в ста — снег нетронутый. А по этому снегу один след, — Томлин как-то очень пьяно и ласково показал перед собой, — светленький такой след, свеженький, пушиночки по краям еще не обдулись, блесточки, как на расколотом сахаре, еще вострые. Я Ивана на секрет поставил, а с Петром — по следу. Если не наш, думаю, то хоть дознаемся сколько-нибудь, что тут случилось. А то стрельбу слышали, орудия слушали, а пошли, глядим, их-то лежит, турченят-то лежит черно! И лисы шныряют. И ты, Борис Алексеевич, среди них. То ли тебя взяли. То ли что-то другое. Если по следу судить — сам пошел. Если не твой след — ничего не понять.

— Пойдем выпьем, Григорий Севостьянович! — не выдержал я.

— Да вот оно, выпить! — вынул из черного своего галифе бутылку, стаканы и кусочки лимона в промокшей салфетке сотник Томлин.

— А Саша, — наливая, стал говорить сотник Томлин, — Саша лежал на заставе. Она гранатами разбита. Лошак убитый. Но я так понял, Саша погиб не от гранаты. Лежал он в своей палатке с простреленной головой. А когда мы на их след вышли, хоть он и заметенный был, но мы поняли, что это был их след, это они ходили нас выручать, но не дошли. Вот по их следу мы поняли, что в перестрелке кого-то зацепило. Пришли — а Саша лежит. Вот, теперь никого у меня не осталось. Как сук отсохший на рослой сосне торчу. И никому не мешаю, и не живу.

Мы снова выпили. Может быть, он ждал, что я расскажу о случившемся. Но ничего рассказывать я не мог. Я только спросил, что же он не написал мне второго письма. Он после молчания сказал:

— А что в этих аулах напишешь!

— Отчего же вы задержались? — спросил я.

Он опять ответил после молчания.

— На границе, Борис Алексеевич, никакой службы не будет, если с той стороной не найдешь отношений. Со своими на своей стороне сойдешься — они тебя сведут с той стороной. И что на той стороне затевается — ты уже знаешь. Вот тогда и будет служба. Мы на Олту тоже нашли своих на той стороне. Народ живет там армянский. А ему турченята — ну серпом вот по этому месту.

— Как едрическая сила! — вспомнил я вечную присказку Самойлы Василича.

— Почти что так, — кивнул он. — С превеликим удовольствием нам эти армяне способствовали. По-русски они — ни слова. Мы по-армянски — ни слова. Но турецкий язык с кыргызским схожими оказались. Вот на этаком мы толковать и пристроились. Армяне нас провели втихомолку по ущельям верст за сорок. А там мы нос к носу уткнулись в их колонну. Мы выходим из-за поворота — и они, и расстояния меж нами — палкой докинешь, то есть уже не скроешься. Погонишки там, кокарды, шашки, винтовки мы сняли заранее, в обмотанном виде везли на ишаке, будто мы местные. А что же местные — рожи-то наши не спрячешь, рожи-то наши при всей нашей азиатскости — все равно русские! Наш кон, что они нас не ждали. Нас четверо и местный армянин с нами. Их же — ротная колонна. И без дозора. Армяшка — молодец. Он сразу — к ним и билям-гулям всякий завел. А мы с Иваном будто невзначай к ишаку рядом встали, а Петро с Гришей Спицыным у нас за спинами — оружие наизготовку. Видим, они армяшке не верят. Мы пару раз залпом как ахнули — и бежать. Они — тоже. А Гриша Спицын, варначья голова, успел документы у одного из кармана прихватить. Через речку перескакивать — он в поспешке оступился, по шапку в воде оказался. А те уже у нас на закорках. Так весь день до темноты уходили, и Гриша весь день в мокром был. Шубейку, конечно, мы по очереди ему меняли, чтобы он хоть в сухой шубейке был. А сапоги и прочее — все равно мокрые. Ночью он у нас упал. Тут уж сам знаешь, Борис Алексеевич, далеко не уйдешь. И в деревню тоже не зайдешь — по всем деревням ихних

наплывает, турок то есть. Утром поглядели мы сверху на одну деревню — а их там черно, как вшей, маленькие такие, черненькие. Забрались мы на ночь в урман, завели огонь — давай нашего Гришу сушить и оттирать. Он уже горячий. Снег прикладываешь — так снег будто шипит. Ночь и день в урмане просидели. Умер наш Гриша. Решили — выйдем на дорогу. По дороге легче нести. Надеялись, что ночью никого на дороге не встретим. Уже к своим подходить стали, вон уже седловина видна стала. Место открытое. Деревня рядом. “Обойдем кустами?” — друг друга спрашиваем. А никаких сил нет обходить. — “А, — сказали, — казачье дело — когда кон, а когда Иерихон. Может, сегодня будет кон!” — и пошли. Они нас накрыли из винтовок. Без спроса. Мы не стерпели да пару раз тоже ответили.

— Мы слышали! — сказал я.

— Зря Саша кинулся нас искать. Не помог бы. А себя подставил. Место открытое, склон и овраг с речкой. Мы сразу опять в урман вернулись. Я думал, что они следом кинутся. Но и то еще думал, уж коли они сплошь ущелье заняли, то и на Марфутку уже вышли. То есть, думал, Саша заставу уже увел. А вышло, что вы Марфутку успели перехватить.

Я не стал объяснять сотнику Томлину, как все было на самом деле. Я только сказал, покрываясь марфуткинским инеем:

— И вас мы не выручили, и полусотню я положил!

Сказал и вдруг понял, что мне никуда от этого человека не уйти.

— Да, тоскливо сейчас в Бутаковке! — поглядел сотник Томлин куда-то повдоль улицы, будто в той стороне была его Бутаковка.

Я вновь подумал, что ни у Саши, ни у меня не было своего дома, и в случае чего, мне некуда будет возвращаться.

Тем временем обе крысы гуськом прошествовали обратно во двор, и снова там встревожились кони. Мы встали.

Ночью я написал письмо Ксеничке Ивановне. Я писал и удивлялся тому, как далеко от меня оказывалась Наталья Александровна. Возбуждало меня лишь то, что завтра мне предстояло встретиться с ее мужем. Если бы не это обстоятельство, я вполне мог бы считать себя спокойным.

17

В понедельник поутру я имел неприятный разговор с полковником Алимпиевым, воспринявшим мою просьбу о переводе меня в отряд полковника Генина исключительно в связи с Натальей Александровной.

— Вы заставляете изменить о вас мнение! — жестко сказал он.

— Смею вас уверить, ваше высокоблагородие, в отсутствии каких-либо сторонних, внеслужебных, причин в моем выборе! — дерзко сказал я приготовленной фразой.

— Извольте не перечить! — повысил голос полковник Алимпиев.

Окрик был ему столь несвойственным, что исказил его лицо, и это на меня подействовало угнетающим образом. Четыре месяца назад в Олтинском отряде полковник Фадеев тоже разговаривал со мной в повышенном тоне.

— Служить надобно, паренек, а не заниматься опозореньем мундира! — распекал меня полковник Фадеев, стараясь напустить вид, будто распекает другого.

Впрочем, тогда для меня осталось загадкой, обо мне или нет говорил он.

Теперь же было явственно, что полковник Алимпиев видит во мне капризного и лживого человека, отступающего из-за страсти к женщине от своего слова, более того, он видит во мне человека интригующего — коли нельзя быть в самом Батуме, так я буду подле него! Со стороны, возможно, так и было. Со стороны любой мог представить себе картину, в которой я один раз отказываюсь исполнять задачу командования и иду под суд, а другой раз вопреки слову чести рвусь к исполнению этой задачи. При такой картине станет у всякого заподозрить меня в вышеозначенных пороках.

Но весь день Светлого Воскресения я провел в размышлении. Слова сотника Томлина, вот эти слова: “Вам, Борис Алексеевич, старому погранцу-бутаковцу, место у себя мы всегда исхлопочем!” — и чувство своего одиночества, чувство своей бездомности. какое пришло мне в разговоре с сотником Томлиным на скамейке, — эти два обстоятельства сильно задели меня. По спокойном размышлении они мое первое мимолетное желание укрепили и дали вызреть решению, которое я и понес полковнику Алимпиеву, совсем не увидев в нем ни отступления от своего слова, ни интриги.

Во вчерашний день я, как и все остальные, проснулся от стука в дверь. Стучал денщик капитана Степанова, приглашающего нас на завтрак. Разумеется, все откликнулись и, дружно приложившись к остаткам вчерашней, или, сказать, ночной трапезы, отправились к нему. И, разумеется, я приглашение проигнорировал. Скрывая это, я рискнул изобразить собой барышню, гражданскую шляпу, для которых ночное бдение стало губительным.

— Да что вы, капитан! У душки Степаши все в лучшем виде поправим! — пристали ко мне мои гости.

— Боречка, да ведь ты всегда был впереди всякого! Ты всегда умел пить! Что же


сегодня? — опустив истинную и известную ему причину моего поведения, пристал более всех поручик Шерман.

— Оставьте, поручик! — входя в роль, в изнеможении сказал я.

— Молодец! Никто ни о чем не догадывается! — шепнул поручик Шерман.

— Да и я не пойду! — улегся вдруг на диван сотник Томлин.

— Ну, воистину Христос воскрес! Что же это творится в войсках доблестной Его Императорского Величества Кавказской армии! — закатил глаза поручик Шерман.

Однако мы выдержали осаду. Все ушли, а мы остались молча лежать. Сотник Томлин, кажется, дремал. Да и было с чего. Ночью он баскачил долее всех. Все упали, кому где Господь привел. А он при убранном свете ходил по номеру, сокрушался слабостью товарищей, по его мнению, упавших раньше срока, рассуждал сам с собой. В тревоге за него я тоже не ложился. А потом все-таки разулся, снял френч и лег на половину моей кровати, вторую отдавая ему. Вообще, сколько я ни просил до того, постель мою все отказались занять, говоря, что и так-то сверх меры воспользовались моим гостеприимством. Я лежал, но уснуть не мог и изредка просил сотника Томлина устроиться рядом. А он или сидел около стола, или подходил к окну, или выходил в прихожую и там ворчал над разбросанной амуницией, или шел ко мне и останавливался.

— Что? — спрашивал я.

— Спят! — в каком-то недовольстве говорил он.

— Так и вы спите, Григорий Севостьянович! — уже без надежды предлагал я.

— Спать — не мудре! — отвечал он и отходил к столу шарить в поисках стакана и водки.

Один раз он вдруг запел. Голос его оказался на редкость красивым. Но он не стал им пьяно играть. Я вспомнил казака Климентия с его могучим ревом и, дождавшись конца песни, спросил, не пел ли Томлин с ним.

— С кем? С этим? — в пренебрежении спросил Томлин и вдруг зло прибавил: — Терпеть не могу!

Я от удивления поднял с подушки голову — он ли, сотник ли Томлин это говорит. Он же, еще раз хватив водки, зло повторил:

— Терпеть не могу! — и скрипнул зубами. — Аул, аул! А что аул! Скотину выгнать, а остальных гранатами! Лично! Гранатами — и нет аула! А то: аул, аул! В спину стрелять — аул. В глаза днем смотреть и пресмыкаться: гаспадин, гаспадин! — а ночью глотки резать — это аул. Ну, так я его гранатами — вот и аул!

Этак вышло ночью, а утром он не пошел со всеми к капитану Степанову, улегся подремать. Но, к слову, улегся не надолго. Вскоре он встал. Мы сходили в храм, отобедали, погуляли по набережной.

— Нет, на линию! — сказал он в непроходимой скуке.

Я же не в силах не думать о Наталье Александровне, пытался представить, как там у капитана Степанова и у нее все происходит — ночевала ли она на даче и приехала только что, или поехала с дачи вслед за мной, или капитан Степанов сам поспешил вчера на дачу. “Как просто с моим Степашей! Он бы сейчас на коленях тащился за мной!” — вспомнил я слова Натальи Александровны.

Я был не в силах не думать о ней. Но в это же время никакого чувства ревности, никакого иного чувства, кроме чувства законченности наших отношений, у меня не было. Мне было печально и пусто от враз происшедшего. Мне было жалко себя, себя не сегодняшнего, а того, мучающегося и жившего ею четыре месяца. И мне было неловко от мысли о капитане Степанове, вдруг из области воображения перешедшего в реальность и, возможно, уже сегодня долженствующего стать моим знакомым. Мне было вот так и мне было спокойно. И я думал, что вот так спокойно мне будет через девяносто лет, в ненужном мне одна тысяча девятьсот, то есть не в одна тысяча девятьсот, а уже в две тысячи пятом году. “Вот будет спокойно-то! Уж коли сейчас я один, а тогда одиночее меня и во всем мире никого не будет!” — думал я.

И само летоисчисление, перешедшее с одной тысячи на вторую, вызывало сильное угнетение, было злым, и я более и более думал о службе с сотником Томлиным.

Я, конечно, помнил о своем обещании полковнику Алимпиеву. Вернее сказать, я его не забывал. А еще вернее, — я его не мог забыть. Это было бы обыкновенным нонсенсом. И, разумеется, я был готов его исполнить. Но теперь, при встрече с сотником Томлиным, самым близким человеком Саши, последним оставшимся от всех бутаковцев, я, как мне стало казаться, имел право на поправку своему слову. Мне стало казаться, что я имею право на поправку вообще во всем, что до сего собой я представлял. Я рассуждал так. Данное слово я исполню без всяких поправок — то есть завтрашним днем отбуду из города. Но с привнесенным от встречи с сотником Томлиным обстоятельством я, как мне стало казаться, имел право на выбор места моего отбытия из города вопреки предварительному моему намерению отбыть в распоряжение командующего армией. Я стал иметь право просить полковника Алимпиева перевести меня в отряд полковника Генина, хотя эта просьба без объяснений моего душевного состояния именно-то и выходила моим капризом. Проще было бы добиться своего через командующего армией, но это было бы уже интригой, которую я по отношению к полковнику Алимпиеву допустить не мог.

Я придумал себе весь наш с полковником Алимпиевым разговор, вполне обоснованный и убедительный. А вот лишь встал перед ним — и нашел сказать всего лишь одну фразу об отсутствии в моей просьбе о переводе меня в отряд полковника Генина чего-либо стороннего, внеслужебного. Я встал перед ним и во всем моем придуманном разговоре увидел опять интригу, и от того именно интригу, что весь разговор я придумал заранее, то есть приготовился, тогда как полковник Алимпиев должен был принимать решение на ходу. Это ведь было не боем, когда свою волю противнику навязывать просто необходимо. Это было разговором с близким человеком, когда необходимо иное. Потому я почел невозможным что-либо объяснить ему, как когда-то было в разговоре с отцом.

— Извольте не перечить! — повысил голос полковник Алимпиев и несколько спустя, помолчав и взяв себя в руки, сказал: — Я могу допустить подвижку в вашем душевном состоянии. Я могу учесть нужды службы, которые не позволяют мне пренебрегать столь блистательным офицером. Но поверьте моему опыту, доверьтесь мне. Ваше поведение невыгодно прежде всего вам. Оно вас разлагает.

Я был с ним согласен, и сам нашел это четыре месяца назад, когда случайная пуля повергла меня в неописуемый ужас, — и как раз от того, что я влюбился в Наталью Александровну.

— Не на пользу будет вам и эта испрашиваемая вами служба! — сказал далее полковник Алимпиев. — Идет великая война. Отечество нуждается в великих людях. Вам надо расти на дивизион, на бригаду, на дивизию.

И расти не для себя, а для Отечества. Вы же вместо этого ищете себе службы такой, где менее всего принесете пользы. В час роковой постыдно, Борис Алексеевич, жить личными интересами!

Такие его слова вновь, как и четыре месяца назад, возбудили во мне неприязнь. Я вопреки своему желанию вновь увидел в нем ментора, начетчика, но в этот раз я увидел это с душевной неуютностью — столь близким он мне стал. После таких слов у меня совсем не вышло повернуть разговор в простое и внятное русло, совсем не вышло сказать, что я прошу о службе в отряде полковника Генина не из-за желания быть поближе к Наталье Александровне, а из-за встречи с сотником Томлиным, из-за моей одинокости, пришедшей ко мне, как и к моему Кутыреву, после Сарыкамышских боев. Мне стыдно было в этом признаться. Вероятно, это было душевной болезнью. Вероятно, вместе с физическим лечением следовало подвергать вышедших из боев людей лечению психическому, душевному. Я это сейчас открыл. Но сказать об этом не мог и стоял истуканом, едва сумевшим сказать несколько слов.

— А ваше здоровье?! — после молчания снова сказал полковник Алимпиев. — Оно не перенесет здешнего климата. И если вы стремитесь служить и приносить пользу, то найдите иное место службы. Я могу рекомендовать вас своему сослуживцу в Одесский округ, в Крым, что сами выберете. Там, по секрету, формируются войска для очень крупного дела, призванного решить исход войны. А сослуживец мой, между прочим, сам артиллерист. Он сможет вас оценить.

— Да что же! Вы прекрасный человек, Михаил Васильевич! — едва не вскричал я подобно Ксеничке Ивановне.

Однако не вскричал. И не мог вскричать. Я стоял с перехваченной грудью, стоял и лишь отвечал казенной фразой, придуманной заранее.

— Ступайте, я распоряжусь! — наконец сердито сказал полковник Алимпиев и не сдержался прибавить: — Мальчишество какое-то. Что успели напеть вам эти ваши новые товарищи?

Я и тут не смог ничего ответить. Я видел, сколь нелестно смотрюсь в его глазах, но не защищал себя никаким объяснением.

Я вышел на солнечное крыльцо, снял фуражку, подставил лицо небу и

зажмурился.

— Батюшка и матушка, Саша, Раджаб, подпоручик Кутырев! — сказал я мысленно, прибавляя единым бессловесным образом всех бутаковцев.

А уж служба захватила меня. Через Пашу, то есть через поручика Балабанова, я заполучил оперативные сводки последних месяцев, взял карту и по их въедливом изучении смог вынести себе картину и характер предстоящего.

Выходило, в январских боях мы наступали так же стремительно, как перед тем отступали. И в наших тылах осталась масса разрозненных турецких частей, соединившихся с настроенным против нас магометанским населением. Весь Чорохский край и Шавшетия, и Олтинский край возбудились против нас обещанием турецкого командования отдать им на разграбление Батум, Карс, Тифлис и прочие наши города. Дополнительно к этому турецкое командование внедрило в наш тыл огромную массу обученных террористической деятельности агентов, названных четниками. В документах я нашел вообще невероятное: среди этих четников была масса отпущенных для этой деятельности каторжников и висельников, которым терять было нечего. А обрести они смогли, оказалось, не только жизнь, волю и возможность свершать свои гнусности, но еще и способ обогащения. За каждого убитого нашего солдата они от турецкого командования, предъявив в доказательство уши, скальп или пальцы убитого, получали вознаграждение.

Против этого сброда, именуемого мной таковым только по его гнусным деяниям, но никак не по его выучке и организованности, которые из сводок я нашел похвальными, — против этого сброда наше командование было вынуждено уже в январе выделить специальные подразделения, оформившиеся скоро в отдельный отряд генерала Генина в Чорохском крае и в отдельный отряд полковника Генина в крае Олтинском. Исполняя задачу, генерал Генин пошел вверх по Чороху, а полковник Генин пошел вниз по Олту, то есть они пошли навстречу друг другу. Таким-то вот образом отряды вошли в соприкосновение, чего не было осенью, и та территория, которая осенью не была занята нами по причине признания ее непроходимой, но была занята турками, теперь, весной, оказалась в сфере нашего контроля. Таким-то вот образом сотник Томлин, хорунжий Василий из третьего горско-моздокского казачьего полка отряда полковника Генина оказались на Пасху в Батуме, куда я фатально день в день примчался из горийского госпиталя и невольно захотел здесь остаться.

Все это я себе уяснил. Время шло, а распоряжения от полковника Алимпиева не было. Я сходил к Паше, то есть к поручику Балабанову. Он, занятый, отмахнулся: мол, ждите, капитан!

Я пошел в собрание и занялся газетами. Я их взял кипу, пролистал, начиная от свежих, пасхальных, вышедших с групповым портретом императрицы и дочерей в форме сестер милосердия. Газеты были забиты беллетристическими описаниями сражений. Я выхватил первые строчки этих сочинений и, морщась от их сусальности и лжи, перешел к столбцам с телеграммами, которые оказались скупы, в одно-два предложения: “На Приморском направлении, — то есть у нас, — небольшие перестрелки. В Артвинском бою нами отбито у турок два орудия. На

прочих направлениях без перемен. Действия французов: летчики за время ночных полетов сбросили на германские позиции двадцать четыре снаряда".

— Так, — сказал я. — Французы летают. А мы? — и стал искать сообщений о действиях наших аэропланов, увлекся и перелистал газеты вплоть до начала января, то есть, вернее, сначала сколько-то пролистав их от нынешнего дня назад, я перевернул кипу и пошел листать от начала января. Пролистав их таким образом, я забыл о причине, меня на то побудившей, забыл и увлекся составлением картины на германском и австрийском фронтах.

При всей завуалированности истинного положения любой человек, обладающий минимальными географическими знаниями, мог составить картину, близкую к подлинной. Ведь стоило только вспомнить, что осенью мы шарашились под Лодзью, не сумев замкнуть кольцо вокруг разбитого противника, а зимой мы уже оставили всю Восточную Пруссию и, понеся большие потери, отдали часть своей территории, отошли с берегов Инстера на берега Бобра, отчего наша крепость Осовец попала в осаду. Стоило только это вспоминть и стоило только к этому присовокупить то, что при этом мы едва-едва смогли ликвидировать немецкий прорыв на Варшаву — стоило только это все вспомнить, как любому стало бы ясно: дела наши на германском фронте далеки от благополучных. Тот же прорыв на Варшаву немцы предприняли не откуда-нибудь, а с Востока, именно с востока! Именно с востока, так как немцы, оттеснив нас на Бобр, здраво рассудили выйти образовавшейся брешью на наши коммуникации. Это тоже говорило о многом, и спасло Варшаву лишь то, что нам удалось взять обратно отданный было Прасныш, в котором бои достигали силы Сарыкамыша. Варшаву мы покамест отстояли, но перспектив там я не видел. Вот какие были там дела. Как бы подтверждая мою мысль, командующий фронтом его превосходительство генерал Рузский после этих боев подал прошение об освобождении его от должности.

Равно же было на австрийском фронте. В непрекращающихся зимних боях мы оставили Карпатские перевалы и отошли к рекам Прут и Днестр. Но здесь, судя по непрерывности боев и смене направлений, мы упорно искали возможность перехватить инициативу. В какой-то степени это удалось сделать — мы взяли Перемышль вместе со ста двадцатью тысячами гарнизона и тысячей орудий, чем обрели реальный шанс выхода в Венгрию. Однако для того нужны были свежие войска. Их же мы, вероятнее всего, в достаточном количестве не имели. И австрийцы в последние дни снова нанесли нам несколько ударов.

Все это было печальным. Я, переживая, уставился перед собой в пространство. Таким меня застал поручик Шерман.

— Ну конечно! Первый консул Французской республики Наполеон Бонапарт обдумывает план Египетской кампании! — вскричал он от дверей.

— Да вот! — скрывая свое занятие как нечто предосудительное, попытался и не смог соврать я.

— Не трудитесь, Боречка! — перебил поручик Шерман. — Если хотите знать наше настоящее положение, спросите вашего покорного слугу поручика Шермана! Стрелять нам становится нечем и не из чего. Обучать солдатиков по той же причине

мы не можем. Так что вот вам, Боречка, задачка: в Восточной Пруссии наши две доблестные армии, Александра Васильевича Самсонова и Павла Карловича Ренненкампфа, нанесли совокупные потери противнику в четыре с лишком тысячи убитыми и этак с сорок тысяч ранеными, потеряв при этом каждый по сто тысяч. Спрашивается, на сколько нас хватит, если мы будем воевать так же, — а мы воюем из-за отсутствия боезапаса уже хуже, — но все-таки, на сколько нас хватит, если наше население всего в три раза больше населения Германии?

— Откуда у вас эти цифры, поручик? — едва нашел я что спросить.

— Количество населения дается в статистическом справочнике. Количество потерь с занижением наших и с завышением у противника дается в сводках Генерального Штаба, к которым порой имеет доступ ваш тот же самый слуга! — шаркнул сапогом поручик Шерман.

Я посмотрел на него с неприязнью и вспомнил, как он просился под мое начало. “Вот будет там кривляться!” — подумал я.

Вместе со словом “там” всплыла Марфутка. Казак Удя вытянул шею и ловил гул далекого, но обкладывающего нас боя.

18

Я был назначен комендантом большого пограничного аула Хракере, расположенного в стыке отрядов в семидесяти верстах перед Олту.

— Знаем мы эту харакири! — мрачно сказали мои новые друзья.

— И что? — спросил я.

— Харакири и есть! — сказал сотник Томлин.

Выехали мы в путь вместе с вестовыми казаками вдевятером. Перед тем узнали, что капитан Степанов задерживается по нездоровью в Батуме. Известие меня разочаровало. Я, как ребенок, которому исключительно все сходит с рук, даже несколько накуксился и даже постарался воображением близости его с Натальей Александровной вызвать в себе ревность. Однако вызвал только усмешку — усмешку более в свой адрес, отчего и о капитане Степанове, и о Наталье Александровне вскоре просто-напросто забыл.

Выехали мы вдевятером. У хорунжего Василия оказался ручной пулемет британского производства, смотрящийся из-за несоразмерно толстого кожуха ствола неприятно. Хорунжий Василий вез его на коленях и едва дождался возможности продемонстрировать мне его работу. Найдя, как ему показалось, нужное место, он окликнул меня и прямо с седла дал две очереди по каменистому косогору. Лошадь его от непривычной стрельбы присела и шарахнулась, отчего вторая очередь пошла в сторону, и сам хорунжий Василий насилу удержался в седле.

— Ах ты, татка-матка! — в конфузе закричал он на лошадь.

По академическому курсу я был знаком с этим пулеметом, знал его свойства. Но в деле увидел впервые и сразу же отметил по первой очереди, сколько сильно он отдает и сколько трудно удерживать его в руках. Мне подумалось, что вторая очередь пошла в сторону совсем не из-за лошади, а просто не стоило спешить со второй очередью — во всяком случае, не стоило с ней спешить при стрельбе с рук.

Конфуз хорунжего Василия без насмешек не остался.

— Что же ты сошки не поставил? — спросил его пожилой и уже лысый штабс-ротмистр Вахненко, представившийся мне за вчерашним столом как самый старый штабс-ротмистр в Кавказской армии.

— Куда же я их поставлю? — спросил хорунжий Василий.

— Лошаде на ухи! — по-мужичьи отозвался сотник Томлин.

— Так ведь не обучена еще, Григорий Севостьянович! — в простодушии воскликнул хорунжий Василий.

— Не обучена! — будто в возмущении передразнил сотник Томлин, прибавив старую присказку про цыгана: — Цыган вон тоже приучал кобылу к голоду. Эх, говорит, одного дня не хватило — сдохла!

— Ничего! — не нашел чем ответить хорунжий Василий. — Вот сами потом ко

мне с поклоном прибегите, как надо будет четника выкуривать!

Вообще, сколько я мог знать, этакого образца пулеметов не принимала на вооружение и сама британская армия. При посещении Сестрорецкого оружейного завода нам, слушателям академии, были показаны попытки наших инженеров и мастеровых найти своего рода компромисс между винтовкой и пулеметом, то есть найти такое сочетание качеств обоих, чтобы новое оружие обладало, как винтовка, небольшим весом и хорошей маневренностью, но при этом бы, как пулемет, могло обеспечить наивозможно оптимальную огневую мощь. Что-то в этом роде уже получалось. Мы видели попытку этого оружия, поименованную автоматом, и слушали “отцов” этого оружия о тех недостатках, какие оно покамест имело, и тех путях их преодоления, какие “отцы” видели. Вид этого автомата был самый скромный — нечто меньшее кавалерийского карабина, и мало верилось, что он может вмещать магазин из двадцати пяти патронов, которые может выстрелить очередью с действительностью огня на восемьсот шагов.

Видели мы и образцы подобного автоматического оружия других стран, которое, по нашим данным, было столь же несовершенным и на вооружение не рекомендованным. Потому-то наличие у хорунжего Василия этого пулемета, этого толстоствологого монстра, вызвало у меня смешанное чувство любопытства и тревоги. Естественно, что любопытство было вызвано самим появлением этой новинки. Тревога же родилась от мысли о том, неужели турки получили эту новинку в войска?

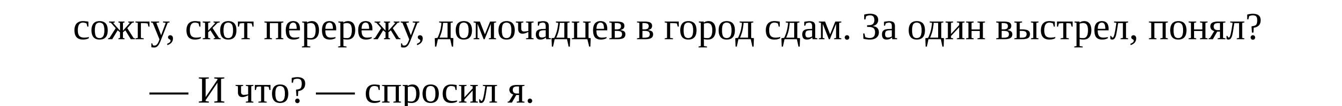
— Где же ты ее взял? — спросил я.

— У бабы в постели! — весело ответил хорунжий Василий. — У бабы в постели! Аул мы чистили, Борис Алексеевич! В одной сакле хозяин сильно подозрительно вдруг талдычит, что нельзя нам на бабью половину, мол, кровное оскорбление. Ну, а мне что с того кровного оскорбления! Он и без оскорбления ночью выстрелит, будь здоров. Будто я не знаю. Будто мы не спокон веку на Кавказе живем. Я револьвер ему в наджопицу: а ну, иди первый! — Зашипел, но пошел. Увидел, что казак перед ним — не русский солдатик, а казак. Зашли. Лежит в постели укрытая

с головой баба. Задница горой торчит — отчего и видно, что баба. Заставляю встать. Ругается, но встает. Заставляю постель разобрать. Ругаются, но разбирают. Гляжу, труба лежит. Беру — ох ты, суженка моя, — вот это — хорунжий Василий весело встряхнул пулеметом. — Спрашиваю, откуда. Отвечает, нашел. Все так отвечают. Перекопали всю саклю. Ничего другого не нашли — только эту милушку и патроны. Вот что, говорю, дед!

А я вспомнил моего урядника Расковалова, четыре месяца назад говорившего сквозь разбитые зубы хозяину сакли близ нашей заставы. “Ну, дед, — говорил урядник Расковалов. — За зубы-то кто ответит?”

— Вот что, говорю, дед! — сказал дальше хорунжий Василий. — Если скажешь по правде, живым оставлю! Нет — сам себе выбрал смерть. А он белый стал, но талдычит одно: нашел. Ладно, говорю, вот наш с тобой уговор. Один выстрел или еще какая пакость в округе версты от твоей сакли — я тебя застрелю, дом и посевы


сожгу, скот перережу, домочадцев в город сдам. За один выстрел, понял?

— И что? — спросил я.

— И то, — ухмыльнулся сотник Томлин. — Собрался хозяин и ушел. Ищи его теперь в Турции.

— Обещание сжечь исполнил? — спросил я хорунжего Василия.

— Мне зачем кровника наживать. Может, мы с ним кунаками бы стали. Увидел бы, что не сжег, пришел бы с замирением. А вот солдатики сожгли! — хорунжий Василий показал на штабс-ротмистра Вахненко. — Его кавалерия пришли и сожгли!

— Так ведь не своей волей пришли! Ведь приказ есть, Борис Алексеевич! Вы сами вот столкнетесь. Кто на ту сторону уходит — того в отместку сжигать, что называется, кошку в доме бьют, а невестке намек подают! — сказал штабс-ротмистр Вахненко.

— Ну вот и подали намек! Может быть, он кунаком бы стал. Теперь же он нам враг врагом! — загорячился хорунжий Василий.

— Да мы-то при чем! — обиделся штабс-ротмистр Вахненко.

При его словах о приказе я едва не сказал, сталкивались-де, но успел перевести разговор на пулемет, на свое наблюдение не давать двух очередей сразу.

— Верно, Борис Алексеевич! — весело согласился хорунжий Василий. — Я сам вижу. Но уж очень тянет. Ведь нажимаю и жду одного выстрела. А она, милушка, — струей! Так и тянет другой раз нажать!

Хорунжий Василий отвернулся, взвизгнул и снова дал две короткие очереди по камням. Пули рикошетом пропели в нашу сторону. Никто даже бровью не дрогнул — столь мы все были хороши настроением.

— Ну, теперь аджару даст хорунжий жару! — продекламировал штабс-ротмистр Вахненко.

— Да что аджар! — не оглядываясь ответил хорунжий Василий. — Он человек здесь сторонний. Он здесь живет, и ему деваться некуда. Кабы не четник, смирный был бы аджар! Вон Борис Алексеевич знает! — хорунжий Василий обернулся на меня. — Бежали мы на конях от Батума на Олту в начале зимы. Дорогими гостями были мы аджару. Он сам воду хлебал, а нам вино на стол ставил!

Во всю нашу дорогу четыре месяца назад на Олту гостеприимство старика Зекера Болквадзе было самым запоминающимся и самым неподдельным. В остальных местах подобного не было. Однако не было и вражды. Да что говорить, не было не только вражды, а не было даже косых взглядов. Мы беспрепятственно от одних родственников или знакомых передавались другим, то есть даже, сколько можно было догадаться по уменьшению оказываемого нам внимания, передавались уже

к родственникам и знакомым совсем уже чужих родственников и знакомых, совсем уже не знающих старика Зекера. И последний наш провожатый был какой-то седьмой водой на киселе не только старику Зекеру, а и последующим после старика

Зекера его родственникам и знакомым и, возможно был совсем уже чужим. Но все они передавали нас один другому, и каждый послушно исполнял свой долг гостеприимства, вел нас к следующему.

Я полагаю, у нас в России кто-нибудь обязательно еще на ранней стадии оборвал бы эту цепочку, нашел бы сорок причин отлынить да и просто не понять просьбы, говоря: етта пошто жа я должон с печи слазать? таперича не крепостна управа, таперича мужик — етта сурьезно! — или просто среди поля остановить лошаденку, потыкать кнутовищем в только ему видную точку на горизонте: а вона-ка, тама по праву руку загинайте, а потома-ка все леве и леве, да рямой, да мимо Кусияну!

Я так предположил и сначала не понял, отчего вдруг появился Кусиян. А потом понял, отчего. Мы напомнили собой нашу детскую стайку, в очередной раз летевшую мимо него на Белую. Мы летели, сверкая пятками мимо Кусияна, а нас от дальних черемух вдруг позвал пастух Фазлыкай. Он был взгорячен и растерян. Армяк сидел на нем колом. Скотина, сбившись грудой, мычала и блеяла, а Шарик его злобно скулил под стогом.

— Робятцы, айдате домой! Домой, робятцы! — стал гнать Фазлыкай нас с лугов. — Тут на меня сейчас хто напал!

— Лесная баба! — ахнули мы в надежде увидеть оборванные и брошенные лесной бабой мужские достоинства Фазлыкая.

— Какой баба! — обиделся Фазлыкай. — От бабы я рази на стог взлетел бы! А тут, как сорока, морг — и на стоге! Налетел — глаза во, уши во, когти во! Я его кнутом — где-кася там! Я на стог. Шарик за мной. Скотина вся на стог за мной! Он тоже на стог за нами! Шарик со стога упал! А он шары выпучил — и на меня!

Кроме лесной бабы такое мог сделать еще только Тимирбай. Мог еще, конечно, леший. Но лешего мы не боялись, зная, что при входе в лес следует против него обувь с левой ноги обуть на правую и наоборот. Обувь была только у меня. Я, выйдя со двора, тут же ее снимал и таскал с собой за поясом. При входе в лес меня заставляли обувать ее нужным против лешего образом. Иногда в издевку над ним кто-нибудь обувал ее на руки и шел несколько расстояния на карачках и обязательно вперед задницей, глумливо ею вихляя. Другое дело было с Тимирбаем. Мы его никогда не видели, но знали из рассказов, что он был громаден, космат, с огромными малоподвижными глазами. Вместо разговора он мычал и ухал, при этом с ним не мог смириться никакой бык и никакой сыч. Силой он превосходил лесную бабу. Но в отличие от нее на мужиков не нападал — так только, иногда ухнет на ребятишек для порядку — и вообще мужиков стеснялся. А вот баб — тут вот было нечто обратное лесной бабе, хотя против нее он не был столь категоричен и ничего у баб не отрывал, иногда только, по их рассказам, подглядывал за ними, особенно — купающимися, и шумно сопел. Бабы визжали и, вообще-то, его боялись, но ни разу его самого не увидев, боялись, сколько я помню, более словесно. Однажды так я вообще услышал фразу: “Да чо жа, товарки, артелью-та мы его умаям!” — фразу по тогдашней поре мне непонятную и потому воспринятую неблагожелательно.

— Ну да! — усмехнулся я. — Он вам всем наухает!

Из всего выходило, что Тимирбаю напасть на Фазлыкая смысла не было. Оставался только тот, кто жил в черной, неподвижной, словно стылой, глубине Кусияна, жил и непрерывно глядел оттуда.

— Как раз, робятцы, из осоки как выхватится! — продолжал рассказ Фазлыкай, и мы оглядывались на Кусиян, зная и без оглядки, что ближний к дороге и вообще к нашей стороне берег его от осоки, да и от всякой другой травы, был чист и что этот кусияновский житель мог выхватиться только с дальней стороны.

— Дак чо, дядя Фазлыкай, пока он бежал, ты вырубил бы чо да охрестил его! — храбрясь перед нами, дал совет самый старший из нас.

— Кнутом я его встретил, робятцы! А без толку. Летит — шары во, с каравай. Уши во, с аршин. Фыркат, как пароход! На что уж страшон турок был, а куда ему! — закатывал в страсти глаза Фазлыкай.

— Да кто же был-то? — от нетерпения закричали мы все.

— Камышовый кот, робятцы, вот хто! — наконец признался Фазлыкай, чем разочаровал нас, дураков, бесконечно.

Против того, что каждый из нас себе успел представить, камышовый кот оказался сущим пустяком, хотя, по правде, наша встреча с ним, отчего-то вдруг кинувшимся на Фазлыкая, могла кончиться трагедией. Мы подняли Фазлыкая на смех и поструначили дальше, к Белой, к одной из ее песчаных кос, с которой показывать голые зады проходящим пароходам было особенно эффектно.

Вот так появился Кусиян. И совсем не был он связан с Натальей Александровной. Я понял, сколько становлюсь здоров, и понял, что причиной тому, лекарством тому, стали служба и вот эти люди. Рядом с ними совсем не приходилось мучиться. Рядом с ними я обеспечивал себя здоровой жизнью. Я подумал, не поспешил ли я написать письмо Ксеничке Ивановне. Я посмотрел на сотника Томлина, уже много лет без жены не дующего в ус. Однако следом я пристыдил себя и как-то даже оскорбился за Ксеничку Ивановну.

— Вот за это она тебя и не любит! — сказал я себе и передернул плечами, не соглашаясь. — Нет уж. Через день-другой она получит мое новое предложение. Потом из Харакири получит новое. Потом еще и еще. И она ответит согласием.

Мимо, в зависимости от нашей рыси или от нашего галопа проплывали или промелькивали, оставаясь за спиной, виды местного пейзажа, которые я не мог не воспринимать особенностями рельефа, где мне пришлось бы давать бой. Всякую отличительную особенность местности, всякую гору, всякое расположение на ней скал и камней, всякую трещину, всякий куст, всякие заросли, изгибы дороги или бежавший нам навстречу Чорох — все-все, ничуть не теряя настроения, я определял местом, где мне пришлось бы давать бой. Я норовил исчислить возможности этого места, норовил уследить, как же в этих условиях я бы должен был распорядиться.

Такое восприятие, разумеется, было интересным, но было оно и утомительным. Еще были предместья Батума, а я уже решал эти задачи. Была первая встреча с Чорохом, клокочущим и мутным, этаким желто-мутным, одновременно похожим на реку в городишке Гори, поглотившую несчастного каменщика, и не похожим именно

желтизной, — был еще Чорох, а я уже решал свои задачи. Равно же щупал глазами я селения или старые разбитые крепости. Равно же я искал возможность отбить нападение на наши казачьи посты, встречающиеся по дороге. Уже по их спокойному и оседлому виду можно было сказать, что они сами давно уже таковых задач не решают, что у них здесь, вблизи города, вблизи крепости, уже с месяц назад установилось спокойствие. Но все равно я цепко щупал позицию. Было в этом непрофессиональное, новичковское, этакое подпоручиковское. Но, наверно, как воин, я подпоручиком и оставался — ведь, по сути, на войне я был всего шесть дней, из которых пять командовал батареей в непрерывном прикрытии нашего отхода и один день командовал полусотней.

Когда я об этом подумал, я тотчас увидел, что за пять дней командования батареей я, постоянно сбивая противника с позиций и не давая ему открыть действительного огня не только по нашим частям, но и по моей батарее, — за эти пять дней я не потерял ни одного из более чем двухсот шестидесяти чинов батареи, а за день командования полусотней я положил всех. Это дало мне понять, сколько был прав полковник Алимпиев в своем настоянии для меня службы именно артиллерийской, именно той, какую я знал, потому что ей усердно учился. Я это понял, но все равно беспечно катил в общем нашем беспечном настроении.

Сразу верст через десять пути я предложил за один переход достичь Артвина, то есть покрыть более ста двадцати верст. Спутники мои смутились, но в виду моего чина молчали. Лишь сотник Томлин посмотрел на меня внимательно, как, вероятно, смотрел на Сашу, когда тот предлагал что-нибудь излишнее. А уж после его молчаливого попрека и старик Вахненко, и хорунжий Василий стали мне внушать о том, что служба никуда не убежит и не стоит понапрасну мучить коней.

Весна правила здесь, в долине Чороха, всею полнотой власти. Как та неистовая хунзахская ханша, о которой я поминал чуть раньше, обнажившая свое лицо в решительную минуту боя и тем победившая самого Шамиля, весна не знала здесь никакого удержу. Долина таковою часто могла называться только условно, потому что вдруг да выбегал от гор кряж и прижимал дорогу к реке, и она разворачивалась лишь тогда, если он вдруг начинал уходить обратно к снеговым своим собратьям, особенно впечатляющим при взгляде на них с какой-нибудь высоты. Кряж к дороге непременно обрывался стеной, непременно обросшей цепким и непроницаемым ковром плюща или чего-то в этом роде. А те места, что оставались вдруг голыми от зелени, непременно были покрыты тонко сочащейся водой, местами собирающейся в струйки, но чаще струящейся во всю ширь камня. Вода стекала на дорогу, перебегала ее, порой делая непролазной, и неслышно сочилась к реке. Около такой стены было прохладно. По спине бежали мелкие иголки, и плечи сами собой передергивались. Но лишь мы выходили из-под стены, как навстречу ударял чистый и теплый ветерок, ударял теплым и сильным ароматом каких-то непременно цветущих деревьев — то ли акаций, то ли жасминов, рододендронов или еще каких-то растений, до названий которых, конечно, более охочи женщины. Долина была бело-розово-фиолетовой от цветения, и снег на хребтах нес ее отсвет, обращая тени свои в зеленоватый и желтоватый тон.

Деревень, или, по общему прозвищу, аулов, здесь было множество. Видом

своим и обустройством они отличались от тех, где жил старик Зекер, и от тех, что застал я на Олту. Эти, не в пример первым, лепились каким-то странным образом в одну кучу вкруг какой-нибудь возвышенности, создавая подобие муравейника — иного сравнения, пожалуй, и не сыскать. В отличие же от олтинских, они не были столь хмуры, и я полагаю, не были таковыми не потому, что те я видел в глухую пору зимы и своего душевного состояния, а эти вижу в самое распрекрасное во всех отношениях время. Кажется, сама природа внушила эти отличия. Резкие контрасты черных скал и хвойных лесов, обсыпанных снегом, там диктовали один стиль. А беспримерное сплетение зелени вокруг всего, что было в этом крае, дало наметку стилю другому.

Аулы здесь были столь часты и столь скученны, что я затревожился — как же я буду управлять своим аулом, если он выйдет таким же муравейником. Я затревожился, а следом оценил труды наших воинских частей, прошедших здесь боем каких-то месяц-полтора назад.

На ночевку мы остановились в казачьем посту, занимающем отдельный мазаный сарай с загоном для лошадей и оборонительным заборцем из всего подручного материала.

Пост стоял на ровной поляне близ дороги. Вокруг него все заросли были вырублены и потемневшим серым пологом покрывали вырубку. Новая поросль местами пронзала этот полог. Около заборца он был неровно растащен. Я догадался — на дрова. Поодаль, на скалистом пригорке торчали стены разрушенного замка. Дорога тянулась к нему. Я подивился, отчего же казаки пост оборудовали не там.

Навстречу с поста вышли казаки-терцы, дружно склабясь и посверкивая белыми зубами. Старший урядник, начальник поста, в мгновение вычислил меня старшим по чину. Он, привизгивая, дал команду казакам, а потом доложился по форме. Черное от загара лицо его при этом никак не могло сдержать улыбки.

Я еле вынул правую ногу из стремени — столь она закоснела в своем полусогнутом положении. Урядник, по докладу урядник Тетерев, взял мою лошадь под уздцы. Я с трудом коснулся земли и едва не сел. Ноги меня, можно сказать, не держали. Урядник Тетерев ободряюще кивнул:

— Это ничего, вашбродь, это с похода! Сейчас умоетесь, поужинаете и отдохнете!

— Ну что, как? Здорово гулевали? Иисус воскрес! — говорили кругом постовые казаки.

Наши в ответ склабились не менее и старались отвечать метко. Все они меж собой были знакомы по первой дороге.

— А, вашбродь, господин сотник! — не отрываясь от моей лошади, потянулся к лошади сотника Томлина урядник Тетерев.

— Привет, привет, Ульян Иванович! — потянул ему руку сотник Томлин, спрашивая далее, все ли тут спокойно.

— Да все спокойно, вашбродь, Григорий… — урядник Тетерев смутился, забыв

отчество сотника Томлина. — Все спокойно. У нас, у терцев, не пошалишь!

— Ну и слава Богу! — сказал сотник Томлин.

Постовые казаки вывели наших лошадей, сводили их к водопою. А мы вошли внутрь ограды. Под навесом, не видным с дороги, на тагане стоял большой казан. Под ним по-грачиному чернели прогоревшие угли. Подле казана стоял кашевар в подоткнутом бешмете и с засученными рукавами. Он осторожно трогал казан по бокам.

— Ульян Иваныч, бозбаш другой раз греть? — спросил он.

Урядник Тетерев утвердительно махнул рукой, и кашевар бросил на черные угли сухой травы и прутьев. Угли пустили струйку дыма и вспыхнули. Кашевар в огонь положил дрова. Не успели мы оправиться, а казан уже забулькал.

— Аккурат нынче мы вас ждали! — радостно сказал урядник Тетерев.

— Разве мы одни по дороге? — спросил я.

— Ууу! — как-то некрасиво задрал голову урядник Тетерев, смеясь. — Христовеньких здесь много ходит. До вас вот санитарный транспорт пошел к Артвину. Да встречь вам сколько попалось. За всеми надо приглядеть. Тот же транспорт. Поехали. А с одной винтовкой! Дал им в конвой нашего одного!

— Много шалят? — спросил я про четников, отчего-то стараясь говорить под урядника.

Он опять, смеясь, некрасиво задрал голову.

— Взлягивала теля, покуда спал тетеря, вашбродь! — глазами предлагая мне разделить остроту, сказал он, а потом поправился: — Никак нет, вашбродь, не шалят. У нас, у терцев, не пошалишь! — и стал докладывать о принимаемых по службе мерах.

Я спросил, отчего же не убран вырубленный и высохший кустарник вокруг поста.

— Для блиндиру, вашбродь! — сказал он.

— Для чего? — не понял я.

Он сообразил, что нравящееся ему иностранное слово употреблено неправильно.

— Для охраны! — сказал он.

Я опять не понял.

— Как он, то есть четник, пойдет, то хошь не хошь, шуршать станет, вашбродь! — пояснил он.

— А если зажжет? — спросил я.

— А мы его тут же словим! — молодецки сказал он, но снова взял служебный тон. — Ему, вашбродь, нет выгоды зажигать. Потому как далеко он убежать не успеет. Да и вся выгода ему в том, чтобы ухо или палец наш начальствам своим

принести. Принесет — кошт получит. Не принесет — так хоть все вокруг изожгит, а ему напинают да снова отправят.

— Он вас подожжет, сам же уши отрежет у кого-нибудь из местных. Уши ведь у всех одинаковые! — предположил я.

— Так точно! — обрадовался моей догадливости урядник Тетерев. — Именно так мы дней десять назад двух словили. Из аула прибежали: айда, айда! — а кто же их знает, для чего айда. Такие же, поди, четники. Но пошли и словили. Они старика с девкой зарезали. И корову зарезали. Оголодали, видать. Сели мясо печь. Словили мы их и в аул отдали.

— Не жалко? — спросил я.

— По правде, корову жальчей. Она совсем не понимает, что тут творится! — сказал урядник Тетерев.

Казаки вынесли две длинные полсти, кинули их на траву, разложили хлеб. Расселись мы все вместе. Только нас, офицеров, урядник посадил скобкой в один конец полсти. Потом он, сделав некое подобие благости на своем черном лице, вынес сито с крашенными яйцами, принес к нам.

— Христос воскрес, ваши благородия! — протянул он нам сито. — А с тобой, станичник, — сказал он хорунжему Василию, — я и стукнуться рад!

Нарочито долго пошарив в сите, он, будто спохватился и вынул из кармана деревянное и уже с облупленной краской яйцо.

— Айда, гуляй с таким-то, дядя! — со смехом сказал хорунжий Василий.

Они похристосовались.

— Ну, Господи Исусе Христе, помилуй нас, грешных! — сказал, крестясь, урядник Тетерев.

— Аминь! — сказали казаки.

— Давай! — крикнул урядник Тетерев кашевару.

Кашевар с молодым принесли казан. Мы стали ужинать. После все откинулись на локоть и задымили табаком.

— А что, господин сотник, какие новости ныне? — спросил урядник Тетерев.

— Пасха, Ульян Иванович! — сказал сотник Томлин.

— А что, будто у нас с Австрией мир слаживается? — спросил урядник Тетерев.

— Откелев? — намеренно по-простому воскликнул сотник Томлин.

— Доктор с транспорта сказал! — объяснил урядник Тетерев.

Сотник Томлин отчего-то поглядел на меня.

— Нет! — резко сказал я. — Низко просить переговоров, когда тебя бьют!

Все в неловкости смолкли. Хорунжий Василий, сглаживая момент, обругал

доктора.

— Доктор, он скажет! — негромко бросил он.

— А что, нет? Троих на себе держим. Без одного легче станет! — сказал сотник Томлин.

— Этого одного надо разгромить, а не шушукаться с ним! — снова резко сказал я.

— Если пошушукаться да тем и поладить — это тоже разгромить! — ответил сотник Томлин.

И я увидел некое, только мне видное в его ответе сожаление, которое можно было выразить словами: “Да, ты не Саша!”

“Не Саша”, — глазами показал я.

Сотник Томлин ответил неуловимой усмешкой, как бы отметил себе словом: “Понятно!”. На этом мы пикироваться перестали, оба отвернулись. А хорунжий Василий, явно занимая мою сторону, но в надежде примирить нас сотником Томлиным, сказал:

— Ничего, Борис Алексеевич. Турка побьем и со стороны Дарданелл в бочину Австрии въедем! То-то будет шушукаться!

Мы промолчали. Он смутился и спросил урядника Тетерева, не спеть ли песни.

— Песня — дело бойкое. Мотужком ее не свяжешь! — неопределенно отозвался урядник Тетерев.

— Ну, так я милушкой своей займусь! — с досадой сказал хорунжий Василий, сходил к сумкам, принес пулемет.

Он расстелил платок, разложил инструмент, масленку, ветошь. Явно любуясь собой и своим знанием диковинного оружия, он разобрал пулемет, стал тщательно чистить, смазывать и протирать его детали.

— А не выйдет у британцев с Дарданеллами. Побьет их турок! — глядя на хорунжего Василия, бросил штабс-ротмистр Вахненко.

— И у нас нигде не выйдет! — сказал сотник Томлин.

— Почему? — спросил я с вызовом.

— Бьют нас в хвост и в гриву, и под шлею, и под уздечку! — сказал штабс-ротмистр Вахненко.

— Под мундштук, — поправил сотник Томлин.

— Что под мундштук? — спросил штабс-ротмистр Вахненко.

— Под уздечку бьют нас, казаков. А вас, кавалерию, бьют под мундштук! — пояснил сотник Томлин.

— Вот будто делать было нечего до войны, как только об этом спорить, господа! — фыркнул штабс-ротмистр Вахненко. — Я, помню, совершенно рьяно следил у

себя во взводе за молодыми: а ну, скажи-ка, братец, насчет мундштука, с ним способнее или без него? — и упаси замешкаться ему с ответом. Я уж не говорю о том, что ответ должен был быть только положительным, только таким, что-де так точно, вашбродь, без мундштука в кавалерийском деле никак не способно! Я об этом не говорю. А вот даже мешкотный ответ приводил меня в раздражение, мол, как же, какие могут быть сомнения, коли командование решило нуздать кавалерию мундштуком! Да без мундштука армия быть перестанет! И готов был я всех противников, всех, кто против мундштука, кто за простые удила, ссылать в арестантские роты! Однако вот теперь и не вспомню, у кого в обозе лежат эти мундштуки! И армия живехонька, и кавалерия скачет. А казаки без мундштуков и во все время просто молодцы!

— Почему не выйдет у нас? — повторил я вопрос сотнику Томлину.

Тяжелый его взгляд удивил меня. Я его выдержал — только подумал, что ночные свои слова о расстреле аулов гранатами он явно исполнил бы.

— Потому что бьют и в хвост и в гриву! — сказал со скрываемой, но уловимой неприязнью сотник Томлин.

Я снова удивился. Я удивился тому, откуда взялись и тяжелый взгляд, и неприязнь, отчего сотник Томлин переменился.

— Да что говорить про Дарданеллы, господа! — вступил в разговор молчавший не только за ужином, а, кажется, и за всю дорогу подпоручик Борсал. — Что говорить, когда у нас самих дела, от которых, как гимназистке, плакать хочется!

— С Христовым Воскресеньем, поручик! А мы тут о чем говорим! — изумился штабс-ротмистр Вахненко. — Мы о том же и говорим!

— Осенью в Восточной Пруссии были, а сейчас… — с какою-то злой горячностью продолжал подпоручик Борсал. — Не то чтобы у противника брать! Стали отдавать свое. Вот-вот Варшаву отдадим!

— Вот я старый солдат, — перебивая Борсала, сказал штабс-ротмистр Вахненко. — Ни чинов, ни ума не выслужил. А вот сколько судить в сравнении, господа, то ведь не готовы мы были к войне. Вон сотник про мундштук вспомнил. Еще про всякие прочие причиндалы вспомнить можно. Это нас больше всего занимало. А после Маньчжурии до самой войны, помните, господа, как нас всех стрельбами потчевали! Стрельба во главу всей военной доктрины была поставлена! Упаси Бог полку не на отлично отстреляться! Командир полка погоны снимал! Ваш покорный слуга из-за этих стрельб в штабс-ротмистры дважды производился. Оно и превосходно бы — стрелять научились. А что же теперь, когда война началась? Ведь вот теперь, кажется, стреляй да стреляй! А стрелять нечем! Нечем стрелять, господа! Я ума не выслужил. Но я так думаю: патроны-то надо было производить, господа, а не только расходовать! Патронные заводы надо было строить и строить!

— Нет, я решительно переведусь отсюда под Варшаву! Это невозможно, господа! Это невозможно — гоняться здесь за какими-то… — он захлебнулся, не найдя подходящего слова, — за каким-то… в то время, как судьба Родины оказывается на волоске! — подпоручик Борсал вскочил злой и раскрасневшийся.

— А моя Родина и здесь, и в Финляндии, и в Заамурском крае, и даже на полуострове Канин Нос! — сказал с обидой штабс-ротмистр Вахненко.

Я спорить не любил и не умел. И я захотел немного прогуляться. Однако едва я пошевелился — понял, что не ступлю и шагу. День в седле после госпиталя разбил меня. Я лег на спину, подложил руки под голову и не успел вглядеться в темнеющее небо, как уснул. Кто-то, кажется, урядник Тетерев, попытался внушить мне пойти спать в сарай. Я, кажется, попросил меня не трогать, так как я заснул-де лишь на минуту. И чрезвычайно я рассердился на урядника Тетерева, когда он решил разбудить меня выстрелом. Это было уже сверх всякой меры. Я зло вскочил. Тьма кругом была, что называется, первобытной.

— Коней, коней берегите! — кричал урядник Тетерев с ударением на первом слоге в слове “кони”.

Кто-то пробежал мимо меня в сторону конской загородки. Вдалеке чиркнуло, и лопнул выстрел. В ответ плюнул струей своего британского монстра хорунжий Василий. Я сел, стараясь оглядеться. Из моего старания ничего не вышло. Все было черно. Чуть светлело беззвездное небо. Но и оно более угадывалось, нежели светлело. Я выставил перед собой руку и не увидел ее. Не увидел я ее и поднеся к глазам. Пространство определялось только шумом. За сараем топтались и храпели кони.

— Но, но, стой, стой! — приглушенно успокаивали их два-три голоса.

Коротко перебегали казаки. И гулко катилось, не успев стихнуть и возобновляясь от нового выстрела, эхо. Я позвал штабс-ротмистра Вахненко. Он не отозвался. Я отметил, что мне не хочется звать сотника Томлина.

— Хорунжий! — позвал я хорунжего Василия.

— Сюда, Борис Алексеевич! — сильным шепотом отозвался он совсем не с того места, откуда только что стрелял.

Я прихватил шашку, выставил вперед правую руку и, согнувшись, побежал на голос. На первых же шагах я о кого-то запнулся и больно ткнулся правой рукой в землю. Тот, о кого я запнулся, скрякал.

— Извините! — сказал я.

— Ничто, ваше благородие! — отозвался он.

— Не ранен? — спросил я.

— Никак нет, ваше благородие! Издалев бьют, верхом у них выходит! — отозвался он.

Я снова окликнул хорунжего Василия, повернул на голос и уперся в него, стоящего к дороге. Выстрелы были с другой стороны.

— Почему здесь? — спросил я.

— Туда отвлекают. А здесь какая-нибудь морда крадется, думает, что умная! — шепотом сказал хорунжий Василий.

— А наши не отвечают, чтобы вспышками места не выдать? — спросил я.

— Ну да. Они хоть днем примеряются, а все равно в такой темноте верхом садят! — прошептал хорунжий Василий.

— Так ты отчего же ответил? — спросил я.

— Не стерпел. Сильно милушка стрелять тянет. Мне за это дядя Ульян еще холку наскребет! — ответил хорунжий Василий и попросил молчать.

Но уже было поздно.

— Ха-ха, шайтанлар! — что-то вроде этого вдруг рассекло тьму в десятке саженей, и три выстрела ослепили меня.

— Н-на! — взвизгнул хорунжий Василий, перекрывая себя грохотом своего монстра.

Тою же секундой он сильно толкнул меня в сторону, упал сам и исчез, что называется, вдруг полностью растворился во тьме. Изгородь в том месте треснула от попавшей в нее пули. Хорунжий Василий ответил очередью уже из-за загородки.

С дороги зло крикнули еще что-то насчет шайтанов. Но голос был глухим, словно из ямы. Я понял, он, то есть четник или кто-то в этом роде, убирается по добру по здорову канавой или расщелиной, и в такой тьме его, конечно, не взять. Понял это и хорунжий Василий. Он вернулся в ограду, тихо прилег рядом со мной, прилег столь тихо, что на монстра, положенного рядом, земля ответила сильнее. Я был рад, что он вернулся, а не увлекся преследованием — вполне ведь могло случиться, что четник был не один и напарник его сидел в засаде. Затаились и все наши. Только кони храпели и топтались. И я очень боялся, что вдруг в них начнут стрелять.

Через сколько-то времени дальняя стрельба по нам прекратилась. Мы потихоньку ожили, заперекликались, запередвигались с места на место, запосмеивались друг над другом.

— А ведь в упор подошел, а! — стали говорить о четнике.

— А твоя милушка, хорунжий, сразу же к нему потянулась! — стали насмешничать над хорунжим Василием, тем скрывая свое восхищение.

— Небось, так и поцеловались! Посмотреть бы! — предположил штабс-ротмистр Вахненко.

— Нет, Илья Петрович! Я бы услышал! — с сожалением возразил хорунжий Василий.

— Так ведь он, башибузук, мог и не застонать. Говорят, их хоть режь на кусочки, они только скалятся в удовольствии — такие бестии! — остался при своем мнении штабс-ротмистр Вахненко.

— Да не то, Илья Петрович! Как пуля попадет — слышно. Звук особенный получается, когда пуля в тело входит. В голову — один звук, в тело — другой. Я бы услышал! — далее сожалел хорунжий Василий.

— А однако нервы сдали у него, сначала закричал, потом стрелять начал! — вступил в разговор я и осекся, только-то сообразив, что именно я своим разговором помешал хорунжему Василию.

— Тоже ведь от татки-матки родился! — сказал на это хорунжий Василий, и я некоторое время ждал, что он меня попрекнет за помеху.

Он не попрекнул. Он будто ее не помнил.

— А сотник Томлин наш! Где у нас сотник! — вдруг спохватились все.

— Да ведь он подле сарая, у стены, спать ложился! — вспомнил урядник Тетерев.

Кто-то из казаков пошел туда и пошарил вдоль стены.

— Что? — раздался оттуда недовольный голос сотника Томлина.

— Так что, вашбродь, потерялись! — радостно сказал казак.

— Вы спите, Григорий Севостьянович? — спросил штабс-ротмистр Вахненко.

— Рад бы. Да с вами как раз поспишь. Хорошо хоть насмерть не затоптали — бегаете! — с обидой то ли подлинной, то ли нарочной отозвался сотник Томлин.

— Ну, вы скажете! Будто мы по своей воле! Ведь нападение! — обиделся штабс-ротмистр Вахненко.

— Нападение — так вам что? — в недовольстве спросил сотник Томлин. — Они (то есть, надо полагать, постовые казаки) без вас куда с добром справились бы. Этот князь подкопенный, который вас обругал, а вы его упустили, сейчас вот тут бы связанный сидел и свою аллу-маллу читал!

— Да нешто, Григорий Севостьянович! Господа офицеры сильно помогли! Теперь долго не сунутся! — вступился за нас урядник Тетерев, однако тон его выдал. По тону выходило, что сотник Томлин был прав.

Когда рассвело, мы сходили осмотреть дорогу. Ничего, кроме нескольких гильз от немецкого пистолета “Маузер”, мы не нашли. Хорунжий Василий был прав — четник ушел невредимым.

В дороге сотник Томлин подъехал ко мне и протянул кобуру с револьвером. Я отказался. Он молча втиснул ее мне за портупейный ремень.

— Спасибо! — сказал я.

— Это не мой! — сказал он и тронул поводом в сторону.

Мне оставалось догадаться, что кобура и револьвер принадлежали Саше. Я в судороге сглотнул — столько мне захотелось вернуть время назад. Версту спустя мы вновь съехались. Я увидел — что-то он хочет сказать. Чтобы разговорить его, я спросил сам.

— Как же он не боялся, что его свои подстрелят? — спросил я про четника.

Сотник Томлин продолжал молчать. Потом будто с неохотой ответил:

— Они специально верхом стреляли.

— То есть вы предполагаете, что в этакой тьме они вполне могут вести прицельный огонь? — удивился я.

— Они все могут, — опять будто нехотя сказал сотник Томлин. — А ты, Борис Алексеевич, кучей не бегай, не суетись. Ничего не будет хуже того, если они (надо полагать, четники и местное население) тебя на смех поднимут. Научись делать все в одиночку, сам. Это они уважают. Если не убьют, все у тебя будет порядком. Но только — не кучей. И не лезь в их дела. Жди, когда придут сами, — и скосил глаза на кобуру, уже прицепленную к поясу.

— А вы с Сашей тоже порознь делали? — спросил я.

— Найди себе такого! — сказал он.

И потом он ехал рядом, а мне казалось, что он где-то далеко в стороне.

Часть вторая

1

При моем предшественнике две группы казаков-лабинцев в шесть коней ежедневно уходили в поиск вокруг аула и по дороге из Артвина в сторону наших позиций. Во время поисков они имели несколько боевых столкновений, убили четверых четников и потеряли своего товарища. Четники предпочли в бой с казаками более не вступать, а облюбовали для нападения на наши обозы Керикскую расщелину. Я спешил казаков, снял складские караулы и прошел по стенам расщелины. Это было моим первым делом в ауле Хракере. Оно дало результат. Но сейчас о другом.

Теперь-то я наверно знаю, что я не умен. Но еще я знаю, что во мне есть такие черты характера, которые заставляют быть по отношению ко мне — как бы это поточней — быть по отношению ко мне несколько в почтительном отношении, будто я умен. Вот и генерал Алимпиев возился со мной, как нищий возится со своей торбой, вопреки моим поступкам предполагая во мне ум. Ну, а каков оказался этот ум — недвусмысленно сказало то обстоятельство, что я со своими не залеченными легкими слег, едва ударили дожди. Вероятно, уступая мне и направляя меня сюда, генерал Алимпиев рассчитывал на сухой континентальный климат.

— В боевую часть я вас не пошлю по причине возможного попадания боевой части в высокогорные условия с их морозами и метелями даже в летние месяцы. А вот в долинный и отдаленный от тропического Батума аул — будьте любезны, господин капитан! — наверно, так решил генерал Алимпиев и, конечно, усмехнулся двум рядом поставленным и потому как бы дразнящимся словам “долинный и отдаленный”.

С севера, с моря, по горам, обрезая их, долго корячились верстовой высоты тучи, каким-то странным образом похожие на наши чусовские скалы-бойцы. Потом они стали превращаться в нечто многослойное и громоздкое, в этакую неряшливо состряпанную кулебяку. Я службой занялся всецело. Да что сказать всецело! Так сказать — ничего не сказать. В службу я, что называется, провалился. Но глядеть на эти тучи я отыскивал минуту-другую всякий раз, когда мне с какого-либо места они открывались. Я глядел и представлял, какие дожди сейчас идут там, в Батуме. Я представлял их по прошлому лету. Но никак я не мог подумать, что эти дожди будут здесь. А они пришли. В один прекрасный день все помертвело, будто в ужасе. Сколько помнится, известная картина господина Бакста “Террор антикус”, то есть “Античный ужас”, мне показалась лишь конфеточной оберткой против здешнего неба, враз ставшего каким-то странно стылым и в то же время непередаваемо горячим и внутренне текучим. Это небо накатилось и с глухим, отбирающим волю треском взялось проваливаться к нам. Страшнее всего был желтый оттенок его. Казалось, именно этот оттенок несет нечто ужасное, именно он несет этот самый “террор”. А когда с этим желтым “террором” пришла непробиваемая, прямо сказать, каменная стена желтого же дождя — легкие мои враз каменной ее пылью закупорились, и я свалился в постель

Однако это случилось по приезде в аул. А до сего я расстался со своими спутниками, с сотником Томлиным, хорунжим Василием, штабс-ротмистром Вахненко, с подпоручиком Борсалом и другими. Я расстался с ними в Артвине, дорога к которому вышла совершенно схожей с тем, как мы в свое время въезжали в Олту. Равно олтинскому, на противоположной стороне реки встал нам городишко с остатком христианского монастыря, со спицами минаретов. Равно олтинскому, мы свернули к реке и вышли к мосту. Из-за хмурости зимней погоды и собственной душевной хмурости я в Олту не определил, с какой стороны мы въезжали в него. Артвин же встал нам с левого, западного берега Чороха. Разрушенный уходящими турками мост наши саперы наскоро восстановили. Очередь на него, разумеется, напоминала мне очередь к горийскому мосту. На него, на здешний мост, на деревянное его полотно, мы ступили вне очереди, минуя бесконечные фуры, подводы, арбы. Настил скрипел и дрожал. Явно он рассчитывался на определенный вес, на определенное количество транспорта. Но расчеты, похоже, знал только командир той роты, которая мост восстанавливала. Остальным не было до того никакого дела. Остальные, включая нас, напористо и без порядка лезли. Дежуривший на мосту прапорщик из запаса, человек возрастом явно за сорок и человек явно исполнительный, но без характера, черный от солнца и от своей службы, без перчаток, с бесполезно расстегнутой кобурой и плетью в руках, метался по мосту, не в силах организовать порядок. Следом метались отупевшие его солдаты. Они разом, по его команде, хватались за чьи-нибудь оглобли или за чью-нибудь лошадь и тут же разом отпускались, чтобы, опять по команде, переключиться на других. Смотреть на них было смешно и досадно.

Я не выдержал и под насмешливый взгляд сотника Томлина вмешался. Мы быстро, словно ножом, отрезали поток подвод с нашей стороны. Хорунжий Василий с двумя казаками, оставив нам коней, где по головам, где по спинам и постоянно показывая на меня, на мои золотые погоны и мои белые перчатки, пробрался на противоположную сторону и отрезал поток там. При этом он, в отличие от прапорщика, не постеснялся пустить в ход свою плеть. Узел на мосту развязался. Я дал команду двинуться десяти подводам со своей стороны, а потом хорунжий Василий пропустил десять подвод со своей.

— Вот так, прапорщик! — сказал я, а он, черный и слепой от загнанности, принял меня генералом и назвал превосходительством.

Я отдавал себе отчет в том, что прапорщик урока никак не воспринял, и по моем отъезде все на мосту вернется обратно. Это же видели и мои спутники. То есть вмешательство выходило как бы напрасным, каким-то наносным, искусственным и даже унизительным, например, для того же прапорщика, вот, мол, братец, видишь, ведь я могу! Но таким мое вмешательство выходило только, пожалуй, в глазах сотника Томлина. А на самом деле я истинно не смог сдержаться от желания службы, от желания хотя бы на миг сделать что-то полезное.

Прапорщик, как я уже сказал, в изнеможении, не одергивая мундира, откозырял мне, назвал превосходительством и тут же в бессилии отвернулся.

— Да ведь вам остается только воспользоваться сделанным! — пожалел я прапорщика, но он вытаращил свои ослепшие глаза и уже бежал мне за спину, где на

мост поплыл нарастающий гвалт прежнего беспорядка.

Словно в память об этом, послал мне Господь совершенно такого же подчиненного, сорокалетнего же прапорщика из запаса, бывшего артельного Ивана Анисимовича Беклемищева, человека никуда не годного и прозванного за глаза Агафоном.

В Артвине я расстался со своими спутниками. Они напутствовали меня быть с местными построже и обещались заезжать ко мне по любой оказии. Сотник Томлин не напутствовал и не обещал. Он лишь протянул на прощание руку и лишь буркнул: “Ну, бывайте!” — старательно разобрал поводья, хотя что их было разбирать без мундштучного-то повода. Какая-то кошка пробежала между нами. Я с сожалением усмехнулся. Он толкнул лошадь в шею: “Айда!” Жест я нашел ему несвойственным и снова с сожалением усмехнулся.

Начальством в Артвине я был превосходно принят. Штабные мне тотчас рассказали о моем предшественнике много нелестного. По их словам, он с должностью не справлялся и изыскал протекцию занять такую же должность где-то в более спокойном месте.

— Работы в вашем гарнизоне много. Придется вам потрудиться! — предупредили меня в Артвинском штабе.

Я лишь в удовольствии улыбнулся — чего-чего, а службы-то я хотел и совершенно не расстраивался, что выходила она в тылу. Какой я ни был умник, а все-таки и я признавал за необходимость некоторое время поберечь свои легкие. А здесь, хотя и в тылу, я оказался в родной среде — и этого мне для моего ровного душевного состояния вполне хватало.

Стык Олтинского, теперь не моего, и Приморского, теперь снова моего, отрядов приходился на изгиб Чороха севернее озера Тортум-гель. Здесь-то, по нашу сторону границы, установленной в результате нашей победы в русско-турецкой войне тридцать шесть лет назад, стояло аджарское селение Хракере. Как я уже сказал, аджарцы были теми же грузинами, только мусульманского вероисповедания. Аулом это селение сотник Томлин и прочие окрестили несправедливо, как несправедливо же, оказалось, переделали турецкие власти в период своего здесь господства подлинное его название Цхракара, что означает “Девять ветров”. Несправедливость термина “аул” заключалась в отсутствии подобного слова у грузин, именующих свои населенные пункты деревнями или именно селениями, в связи с чем “аул” здесь должен звучать столь же экзотично и неуместно, как если бы он прозвучал в отношении нашей русской деревни. Но все с чьей-то легкой руки, или сказать, с чьего-то нелегкого языка называли местные селения аулами, потому и я стал пользоваться этим неточным термином.

Аул раскинулся частью в небольшой долине, частью по склону невысокого холма, разрезанного широким оврагом. Поля и сады вкруг него были превосходно возделаны — тоже, кстати, если не всеазиатская, то местная, грузинская черта. В ауле не было цитрусовых, как у полковника, то есть генерала Алимпиева на даче в Салибаури. Но традиционные для этих мест плодовые культуры были представлены в изобилии.

Аул был поделен на четыре квартала — два равнинных, один на склоне холма, один в овраге. Деление на кварталы было для востока делом обычным. Управляли такими кварталами старшины из местных. До войны начальником над ними был наш российский чиновник. Сейчас же их начальником становился я.

Поверхностно старшин я охарактеризовал бы так.

Самый старший по возрасту, Мехмед-оглу, был толст, большеголов, с вечной учтивой или даже льстивой — по отношению ко мне, разумеется, а не всех аульчан — улыбкой. Его квартал был равнинным. Семья его состояла из двух бездетных жен, одна из которых была по причине худобы, что называется, притчей во его языце. Он громко к месту и не к месту сокрушался об ее худобе, и это сокрушение должно было подчеркивать его, Мехмеда-оглу, чрезвычайную бедность, ибо надо знать — турецкий обычай рассматривает женскую красоту со стороны объема и веса — чем тучней в формах и чем тяжелей весом женщина, тем более она ценится в прямом денежном и переносном эстетическом смыслах. Так вот, Мехмед-оглу постоянно говорил о своей бедности, но бедным не был, а был вполне даже богат и мог завести еще две жены, толстых и тяжелых, но не заводил, и не заводил, надо полагать, уже из жадности. Артвинский штаб дал мне сведения о принадлежности его к одному из тайных религиозных орденов, благодаря которому он должность занимал. Он, Мехмед-оглу, из предосторожности об этом ордене говорил сам, но говорил так, будто он, орден, с ним, Мехмедом-оглу, постоянно о вступлении в орден и жертвовании на нужды ордена соотносится, но он, Мехмед-оглу, от него, ордена, всякий раз удачно увертывается. Мне это в силу отсутствия сведений об участии ордена в четничестве было не интересным. Эти сведения я привожу с тем соображением, что они перекликаются со следующими сведениями, по которым Мехмед-оглу в противовес остальным старшинам и вообще грузинам никогда никого не приглашал к себе в гости, но постоянно говорил о том, де, вот он соберется со средствами и лично приготовит нечто такое грандиозное и превосходное по вкусу, чего во всей Турции, и во всей Персии, и — он в обожании глядел на меня — во всей России никто никогда не ел.

— Никогда, уважаемый Нурин-паша, ты не вкушал ничего подобного! — говорил он мне. — Я лично приготовлю для тебя и твоих аскеров. Вот только соберусь со средствами. А то эти две мои курицы совсем меня разорили!

Мне было при этом не понятно — или он не замечает, что лжет и льстит, или замечает, но считает меня глупцом, каковым, конечно, я действительно являлся, но не до такой же степени.

Его же чертой было избегать все мои предложения по общественным работам. Он брался за них только в крайнем случае и исполнял торопливо, с пятое на десятое, при непременном условии оплаты работ, что уже само по себе выводило работы за разряд общественных. Деньги, я полагаю, он брал себе и никогда не отдавал тем, кто работы исполнял. Впрочем, такое поведение было для востока обычным. По этим ли причинам, по другим ли, но квартал Мехмеда-оглу был самым непривлекательным.

Вторым равнинным кварталом управлял тоже довольно старый старшина Вехиб-мелик, бывший некогда в русском плену в Самаре и помнящий о каком-то

плохом к нему отношении. По его словам, все самаряне только тем и были озабочены, что гнали его домой.

— Домой, турка, надо! Домой надо! — передавал Вехиб-мелик слова самарян и, к торжеству попранной самарянами справедливости, несколько раз сказал эти слова мне: — Домой, русский, надо!

Смею положить, что самаряне не были столь неприветливы к бедному турецкому пленному, а если и на самом деле говорили нечто подобное, то явно говорили из жалости, сострадая и выражая сострадание надеждой на скорую отправку пленных домой.

Я спросил, не так ли было дело. Вехиб-мелик ответил, что все было именно так, как говорит он — злые самаряне гнали его домой. Мне осталось только улыбнуться упорному желанию старика иметь самарян своими врагами. В остальном Вехиб-мелик был обычным добропорядочным мусульманином, вполне добродушным человеком, не чурающимся никакой работы. Однажды я застал его за свежеванием барана. Он ловко, без ножа, козонками пальцев в какие-то минуты снял с того шкуру и, будто в извинение, сказал по-русски:

— Работ!

Третий старшина, начальник квартала, расположенного по склону холма, Мамуд, был самым молодых из всех четырех старшин и был, по-русски сказать, балагуром. Худой, черный лицом, он будто всегда был навеселе, вечно молол какую-то белиберду, которой только сам смеялся. Было непонятно, как такой несерьезный молодой человек мог быть старшиной. То ли по причине нахождения в его квартале мечети, то ли по другой причине Мамуд считался не то чтобы главным среди прочих, а, выражаясь римским республиканским постулатом, был он первым среди равных. Ни Махмуду-оглу, ни Вехиб-мелику это явно не нравилось. Они старались чувство скрывать. Однако косые взгляды и вынужденные кривые улыбки при очередной белиберде Мамуда часто их выдавали. Во время боя за аул мечеть частично пострадала от нашей гранаты. Мулла якобы сказал священную войну против неверных и ушел с турками. Мечеть покамест не работала.

Никогда не улыбался четвертый старшина, Иззет-ага, квартал которого приходился на овраг и выходил на противоположную сторону холма, заросшую лесом. В Иззет-аге, кажется, сосредоточилась вся угрюмость мира. Был он статен и красив европейской красотой, был довольно богат, имел немалое стадо скота, несколько аргамаков, хороший дом, сад и девять детей от одной, явно им любимой жены. Я полагаю, в старшины он вышел по своим качествам хорошего администратора и хозяина, будучи не коренным аульчанином. Более того, он не был аджарцем, то есть мусульманским грузином. Отец его происходил из осетин и ушел из родных мест в шестидесятые годы прошлого века, когда наше правительство с целью окончательного замирения Кавказа разрешило всем мусульманам, не желающим мириться с нашей властью, переселиться в Турцию. Таким образом, ушли едва не целые племена и народы из черкесов, адыгов, большие массы чеченцев, дагестанцев, абхазов. О горькой их судьбе на чужбине у нас было написано немало. И немало было сведений и рассказов об их упорстве и особенной

жестокости в русско-турецкой войне. Есть сведения, что много их и среди нынешних четников. Осетины в целом перешли в подданство России едва не четыреста лет назад. Но, видимо, отдельными семьями или кланами они сражались против русских при Шамиле и потом покинули родину. Вот такая трагическая и романтическая история стояла за спиной Иззет-аги, возможно, объясняя его непроходимую угрюмость. Причиной ее могло быть и еще одно обстоятельство. Все девять его детей были девочками. Это и по русским-то меркам — в постриг и в скит. А для местных народов — чистый абтраган, то есть секир башка. Но вернее всего угрюмость Иззет-аги обыкновенно могла иметь природное происхождение и только внешний характер. Возможно, Иззет-ага, был всем доволен, светел и счастлив.

Я несколько раз был у Иззет-аги и даже мне понравилось бывать у него. Трогали его царящие в доме душевная теплота и предупредительность. Все его девочки были здоровы и румяны. Несмотря на достаток, все они посильно трудились, и даже самая младшая, семилетняя Ражита, старательно гнала веником в совок упавшие и подсохшие лепестки цветущих деревьев. С ней мы сошлись коротко, и она, сия досточтимая матрона, была сильно удивлена моей неграмотностью, когда принялась со мной лепетать сперва на материнском грузинском языке, а потом, как бы в похвальбу своей грамотностью, — на отцовском осетинском. Она тотчас дала мне урок этих языков и в каждый другой мой приход спрашивала, усвоил ли я. В первый же раз она спросила, знаю ли я предназначение того предмета, который пристегнут у меня сбоку и именуется шашкой. Мне пришлось сознаться в своем невежестве.

— Нет, госпожа моя, не знаю! — опустил я свои очи долу.

Сокрушаясь по поводу моих бесполезно прожитых в невежестве лет, она взяла пруток и великолепным жестом показала, как стремительно, на опережение, единым движением шашка вынимается из ножен и наносит удар. В жесте ее и вообще во всей сей амазонке было столько старания и грациозности, что право дело — захотелось мне погибнуть, если уж господь определит мне погибнуть, именно от подобного удара.

— Вот! — сказала мне моя наставница. — Это не трудно. Делай, как я и мой папа, и ты всегда победишь врага! — а потом дала мне еще урок, сказав, что рубить шашкой — это все-таки дело мужчин, а женщины за него берутся только лишь в случае, когда мужчин не остается.

Я в полное уничтожение своего оказавшегося на поверку дутым авторитета начальника переспросил, не наоборот ли, не женщины ли прежде всего идут на войну, а мужчины ждут их дома и, например, прядут пряжу.

— Нет! — сказала она с великим сожалением по тому поводу, сколько, оказывается, ошибалась во мне, однако в следующий мой приход просветительство продолжила.

В отличие от нее, просветительницы и амазонки, другие дети Иззет-аги, девочки-подростки, меня, как мужчину, уже стеснялись. А самая старшая дочь Иззет-аги уже была выдана и ждала первого ребенка.

Вот таковы были на мой взгляд квартальные старшины.

Перед самой войной наши власти затеяли постройку нового здания управы. Они вынесли ее из тесного квартала Мамуда на обширную для этих мест поляну на окраине аула в квартале Вехиб-мелика по дороге в Артвин. Начальник управы, вероятно, был человеком не чуждым местным обычаям и построил здание управы хотя и на наш манер, но с большим налетом принципов восточной архитектуры. Здание он построил в два этажа. Первый он сделал хозяйственным амбаром, а второй определил под свою канцелярию. Большие европейские окна канцелярии выходили на будущую площадь управы и во двор. На двор же выходила во всю длину здания галерея, на галерею — двери комнат. Двор был тесен и замощен камнем. Ограничивали двор таможня, сейчас пустая, конюшня на несколько стойл и нечто вроде нашей деревенской холодной, то есть кутузки. Квартиры и склады таможни начали строиться напротив, но закончены не были.

Мой предшественник, прежний начальник гарнизона, часть галереи оббил досками — сделал, так сказать, сени, соединил комнаты внутренними дверями, сколотил наскоро взамен разбитых столы и стулья, привез металлический сейф. При общей его отрицательной характеристике он, видимо, не был трусом, так как ни одного из окон не забил и не закрыл — то есть не боялся в них выстрелов.

Из поверхностных пояснений я скажу еще одно. Мне бросилось в глаза отсутствие в ауле молодежи. Командир лабинцев взводный урядник Петрючий сказал, что молодые люди прячутся от мобилизации.

— На яйлах они, ваше высокоблагородие, на летних пастбищах! — сказал он и на мое предположение об их сотрудничестве с четниками снова ответил отрицательно: — Никак нет. Там они. И в аул они приходят, и аульские к ним ходят, пропитание им носят!

— А метели, большой снег в горах? — спросил я.

— Да им же привычно. И все лучше, чем под ружьем! — сказал взводный урядник.

Две группы его взвода обычно в шесть коней ежедневно уходили в поиск вокруг аула и по двум дорогам — в сторону наших позиций и в сторону нашего ближайшего казачьего поста по артвинской дороге. Во время таких поисков они имели несколько боевых столкновений, но все при моем предшественнике. В этих столкновениях они убили четверых четников и потеряли своего товарища, о котором сильно скорбели. Все они, как и бутаковцы, были из одного поселка где-то на Кубани. Потеря, разумеется, выходила личным горем каждого. На мой вопрос, не выходило ли казакам брать пленных, урядник доложил, что четники в плен не сдаются. Но я не поверил уряднику. Еще на посту у терского урядника Тетерева я понял — обычаем казаков было не брать пленных.

На этот счет, кроме параграфа устава миловать сдающегося или раненого неприятеля, я имел инструкции по возможности иметь пленных еще и для получения от них сведений об их товарищах. Более того, инструкции рекомендовали иметь агентов среди населения с целью получения тех же сведений.

— Как же предполагается это делать и кому? — спросил я офицера отдела генерал-квартирмейстера, ведающего разведкой и подавшего нам сии инструкции.

— Предполагается это делать вам или любому чину по вашему поручению! — спокойно сказал он.

— Мы, к возможному чьему-то сожалению, являемся чинами не уголовной полиции и не жандармского корпуса, а армейскими! — едва сдержал я возмущение.

— Капитан, ваша задача пленному противнику это предложить, а его задача согласиться или не согласиться! Для пользы дела рекомендую иногда прибегать к некоторому понуждению. Хорошо это делают наши пограничные службы! — с прежним спокойствием ответил офицер отдела разведки.

В этом, конечно, он был прав. И иллюстрацией его правоты были слова сотника Томлина об обязательном в целях успеха дела установлении контактов с местными жителями по обеим сторонам границы. Подобный метод ведения войны был старым как мир. Более того, он был нам подан в академических лекциях. Но я и мои товарищи, кроме немногих промолчавших, нашли его для офицера русской императорской армии неприемлемым. И признали мы его таким не по причислению себя к какой-то высшей расе. Мы пришли к мнению — офицер русской императорской армии имеет свои, вполне определенные функции защиты Отечества, и у этого офицера должен быть свой определенный строй характера, духовных воззрений и этики. Чины же пограничной стражи, жандармерии и полиции имеют другие, но тоже вполне определенные функции защиты Отечества, и у них должен быть другой строй характера, духовного воззрения и этики. Это было тем, о чем говорил мой сосед по палате в горийском госпитале Владимир Валерианович Драгавцев. Это было личной судьбой — кому какие функции выбирать. Сочетание же этих функций, по нашему общему мнению, армию только развратило бы. Еще раз подчеркиваю — это было мнение не каких-то людей, возомнивших себя выше всех остальных. Это было мнение обыкновенных армейских офицеров, имеющих одно стремление в жизни — служить во благо Отечества.

— Взятый в плен противник остается солдатом своей армии. Предлагать ему нарушить присягу — подло. Заставлять его нарушить присягу — преступно! — решили мы у себя на курсе академии и были уверены в солидарности с нами всего армейского офицерского корпуса.

Разумеется, в диспут с офицером отдела разведки я не вступил. Инструкции я взял, но исполнять их и не подумал.

Наученные гибелью своих, четники предпочли более в бой с казаками не вступать, а нападать наверняка. Особенно они облюбовали дорогу на Керик, турецкий аулец в десять саклей по дороге в сторону наших позиций. Эта дорога малым своим отрезком шла по полям вкруг нашего аула, большей же своей частью — по узкой глубокой теснине, которая была замечательна тем, что при своей длине в четыре версты имела средней ширины двадцать сажен и шла вдоль сухого русла ручья. Стены ее взметались вверх едва не отвесно. А деревья на стенах сцеплялись кронами и местами делали непроницаемый для света мощный потолок. Дорога — по сути тропа самого скверного состояния — лепилась над руслом по одну сторону, порой взбиралась от него довольно высоко, порой опускалась к нему, так шла прямо по нему и в дожди просто исчезала. Конечно, такую теснину казаки и обозные

тотчас же прозвали размогилиной — вероятно, от официального ее названия Керикская расщелина.

Нападать в такой расщелине, естественно, было милейшим делом, все равно что коту запускать лапу в корзину с цыплятами. Четники спокойно выбирали цель, а наши обозные только беспорядочно отстреливались да хлестали лошадей в полном забвении иной опасности — сорваться с тропы вниз. Разумеется, первым делом я всеми своими силами — взводом уже упомянутых казаков-лабинцев и взводом дружинников второго разряда — оставив аул совсем без прикрытия, прошелся по обеим стенам расщелины. Взять мы никого не взяли, сами умаялись до невероятности, однако и четникам навели страху, так как нашли и уничтожили несколько хорошо оборудованных позиций для стрельбы и место стоянки четников наверху стены, спешно при нашем шуме брошенную. Так что в руки нам достались нехитрые их пожитки. После этого я продолжил ежедневный поиск, или, вернее, прочес, обеих стен теми же двумя группами в шесть, как сами казаки называли, коней, а в действительности в шесть спешенных казаков. Но четники с ними в бой не вступали и предпочитали уходить. Тем не менее страх оказаться застигнутыми врасплох над четниками довлел. Нападения в расщелине много поредели.

После своего выздоровления я стал ежедневно бывать в ауле с одним казаком охраны, а порой только с переводчиком, оставшимся от прежнего начальника, рядовым солдатом-грузином. Я вникал во все аульские дела. При этом я ясно всем дал понять — за мной стоит великая империя, и она ничего худого не несет даже тем, кто восстал против нас, но в содеянном покаялся. Упорствующего же она неотвратимо покарает.

Перечень всех моих обязанностей составил бы непреодолимую скуку. К тому же о них можно с успехом справиться в определенном разделе уставов. Кстати, заглянувший туда непременно увидел бы расписание должностных лиц, долженствующих быть в моем подчинении, но успешно у меня отсутствующих, отчего я был щедро наделен удовольствием исполнять их должности лично. А если серьезно, то я, как древневосточный сатрап, имел полную власть над аулом. И я, как восточный сатрап, один нес ответственность за все, что в ауле и его окрестностях творилось. Аул, то есть все его жизненные перипетии, я принял всей душой. За мной стояла моя империя. По мне об этой империи судили. Я не мог упустить случая показать ее в самом выгодном свете.

Про метели и большой снег в горах я упомянул не случайно. В конце апреля там свирепо запуржило. С позиций в мой перевалочный лазарет пошел поток больных и обмороженных. Расстояние до позиций составляло всего несколько верст, но климатическая разница была неизмеримой и, более сказать, русскому равнинному характеру непостижимой. Там свирепствовали морозные метели, а здесь после непродолжительного “террора” дождей хорошо разведрило. Долина наша заблагоухала — извините стиль — всем великолепием востока.

— Эко-то! — нашел сил для удивления отогревшийся на нашем благолепии один обмороженный солдат. — Эко-то! В Расие, почитай, месяц ишли ешелоном, а все было наклань в лопату. Тутока чатыри часа прохромал по кочкам — и в жарынь попал, как на печку к баушке!

— Одно тебе слово: Индия! — ответил ему товарищ.

— Дома скажу, дак скажут: не ври! — опять удивился солдат.

В горах пурга заваливала снегом наши позиции, пела свою дикую смертную песнь, вкруг нас верстами громоздились плотные и тяжелые тучи, а у нас дни стояли чистые, прозрачные, в тонком смешении аромата цветущих деревьев с нагретой землей и легким дымом садовых костров. Даже запах навоза, быстро подсыхающего на нашем солнце, не раздражал, а собирался в комок и если не гармонировал с цветением и дымом, то по крайней мере их подчеркивал. Все были возбуждены весной, и все ждали минуты погнать многочисленный скот на яйла.

2

Обычно раз в два-три дня я у себя собирал квартальных старшин.

Я только встал, едва успел одеться, а уже пришел Иззет-ага. Я услышал его разговор с моим переводчиком Махарой. Этот малый был у меня один в трех лицах, что называется, Махара здесь, Махара там. Он был переводчиком, денщиком и вестовым. К этому, разумеется, понуждала обыкновенная нехватка людей. С началом войны и отправкой массы частей из нашей армии на Запад, а особенно с взошедшей славой нового командующего армией генерала Юденича, человека отменного мужества, но анекдотической скромности и неприхотливости, стало среди офицеров армии нормой отказываться от денщиков, а командиры рот, которым устав предписывал иметь еще и вестовых, — верно, щеголяя в подражании командующему, — взялись отказываться и от вестовых. Они стали заменять их солдатами из строя и только на время исполнения приказа. Такое щегольство нанесло бесспорный вред. Хороший, дисциплинированный, привыкший к особенностям характера командира и понимающий его с движения брови или обрывка слова вестовой, бывало, равнялся самому командиру, потому что умел точно поймать недосказанную мысль или недоприказанный приказ и довести его до роты. Но мода быстро распространилась и приобрела внушительные размеры. Офицеры нашего горийского госпиталя говорили совершенно точные сведения, что в штабе Второго Туркестанского корпуса, с которым прибыли из своей Кашгарки Саша и мои бутаковцы, одно время вообще работали только два офицера, два Генерального штаба капитана: начальник штаба был в какой-то командировке, кто-то болел, кто-то куда-то отбыл — и никому не было дела до штаба. Можно представить, какая масса работы оставалась не тронутой и сколько губительно это отразилось на действиях корпуса, первыми же ударами сбитого с позиций.

— Бегут, все бегут! Нас обошли двадцать тысяч! — помнится, так кричал мне Раджаб на Олтинской заставе.

Вообще, неприглядно мы показываем себя перед теми, кто будет исследовать нашу войну.

Махару же я сделал единым в трех лицах по простой логике. Чистить мои сапоги, следить за самоваром или баней с успехом мог и вестовой. То есть денщик отпадал. Эти же обязанности и обязанности вестового по причине постоянного пребывания у меня под рукой вполне мог исполнять переводчик. Так что отпадала надобность и в вестовом. Махара был молодым человеком моего возраста, из крестьян. Смолоду он ушел в Тифлис, учился в семинарии, не доучился, стал приказчиком. Русским языком он владел чисто — говорил, что мечтал об университете, потому учил его с особым тщанием.

Вот, собственно, с разговора Иззет-аги и Махары начался мой очередной день. Я, разумеется, вышел Иззет-аге навстречу, пригласил его к чаю, спросил о благополучии домашних и о делах квартала. Он пил чай и отвечал угрюмо, будто с неохотой. При всем моем к нему расположении такая его манера меня раздражала. Мне приходилось раздражение скрывать за нарочитой оживленностью, брать

инициативу разговора на себя. По причине моего молчаливого характера это было мне неприятным. А оставить его одного до прихода остальных старшин было неприличным. И я придумывал всякую белиберду, лишь бы поддерживать разговор.

— Когда думаете гнать скот на яйла? — спрашивал я, хотя о том же спрашивал вчера.

— Пусть успокоится! — отвечал, как и вчера, Иззет-ага, и мне следовало из этого знать, что он имеет в виду непогоду в горах.

— В прошлом году в это время уже гнали, или тоже была непогода? — спрашивал я.

— Уже гнали! — отвечал Иззет-ага.

Об этом мы говорили вчера и позавчера, но иного разговора, так сказать, насущного и делового, до прихода остальных старшин, уважая местный обычай, я не заводил.

Старшины на моем совещании вели себя так, будто боялись друг друга. Они приходили, с азиатской непроницательностью сидели, отвечали только на вопросы, и отвечали потаенно. Узнать сразу из их ответов что-либо определенное было невозможно. Даже дела, прямо касающиеся их интересов и им выгодные, на совещании не возбуждали интереса. А различного рода повинности, обусловленные военным положением, они принимали за должное, с видом людей, вынужденных подчиняться силе. Все дела я решал в конфиденциальных разговорах. Но не собирать их на совещание я не мог. Эти совещания являлись предметом моего почтительного отношения к старшинам.

В логике нашего с Иззет-агой разговора было бы спросить его о том, как же они думают охранять стада от четников. Но по указанной причине я этого не спрашивал, хотя знал, что по обычаю доброго прошлого времени на яйлах со скотом оставались только женщины и дети да самое малое количество пастухов. Я этого вопроса не задавал, а искал что-то другое.

— Да! — даже с некоторой радостью находил я такой вопрос. — А сенокос здесь в июле начинается?

— В горах, — угрюмо отвечал Иззет-ага.

— Ага! — будто узнав нечто значительное, кивал я и опять искал вопрос для продолжения беседы и находил его таковым: — Скажи, дорогой Иззет-ага, а вот велик ли здесь выкуп за невесту?

— Десять коров! — угрюмо отвечал Иззет-ага.

— А что же, раньше он был больше или меньше? — спрашивал я.

— Раньше был в пять, — отвечал Иззет-ага, и по лицу его взмелькивала какая-то красивая тень, верно, он вспоминал свою свадьбу.

Разумеется, долго играть роль я не мог. В какую-то минуту я исчерпался и посчитал выходом из затруднения сказать Махаре, чтобы он сам поговорил с Иззет-агой как соплеменником.

— Вы же одного языка. Вот и поговори с ним! — приказал я.

— Ваше высокоблагородие! — вытянулся во фронт Махара. — Позвольте мне с ним не разговаривать!

— Это почему? — удивился я.

— Так что, ваше высокоблагородие, я не могу! — ответил Махара.

— Ты заболел, рядовой? — рассердился я.

— Так что, они нашего Всеблагого на Махмудку променяли, ваше высокоблагородие! — ответил Махара.

— Ты-то что за судия? — фыркнул я.

— Виноват! — сказал Махара, и по его сжатым зубам я увидел, таковым он себя считать не собирался.

Я рассердился и зафыркал, но более, признаться, я растерялся. Иззет-ага почувствовал неладное. Он бросил два быстрых взгляда на меня и на моего триединого служивого. Я ему улыбнулся, а Махаре сделал внушение.

— Стыдно, рядовой! — сказал я ему. — Возможно, для них, — я показал бровью за окно, — это трагедия, а ты хочешь стать святее римского папы!

— Виноват! — снова сказал Махара.

Но по лицу его я увидел — от своего он не отступил.

— А коли так, — сказал я, — пойди и убей его. Пойди, убей его жену, его девочек. Убей во имя Всеблагого! — я только сейчас понял, почему Махара употребил не имя Христа, а его эпитет. Он при всей своей клерикальной злобе, однако, не захотел, чтобы по этому имени Иззет-ага догадался о смысле нашего разговора, то есть предстал передо мной человеком соображающим. Я это отметил, но монолог свой завершил: — Пойди убей! Во имя Всеблагого ты имеешь на это право! Заодно и гроб Господень освободи!

— Виноват! — дрогнул Махара.

Я увидел, что попал. Он, верно, представил себе воинственную мою учительницу Ражиту, которой был восхищен не менее моего, или он представил кого-то из своих юных родственников, может быть, детей сестры или брата, вспомнил и дрогнул. Удивительна здешняя любовь к детям!

Я обернулся к Иззет-аге. Чтобы успокоить его, я сказал:

— Солдат провинился и заслужил наказание. Но осознал вину, и… — тут я не преминул показать империю в лучшем виде, — и у нашего государя-императора сказано: “Повинную голову меч не сечет!”

Махара послушно перевел. Иззет-ага, кажется, поверил.

— Экий ты олух, рядовой! — сказал я с облегчением.

— Так точно! — бесстрастно откозырял он.

А в окно донесся нарочито восторженный голос Мехмеда-оглу, обращенный к часовому. Следом балагур Мамуд прокричал часовому нечто веселое и похожее на русское “Здравия желаю!”.

— Стой! Куда? Осади, черти! — тем не менее, стараясь сурово, остановил их часовой.

Мехмед-оглу со всей приятностью, и даже от этой приятности всхохотнув, несколько раз сказал слово “Сардар!”, что должно было означать его намерение пройти ко мне. Я велел Махаре пригласить старшин. Мы учтиво и подобострастно осклабились друг другу, похватались за сердце, пожелали всяческих и долговременных благ. Я усадил старшин за стол. От меня не ускользнуло, что они не совсем с удовольствием приняли Иззет-агу — вероятно, им не понравился его более ранний и одиночный приход. Пришлось мне и с ними некоторое время болтать о всякой ерунде. И славно было, что ерунду придумывал уже не я. Заменили меня в этом Мехмед-оглу и Мамуд.

Этак мы тешились, пока Махара ставил чай. А потом я стал говорить о делах в ауле. Сегодня мы должны были оговорить три дела — два, касающиеся аула, и одно, нужное мне. Начал я с дел аульских. Касались они разрушенной мечети и испорченного два дня назад аульского водовода. Ни за восстановление мечети, ни за восстановление водовода почему-то никто браться не хотел. И я решил старшин к тому понудить.

— Пророк Мухаммед велик. Христос велик. Наш государь-император велик! — сказал я, а мои старшины при упоминании Пророка вразнобой коснулись бород своих и сказали положенное при его упоминании “Алайхи салам!” — Но мы, грешные, — продолжил я, — заняты только своими грешными делами и нисколько не заботимся о славе Аллаха, славе Господней и славе государя-императора!

Старшины мои тотчас вскинулись. Мамуд разразился какой-то фразой. Прежде чем ее перевести, Махара едва не в судороге скривился. Я сурово взглянул на него.

— Ваш император сильней турецкого султана, но наш Аллах сильней вашего Бога. Ваш император победит турецкого султана, но скоро вера везде будет мусульманской, потому что наш Чорох течет в вашу сторону, а ваши реки текут неизвестно куда! — перевел Махара, а Мамуд тоненько и длинно рассмеялся.

— Что же, уважаемый Мамуд, — сказал я в чрезвычайном удовольствии от такого поворота дела. — Наверно, оно так. Но вот уже прошли два месяца, как закончились бои в вашем ауле, а мечеть восстанавливать вы не думаете. И приходится моему Богу являться во сне моему государю-императору со словами: “Помоги им в их вере!” Государь-император отправил мне бумагу: “Постройте, господин капитан, им их храм, ибо сами они немощны!”

Конечно, не скажи Мамуд своей очередной белиберды — я уж возьму грех на душу этак охарактеризовать его слова — так вот, не скажи он своей белиберды, я бы не догадался сказать своей. И как бы дело о мечети пошло дальше, не знаю. Сейчас же старшины мои вскочили из-за стола, уронили стулья и в гневе закричали друг на друга, так что Махара успевал выхватывать из их слов только отдельные. Такие устойчивые канонические словосочетания, как “Аллах велик!”, выкрикиваемые ими

на языке подлинника, то есть на арабском языке, я знал и без перевода. Сколько можно было понять, они принялись в чем-то обвинять друг друга или взаимно попрекать в нерадении к вере — видимо, вопрос о ремонте мечети меж ними обсуждался, но какие-то непонятные мне и Махаре обстоятельства отвращали их от того.

— Испорченный язык, ваше высокоблагородие! Много турецких слов! — как бы в оправдание невозможности толково сказать об обстоятельствах, сказал Махара.

Я согласно кивнул, немного подождал, потом спокойно сказал.

— Аллах велик! — спокойно сказал я, а старшины тотчас смолкли. Я немного подождал и спросил: — Но почему же вы не чтете его и не строите дома его?

Из всех наиболее бурно отреагировал снова Мамуд. Он почернел от прилившей к лицу крови и снова разразился своей белибердой. Махара перевел.

— Он спрашивает, ваше высокоблагородие, что выше их гор и что глубже их моря? — сказал Махара.

— Их моря — надо полагать, Черного? — с улыбкой просил я.

— Так точно, ваше высокоблагородие! — засветился моей улыбке Махара. Он явно принял ее за издевку над его столь неуважаемыми им соплеменниками.

— Да уж! — повернулся я к Мамуду. — Да уж, уважаемый Мамуд, — я даже присовокупил к его имени титул “ага”. — Да уж, уважаемый Мамуд-ага, выше всех гор и выше всех морей только милость Божия! — и велел Махаре перевести так, чтобы стало ясно — под именем Бог я имел в виду и их Аллаха.

Как он перевел, я не знаю. Мамуд в превосходстве замахал руками.

— Нет! — стал смеяться он.

— Как же нет! — тоже повеселел я. — Как же ты, уважаемый Мамуд-ага, смеешь сомневаться в бесконечной милости Аллаха?

Но он меня не слушал. Он говорил свой ответ.

— Коран! Коран выше всего и глубже всего! Коран нашего Пророка, мудрого, лучезарного и совершенного, алайхи салам! — стал говорить он, а уж его товарищи хватали его за плечи и горячо втолковывали ему успокоиться.

— Замолчи, не богохульствуй во имя великого и совершенного! — успевал переводить Махара.

— Коран выше! Коран глубже! — весело и победоносно старался сказать свой ответ Мамуд, пока наконец не понял, что в запланированном торжестве своем попал в ловушку.

Он понял, замкнулся, поугрюмел и смолк на все остальное время — угрюмость его во много раз превзошла угрюмость Иззет-аги. Надо ли говорить, что белиберда его — еще раз возьму грех на душу назвать слова Мамуда белибердой — помогла мне. Старшины быстро перебросились между собой советом и заверили меня о скорейшем ремонте мечети.

— Сардар, уважаемый Нури-паша, — сказали они мне. — Передай нашему императору благодарность от всего нашего аула. Воистину велик он. Но мечеть мы восстановим сами, и будет она во славу Аллаха и нашего императора краше прежней!

Я склонил голову, прикоснулся к груди против сердца, выразил величайшую готовность сию же минуту отправить вестового прямо в Петроград. Старшины в удовлетворении потрясли бородами.

Второй вопрос, как я уже сказал, касался аульского водовода. Суть его была следующей. По склону холма и особенно в его подножии били с десяток родников. От них по всему аулу были проведены несколько выложенных речной галькой канав. Они исправно несли свою службу, то есть подавали воду едва не к каждому дому. Правда, приходилось удивляться тому, что аульчане не обращали внимания на скот, попадающий в эти канавы, и часто можно было видеть, например, такую картину — буйвол или осел забираются с ногами в канаву и пьют или, прошу прощения, мочатся, а ниже по канаве кто-либо из аульчан черпает эту воду и несет в дом. Но как ни то, а водовод служил аулу и был аулом оберегаем. Но два дня назад эти канавы неизвестным образом сразу в нескольких местах были разрушены, завалены грязью и навозом. Вода в этих местах спрудилась и жижей потекла через завалы, так что выведенным из строя оказался весь водовод. Аульчане вместо того, чтобы тотчас же взяться за очистку канав и поиск виновных, вереницей потянулись за водой к подножию холма.

— Почему? — спросил я в первый же день.

Одни мне отвечали исключительно невразумительное. Другие набыченно молчали. Следовало догадаться, что не обошлось здесь без четников. Но на вопросы о них аульчане отвечали отрицательно, будто даже не понимали моих вопросов. Я приказал исправить водовод в течение дня.

— Если утром все останется в таком же виде, я пришлю солдат. Они все исправят. Но вам придется оплатить работы и ущерб, какой нанесут своей боевой подготовке солдаты, отвлеченные на ваши работы! — сказал я.

Про ущерб я нашел по ходу приказа и сам удивился — откуда и чего! А потом увидел причину, толкнувшую меня на подобную внеэкономическую фантазию. Я вспомнил римских военачальников, одновременно являвшихся администраторами в завоеванных ими городах и провинциях, и конкретно я вспомнил Секста Юлия Фронтина, более известного нам по его труду о военных хитростях. Вот примерно этакую, хотя и донельзя хилую, но военную. хитрость с мифическим ущербом для моих солдат я применил. Кстати сказать, сей Фронтин кроме своего писательского поприща преуспел и на административной должности. Во вверенном ему городе он устроил водопровод, который, по некоторым сообщениям, функционирует до сих пор. Он же, еще кстати сказать, во время войны Рима и Парфии бывал в наших местах. Здесь же бывал и знаменитый греческий военачальник и писатель Ксенофонт. И если я вооружусь военными хитростями сего Фронтина еще раз и не упомяну всех других полководцев и правителей, воевавших и правивших в здешних краях, то смогу объявить себя третьим по величине полководцем и правителем

после названных, в связи с чем могу тешить себя надеждой, что со временем просвещенные аджарцы с благодарностью воздвигнут нам троим величественные памятники из мрамора — особенно в том случае, если я успешно справлюсь с ремонтом водовода.

— Ну так починен ли? — спросил я старшин о водоводе.

— Сардар! Многоуважаемый Нурин-паша! — в сладчайшей улыбке приподнялся из-за стола Мехмед-оглу.

— Починен ли водовод, уважаемые старшины? — жестко повторил я вопрос и далее не дал старшинам вымолвить ни слова, а сказал им, что рассматриваю их бездействие неповиновением и по закону военного времени обязан отправить их в Артвин.

Видимо, я и в лице переменился, потому что старшины взволновались, быстро перебросились меж собой на турецком. Мехмед-оглу при этом смог сохранить свою сладчайшую улыбку.

— Нурин-паша! — сказал он. — Не надо Артвин беспокоить. Зачем начальству в Артвине знать о таком пустяковом деле. Мы в один миг все исправим, все подправим. Храни тебя Аллах за заботу о правоверных, о нас неразумных! Мы все сделаем лучше прежнего — и мечеть, и нашу воду! Ай-вай, какой начальник, какой сардар на наше счастье направил к нам гусудар-императур! Так и донеси гусудару-импературу — очень мы довольны его милостью!

И сиял при сем Мехмед-оглу всем сиянием востока, так что пред ним стал тускнеть разгорающийся за окном великолепный день.

Мне было досадно осознать, что своего я добился лишь угрозой. Однако досаду я проглотил и совсем ее забыл, когда под впечатлением этого маленького инцидента старшины согласились на мою просьбу, составляющую третий вопрос нашей сегодняшней встречи. Он, третий вопрос, имел следующую предысторию.

Обычно за ранеными должен был приходить санитарный транспорт из Артвина. Но артвинское начальство, явно числя мой гарнизон по величине корпуса, признало “за целесообразность экономии в весьма стесненных средствах возложить отправку раненых и больных на коменданта”, о чем я был оповещен языком безымянного канцеляриста, какого-нибудь плешивого штабса, мечтающего о Станиславе и готовившего черновик приказа. Вместо санитарного транспорта мне было предложили верблюдов. Откуда они здесь в горах взялись, сам черт не разберет, но мне предложили. У меня не было никого, кто бы умел с ними управляться, кто бы знал их. Я вспомнил англичан, формировавших в Афганистане обозы из верблюдов по аналогии с самими афганцами, но с тем упущением, что англичане, как сейчас и мы, верблюдов не знали. Ну, разве что знали, как и мы, одно — верблюды могут долго не есть и не пить, потому в пустыне незаменимы. А ничего другого они не знали и быстро загубили животных. Так что, используя свое преимущество академического знания, — разумеется, я это говорю с иронией и только для того плешивого штабса, который писал свою целесообразность экономии с особенным чувством насмешки надо мной как раз из-за моего образования — так вот, зная случившееся с англичанами, я почел за благо согласиться на сию целесообразность

и по причине ее должен стал ловчиться с отправкой раненых обратными обозными подводами из-под фуража, провианта, боеприпасов, совершенно для отправки раненых не пригодных да и не всегда своевременных. Хотя надо сказать, и санитарные двуколки были ничем не лучше подвод и равно же были не всегда вовремя. Единственным их положительным отличием было присутствие в них, то есть в санитарном транспорте, санитаров или даже сестер милосердия.

Устав ловчиться с обозными подводами и более-то наблюдая, как умирают солдаты, я решился на обыкновенную и самую настоящую сделку со старшинами за счет империи. Чтобы не судить о степени аморальности сделки, я приведу эпизод, от которого я к этой сделке пришел. Надо учесть при этом обязательное обстоятельство, именуемое войной, единственно при котором этот эпизод мог иметь место.

Он произошел в конце апреля. В горах были метели и морозы, но наши части заняли с боя нескольких важных высот и перевалов. К нам поступало довольно большое количество раненых и обмороженных. Обоза из Артвина не было. Мои же лошади должны были ходить с вьюками боезапаса на позиции. Доктор Степан Петрович, приученный к прежней системе отправки раненых, растерялся, что называется, сложил руки, оставил лазарет на попечение четырех своих санитаров и обнаружил в себе печальную и весьма распространенную российскую черту. Он затосковал душой, выразив этически свою тоску в загульном пьянстве.

Я пришел к старшинам в надежде заполучить лошадей у них. Казна средств на это не отпускала. Я предложил остатки моих личных денег. Старшины под разными предлогами отказали. За месяц они увидели разницу между моим отношением к аулу и отношением к нему моего предшественника, однако, вероятно, под угрозой четников к сотрудничеству не спешили. К тому же лошади их, будучи по местному обычаю сплошь верховыми, для наших телег не годились. Тем не менее я пошел в лазарет узнать, сколько человек надо отправить совершенно неотложно. Доктор Степан Петрович шарашился по лазарету и на чем свет стоит ругал санитаров. Я отправил его из лазарета вон проспаться и велел старшему санитару показать мне палаты, в которых меня особенно поразил молодой и сильный солдат с пробитым в височной части черепом. Рана была открытой. По краям она была обработана, но сквозь нее был виден мозг. Солдат находился в полном сознании, совершенно нормально разговаривал, самостоятельно передвигался и совсем не походил на раненого. Он сказал, что сам спустился с позиций, пришел в лазарет и был готов идти дальше.

— Так что же! Может быть, действительно следует собрать партию способных к самостоятельному передвижению и отправить? — придумал я.

— Так точно, ваше высокоблагородие! Да доктор не дают команды, говорят, не положено! Они, раненые, сейчас в силе, а сейчас уже упадут — подсудное дело! — сказал санитар.

Я согласился с доктором — сорока верст до Артвина без лошадей едва ли бы кто осилил. Да и сама посылка раненых пешком выглядела чем-то вроде издевательства, словно у империи и Отечества не было заботы о своих защитниках.

— А этот не жилец, ваше высокоблагородие! — украдкой сказал санитар.

Я и сам видел, что не жилец, и не жилец именно потому, что находился здесь, а не на операционном столе.

— Я бы пешком пошел, — громко сказал соседу солдат. — Да куда с такой дырой. Ветер надует, будет воспаление. Тогда уж доктор не поможет!

— Надеется, ваше высокоблагородие! А уж по мозгу накипь пошла. К ночи в бред впадет! — сказал санитар.

Я увидел, как завтра его закопают без священника, без слез близких ему людей — и только потому, что доктор не взял труда отыскать лошадь. В порыве я приказал арестовать Степана Петровича и, когда проспится, на конюшне высечь. Времена телесных наказаний даже нижним чинам давно были черным достоянием истории, и любое физическое воздействие на солдата рассматривалось преступлением. Я же намерился подвергнуть порке “их благородие”. Легко было представить последствия такого приказа. И с тем большей решимостью я отдал его. С этой же решимостью я вернулся к старшинам. Наутро выделенные ими лошади понесли вьюки на позиции, а мои лошади телегами повезли раненых в Артвин. Молодого и сильного солдата с дырой в виске среди них, разумеется, не было.

Доктор, узнав о моем приказе, пытался застрелиться. Пуля от чрезвычайного его похмельного состояния не сочла за необходимость быть дурой и лишь рассекла да пожгла кожу на голове. Я отнесся к этому событию словами поручика Шермана.

— Приложите ему, то есть доктору Степану Петровичу, — к ране конского навозу и потуже завяжите! Может быть, хотя бы от навозного запаха он вспомнит свои служебные обязанности! — сказал я.

Я и сам не ждал от себя такого приказа. Вероятнее всего, он своеобразно навеялся мне недавним моим столкновением с молодым князем в госпитальном моем городишке и последующим разговором с княгиней Анетой, ее вопросом, живы ли мои отец с матушкой, а коль не живы, так что же, ни перед кем мне теперь не бывает стыдно? Именно отсутствие такого стыда перед родителями, Богом и службой я предположил в докторе Степане Петровиче. А на бесстыжего возможно только одно воздействие — физическое, пусть и вопреки закону.

Через неделю доктор вновь стал пить и, равно как поручик Шерман, стал благодарить меня. Право, страстотерптна русская натура. Я с доктором помирился. Хитрые же старшины придумали предоставлять мне лошадей по первой просьбе, но взамен испросили возможность передвигаться по аулу в комендантское время — для блага управления аулом, разумеется. С моим гарнизоном — взводом лабинцев и полувзводом дружинников — я не был в состоянии контролировать аул, так что, по сути, старшины могли бродить и ездить по нему в любое время. Потому я на их предложение согласился. Это-то и было моей сделкой. Доктор Степан Петрович получил лошадей и похвалу начальства. Я в третий раз избежал суда. То есть все вышло ладным, и можно было бы сказать словами моей нянюшки: “Отстряпался — и ноги в квашню!” — кабы начальство не поставило мне в пример доктора Степана Петровича и не решило забрать у меня лошадей совсем, кроме аульских, разумеется. Лошадей оно забрало и рекомендовало учиться в изыскании дополнительных

средств в трудное для Отечества время у доктора. Я рекомендацию принял к сведению, откозырял и теперь вот поставил свой третий вопрос перед старшинами — вопрос о дополнительном с них количестве лошадей. Я полагал его сложным. Однако инцидент с угрозой разрешил его самым положительным образом.

3

Следом за встречей со старшинами я провел совещание с моими подчиненными. Мы вместе отзавтракали, и мне далее предстояла поездка в Керикскую расщелину. До сего дня я уже поручал прапорщику Беклемищеву позаботиться о дороге. С моими силами и средствами речи о ремонте ее не шло. Казна расходов по дорогам не предусматривала. Я же не мог слышать от обозных жалоб на дороги. Я тем более не мог их слышать, что дорогами они покрывали все свои грехи — и отсутствие заботы о лошадях, упряжи, и свою медлительность, и чрезмерное требование фуража. К тому же я просто хотел помочь нашим воинским частям, раз от разу остающимся и без боезапаса, и без провианта. И я хотел хорошо исполнять свои обязанности коменданта. Я приказал прапорщику Беклемищеву убрать с дороги хотя бы камни, забить мелким булыжником ямы и уже тем облегчить проход вьюков. Но поистине нужно было мне во все вмешиваться самому. Прапорщик Беклемищев, как и его прообраз на Артвинском мосту, ничего толкового предпринять не мог, даром что до войны был артельным. Уж не знаю, как под его началом трудилась артель, а у меня он положительно ни с чем не справлялся.

День переходил в знойный и даже душный. Я несколько раз прокашлялся — столь подводили меня легкие. Махара подвел мне лошадь.

— Сейчас на сенной склад, потом к разбитым водоводам, потом в расщелину, — сказал я Махаре.

— В расщелину? — не поверил он и встревожился. — Ваше высокоблагородие, так ведь конвой не предупрежден!

— Едем без конвоя! — отмахнулся я.

По шести казаков с самого утра уже чистили каждую сторону расщелины — такого конвоя я посчитал вполне достаточным. Взводный урядник Петрючий, несколько избалованный моим предшественником и довольно-таки прижатый мной, сейчас стоял в трех шагах от меня, украдкой вытирал пот с лица и явно молил миновать конвоя. Вообще казаки, как бы сказали у нас на Урале, были кержаковаты, держались особняком и даже свысока. Все как один щеголи, они частенько называли дружинников картузниками, не очень откликались на работы, будто в службе оказались по сильному моему принуждению, а не по присяге. Будучи все друг с другом в родственной связи, они уже этим отличались от дружинников, сорокалетних мужиков, собранных отовсюду. Ну и, само собой, ежедневное изнурение поиска и чистки окрестностей в то время, как служба дружинников заключалась в охране складов внутри аула, тоже обособляли их друг от друга. Я это понимал. И я одновременно испытывал к ним определенную ревность — как будто мне их дали вместо моих бутаковцев насильно.

— Можете отдохнуть, Силантий Ильич! — сказал я взводному уряднику.

Команда, разумеется, относилась не к самому взводному, а к тому отделению казаков, которому сегодня не выпал поиск и которому предстоял он завтра.

Я вообще старался обходиться без конвоя — и не столько в совет сотника

Томлина, сколько в свой характер, которому совет сотника Томлина вышел лишь поддержкой. “Одна голова не бедна, а и бедна — так одна!” — прежде сотника Томлина говаривала моя старая нянюшка, вложив мне это чувство или это состояние в характер.

От крыльца поддержал Махару дежуривший по гарнизону подпоручик Лева Пустотин.

— Ваше высокоблагородие господин капитан! Вы не можете нарушать приказ о конвое! — крикнул он. — Или вы хотя бы меня снимите с дежурства. Я поеду с вами!

Я в начальнической амбиции показал на свой и его погоны.

— Ну так я доложу о вас по команде! — в полушутку сказал Лева, потому в полушутку, что “по команде” — это значило мне.

Я ему нравился, и тревога его была неподдельной. А когда к нам мешком — иного не сказать — когда к нам, опаздывая и мешком, подъехал не умеющий держаться в седле прапорщик Беклемищев, Лева совсем растревожился:

— Да вот теперь вы тем более мишень!

Этакого дерзкого поведения в отношении своего сослуживца я оставить не мог.

— Подпоручик Пустотин, извольте извиниться! — сказал я.

Лева и сам понял свою дерзость. Одно дело было насмехаться над прапорщиком Беклемищевым в канцелярии, и другое дело было дерзить в присутствии нижних чинов. Лева сильно покраснел, набычился и извинился неискренне.

Подпоручик Лева Пустотин мне нравился. В характере своем он непостижимым образом сочетал две черты — это при общем тоне доброжелательности и ума. Он был деятелен и вальяжен одновременно. Он мог в одну минуту и работать, и созерцать, мог быть и реалистом, и мечтателем. Он искал дела, и если его не находил тотчас, оставался довольным наедине со своей внутренней работой. Вообще не найти дела в нашем положении было нельзя. Он однако умудрялся его не находить и не находил, думаю, как раз из-за присутствия второй неразделимой его черты, из-за его вальяжности. Он, бывало, собирался что-то делать и вдруг останавливался, занятый то ли пришедшей мечтой, то ли удивлением перед чем-то. Физически он был развит — костист, строен. Он любил физическую работу, любил спортивные упражнения, особенно любил английскую игру футбол, имел кожаный мяч с резиновой камерой и играл с мячом на стрельбище, беря для игры дружинников, мало разделяющих его увлечения. Он был вальяжен. Но одновременно же он делал много и с удовольствием, ловя задачу на лету. Он был надежен.

— Да пожалуйста, пожалуйста, подпоручик! Принимаю ваши извинения! — кажется, впереди слов Левы и в удовольствии угодить зачастил прапорщик Беклемищев. Выражение его лица стало каким-то совсем тупым и затравленным. Несколько волосков на крупном носу, кажется, даже при этом встопорщились.

— На сенной! — тронул я лошадь.

На сенном складе сено с арб метали в стога. Начальник склада малоросс Сичкарев, унтер подлинно хозяйственный, сам хватающийся за длинные деревянные вилы, был весь в сенной трухе, налипшей на него, кажется, в палец толщиной. Работа ему явно доставляла удовольствие. Но он считал неизбежным ругать возчиков, метальщиков и само сено. Я не могу полностью здесь привести его выговора, но ругался он примерно так.

— Та яко ж це сино! — тыкал он в лицо возчику выхваченным из воза пуком. — Воно ж крэпче твоей охлобли! З йохо ж тильки баррикаду строить! Тоби ж за йохо пан капитан хроши платить! — и бежал к метальщикам. — Та хто ж так працюе! Хто ж таки малэсиньки навильники берэ! Та у моей кумы титьки бильше твойохо навильника! — он выхватывал вилы, цеплял едва не воз целиком и, закусив нижнюю губу, выпучив глаза, бегом тащил этот воз к стогу, с размаху, но точно в указанное место кидал его, отступал, оглядывал стог — не скособочился ли — и говорил: — Ось! — то есть надо полагать: — Вот!

Возчики и метальщики были местными. Они возили на склад купленное у них казной для войск сено. Разумеется, унтера Сичкарева они не понимали, но слушались, по-крестьянски видя в нем своего человека.

— Усе будэ порядком, ваше высокоблахородие! — заверил меня унтер Сичкарев.

Не задержались мы и на разрушенном водоводе. Там меня ждал подручный старшины Вехиб-мелика и разводил руками. Поодаль, несколько прячась, сидела любопытная толпа ребятишек и женщин. Я показал подручному грязь и многочисленный свежий навоз вокруг.

— Да, да! — прижимал руки к груди и кланялся подручный.

Я посчитал нужным сказать свою утреннюю угрозу про солдат, оплату и про арест с отправкой в Артвин.

— Да, да! — кланялся подручный.

Дальше, пока мы ехали аулом, явно сопровождаемые многочисленными и не видными нам взглядами, я был спокоен и даже доволен тем, что не взял конвоя. В дополнение своему характеру я еще видел то, что в тесных, кривых и глухих улочках, под нависающими кронами плодовых деревьев конвой, то есть несколько скученных всадников, смотрелся чужеродно, излишне, смотрелся какой-то несоразмерностью и вызывал раздражение даже у меня — а что уж оставалось сказать про местных! Это я увидел с первого дня и с первого же дня не захотел быть аулу излишним, несоразмерным, чужеродным. С первого же дня я стал ездить без конвоя, редко с одним-двумя казаками. Я отдавал себе отчет в том, что чуда не бывает, что те мои черты характера, которые внушают людям нечто во мне значительное, в данном случае совсем не пригодны, ибо хватит лишь одного выстрела с дальнего расстояния. Но именно сознание того, что хватит лишь одного выстрела с дальнего расстояния, дополнительно подсказывало мне совершенную ненужность конвоя.

Другое дело было в поле, то есть вне аула. Едва мы миновали последний сарай, последний глухой забор, едва оказались среди полей, среди кустарников и в виду вздыбливающихся в полуверсте отвесов гор с воронкой входа в расщелину, как сразу же потерялись, сразу же превратились в нечто малое, незначительное и беззащитное. Но и тут выказался мой характер.

— Потерялись, так тем более нам спокойнее без конвоя! — сказал я.

Еще загодя, еще с расстояния, едва позволившего увидеть ее, расщелина дышала холодом и неким — не найду иного слова — дышала неким зловещием, являя своего рода образ озера Кусиян. При виде ее Махара снял с плеча винтовку, послал патрон в ствол. Следом и прапорщик Беклемищев вынул револьвер. Оба скосили глаза на меня. Я хотя и посчитал тревогу беспричинной, все же сделал вид, будто ничего не заметил. Однако Махара почел нужным объяснить.

— Да ведь снять им нас оттуда ничего не стоит! — показал он на отвес гор и вход в расщелину.

— Пустое! — из жалости к нему взял я серьезный тон. — Здесь полверсты, то есть тысяча триста шагов. Разве это расстояние для прицельного выстрела?

— Они все могут! — сказал Махара про четников словами сотника Томлина.

— Из-за угла! А здесь углов нет! — одернул я Махару.

— Да мне что, ваше высокоблагородие! — вспылил Махара, однако вовремя осекся: — Виноват, ваше высокоблагородие! Я за себя не боюсь. Я за вас боюсь!

Чтобы отвлечь их, я стал старательно тыкать рукоятью плети во все бесчисленные колдобины и каменья дороги, в ее ужасные укосы, по которым неизвестно как проходили вьючные лошади. Дорога была столь непригодной для передвижения, что просто не имела права дорогой называться. Я тыкал в нее плетью и бессчетно говорил прапорщику Беклемищеву:

— Убрать, засыпать, сровнять, спрямить!

Он столь же бессчетно отвечал мне уставным “Так точно!”, хотя я видел — ничего “точно” ему не было. Ему не было даже понятно то, о чем я говорю. Но из жалости я на него не злился. Я только видел, что исправить дороги невозможно. Но мне хотелось ее исправить, и я упрямо командовал:

— Убрать, засыпать, сровнять, спрямить!

— Так точно, так точно, так точно! — отвечал прапорщик Беклемищев.

Этак мы продвинулись на расстояние, когда Махара сказал:

— Дальше не пущу, ваше высокоблагородие!

Я поглядел на отвесы и расщелину. Они стояли перед нами, уже закрывая небо. Мы были столь маленькими, что сама возможность стрельбы по нам показалась смешной. Стылые недвижность и зловещест входа в расщелину превратились в множество отдельных пятен света и теней, играющих в массе древесных крон и как бы саму расщелину уничтожающих. Она в этих пятнах растворялась, сливалась с общей массой отвеса, и было немного странно — как же мы могли ее издалека

видеть.

— Вот равно же следовало в Кусиян разок окунуться, и… — сказал я, имея далее сказать, что весь миф о нем развеялся бы.

Однако сама мысль о Кусияне, о его стылой недвижной и черной поверхности содрогнула меня, и слов я не досказал.

— Вы что-то скомандовали, ваше высокоблагородие? — спросил Махара.

— Только команду “Вперед!” — вскричал я в дурости, схожей с дуростью Раджаба во время мнимой его атаки наших позиций.

Махара запоздало вскинулся. А я пустил мимо него лошадь в галоп. Оба спутника мои в седлах едва держались на обыкновенном-то шаге. Любой иной аллюр был для них губителен. Потому я с первых же шагов остался в одиночестве и так в одиночестве достиг расщелины, миновал первые и теплые ее дерева вперемежку с колючими кустарниками и въехал в синий уплотняющийся сумрак многоэтажно сомкнувшихся вверху крон. Толстостволые деревья вместе со стенами расщелины резко взмывали вверх, так что про самые нижние еще можно было сказать, что они опирались о землю, про все последующие же само собой напрашивалось впечатление, будто они висят вдоль стен. Толстые и гладкие стволы походили на обнаженные женские ноги, а кроны — на многочисленные юбки, и я как бы оказывался под ними. Излишне говорить, что я несколько возбудился от такого необычного моего пребывания, вспомнил, уже казалось бы, исчезнувшую Наталью Александровну, последнее наше свидание и мое последнее обладание ею, оскорбительные ее слова. Я не удержался воскликнуть в ее адрес свое негодование, в целом, конечно, фальшивое, так как с того мига, с оскорбительных ее слов и до сей минуты она мне даже не вспоминалась. Я воскликнул, а голос мой с полуметра расстояния вернулся ко мне, словно я оказался замурованным.

Я остановил лошадь. Спутников моих не было слышно. Я подумал — если сейчас четники следят за мной, то непременно остановку принимают за мою нерешительность, и я не нашел ничего иного, как спешиться, присесть на ближайший камень и достать блокнот.

— То-то будет картина моим робким спутникам! — в несколько искусственном спокойствии сказал я, и слова “робкие спутники” употребил намеренно, полагая их словами из словаря поэтов лермонтовской поры. — Будет им картина из альбома князя Гагарина: “Бывалый кавказец в виду абреков пишет письмо невесте”.

Напоминаю тем, кто про этот альбом запамятовал, — в сороковых годах прошлого века, то есть именно в лермонтовскую пору, участник Кавказской войны князь Гагарин исполнил большую и подлинно талантливую серию рисунков с изображением эпизодов войны, портретов, видов гор, бытовых сценок из жизни местных народов и наших солдат. Мне всегда доставляло удовольствие смотреть этот альбом в гимназической библиотеке. И сейчас я был бы совсем не прочь знать о наличии в этом альбоме той сценки, которую я намерился собой изобразить.

Я вытащил блокнот, а лошадь моя подняла голову, вся собой устремилась в глубь расщелины и заржала. Я обмер и прежде, чем успел подумать о каком-нибудь

нашем обозе, уже успел сунуть блокнот в планшетку, а потом еще успел расстегнуть кобуру. Обычно, мне рассказывали, в нужную минуту кобура никогда не расстегивается — вечно застежка встает вперекос. У меня же вышло так ловко, что не только кобура расстегнулась, но курок револьвера взвелся сам собой. Он взвелся, четко щелкнув, и от щелчка я опомнился. Я оглянулся по сторонам. Левая сторона дороги дремуче обросла колючим кустарником. За ним вполне можно было спрятаться вместе с лошадью. Я шагнул туда и сразу одной ногой провалился в яму, с размаху сел на колючки, а полетевшие из-под ноги камни глухо ударились в глубокое дно.

— Какого черта! — закричал я на прапорщика Беклемищева.

Я закричал на него в том смысле, что давно следовало бы ему эти кусты, по сути являющиеся ловушкой, вырубить. То есть и сейчас я сначала был весь в службе, а уж потом, извините, — тыльной частью своей на колючках.

Боль от колючек едва не заставила меня охнуть. Я бы и охнул, если бы не спохватился своего крика, если бы следом не сообразил о том, как я сейчас гляжусь — это после великолепного-то гагаринского рисунка о бывалом кавказце, пишущем в виду абреков письмо невесте. Но более всего меня задело представление о том, что сейчас на меня таращатся четники, те самые абреки. Они таращатся, потому что не верят, какая удача им свалилась. Они рот разинули от такой удачи и забыли, что им надо просто заскочить мне за спину и ятаганом снести мою дурную башку. Это представление, разумеется, подвигло меня к действиям. Я смолк и без раздумий откинулся на спину, единым махом выдернул провалившуюся ногу, а затем вскочил. Что уж там при сем затрещало — колючки ли, несчастные мои штаны, сами ли тыльные части — о том думать мне не было времени. Я даже не стал ощупывать себя, проверять, насколько целы мои тыльные части. Да и что было проверять. Они сами дали знать о себе, лишь я шевельнулся. Я почувствовал побежавшую и пропитывающую подштанники кровь. Но я весь устремился слухом в густую тишину расщелины. Абреки, то есть четники, были сейчас для меня повсюду — и рядом разевали рот от свалившейся удачи, и стремительными перебежками приближались, и, пожалуй, уже вязали руки моим незадачливым спутникам. Я подумал, как бы не забыть считать мои выстрелы, чтобы последнюю пулю оставить себе.

А лошадь опять вскинула голову. На этот раз она учуяла моих спутников. Они вышли из-за поворота спешенные. Я махнул им стоять. Знака моего они не увидели и еще на подходе, скрывая свой конфуз, преувеличенно разахались:

— Да Борис Алексеевич, да господин капитан, да разве же можно так рисковать!

Я едва не в конвульсии от охватившей меня ярости пригрозил им кулаком. Они поняли, как по команде присели и юлой завертелись на месте в надежде увидеть и выстрелить первыми.

— Едрическая сила! — прошипел я им словами Самойлы Василича.

Мне стало как-то по-мальчишески злорадно, как-то подловатенько хорошо. Я даже залюбовался ими, вертящимися от страха, и подумал про себя как про

человека, от которого во всем зависит их жизнь. “Вот! — подумал я. — Если сейчас меня убьют, они непременно погибнут! — И с тем еще подумал: — Ну стоит ли вот так жить, как живут они? Ведь хоть сколько-то надо быть готовым ко всему в жизни!” И себя я видел готовым, а их нет.

Я их такими увидел, и девать мне их стало некуда.

— Не обучены-с! — сказал я.

Иных не было. И с такими мне сейчас предстояло принимать бой. Я захлестнул повод за куст, махнул спутникам своим не вертеться средь дороги, а спрятаться и в несколько прыжков сменил место, перескочил вперед, на противоположную сторону дороги, за большое с большими корневищами дерево. Стрелять отсюда оказалось неудобным. Я перескочил еще вперед, за большой камень, а от него — за другой, на прежнюю сторону дороги. При этом я немало покряхтел от своих многочисленных и так называемых ран, а уместившись за камнем, пощупал их на предмет, не проступила ли кровь сквозь штаны, увидел, что проступила, и поморщился, представляя Леву Пустотина да и вообще всех — то-то им будет потайной потехи: командир на ежа сел!

— А вот только попробуйте хихикнуть! — мысленно погрозил я и сам над собой едва не рассмеялся: ну, захихикают, и что я им сделаю? — Вот жизнь казачья! — снова сказал я словами Самойлы Василича. — Сегодня кон, а завтра Иерихон!

Выдвинулся я с прежнего места вперед всего на четыре десятка шагов, но мне хорошо стал виден поворот расщелины. Более того, отсюда я хорошо различил в глубине расщелины, за поворотом, мерную конскую поступь. Кто-то не спеша ехал в нашу сторону. Причем он ехал столь не спеша, что каждые несколько шагов останавливался и, видимо, тщательно просматривал дорогу или таился. В силу приказа о запрещении одиночного передвижения всем чинам армии этот “кто-то” был или местным, или четником — вернее-то, даже именно четником, так как местному столь внимательно дорогу разглядывать не было нужды, как не было нужды таиться. Я стал ждать его и стал думать, что мне с ним делать, если он окажется четником. Стрелять вот так, в упор, в человека, пусть и четника, но человека, не ожидающего меня, было невозможно. Окликать — тоже. Ведь я уже обладал опытом их хитрости на пикете у урядника Тетерева. Не зная, что мне делать, я сердито выругал его, этого одинокого всадника.

— Чем так трусливо ездить, лучше вообще не ездить! — сказал я.

А он, осторожный всадник, будто услышал. Он вдруг прибавил шагу.

— Ну, — сразу успокоился я. — Пропускаю и слежу, нет ли за ним второго. И если мои воины, — конечно, слово это я употребил с иронией, — если мои воины его не одолеют, то с сорока метров я его из револьвера вполне сниму.

Иное в это время думали мои воины. Мысля стратегически, они решили создать ударный кулак за моим камнем и со всей решимостью пробухали ко мне. С “необученных-с”, с них взять было нечего. Я молча пронаблюдал их старательную перебежку, похожую на бег коровы с полным выменем, и того счастья из перебежки себе нашел, что отпадала мне нужда беспокоиться о них в случае, если

пропущенный мной четник окажется проворнее их двоих. Я молча указал им лежать за моим камнем, а сам, разумеется, кряхтя и ругаясь, перебежал немного вперед и только-то ткнулся меж камней, как увидел выходящую из-за поворота одинокую оседланную лошадь — без всадника.

— Под брюхом или где-то рядом с лошадью крадется! — решил я о всаднике мужицким резоном, который, как известно, характеризуется безотчетным неверием всему, исходящим из безотчетной же веры во все: “Я тебе не верю, потому что верю, что это не так!”

Но лошадь приблизилась, и я увидел — никого под брюхом ее нет. Да и лошадь была не местной, а нашей, этакой горно-артиллерийской, большеголовой и коротконогой, то есть, проще говоря, какой-нибудь вятско-сольвычегодской породы, и седло на ней было наше же.

— Да? — спросил я сам себя и сам же ответил: — Да! Он же, то есть четник, ссадил пулей нашего и теперь этой лошадью маскируется!

Но лошадь прошла мимо, и ничего, то есть никого, я за ней не заметил. Она угрюмо, походя этим на Иззет-агу, мотала большой и низко опущенной головой. Веяло от нее обыденностью, обозом, скукой. Я со вздохом и непременным кряхтением поднялся.

— Берите ее, ведите наших лошадей, поедем дальше! Какой-то раззява плохо ее привязал! — сказал я.

— Ну, пронесло, Господи! — отважился на личное мнение прапорщик Беклемищев.

— Да? — с некоторой издевкой спросил я.

— Так точно, Борис Алексеевич! Лошадь-то я узнал! Лошадь-то из команды фельдшера Харитонова! Вот и тавро на ней наше, вот посмотрите! — радостно ответил прапорщик Беклемищев.

— Да? Ее что, Харитонов одну посылает? — с прежней издевкой спросил я.

Меня удивило само то обстоятельство, что прапорщик Беклемищев что-то может знать и отличать, а не только затравленно таращиться сквозь свои волоски на кончике носа.

Удивление толкнуло меня на мелкую пакость. Я и сам поверил в то, что лошадь отвязалась и ушла. Однако сейчас я решил предположить другое, то есть решил вернуться к предположению о том, что нашего солдата пулей ссадил четник. Я чувствовал, что это не так. Но вопреки себе, из мелкой пакости, родившейся от удивления и какого-то жуткого ребячества, может быть, даже от этакого мщения за свои расцарапанные колючками тылы, я решил вернуть прапорщика Беклемищева в его обычное состояние, когда он, по моем предположении, ничего не знает и лишь на все сквозь свой волосатый нос таращится. — Ее ваш Харитонов одну посылает? — сказал я с намеком на пулю четника.

— Да как же одну — нет! — сказал прапорщик Беклемищев и только потом испугался своей догадке. — Одну-то как же! — и вытаращился на меня едва не с

мольбой. — Так как же это? Одну-то ведь — нет!

И было в нем столько не от офицера, даже не от артельного, а всего лишь от мужика, что я по-настоящему взбеленился и, если бы не присутствие Махары, резко бы ему выговорил. Но при Махаре, нижнем чине, резкость свою я вынужден был проглотить.

— Ведите лошадей, рядовой! Едемте вперед! — приказал я Махаре.

И потом я нарочно поехал в открытую, перемогал жжение царапин и слышал позади бесформенную посадку прапорщика Беклемищева, заставляющую лошадь спотыкаться. Постоянно и в злорадстве слыша ее спотыкания, я иного ничего уже не слышал — не услышал даже шума приблизившейся речки, и она, речка с водопадом и бродом, открылась сразу. Ее не было, не было, и вдруг она объявилась. И сразу на другом берегу под кустами мы увидели двух убитых наших солдат.

Не знаю, каков стал я, а воины мои позеленели. Махом мы слетели с седел. Это, в принципе, нас нисколько не спасало, если не сказать наоборот. Расщелина перед речкой несколько раздавалась, и мы оказались на пустом пространстве — так что вернее было бы пустить лошадей трехкрестовым аллюром вперед. Но мы слетели с седел. Я кинулся к ближайшей каменной россыпи и на бегу удивился тому, сколь послушно моя лошадь пустилась за мной. Только падая в камни, я почувствовал, что тяну ее за повод. Оба воина мои, конечно, срепетировали меня и притащились следом. Я молча схватил у Махары винтовку — в моих руках от нее было больше пользы. А он перехватил мой повод и потом остался стоять меж двух лошадиных морд, скорчившийся, будто от дождя. Прапорщик Беклемищев упал рядом со мной. Я не смог вынести его тяжелого и какого-то суетного дыхания, словно он не дышал, а впотьмах и в спешке шарил по мертвому человеку. Я приказал ему переместиться за лошадей, найдя причиной приказа необходимость хоть какого-то подобия круговой обороны.

Боя здесь мы бы не выдержали. Это было очевидным. Как я уже сказал, расщелина к речке несколько раздалась и образовала своеобразную треугольную призму, на дне которой мы оказывались, так что любой выстрел со сторон призмы, то есть ее стен, был бы нам роковым. Но перемещаться куда-либо уже не было смысла — бегающие, мы были бы перестреляны с равным же успехом и с тем для четников удовольствием, что не могли бы прицельно отвечать.

Мы упали в каменной россыпи. Я проверил в стволе патрон, встал на колено лицом к той стене, что оказалась бы сзади, если бы мы продолжали свое движение вперед. Мне отчего-то верилось — именно на этой стене сидели четники. Никакого здравого объяснения тому не было. Я лишь почувствовал эту стену самой страшной. Не отрываясь от нее, я приказал Махаре лечь.

— Пустое, ваше высокоблагородие! Сейчас дождем посыплется! — ответил Махара, что-то обречено прибавляя на своем языке.

Доводу его возражать не приходилось. Но я бы не был командиром, если бы стерпел неподчинение. К тому же меня задела эта непреходящая черта местного народа чувствовать себя равным господину.

— А ну по-русски разговаривать, рядовой! — прошипел я и тем уже был хорош, что не обругал Махару.

Он же мне вдруг предложил молиться.

— Молитесь, ваше высокоблагородие! — сказал он мне и сам затянул псалом, да столь отчетливо затянул его, что слова чужого языка мне впечатались. — Исмине чеми гагади, меупев чемо! — запел он, а я то ли от наития, то ли от интонации его угадал: поет он один из псалмов Давида, примерно вот это место: “Внемли гласу вопля моего, Царь мой!”

И хотя явление угадать чужой язык было необычным, новое неподчинение взъярило меня.

— Вон, вон кого отпевать надо, поп! — в ярости показал я на убитых.

Он понял мои слова за команду, неловко переступил по камням и вместе с лошадьми пошел туда. Мне оставалось только посмотреть на конские крупы.

— И это солдаты! — в презрении бросил я.

Но это на самом деле были солдаты, и это были мои солдаты.

Прежде чем встать и пойти самому, я оглянулся на свою стену, потом махнул винтовкой, мол, я здесь, я тебе самый опасный и стрелять прежде всего надо в меня. Стена смолчала. Я встал. Присохшие к подштанникам царапины треснули. Я невольно свободной левой рукой схватился за зад. Прапорщик Беклемищев оглянулся. Я отдернул руку. Но, кажется, он заметил, если, конечно, предположить, что он что-то сквозь свои волоски на носу замечает. Он бессмысленно и по обыкновению затравленно осклабился. Мне подумалось — как же нижние чины могут называть его благородием.

— Вперед, прапорщик! — с истомой от ожидания выстрела в спину сказал я.

— Да-да! Так точно! — засуетился прапорщик Беклемищев.

А истома наплывала непреодолимая, корежащая, скручивающая, заставляющая выгибаться и сводить лопатки. Наплывала она не то сладкая, не то знобливая и какая-то определенно чесоточная, с великим желанием раскаленной бани и горячей воды. Я словно оброс струпьем. Перенести эту истому, это струпье было выше моих сил. И было в то же время желание того, чтобы это все длилось сколько угодно долго. Само желание не получить выстрел в спину, а ждать его, то есть жить, было счастливым.

Вероятнее всего, это было обыкновенной трусостью. Чтобы преодолеть ее, мне моего боевого опыта не хватало. Потому я трусливо и глупо, как Махара, пошел к речке, первым ступил в нее, захлестнувшую мне голенища, споткнулся несколько раз на камнях и вышел на другой берег, кажется, уже с дыркой меж лопаток.

При моем приближении рой больших мух слетел с убитых. Жужжание их вплелось в клекот реки, в псалом Махары, в шаги лошадей, в молчание стен. Была в этом какая-то красивость, какая-то декадентскость, чего, конечно, я никогда не переносил. Я повернулся к Махаре с приказом замолчать. И в это время раздался

выстрел. Я столько дернулся, что мне за себя стало стыдно. Сразу у меня получилось и дернуться, и осознать себя трусом. Более того, сразу же получилось отметить некоторую неладность в выстреле. Раздался он не от стены, а от убитых солдат. И раздался он как-то особенно, даже странно, раздался не выстрелом, а гораздо более мягким звуком. Однако осознать, не отметить, а осознать, постичь эту неладность получилось у меня уже после того, как стыд меня захлестнул, после того, как ударом сердца пробухала целая секунда. Стыд захлестнул, секунда пробухала — и я постиг, что выстрел был каким-то странным, каким-то живым и донельзя привычным звуком.

— Федор, ты чо? Кожа короткая, что ли? — спросил недовольно один убитый солдат.

— А? — со сна отозвался ему другой.

— Кожа короткая, что ли, говорю. Глаза закрыл, так зад открылся? — снова спросил первый убитый солдат.

— Дак чо! — лениво отмахнулся второй.

Я же при сем, как бы это сказать, не при выстреле, а при сем весьма не благородном, но весьма естественном действе и при сем разговоре двух, опять же как бы это сказать, двух убитых солдат встал в нерешительности или в каком-то ином, но похожем на нерешительность и не имеющем никакого отношения к службе, чувстве, мол, как же, ведь неудобно присутствовать при интимном отправлении ветреной — или ветряной, сразу и не определиться с грамматикой — нужды. Я так остановился, а потом, напрочь забыв об уставе, о мундире офицера, о своем начальническом положении, сел снимать сапоги и выжимать портянки — дескать вот как я ничего не вижу, ничего не слышу, при сем не присутствую. Из такого моего поступка само собой выходило — за восемь лет службы я ничему не научился. Из этого же выходило — я принадлежал к той категории солдатиков, про которых Раджаб, передразнивая кого-то, говорил словом “не обучены-с”.

Службу же проявил прапорщик Беклемищев.

— Что? — взревел он и замахал револьвером.

А я сидел и отмечал, сколь все его движения не отточены, сколь они пусты и некрасивы. Но с тем же я отмечал как раз и некое присутствие в нем службы.

— Что? Скотоартель! Встать! Смирно! — взревел прапорщик Беклемищев и далее плеснул на солдат каким-то бесконечным языковедческим исследованием, среди которого я смог выделить лишь слова о том, что мать этих солдат должна быть как-то очень сложно раскочевряжена, ибо являлась она не кем иным, а расщелиной болотной, причем не просто расщелиной болотной, а еще и через кобылью трещину и куда-то в какой-то суконно-моченый чулок.

Появление самого слова “расщелина” в его языковедческом труде было объяснимо, а все остальное было плодом фантазии, формотворчеством, тою же красивостью и той же декадентскостью, которых я переносить не мог. Я заморщился и посмотрел на застывшего Махару, словно бы пригласил его увидеть красивость и декадентскость в прапорщике Беклемищеве, увидеть и равно же заморщиться.

Солдаты оказались бородатыми мужиками, действительно санитарами из команды фельдфебеля Харитонова. Они были посланы за медикаментами. Но страх их перед четниками вышел столь велик, что лишил сил. Они шли-шли, а потом легли и уснули.

— Спаси Бог, какого страху терпеть приходится, ваше высокоблагородие! — сказали они мне.

— Что значит “приходится”? Вы этак не в первый раз? — спросил я.

— Да каждый раз на этом месте. Ровно кто ноги подсекат. Как до воды доходим, так падам и спим! — сказали они.

— А потом? — спросил я.

— Потом ништо, ваше высокоблагородие! Потом все ладно. Потом — слава Богу! — в облегчении, будто их уже миновало, затрясли они бородами.

Да и то сказать, одна винтовка с одной обоймой в пять патронов на двоих смелости не множила. Армия катастрофически не получала оружия. Сказывался тот экономический закон, о котором с удовольствием говорил Владимир Леонтьевич, закон, по которому Германия со своим потенциалом в мизинец против потенциала России с ломовую лошадь била Россию, или как передавал с удовольствием же, чисто российским удовольствием, чью-то остроту один из офицеров Артвинского штаба, они, германцы, крыли нас снарядами, а мы, русские, крыли их матом. Воевать нам ставало нечем. В папке у меня на столе росла кипа заявок от боевых частей на боезапас, удовлетворить которые я мог едва ли каждую десятую.

— Ныне без раненых обошлось идти, слава тебе, Господи! Ныне хоть раненых не везем. Что-то притих ныне турок! — сказали санитары.

— Почему он притих? — спросил я.

— Так что, ваше высокоблагородие, потому что метет ныне страсть как. Здесь теплынь и духота, а у нас метет. Не знам, как обратно доберемся! — снова затрясли бородами санитары.

Далее до Керика мы добрались без затей и повернули обратно.

— Вам понятно задание, прапорщик? — спросил я про дорогу у прапорщика Беклемищева, и мы повернули обратно.

По выходе из расщелины духота ударила чувствительно. Чусовские наши скалы-бойцы и кулебяки, то есть громоздившиеся по северной, морской стороне, тучи, о которых я уже упоминал, будто сжали воздух и как-то зримо приблизились. Едва мы доехали до аула, как они стали мертветь и желтеть, а потом с размаху упали на нас желтой стеной каменного по своей плотности и тяжести дождя. До вечера все на эту стену таращились, все ею восхищались, испытывали некое удовольствие от ее силы, от сознания своего присутствия при этой силе. К вечеру же с заметной боязнью этой силы все стали прижиматься ближе друг к другу, стали собираться кучками. Пришли в канцелярию взводный урядник Петрючий, унтер Сичкарев, доктор Степан Петрович. Пришли, поставили в сенях негнувшиеся от воды шинели, обтерли сапоги и смирно расселись на лавку вдоль стены.

— Водица! — сказал каждый с одним и тем же выражением боязливого восхищения, а потом каждый прибавил еще заранее придуманную причину прихода.

Я сказал Махаре приготовить баню. По сговору его с дружинником, состоявшим при кухне, дружинник держал баню постоянно горячей, и сейчас ему составило трудов, как говорят в таких случаях у нас на Урале, баню только выбздавать, то есть напустить с каменки жару и закрыть. Я хорошо выпарился, потом немного посидел в предбаннике, через открытую дверь которого мне к ногам летели осколки и пыль — иного не сказать — желтой дождевой стены. Потом я ушел к себе в комнату, одышливо повалился на тахту. Я стал понимать — если дожди будут повторяться со столь быстрой периодичностью, мне здесь не служить.

4

Утро вновь стало великолепным. Я проснулся от сильного желания женщины. Во сне ко мне пришла Наталья Александровна, обнажилась — вся легкая, чистая, светящаяся изнутри, как, вероятно, могла светиться не она, а Ксеничка Ивановна. Она подошла близко-близко, обдала меня теплом. Я увидел ее светлые и беззащитные курчавинки на том месте. Я подхватил ее и положил в постель. А она мне вдруг сказала о предстоящей ей сегодня поездке в Японию.

— Да вы же там мне измените! — вскричал я.

— Нет! — сказала она нежно, но вместе и отчужденно, так как говорят человеку, с которым уже расстались, но к которому еще таят какое-то чувство. — Нет. С господином Куроки мы будем общаться только духовно.

— Вот вздор мелете, барышня! — вспылил я и не замедлил проявить свои академические знания. — Коли бы ваш муж учился в академии, то бы превосходно знал сам, — сказал я и отчего-то был доволен своим словом “превосходно”, — он бы превосходно знал сам и вас бы, барышня, научил тому, что следствием японской дисциплины является странная способность обезличивания. Если бы их император поменял Куроки с Ноги, каждая из японских армий была бы в восторге — и это при том, что каждая из армий по-прежнему оставалась бы превосходно боеспособной только против посредственности! Это коренным образом отличало японцев от русской и всех европейских армий!

Я сказал это отчетливо, будто наяву, и сам своим словам удивился. Слова эти принадлежали британскому штабному генералу Гамильтону и были некогда мной употреблены в докладе об операции под деревней Сандепу во время нашей войны с Японией десять лет назад. Думаю, излишне пояснять, что имена Куроки и Ноги — это имена японских командующих армиями в той войне.

Я проснулся с мыслью, уж не Саша ли подает мне знак.

— Да о чем же он может подавать знак? — стал думать я, а видение обнаженной Натальи Александровны меня отвлекло. — Ах, Наталья Александровна! Ах, как бы я вас!.. — сказал я и с какой-то, похожей на вчерашнюю, подловатой мстительностью отметил, что так светиться могла бы только Ксеничка Ивановна.

Я несколько раз глубоко вздохнул, послушал свои легкие, вздохнул еще и еще раз — каждый раз все глубже. Легкие никак не отзывались. Я вскочил с постели с удовольствием и закричал Махаре подавать мне сапоги.

— О чем же ты вчера в расщелине гнусавил? — спросил я его со смехом.

— Виноват, ваше высокоблагородие! — засмущался он.

— А ну-ка, спой еще раз! — попросил я.

— Виноват, не помню, ваше высокоблагородие! — отказался Махара.

— А я помню! Кажется, вот это: “Внемли гласу моему, Царь мой!” Да? —

сказал я, но лишь сказал, как по ритму и по какому-то другому неуловимому признаку почувствовал, что Махара вчера говорил что-то иное. — Нет, погоди! — сказал я. — Погоди, рядовой, кажется, я вру! Кажется, другое! Сейчас, сейчас!

Вчера слова псалма на его, Махары, языке и на русском языке как-то удивительно совпадали, а сейчас не совпадали. Я вернулся в ту секунду, когда мы с прапорщиком Беклемищевым упали в каменной россыпи, а Махара остался стоять и довольно сильным, поставленным в семинарии голосом запел псалом. Слова его, Махары, языка впечатались мне. Я вернулся в ту секунду и вспомнил.

— Вот, вот эти слова: “гагади” и “меупев”! — сказал я.

— А, это! — по-ребячьи обрадовался Махара. — Это вот как! — он речитативом стал читать на своем языке, и в строчке-другой я вновь различил угаданные мной слова: “Исмине чеми гагади, меупев чемо!” — только звук “г” он сказал мягко, как его говорят малороссы.

— А по-русски это можешь? — спросил я.

— Да, учили мы и по-русски! — сказал Махара.

— У нас нет священника. Ты теперь будешь нам его заменять! — придумал я.

— Помилуйте, ваше высокоблагородие! — испугался Махара. — Я ведь не рукоположен! Я не закончил курса. Мне нельзя!

Я уже сам понял, что сморозил непотребное. Но мысль моя мне понравилась. Наш священник — один на весь Артвинский гарнизон — если бы даже разорвался на части, все равно везде бы не успел. А казакам и дружинникам, набожным уже в силу возраста, помолиться иной раз было просто необходимо.

— Воину и в пост скоромное есть не грех. Так что за неимением настоящего священника службу будешь исполнять ты. В воскресенье утром и исполнишь! — приказал я и вспомнил, что у Александра Васильевича Суворова любимым был девяностый псалом, светлый, жизнеутверждающий, ничего не просящий, не этот: “Внемли гласу вопля моего!” — а пронизанный верой в нерушимость единения Бога и того, кто его славит.

Я спросил, помнит ли этот псалом Махара.

— Мне бы посмотреть, ваше высокоблагородие! — запереживал Махара.

— Вот и хорошо. Посмотришь и в воскресенье обязательно его прочитаешь. Он очень будет хорош казакам и солдатам!

А со двора вдруг раздался угрюмый голос Иззет-аги. Махара посуровел. Я про себя улыбнулся его перемене и велел звать Иззет-агу в канцелярию.

— Слушаю тебя, уважаемый Иззет-ага! — сказал я ему.

— Твой царь велик, Нурин-паша! — угрюмо сказал он.

— Наш царь, Иззет-ага! — поправил я.

— Велик он и оттого, что имеет таких нукеров, то есть слуг, как ты! — еще более угрюмо сказал Иззет-ага.

— Спасибо на добром слове! — прервал я его.

Иззет-ага свою восточную словесность оставил и, глядя мне прямо в глаза, столь же прямо сказал:

— В лесу есть не захороненные аскеры!

— Сделайте доброе дело, Иззет-ага, захороните со всеми почестями, положенными по вашему обычаю! — попросил я.

В своем великолепном настроении я ничего не увидел в том, что он говорил мне не одним-двумя словами: бу-бу, бу-бу! — а можно сказать, стал оперировать развернутыми предложениями.

— Да, — кивнул он. — Но прежде ты, Нурин-паша, должен посмотреть их!

Мне совсем не хотелось ехать в лес, смотреть на обглоданные и разложившиеся останки. Я сказал, что пошлю своего офицера. Иззет-ага отрицательно мотнул головой:

— Нет, Нурин-паша. Прошу тебя, приезжай ты. Тебя будет ждать мой человек. Вот он! — Иззет-ага показал в окно на своего племянника, с которым постоянно появлялся у нас. — Как найдешь время, он проводит тебя!

— Да что за необходимость! — несколько вспылил я, но не потерял настроения, а Махара слов моих не перевел, явно сказал что-то другое.

— Очень прошу, господин капитан! — сказал по-русски Иззет-ага, глядя вместо меня на Махару, из чего я вывел, что он у Махары специально выучил эту фразу.

— Хорошо! — сказал я.

Иззет-ага ушел. Его племянник перешел на противоположную сторону площади и сел в тени шелковицы. Я уже знал — если я не поеду в лес, он здесь просидит хоть месяц и весь месяц будет мне укором. Поступали ли они так при прежнем начальнике, Бог ведает. Но меня они выучили.

— Что-нибудь он еще сказал тебе, пока ты его звал в канцелярию? — спросил я Махару.

— Ничего, ваше высокоблагородие! Но ехать вам самим туда не надо! — сказал Махара.

Подобные дела были в ведении прапорщика Беклемищева, и действительно, следовало послать в лес его. Но игнорировать просьбу Иззет-аги и тем более пренебрегать данным словом было просто из рук вон.

— Надо! — сказал я.

— Возьмите конвой, ради Бога, ваше высокоблагородие! — опять сказал Махара.

Как и вчера, я отказал в конвое.

— Тогда прикажите взять гранаты! — сказал Махара.

Это оружие — ручные гранаты, или гранаты, предназначенные для метания

вручную, без артиллерийского орудия, мы получили неделю назад. Я привез их из Артвина, где с нами провели подробный инструктаж по их применению. Там же мы их испробовали в действии. Эффект получился великолепный. При слаженном действии и при хорошей выучке солдат ручная граната могла стать великолепным и незаменимым оружием. Из Артвина я привез их четырнадцать штук. Четыре мы истратили в тотчас же организованном учении, предварительно измучив людей метанием дубовых, сходных по весу и конфигурации болванок. Грохот, разрушительное действие, разброс осколков и оставляемая воронка всем чрезвычайно понравились. Все стали просить себе хотя бы по одной штуке. Но я закрыл гранаты в сейф.

— Что тебе, рядовой, вечно мерещится? — фыркнул я на Махару.

Здесь доложили о прибытии обоза из Артвина.

— Едва дотянули до казаков — как он хлынет! — сказал про дождь старший обоза.

Под казаками он разумел последний перед нами казачий пост на дороге. Обоз привез почту. Мне пришли два письма — от сестры Маши и от Ксенички Ивановны. Скреплены они были канцелярской скрепкой, и к ним приложилась записка от Паши, от поручика Балабанова, адъютанта полковника, то есть генерал-майора Алимпиева, с приветами от всех батумцев и пояснением, что письма в Артвин переправляет именно он. На конверте Маши тоже была прикреплена бумажка с батумским адресом, подписанным Ксеничкой Ивановной, из чего я понял, что письмо пришло сначала в госпиталь. Это была первая мне почта сюда. И сказать, что я обрадовался, было бы мелко. Я взволновался — особенно взволновался письму Ксенички Ивановны. Но я взволновался как-то не радостно, а тревожно, будто увидел причиной ее письма ко мне письмо сестры Маши. Пришло в госпиталь письмо Маши, и Ксеничка Ивановна была вынуждена, отправляя его в Батум, написать свое письмо.

— Ну да, — сказал я с ревнивыми и болезненными ударами сердца. — Кабы не Маша, то ничего бы вы не написали мне, Ксеничка Ивановна!

Я так сказал. Но я в это не поверил. Я поверил в то, что Ксеничка Ивановна пусть робко, но написала мне в противовес своему жестокому заявлению о том, что не любит меня. Она долго мучилась и никак не могла найти возможности исправить свою жестокость — а тут письмо моей сестры Маши! Превозмогая себя, ненавидя себя, но и любя себя за свою справедливость, она написала несколько строк, робких, но более правдивых, нежели то ее жестокое заявление.

Вот так у меня вышло — без любовного восторга, без нетерпения, без всего того, что обычно должен бы проявить человек в моем положении. Вышло только с описанным чувством тревоги и ревности и ожидания какой-то беды, так что более захотелось просто держать письма в руках, более знать о них, но не читать. Верно — любить я не умел.

А прочитать письма сразу у меня и не вышло.

Отдохнувший за ночь в казачьем посту обоз я приказал загрузиться ранеными и

тотчас отправиться обратно. Потом у меня появилось другое дело, потом третье, потом приспело ехать к Иззет-аге. Его племянник смирно сидел под шелковицей. Я хотел взять его к себе в седло. Он отказался и пошел впереди.

Зная предстоящее, мы поехали натощак. И застали мы картину несколько неожиданную. Аскеры были хотя и наспех, но захоронены нашими солдатами еще в марте. Однако могила сейчас была разворочена — и совсем не лисами или шакалами, как уже случалось по причине малой глубины могил. Она была разворочена посредством лопат. Трупы были разбросаны, некоторые раздеты. И каждому в срамные места или в провалы ртов были воткнуты прутья со свежими листками бумаги. Толпа в два десятка аульчан, мучаясь от запаха, сидела поодаль могилы. При нас все они встали.

— Вот такое дело, господин капитан! — показал на могилу Иззет-ага.

Я молча спешился, пренебрегая репутацией, ткнул нос в платок и подошел к трупам.

— Это что за бумажки? — спросил я прежде всего.

Иззет-ага длинным прутом выковырнул одну. Я увидел начертанный углем восьмиконечный православный крест.

— Чьих рук дело? — спросил я Иззет-агу.

Махара перевел. Аульчане взволновались. Иззет-ага махнул им молчать.

— Вот это, — показал он на крест, — никто из нас делать не может!

— Такой кривой крест из нас тоже никто делать не может! — буркнул Махара после перевода слов Иззет-аги.

Я же после его бурчания вдруг увидел, что нижняя перекладина креста опущена не слева направо, как то положено, а наоборот. Такая ошибка ничего не значила. Ее вполне мог сделать каждый православный. Но я уже видел, что здесь имеет место чья-то обыкновенная провокация, то есть даже не чья-то, а известно чья. Я только возмутился бессовестности и жестокости этой провокации. Потому я воспользовался ошибкой при изображении креста. Я вынул из планшетки лист бумаги и карандашом жирно нарисовал крест так, как положено.

— Вот, Иззет-ага. Вот так рисуют крест православные! — я даже обвел кружком нижнюю перекладину. — И смотрите, как он нарисован у вас!

Иззет-ага понял меня с полуслова. Я полагаю — так он и без меня обо всем догадался. Он молчал. Я позвал прапорщика Беклемищева и велел составить об увиденном подробный акт. Прапорщик Беклемищев привычно сгорбился, подогнулся и было кинулся приказание исполнять. Зная, что все исполнение приказа у него выльется в бестолковую беготню до самого вечера, я остановил его, дал бумагу и продиктовал пункты, которые он должен отметить в акте. Потом я как можно дружелюбнее, но и недвусмысленно твердо обратился к Иззет-аге.

— Иззет-ага, — сказал я. — Еще раз прошу тебя взять заботу об останках. Необходимую оплату за работу я произведу. Мой офицер сейчас составит документ,

который будет доведен до главнокомандующего армией и наместника государя-императора. Виновные понесут суровое наказание. Тебе следует подписать этот документ в качестве очевидца злодеяния.

Иззет-ага продолжал молчать. О чем он думал, я сказать не мог.

— Прости, уважаемый Иззет-ага, у меня много иных дел, и я должен уехать! — едва сдерживаясь, сказал я. — Но я настоятельно прошу тебя подписать документ в качестве очевидца. От этого будет зависеть успех поиска злодеев!

Конечно, моему рапорту в Артвин хватало лишь моей подписи. Но привлечь к документу местного начальника я считал необходимым для успокоения местных жителей, которым подпись их начальника на нашей бумаге означила бы нашу незыблемую правоту, как то на самом деле и было. И про разрушенный водовод, и про эту могилу я подумал одним словом: “Четники!” — и следом подумал, что Саша и впрямь подает мне тревожный знак, что в ауле кто-то с ними связан, что завтра же со старшин следует строго спросить.

Я пошел к лошади.

— Подожди! — попросил Иззет-ага и заговорил со своими людьми.

— Приказывает прибрать все в самом лучшем виде! — перевел Махара.

О происшедшем более мы не сказали ни слова. Иззет-ага пригласил отобедать у него. Я согласился. Ражита Прекрасная с сестрами сидела в углу двора перед большой полстью и теребила шерсть. Девочки при виде нас по-взрослому смутились и вместе с работой убрались с наших глаз. Ражита обдала меня испытующим взглядом и остановилась, отстала от сестер. Я издалека откозырял ей и равно же ответил испытующим взглядом. Она поджала губки, прикрылась ресницами и с чисто женской грацией отвернулась. Угрюмое лицо Иззет-аги на миг потеплело. Тут же две девочки постарше принесли нам холодной воды с сиропом — напиться с дороги, потом принесли скамеечки и кувшин с водой. Иззет-ага сказал нам разуться — девочки будут мыть нам ноги.

— Это излишне, Иззет-ага! — запротестовал я.

Он лишь дернул щекой.

— Надо уважить обычай, ваше высокоблагородие! — сказал Махара.

— Нет! — сердито сказал я. В самом прикосновении нежных детских ладошек к моим ногам я нашел нечто унижающее всех нас.

— Обычай, господин капитан! — сказал Махара.

Иззет-ага стоял и смотрел на меня, подобно Ражите, с испытанием.

— Обычай так обычай! — сказал я, разулся и сел мыть себе ноги сам.

Одна из девочек попыталась перебить меня.

— Нет, нет! — преградил я путь ее ладошкам.

Она жалобно оглянулась на отца. В ее глазах я увидел незаслуженно полученную обиду. Она будто спросила отца: “За что же этот надутый господин

меня наказывает?” Я посмотрел на Махару. Он, навроде падишаха, величественно и отрешенно подвернул штанины, ступил босыми ногами в таз. Опять он был равен мне, а то и превосходил меня, своего начальника. Я вздохнул и отдал себя, то есть свои ноги, в полное распоряжение дитя.

За обедом появилась моя наставница — видно, не выдержала заданного тона отношений. Потихоньку она приблизилась к столу и, кажется, взглядом сказала отцу, что ее приход вызван исключительно благотворительными целями, ведь этот — не знаю, уж как она величала меня, ну, например, так, — этот возомнивший себя сардаром человек совершенно ничего в жизни не понимает, и наша задача хоть чему-то научить его. Отец молча выдержал ее взгляд. Она посчитала это достаточным, повернулась ко мне.

— Вот все-таки шерсть теребить и прясть — это женское занятие! — сказала она.

— Во всех ученых книжках написано обратное. И я пришел просить твоего отца взять меня теребить шерсть, а тебя отпустить на мою должность управлять гарнизоном, то есть аулом, казаками и солдатами! — сказал я.

— Нет! — убежденно сказала она и вновь оглянулась на отца. — Нет. Я буду теребить шерсть. А ты будешь воевать. Я тебе свяжу носки, очень красивые. Тебе в них будет тепло воевать!

— Да, спасибо. Но мне еще бурку надо! — стал просить я, а она стала говорить, что бурку она мне свалять не может, этим занимаются специальные люди.

— Ну что ж, я буду ждать носков. Мне очень тепло будет в твоих носках воевать! — сказал я и вдруг в какой-то странно и всего-то на миг накатившей горячей волне я ляпнул: — А ты пойдешь за меня замуж?

Она будто ждала этого. Она построжела, разрумянилась, снова прикрылась ресницами и ответила:

— Если папа позволит.

Горячая волна хлынула вновь. У меня задрожали руки и что-то подкатило к горлу, едва не пресекло мне дыхание. Рубцы слева зашевелились. Чтобы не дать им стянуться, я постарался незаметно отклониться вправо. Мне стало ясно-ясно, как перед боем. “Между нами двадцать лет, — отметил я и следом с дрожью, сроду мне не присущей, ни разу не испытываемой, спросил себя: — Так, кажется, я ее люблю?”

Разумеется, этого быть не могло. Разумеется, это было вздором — подлинное чувство к шестилетней девочке. Но творящееся сейчас со мной я никаким иным чувством назвать не мог. Ничего похожего я не испытывал ни к Наталье Александровне, ни к Ксеничке Ивановне. Это было для меня совсем новым чувством. Мне стало страшно.

— У нас на родине мужчины женятся в сорок лет. Выкуп за невесту очень большой. Приходится долго его собирать! — услышал я Иззет-агу и подумал: “Так ведь он дает позволенье!” — подумал именно этим не складным словом, а потом

понял его слова совсем наоборот: “Да какое же это позволенье! Он же говорит о большом выкупе и сорокалетнем возрасте. Это же отказ!” И два чувства один за другим, как — простите за банальность — как две хорошо положенные гранаты, бухнули во мне. Первая граната принесла облегченный вздох навроде тех, какие рождаются при выходе из трудного положения. “Слава Богу! Он мне отказывает!” — с облегчением вздохнул я. Вздохнул и почувствовал — вздох был гибельным. Он открывал во мне труса, он даже давал мне вспомнить вчерашний мой страх в расщелине и мой страх от случайной пули во время дурацкой атаки Раджаба. “Я везде и всегда трус!” — пришлось бы завопить мне при подобном вздохе. Этого я себе позволить не мог.

И хорошо, что была вторая граната. “Не отдашь — умыкну!” — примерно этак бухнула она, и затем, в последующих после ее взрыва пустых безвоздушных секундах, я стал вспоминать глупый наш вчерашний разговор — эти жуткие мои слова, совершенно неизвестно откуда взявшиеся: “Скажи-ка, уважаемый Иззет-ага, каков здесь выкуп за невесту?” — и его ответ: “Ныне десять коров!” Я стал в лихорадке говорить, какой же-де большой, коли в десять коров! В десять коров — это совсем не большой!

От этих слов я запутался, потому что еще вспомнил о только что упоминаемом сорокалетнем возрасте, и в том смысле вспомнил, кому же-де, какой Ражите, какой юной девушке я буду нужен в сорок-то лет, ведь уже небось буду морщинистым и плешивым, а ее сердце будет уже отдано другому, молодому и красивому. Я стал считать разницу в годах с Ражитой в ту пору, когда мне будет сорок лет. Я ее сосчитал очень ловко — себе лета я прибавил, а Ражите нет. У меня разница вышла астрономической, обыкновенно для меня гиблой. С такой разницей в моем представлении следовало уже думать не о женитьбе, а о душе, то есть готовиться к встрече с Богом и предками.

Так бухнула вторая граната. Так мне стало в ее пустых после взрыва секундах. Но это не было облегченным вздохом. Это не было и потерей времени в поисках решения лучшего. Все после второй гранаты было сладостью от моего нового чувства.

— Экий ты, Иззет-ага! А я дождусь сорокалетнего возраста! — молча и в превосходстве сказал я, а потом в еще большем превосходстве возразил себе: — Да отчего же я буду ждать его, своего сорокалетнего возраста! Вот вздор! Я умыкну дочку у тебя, Иззет-ага! Я дождусь ее шестнадцатилетнего возраста и умыкну! Двадцать лет разницы — это не препятствие. Между сестрой Машей и ее мужем Иваном Михайловичем почти такая же разница!

Я увидел, как и вчера в расщелине, себя героем картинки князя Гагарина “Русский офицер-кавказец умыкает невесту-горянку, а родственники невесты преследуют его”.

Махара со вниманием посмотрел на меня. Я хотел спросить, что он смотрит. Однако при его взгляде я как бы обо что-то запнулся. Мне стало стыдно своего превосходства, будто я сделал что-то подлое. Я увидел, что Махара меня понял, он все обо мне понял. Мне стало стыдно. “Нет, Махара, ты понял не так! Ты ничего обо

мне не понял!” — сказал я, и меня понесло ввысь, будто из ямы или того лучше — из воды, из того озера, куда меня с мыслью научить плавать ребятишки бросили. Я понесся вверх, от дна вверх. Мне стало светлей, потом еще светлей. Я увидел всех — умного Махару и ставшую за этот миг для меня новой Ражиту. Я увидел все-все по-новому. Я и сам стал новым. Я вдруг почувствовал, как скатились с меня девяносто лет, которые пришли мне и моему подпоручику Кутыреву в горийском госпитале, а может, пришли еще раньше, может, пришли еще на речке Олту, когда я очнулся от контузии, встал, вынул шашку и сказал: “Полусотня!” Я почувствовал — девяносто лет с меня скатились, и именно эти девяносто лет не дали мне в госпитале полюбить Ксеничку Ивановну. Они не дали мне должным образом объясниться с Натальей Александровной. Никто, конечно, меня не понял — ни Ксеничка Ивановна, ни Наталья Александровна, ни сотник Томлин. Но и я никому ничего не захотел сказать. Я вел себя, словно жил через девяносто лет, в две тысячи каком-то там году, в таком году, которого никогда не будет и который, кстати, никому не будет нужен. Я и подпоручик Кутырев — один контуженный, а другой умирающий — жили в том две тысячи каком-то ненужном году. И жизнь в том году нам с подпоручиком Кутыревым не давала жить. А теперь девяносто лет скатились. Я стал новым. Я сосчитал свои годы. Мне оказывалось всего двадцать шесть лет. Это было превосходным. Мне было стыдно за себя перед Ксеничкой Ивановной и перед Натальей Александровной. Мне было стыдно перед Ражитой и Иззет-агой за свою картинку “Офицер-кавказец… и как там еще”. Но мне все равно было превосходно. “Негодяй! — сказал я себе, зная, что вру, что совсем я не негодяй, а обыкновенный влюбившийся человек. Но с тем большим нажимом я сказал себе еще раз: — Негодяй! Тебя любят, и ты любишь, негодяй!”

— Что? — спросил я Махару, готовый обнять его.

Махара мне улыбнулся и вполголоса сказал дать Ражите какой-нибудь подарок. Я полез по карманам и ничего там не нашел. Ничего там, кроме носового платка и перочинного складного ножика, не было. Я полез в планшетку, хотя равно же и там ничего, кроме бумаг, карты местности, компаса и карандашей, не было. Но я полез и наткнулся на скрепленные вместе письма сестры Маши и Ксенички Ивановны. Ражита, проказница, тотчас догадалась о причине моей суеты. Не поднимая ресниц, она вперилась в мою планшетку, и я явственно увидел, как она вздрогнула в тот миг, когда я наткнулся на письма.

— Бог ты мой! Она почувствовала письмо от Ксенички Ивановны! — едва не вслух завопил я.

Ражита, не сдерживая ресниц, не отводя от писем застывшего взгляда, подвинулась ко мне. Я, будто уличенный в нехорошем поступке, повернул письма туда-сюда, мол, что ж тут такого, обыкновенное дело, письма. А письмо Ксенички Ивановны лежало первым. А красивый ее почерк вопиюще меня выдавал, он просто кричал Ражите о моей коварности, о моем негодяйстве, он ей кричал, что таким красивым почерком пишут только тогда, когда испытывают обоюдное чувство. Ведь вот посмотри, — кричал он Ражите, — посмотри, как мило, но как скромно, в каком достоинстве выдержано и какой сестринской любовью украшено другое письмо. И посмотри, ведь оно лежит вторым. А первым лежит это, которое говорит об

обоюдном чувстве! Этот негодяй любит не тебя! Он любит Ксеничку Ивановну!

Хотя было как раз наоборот, хотя я любил именно Ражиту, но вопреки истине письмо Ксенички Ивановны кричало так, и я ничего не нашел лучшего, как только передернуть письмами туда-сюда, мол, вот, письма.

Эти мои передергивания письмами туда-сюда были сродни поведению прапорщика Беклемищева, вечно не знающего, что делать, и вечно старающегося этого не показать. Я, наверно, столь же затравленно уставился на Ражиту. Она что-то сказала Махаре. Он перевел.

— Говорит, ваше высокоблагородие, очень красивые! — сказал он.

— Кто? Кто красивая? Ксеничка Ивановна? — спросил я.

Махара спросил Ражиту и перевел ее ответ.

— Она не знает, как назвать конверты, но говорит, очень красивые! — сказал он.

Конверты были обыкновенными, плотной белой бумаги, продолговатые, с красиво написанными адресами, несколькими разноцветными штемпелями на каждом и марками с изображением русского богатыря. На каждой марке стояла надпись: “Почта России. Сбор в пользу семей погибших воинов”. Конверты были обыкновенными — не без прелести, какую несут в себе любые пришедшие и проштемпелеванные конверты, но все-таки обыкновенные.

Вот и подарите, ваше высокоблагородие! — подсказал Махара.

— Да-да! — с готовностью согласился я.

Вместе с ним мы отпарили над кипятком клей на клапанах. Письма я убрал в планшетку — конечно, убрал с тем видом, будто они мне нисколь не интересны. Махара же в каждый конверт вложил по бумажному рублю.

— Тебе и твоим сестрам от дяди Нурина! — сказал он Ражите.

И счастливейшее из всех осчастливленных, сие создание, забыв о своем суженом, утренним ветерком упорхнуло в дом.

Мне показалось, Иззет-ага посмотрел на меня с испытанием. Я без колебаний ответил ему прямым взглядом. Перед ним и перед Богом я обязывался через десять лет приехать за Ражитой. Я ни от кого не требовал мне поверить. Я знал — это будет. Я был выплывшим на поверхность, я был не где-то там, в две тысячи неизвестно каком году. Я был в двадцатишестилетнем возрасте. Я был новым. Каким именно новым, я сказать не мог. Я только чувствовал — новизна во мне что-то подчеркнула, что-то выявила. Мне стало тревожно и томительно сладко. “Как же я когда-то думал, что у меня нет дома и мне некуда будет идти после войны!” — с удивлением стал думать я. И будто дом у меня уже был. И будто что-то еще, что-то огромное и всеохватывающее было у меня, будто я понял мир. Я стал смотреть на всех в надежде передать им часть этого моего нового. Мне стало необходимо одарить их этим новым, будто в ином случае я останусь в одиночестве. И я стал тревожиться, одарю ли.

Уже мы завершали обед, как вошел человек Иззет-аги и доложил о прапорщике Беклемищеве. Я попросил привести его, прочел составленный текст, внутренне поскорбил над стилем, но исправлять ничего не стал, дал Махаре для перевода, потом дал Иззет-аге.

— Тебе следует это прочесть и подписаться! — сказал я.

Иззет-ага угрюмо помолчал, потом ответил, глядя прямо перед собой, что он бумаги подписать не может.

— Отчего же? — спросил я.

Иззет-ага оглянулся на своего человека и о чем-то ему распорядился. Тот принес из дома небольшой чересплечный ковровый мешок, называемый хурджином. Иззет-ага взял его и сказал:

— Вот, ты можешь забрать меня в крепость!

— Эх, Иззет-ага! Разве это важно в жизни! — сказал я, новый, поблагодарил за обед и пошел со двора.

А что именно было важным в жизни, я сказать не мог. Я только хотел одарить всех пришедшим мне новым, и мне было жалко Иззет-агу, не имеющего этого нового.

Кажется, с внутренней галереи дома мне полыхнули глаза Ражиты. Но, вернее всего, это было моей фантазией.

Иззет-ага сам вывел со двора мою лошадь, в почтении взялся за стремя. Я не удержался широко и медленно провести ладонью по теплым камням стены его дома. Я не стал садиться в седло, а пошел пешком. Иззет-ага послал с нами провожатым против собак племянника. Он пошел впереди, я — за ним. Мне в спину мерно и мягко заклокали четыре четверки подков, завзбрякивали трензеля. Лошадь задышала мне в погон и ухо.

С ее дыханием, с каждым шагом я вдруг стал возвращаться в войну, в возраст через девяносто лет, в ранения, обморожения, контузии, увечья, смерть. Я вспомнил про сон с его тайным знаком. Я попытался объяснить этим знаком все сейчас открывшееся. Но только что бывшее все новым и понятным, превосходным, стало чужим, малопонятным и, кажется, даже ненужным. Мне стало плохо. Я сказал себе, что вновь я блеснул отсутствующим у меня умом и показал такой вольт-фас — прием вольтижировки, замысловатее которого едва бы кто сделать сумел. С каждым шагом война ставала ближе, и с войной стала приближаться Ксеничка Ивановна.

— Вот так вольт-фас! Вот так вольт-фас! — стал говорить я.

В канцелярии я прошел к себе в комнату, велел Махаре никого не пускать. Я прямо в сапогах лег на тахту и намеренно первым взял читать письмо сестры Маши.

Она по-женски писала много и обстоятельно. Она писала, что Бориска с хорошими отметками завершает класс и даже победил в гимназическом конкурсе на исполнение вальса среди сверстников. Ираидочка растет не по дням, а по часам. Иван Михайлович получил назначение в округ Касли и уехал, но по причине учебы

Бориски и по причине неготовности квартиры в Каслях сама Маша покамест туда не едет. Летом она с детьми, конечно, отправится на бельскую дачу. Если Иван Михайлович высвободит время, то отвезет их. Если же нет, то отвезет им назначенный человек. И хорошо бы, писала Маша, если бы я испросил после госпиталя отпуск да приехал к ним.

В свои новости она вплела новости городские и первой, явно самой значимой, сказала новость о больших пожарах. “Ужасы произошли у нас недавно, Боричка, ну просто ужасы военного свойства, — написала она. — Случились такие пожары, что враз сгорели усадьбы купцов Яниных, Протасовых и доктора Спасского. Еще их не успели потушить, а уж на Тихвинской опять загорелись и сгорели три дома. А в нижнем этаже одного, кажется, у Владимирова, размещался лазарет для раненых наших воинов. Сколько они, бедные воины, опять настрадались. Но, слава Богу, все спаслись. Говорят и пишут теперь, что пожарные команды только в трубы свои дуть умеют да усы под блестящими касками расфуфыривать. Ведь все пожары случились совсем у них под боком, а они ни с которым не справились. У них была даже паровая машина для подачи воды, но она оказалась в запущенном состоянии и не стала работать. А говорят, рабочие механического завода, увидев ее работу, то есть отсутствие работы, сказали, что машину надо было смазывать маслом. Пожарные же, видно, употребляли масло для смазывания усов. Всего сгорело шесть домов, и убытков хозяева понесли очень много. Я говорю нашему Ивану Филипповичу — он постоянно шлет тебе поклоны! — я ему говорю, чтобы был особенно аккуратен с печами. Но он, кажется, и без того аккуратен. Ну да ведь ты знаешь Ивана Филипповича. Топить печи мы еще не перестали. Весна скверная, холодная. Мужики из деревень говорят, что этаким будет весь май, что сев придется проводить в грязь. Опять моему Ивану Михайловичу достанется в полях. Он ведь ни за что не будет сидеть в управе, когда такие кругом тяготы. По приметам, и лета не будет. Те же деревенские мужики говорят, это-де все германский Вильмей, то есть император Вильгельм, посылает нам порчу. Дрова и хлеб за эту весну подорожали на четверть”.

— Вот и тебе, сестрица, мои же заботы о дровах и хлебе! — невесело усмехнулся я из своего возраста через девяносто лет. Мне очень захотелось сказать ей обо всем. Я не знал, поймет ли она. Я и сам ничего понять не мог. Но я решил вечером ей обо всем написать, обо всем — это, конечно, и о Саше, и о Раджабе, и подпоручике Кутыреве, Ксеничке Ивановне, сотнике Томлине, ну да обо всем.

Я не мог далее читать. Я стал обстоятельно вспоминать каждую секунду во дворе у Иззет-аги, каждый жест Ражиты, каждое слово. Вместе с войной приблизился мой возраст через девяносто лет, приблизилась Ксеничка Ивановна, письмо которой лежало у меня в планшетке уже распечатанным. Но я не хотел ни возраста, ни войны, ни Ксенички Ивановны. Я хотел только вспоминать каждую секунду во дворе у Иззет-аги, вспоминать Ражиту, не смея называть ее ни именем, ни еще как-то, кроме сладостного слова “ее”, дающего мне право считать ее своей любимой, а себя — ее любимым. Я подумал, что меня убьют.

А служивые мои в соседней комнате притихли. Был послеполуденный час, и обычно служивые мои в этот час совели и, если меня не было в канцелярии, забывались недолгим чумным сном. Одному мне некогда было не только

вздремнуть, а и вспомнить об этом.

— Вы, ровно коренник, без устали, Борис Алексеевич! — говорили мне мои служивые.

Вообще, мне их было жалко. Но работы было много, и больше жалости я исповедывал дисциплину, а потому не давал распорядка, по которому они могли бы после обеда иметь хоть получас перерыва. Я считал — дай получас, они завернут весь час. А по некотором времени привыкнут и прибавят еще. Пусть уж лучше выкраивают, кто как тороват, да боятся и тем дисциплину соблюдают.

Я закрыл глаза и уснул. Мне вновь, как утром, привиделась обнаженная Наталья Александровна с тем же светящимся, как я мог предположить только у Ксенички Ивановны, телом. Через семь минут я проснулся. Я проснулся и тотчас вспомнил Ражиту. Мне не было стыдно за увиденное — а было так, будто я увидел ее, повзрослевшую. Я свернул письмо сестры Маши, а письмо Ксенички Ивановны читать не стал. Я убрал его обратно в планшетку со словом, что прочту вечером.

Я пошел из комнаты. Я впервые за всю здешнюю службу решил дать себе несколько минут свободного времени. Но тотчас же понял, что не знаю, куда их потратить.

5

Махара сидел подле двери. Щекой он прислонился к прохладной стенке. Из открывшегося рта выкатилась полоской слюна. Он походил на спящую собаку. Мне захотелось ему гавкнуть. Дежурный офицер Лева Пустотин сидел прямо, будто на экзамене по этикету, но смотрел чудесный сон. Вопреки ему заведующий канцелярией Сергей Абрамович Козлов, из военных чиновников, не снимая пенсне, положил голову на созданную для того стопку бумаг. Ухо, торчащее в потолок, было толсто и красно — Сергей Абрамович только что повернул голову. Начальник финансовой части закрыл дверь в кассу. Но я знал — открой я сейчас дверь, мне бы стала картина его спящего, но держащего пальцы на счетах, да так держащего, что при оклике: “Алексей Прокопьевич!” — пальцы его в ту же секунду защелкали бы костяшками счет, а лицо приняло бы недоуменное выражение, как же, мол, так, что-то не в порядке в предъявленной платежной! В углу с совершенно затравленным видом сидел прапорщик Беклемищев. Глаза его были открыты и испуганно, даже с ужасом, смотрели на кончик длинного толстого носа, на коем от тяжелого дыхания, выдвигающего вперед нижнюю губу, колыхались давно не стриженные сивые волоски. Он смотрел на эти волоски, но тоже, равно своим сослуживцам, видел нечто эфирное. А ведь я всего каких-то десять минут назад уединился прочитать письмо.

За вычетом Левы Пустотина и Махары все они были нестроевые, призванные из запаса, и служба была им тяжелым бременем. Они тосковали по семьям. Тоска и прежняя привычка гражданской жизни постоянно отвращали их от службы, погружали в длинные докучные разговоры обо всем на свете, кроме, разумеется, самой службы.

Порой они вообще переходили на всяческие байки вольного характера, переходили на анекдоты, обращая в их героя прапорщика Беклемищева.

— Один отставной коллежский, — начинал, например, из окошечка кассы Алексей Прокопьевич и не договаривал звания, какой коллежский — то ли коллежский регистратор, то ли коллежский секретарь, то ли коллежский советник. Он так начинал, а остальные тут же оставляли дела и, из предосторожности не меняя поз, с жадностью его слушали. — Один отставной коллежский попал на день ангела к кому-то из бывших сослуживцев, где оказалась одна молодая особа, сильно желающая выйти замуж за чиновника, хотя бы и отставного, лишь бы за чиновника, — и далее шел совсем недавний анекдот, всей солью которого была отнюдь не сия особа, а входящее в моду изобретение всевозможного рода аббревиатур и сочетаний усеченных слов, при котором, например, вместо слова “Главнокомандующий” стало приличным говорить “главком”, вместо “генерал-квартирмейстер” — “генкварт” и далее так же, например, вместо командира корпуса, начальника дивизии, начальника штаба армии приличным стало выдавать исключительные по своему безобразию слова “комкор”, “начдив”, “наштарм” и даже начальник караула стал неким “начкаром”. Не знаю, но небось в Петрограде так и государь-император уже именуется каким-нибудь “госимпом”.

Вот в такой анекдот Алексей Прокопьевич включил прапорщика Беклемищева.

Сам прапорщик был тут же, в полном восхищении слушал и совсем не догадывался, что анекдот в сущности о нем.

— Ну вот, лишь бы чиновника! — говорил Алексей Прокопьевич. — Выпили они шартрезу или чего там!

— Анисовой! — подсказывал Сергей Абрамович.

— Крыжовниковой! — осмеливался от восхищения прибавить свой вкус прапорщик Беклемищев, совсем не замечая, что анисовая водка Сергеем Абрамовичем упомянулась неспроста, а в передразнивание отчества прапорщика.

— Ну вот, выпили они шартрезу, анисовой и крыжовниковой! — радостно подхватывал подсказки Алексей Прокопьевич. — И головка-то у той особы вскружилась, в грудках-то, — при этом слове все всхихикивали, — в грудках-то дыхание сперлось, и она ну айда нашему одру курбеты строить:

— А что же, Агафон Анисимович, — и при этом совсем уже становилось видно, что Алексей Прокопьевич с Сергеем Абрамовичем взялись поиздеваться над прапорщиком Беклемищевым. И при этом становилось видно, что слово “коллежский” следовало неукоснительно сочетать только со словом “регистратор”, выводя чин, соответствующий чину прапорщика. Обоим, и Алексею Прокопьевичу, и Сергею Абрамовичу, этакое шифрование приносило просто наслаждение. Однако сам прапорщик Беклемищев того не замечал и был уже тем доволен, что имел наслажденье же не мчаться на присогнутых куда-нибудь и по какому-нибудь приказу, которого он совершенно не усвоил, а сидел при солидных, на его взгляд, людях и радовался довоенным разговорам.

— А что же, Агафон Анисимович! — тоненько и с французским подражанием, выражающимся в замене у определенных слов звука “е” на звук “ю”, спрашивал за подхмелевшую и страждущую чиновничева замужества особу Алексей Прокопьевич. — Как же у вас нынче, за службу есть-с пюрпюнс?.. Ну то есть персональная пенсия, — пояснял своим голосом Алексей Прокопьевич и тотчас переходил на тон старого отставника, скрипящий и булькающий: — Нету-с, барышня!

— А может, Агафон Анисимович, — переходил Алексей Прокопьевич на тон особы. — Может быть, у вас за выслугу есть пюрмунд?.. Ну то есть персональный за выслугу мундир, — пояснял Алексей Прокопьевич и вновь спешил ответить за отставного: — Нету-с, барышня, и сего нету-с!

— А может быть, у вас, Агафон Анисимович, за службу пюрблаг-с есть-с? — в надежде спрашивал Алексей Прокопьевич за особу и отвечал скрипуче и булькающе, как бы даже в изнеможении: — Нету-с, барышня, и персонального благодарственного адреса нету-с!

— Так что же у вас есть, одр вы этакий? — в негодовании кричал за особу Алексей Прокопьевич и в ответ, уже не сдерживаясь и уже торжествующе кричал конец анекдота, кричал слова отставника: — А у меня, барышня, есть только пюрхюр да и тот в гармошку!

Неописуемо счастливый смех встрясал мою канцелярию. Вместе счастливо

смеялся прапорщик Беклемищев.

Сейчас при первых моих шагах подпоручик Лева Пустотин распахнул глаза, будто не спал, вскочил в свой довольно высокий рост, одернул гимнастерку и рявкнул:

— Господа офицеры!

Я дал себе удовольствие его не остановить.

После команды Левы Пустотина в кассе раздался гулкий треск костяшек, сопроводившийся удивленным ворчанием по поводу якобы несуразных цифр платежной. За сим сгремел упавший стул, отворилась дверь, и в проеме предстал Алексей Прокопьевич без фуражки, но спросонья взявший под козырек. Сергей Абрамович от команды двинулся в сторону и уронил бумаги вместе с пенсне.

— А? Рази рыбного отведать? — во сне сказал он и некоторое время не мог понять, отчего же вместо рыбных пирогов его незабвенной Пульхерии Ивановны ему приходится наблюдать уроненные военные бумаги.

Прапорщик Беклемищев при команде безмолвно сорвался к двери и явно встретился бы с косяком, не заступи ему дорогу Лева Пустотин.

— Полноте, полноте, господа! — как можно мирно сказал я и остановил доклад Левы, который он по своей юной смешливости от увиденного все равно не смог бы сделать.

Я пошел в лазарет. С первого здешнего дня я сделал себе правилом приходить на отправку транспорта с ранеными, попрощаться, поблагодарить за службу, пожелать выздоровления. Я, конечно, не был их командиром. Кому-то, может быть, я был тыловой крысой. Кто-то, возможно, мог быть раздражен моим против них здоровым видом. То есть могло статься, не всеми мои слова нужно воспринимались. Тем более, что мой лазарет являл собой весьма относительное к таковому касательство. Доктор да четыре санитара, не имеющие порой ничего, кроме какой-нибудь сулемы или какого-нибудь борного раствора, не имеющие нужного инструмента, с потоком раненых не справлялись. А словом “справлялись” называлось то действие по отношению к раненым, при котором раненых следовало приносить в лазарет, раздевать, парить их одежду от вшей, снимать старые грязные и гнойные повязки и после осмотра доктором накладывать новые, а потом разносить раненых по койкам и готовить к отправке. Умыть, накормить, напоить, утешить участливым словом — такие понятия к слову “справлялись” не прикладывались, просто не хватало сил. Я постоянно посылал на приемку раненых в помощь санитарам по нескольку человек. Но не опытные и не обученные этому делу, пользу они приносили только ту, что в какой-то степени ускоряли разгрузку и погрузку. При этом я рисковал заразить их вшами и, хуже того, тифом, который сильно распространился зимой. Масса раненых умирала. Их нужно было срочно хоронить. И опять нужно было на это отрывать моих людей. Само заведование хозяйством лазарета лежало при прежнем начальстве на докторе, и можно представить, как он заведовал, коли его не хватало на большинство раненых. Я с первого же посещения лазарета сделал это обязанностью прапорщика Беклемищева, потом передал унтеру Сичкареву, но вынужден был перевести его на заведование складами. С той поры я,

бывая в Артвине, сам посещал гарнизонный аптечный склад, продовольственное управление и прочие службы, которые хоть в малой степени могли бы улучшить работу лазарета. Проку от посещений было немного. Доставались мне крохи. Объяснением было отсутствие испрашиваемого. Но подлинной причиной было иное. Один из моих коллег, такой же начальник гарнизона, человек весьма состоятельный, просто-напросто одаривал нужных ему начальников. В симпатии он однажды взял меня с собой, и мне, что называется, перепало от его щедрот. Я получил несколько необходимых инструментов и какие-то такие лекарства, от которых доктор Степан Петрович впал в экстаз.

В традициях русской армии был так называемый приварок, то есть командирская прибавка к отпускаемым казной для подразделений средствам. Хорошо было тому подразделению, командиром которого был вот такой состоятельный и любящий свое подразделение человек. Но какой же приварок могли сделать мы, командиры, живущие только на свое жалованье и, вспоминая случай с Сашей, не имеющие возможности даже внести в полковую кассу реверса. Потому, когда мой состоятельный сослуживец назвал свои действия приварком, я при всей своей благодарности не сдержал ревнивой сентенции.

— Это не приварок. Это то, что чиновники говорят просителям словами “Надо ждать!”, имея в уме букву “ж” отдельно!

Он нисколько не обиделся.

— А есть возможность — я и делаю. Не станет возможности — и делать не стану. Покамест же хоть этак помогаю своим убиенным солдатикам! — сказал он.

— Хорошо бы и моих убиенных отправлять к вам! — сказал я.

— Зато я тьер ета! — воскликнул он, называя свое буржуазное сословие французским термином, и я должен был, по его мнению, в этом увидеть свое превосходство столбового дворянина.

Да я бы был не прочь сие превосходство увидеть, кабы оно могло воплотиться, хотя бы, например в какую-нибудь противостолбнячную сыворотку. Говоря так, я, разумеется, лукавил. Мое сословное звание было здесь совсем ни при чем. Оно было заслужено моими предками и заслужено было мной лично в связи с награждением меня Святым Георгием. И ничьего превосходства над ним я не мог позволить. Равно же я не мог позволить себе подозрений насчет снабженческих служб армии. Другие прямо говорили, что там воруют и вымогают. Я с этим соглашался — если соглашался —только в отношении отдельных личностей, вменивших недостаточное снабжение армии себе в выгоду и прикрывающих себя рассуждением о неизбежности своего поведения своей так называемой нищетой.

— Как же-с! — рассуждали у меня эти личности тоном Алексея Прокопьевича, рассказывавшего свой анекдот про чиновного одра и страждущую барышню. — Как же-с, как же-с! Помилуйте, отцы родные! Того нет, сего нет, а всем — дай! Да ведь не Вседержители мы, чтобы пятью хлебами всех накормить! От нас всем — дай! А нам даже жалованьице — и то с задержкой! Жалованьица-то нам не ахти положили да и то задерживают. А на голодное брюхо да в печалях о голодных детишках, без молочишка оставленных, служба-то осударева не весьма!

Я видел в снабженческих службах, в медицинских складах и управлениях вполне грамотных молодых людей, разговаривающих совершенно иной речью, имеющих суждения гораздо более высокого порядка. Но себе я не мог признать этих молодых и грамотных людей способными к воровству и вымогательствам. В моем представлении такое признание было бы неестественным для армии, было бы ее позором. Потому я говорил тоном Алексея Прокопьевича — валил, что называется, все на сих одров, более подозревая их даже не в воровстве и вымогательстве, а в старческой немощи что-либо наладить. Этак мне было легче стерпеть ужас моего лазарета.

— Наплодят детей, а потом воруют! — еще порой говорил я.

Словом, лазарет был одной из первых моих забот. Хотя приходится сказать, что вторых забот практически не было, но я сделал себе правилом каждый санитарный транспорт провожать. Сегодня же транспорт ушел еще до моего возвращения от Иззет-аги. Но я отправился в лазарет, впервые за всю здешнюю службу позволив себе праздную минуту. Я пошел, удивляясь тому, как же я мог мучиться по Наталье Александровне. Как же я мог по ней мучиться, коли это, оказывается, так превосходно и легко ——любить! Я совсем не мучился по “ней”, то есть по Ражите, меня совсем не тянуло к ней. Я знал, что я люблю ее, что через десять лет она будет моей. И это было так превосходно и легко — знать. Легко и превосходно было знать себя спокойным, сильным, отдающимся службе без остатка — и все это только оттого, что “она” есть. Может быть, я весь, что называется, выгорел на Наталье Александровне. Вполне могло статься и так. Но хуже ли все при этом ставало? Хуже ли ставало, если я любил и от своей любви не мучился, если я любил и готов был спокойно ждать свою любимую десять лет? И по дороге я чувствовал письмо Ксенички Ивановны, и по дороге чувствовал, как все легко и превосходно. Письмо Ксенички Ивановны мне теперь не было нужно. Я теперь не мог его прочесть. Мне было теперь стыдно за мое предложение к ней. Я стал теперь понимать, какой я счастливый человек оттого, что Ксеничка Ивановна месяц назад мне отказала. Я стал теперь понимать, какой я счастливый, оттого что месяц назад я порвал с Натальей Александровной. Я теперь был свободным. Я теперь мог с уверенностью сказать, что судьба меня вела всю жизнь в этот аул и этот двор, к Иззет-аге, к “ней”.

— А велики ли эти десять лет, если не пуля, не контузия, не увечье? — спросил я и я же сам ответил: — А невелики!

И потом опять спросил, велики ли они, если даже будут пуля, контузия, увечье. И опять сказал, что невелики.

— Десять лет в любом случае невелики! — в счастье говорил я.

И мне было превосходно и легко. И я сам становился велик. Ни у кого не было впереди десяти лет. Ни у кого не было позади тех наших с подпоручиком Кутыревым девяноста лет, но и десяти лет впереди ни у кого не было. Я видел мою империю от Оссовецкой крепости и Прасныша до мыса Дежнева, от Новой Земли до Кашгара, и я видел, что ни у кого в этой империи не было впереди десяти лет. Они были только у меня. И они были только для “нее”.

Здесь же, на дороге, я вдруг понял, что я перестал думать только о войне. Это

означало — меня убьют. И я этому улыбнулся, потому что это не отнимало у меня моих десяти лет.

После вчерашнего потопа дорога была грязной. Но совсем разбитой она стала в улочке к лазарету. Я прижимался к заборам, скользил в выбоины и видел, что напрасно вчера я ездил в расщелину, что следовало хотя бы здесь наладил дорогу, и вместе я думал о “ней”, и вместе я думал о том, что теперь меня непременно убьют, и от всего мне было счастливо.

Плотнеющая духота заставила меня покашливать. Нехороший озноб вдруг прошел по спине и загривку. Я сказал:

— Перемелется!

Кто-то из санитаров увидел меня загодя. Степан Петрович выбежал навстречу. За сажень от него несло спиртом и луком. Он, выпячиваясь и по пьяному своему обычаю несколько коверкаясь на немецкий лад, доложил об отправке транспорта и пошел следом за мной. Я не сдержался сказать, что его поведение вынудит меня вновь обратиться к мерам воздействия.

— А я вновь делайт пиф-паф! застрелюсь! — с пьяной любовью взглянул он на меня.

— Да и с Богом! — сказал я.

— О, я-я! О, да-да! Это отшень карошо!! Никому я не нужен! Кому я нужен? Никому я не нужен! Даже лазарета вести не способен. Вон сколько холодненьких сегодня я есть отправил, так сказать, в Могилевская губерния!

Я знал, что доктор он хорош, но от него одного мало что зависит, что здесь надо, может быть, пять таких докторов и пять таких сестер, как Ксеничка Ивановна. Однако я не мог переносить его одинокого пьянства. Я сказал ему перестать кривляться и напомнил его офицерский чин.

— Официр! Я есть официр! Только майн погон есть отчего-то вполовину уже вашего! — с издевкой над собой и в глубоко застарелой обиде, раньше мной не виденной, сказал Степан Петрович.

Военные доктора действительно носили погоны вполовину уже обычных и, по совести сказать, порой подвергались в офицерской, особенно гвардейской, среде пренебрежительному тону. Верно, и Степан Петрович когда-то получил свою дозу. Однако было бы верхом глупости предполагать эту дозу причиной его пьянства. Этак-то все можно было взять за причину.

— Да полноте, Степан Петрович, валить на уставное положение о погонах. Небось так совсем не погон вас волнует. Небось так некая особа! — сказал я от своего счастья.

— Ах, Борис Алексеевич, что вы можете знать о любви при ваших-то успехах! — перестал кривляться Степан Петрович.

“Разве он уже знает о “ней”!”, — в сладком ужасе вздрогнул я.

— Да, не знаете! Не спорьте со мной! А я знаю! Да еще так знаю, что не

приведи Господи вам этак знать! — резко, гнусаво и со слезой вскричал Степан Петрович.

Я стал жалеть Степана Петровича. Он же слушать меня не хотел или уже не мог. Он пьяно, со слезой и в претензии стал говорить мне о своем страдании по какой-то особе, не называя ее и в общем-то ничего не говоря о ней.

— Да ну что вы, Степан Петрович! Пройдет, надо перетерпеть! — стал я его утешать, вспомня свои недавние муки по Наталье Александровне. — Пройдет. Вам надо счастливо влюбиться!

— Это у вас, молодых, пройдет и надо перетерпеть! Это вам, молодым, надо счастливо влюбляться! А нам же нет, далеко нет, отнюдь нет! — отверг он меня с моим утешением и далее опять стал говорить о той особе, ничего о ней не говоря.

Я послушал его сколько-то, все более на него раздражаясь, и потом сказал, что уж коли не может влюбиться, то надобно служить.

— Надо, доктор, захватиться и служить! — сказал я.

— Да, вы все знаете! Вы все знаете, да! Да только любили ли вы? — ответил мне Степан Петрович.

Я нашел разговор бесполезным и ушел.

— Заплакался! — стал говорить я по дороге мальчишечьим словом. — Служить надо, так и плакаться не будет времени! Вон мои батарейцы не плакались! — вспомнил я свою родную четвертую батарею. — А не плакались лишь потому, что времени на то не имели! Как я гонял их до войны, да и в пять дней войны как я их гонял! Ведь восемьсот выстрелов разносят ствол, и потом граната летит черт те куда. Так будьте любезны беречь орудие и стрелять в цель со второй гранаты! — вот как я гонял, и никто на службе не плакался, не имел времени плакаться о своей несчастной любви! А ведь среди двухсот шестидесяти четырех чинов уж обязательно таковые несчастно влюбленные были! А он заплакался! — стал я говорить и нашел причину пьянства Степана Петровича совсем не в несчастной любви, как он мне пытался внушить, а в отсутствии сил служить.

А что-то подспудное стало меня угнетать. Я стал сомневаться в своем чувстве, стал сомневаться, подлинное ли оно, хватит ли у меня сил ждать неизвестно чего десять лет, вдруг помешает Наталья Александровна, вот бросит своего капитана Степанова, пусть и богатого, пусть и с поместьем под Вильной, вот бросит и прикатит сюда: “Ну, Боричка же!” Или Ксеничка Ивановна — вот уже написала она письмо, уже ответила на мое предложение, уже едет ко мне. Обе они могут быть у меня сейчас, а не через десять лет. С обеими я могу жить как с женщинами уже сейчас!

Этакое стало меня угнетать. Ведь глухой аул на окраине империи, аул даже не со своим, а каким-то искаженным именем. Младенец, шестилетняя девочка, которая меня забудет, лишь я перестану ходить к ее отцу. Я вспомнил свои томления по Наталье Александровне, и я понял — не выдержу я в чистоте и целомудрии эти десять лет. И я обиделся на доктора Степана Петровича.

— А чтоб тебя с твоей несчастной любовью! Я отрубил, и отрубил сплеча. Будет так, как я отрубил! — с обидой на доктора сказал я.

Дождь, как и вчера, упал плашмя. Я приказал сменять часовых по условиям зимнего времени, то есть каждый час. Когда увидел первого смененного, какого-то испуганного и белого, будто утопленник, приказал всех возвращающихся из караула поить водкой и заставлять спать. Сам я сходил в баню, но прогреться не смог. Махара дал мне горячий чай со сгущенным молоком, будто я страдал горлом. Он же украдкой послал за Степаном Петровичем, и тот, на удивление, пришел почти трезвым. Он лишь посмотрел мои веки, как определил у меня начинающуюся лихорадку. Я едва не заревел от безысходности. Степан Петрович вспомнил, что мой предшественник выписал себе хину и принимал ее загодя. Махара нашел хину в шкафах. Я принял дозу, увернулся в одеяло и чуть согрелся:

— Ну вот как хорошо!

Мне действительно было хорошо. Только угнетало письмо Ксенички Ивановны. Читать я его не хотел. Оно мне совершенно не было нужным. Более того, в самом почерке Ксенички Ивановны, в признании его Ражитой красивым я увидел что-то несправедливое по отношению к Ражите, как бы ее умаляющее или, вернее, желающее умалить. Я увидел, будто Ксеничка Ивановна этим почерком захотела показать свое превосходство воспитанной, выученной грамоте и манерам барышни. В восстановление справедливости я по-мальчишечьи мстительно стал мечтать о будущем, о нашей встрече с Ксеничкой Ивановной в обстоятельствах, когда я, генерал, начальник артиллерийской бригады, через какие-то десять лет попадаю с ранением в госпиталь, разумеется, в тот госпиталь, где работает Ксеничка Ивановна. Она при виде меня за одно мгновение осознает всю свою неправоту давнего — тогда это будет давнего — отказа и осознает, сколько меня любит, любит с самого первого взгляда. Она это осознает, но я благородно сдержан, повода ей не подаю. Однако она этого не замечает, она думает, что это перст судьбы, и совсем не оттого, что я теперь — через десять лет — генерал и меня можно любить, а тогда был капитаном и меня нельзя было любить. Отнюдь, она просто осознает свое глубокое ко мне чувство, при этом она остается в своих нежных двадцати годах, я же, конечно, в ту пору пребываю в своих суровых, седых тридцати шести. Она долго мучается, самоотверженно за мной ухаживает. Впрочем, столь же самоотверженно она ухаживает и за остальными — нельзя ведь забывать ее Сарыкамышского вокзала! — но за мной она ухаживает по-особенному, однако так тонко, что этого никому не видно, кроме нас двоих. Она долго мучается, может быть, ждет, да, именно, она долго ждет моей инициативы, того самого разговора, — я тут признал плохим слово “инициатива” и перерисовал картину наново, — она долго ждет того самого судьбоносного разговора — это слово я тоже признал неуместным, — она долго ждет повторения нашего разговора, она ждет, что я, как в горийском госпитале, однажды позову ее и скажу: “Ксеничка Ивановна!..” — и так далее. Слова “и так далее” я употребил с особым удовольствием. Ими я подчеркнул свое новое состояние, в котором места ее чувству уже не было.

Вот так я нарисовал ее мучение, потом нарисовал принятие ею решения объясниться с самой. Она принимает такое решение. Но возможности для того

никак не предоставляется. Нам все время мешают остаться наедине — то приезжают различного рода высокие лица вплоть до государя-императора, то в моей палате постоянно мои сослуживцы и мои подчиненные, сиделки, приехала сестра Маша, даже приехала делегация нашей гимназии, а заодно делегация и из женской гимназии, а заодно уж и делегация Екатеринбургского гарнизона, того самого полубатальонного, и некий отставной фельдфебель с медалями и крестами, например, за Плевну или за Карс и даже с крестом за Порт-Артур — или это уже чересчур? — ну ладно, только с медалями и крестами за турецкую войну, этот фельдфебель распушивает белые усы, тянется передо мной и докладывает: помнится, ваше превосходительство, как вы в малолетстве мимо наших гарнизонных казарм каждый день хаживали, а мы, фельдфебеля, все говаривали, экой-де будующий нам служивец растет! — а я велю ему присесть, велю принести водки и попрошу рассказать о турецкой войне. Вот таким образом у Ксенички Ивановны не получается найти минуту. Она день за днем ищет минуту, но у нее не получается, и уже я начинаю выздоравливать, и вот мне к выписке дело. Наконец Господь смилостивляется, наконец я остаюсь один, она входит, она в глубоком волнении, она бледна, она прекрасна, глаза ее лучатся столь, что затмевают солнечный день, бровки ее чудные вскинуты, четыре конопушки ее просто обольстительно превосходны, хрустальные пальчики не знают себе места. Она входит, закрывает за собой дверь, приближается к моей постели.

— Борис Алексеевич, вы помните наш разговор десятилетней давности? Так вот, я…

И в этот миг дверь в порыве распахивается, великолепным грациозным вихрем врывается несравненная моя Ражита и со стоном: “Господин мой, муж мой!” — падает в мои объятья. А я еще краем глаза успеваю увидеть в дверях статную и полную достоинства фигуру Иззет-аги.

Я нарисовал эту картину и насладился ею. Я подумал, что завтра непременно увижу “ее”, то есть Ражиту. И тут прервал меня Махара.

— Вы не спите, ваше высокоблагородие? Пришел Иззет! — сказал он.

— Кто? — не поверил я.

— Иззет, ваше высокоблагородие. Говорит, очень ему вас надо! — сказал Махара.

Я оделся и велел просить.

Иззет-ага был в красной с галунами короткой куртке-чакуре под широким кожаном поясом. Характерные местного покроя штаны, широкие и в сборку сверху, но узкие к щиколотке, каким-то образом напоминающие банан, были заправлены в цветастые шерстяные носки. Голову его украшал башлык тонкого черного сукна, совершенно сухой, из чего я вывел, что все мокрое он оставил в сенях.

— Здравствуй, Нурин-паша! — сказал с полупоклоном Иззет-ага.

— Здравствуй, уважаемый Иззет-ага! — приветливо, но с неловкостью за чувство к его дочери ответил я.

Он угрюмо взглянул мне в глаза

— Сегодня ночью на вас будет нападение! В селении четники! — сказал он.

6

— Вот как! И сколько же их? — спросил я с некой дружелюбной иронией, конечно же, с целью за этой иронией скрыть свое чувство.

Этак в детстве я однажды тяжело болел. Температура поднялась к сорока одному. Я понимал это значение — сорок один градус. Но мне было легко и даже свободно. Я даже ощутил возможность взлететь и видел, что взлетаю. По крайней мере, ноги мои мне казались уже отрывающимися от постели и взмывающими. Испугаться у меня, видимо, уже не было сил, да и нечего было испугаться, ведь мне стало легко и свободно. Однако я знал, что значит, если термометр показывает сорок один градус. Вернулась на минуту вышедшая матушка, взяла термометр и вскрикнула.

— Да нет, мама! Это такой уж у нас градусник! — сказал я с иронией и, конечно, иронией хотел скрыть свое знание о том, что бывает за сорок одним градусом.

— И сколько же их? — спросил я Иззет-агу о четниках.

— Сто человек! — сказал Иззет-ага. — Сто человек И много наших к ним присоединилось!

А во мне стало расти некое к Иззет-аге недовольство, некое озлобление, которое выразить можно было примерно такими словами: “Зачем ты это делаешь, Иззет-ага?”

С этими вот примерными словами, с озлоблением на поступок Иззет-аги пришел наконец страх, во мне все оборвалось, и я перестал что-либо соображать, я оказался способен только чувствовать эти слова: “Зачем ты это делаешь, Иззет-ага?”

Некоторое время я стоял истуканом и старался понять, что же я имею в виду в этих словах, что же я нашел предосудительного в поступке Иззет-аги.

Мы втроем молча стояли едва не в круг, и я видел — из нас троих истуканом стою только я.

Ударило меня горячим током крови в лицо неожиданно. Я понял свои слова и понял озлобление на поступок Иззет-аги. Он, Иззет-ага, пришел сюда, а “она”, то есть его дочь, то есть просто “она”, осталась там. Он стоял, спрятанный за штыки солдат, а она оставалась беззащитной среди четников.

— Уходи, Иззет-ага! — с ненавистью и холодеющим от страха языком сказал я. — Сейчас же забирай семью и уходи из аула!

Я не знаю, понял ли он меня. Но я к сказанному еще прибавил. Меня распирала ненависть, и я еще прибавил:

— Я тебя лично застрелю, Иззет-ага, если ты не уйдешь из аула!

Он дернул небритой щекой.

— Дергай, дергай! — закричал я. — Вместо того, чтобы спасать семью и… — я

не смог произнести слова “ее”, — вместо того, чтобы спасать семью, ты шарашишься тут, мусульманин!

Зачем я прибавил это последнее слово, я не смогу сказать, может быть, хотел поболее оскорбить его. Да мне и нужды не было разбираться в тонкостях. Мне уже стало нужно только так, чтобы его и “ее” не было в ауле.

Между уходом Иззет-аги и появлением Левы Пустотина, примчавшегося первым и даже с плохо скрываемой радостью от слова “тревога”, между ними были несколько минут, в которые я ничего не мог решить. Я даже не смог обдумать наше положение — гибельно ли оно. По сказанному Иззет-агой, оно несомненно и абсолютно было гибельным. Однако эта гибельность во мне не откладывалась. Вероятно, она была столь большой, что меня на нее не хватало — ведь надо помнить меня не умным человеком, а человеком, которому ум и все такое прочее приписывается другими людьми. Я этой гибельности даже не испугался. Я только надулся, обиделся на несправедливость аула. Четники в эти минуты меня не интересовали. Я надулся и обиделся на аул, которому, как я полагал, не было ни малейшего повода на меня озлобиться. Что-то вроде нянюшкиной присказки: “Людей выручишь — себя выучишь!” — говариваемой ею в сердцах, витало во мне. Иззет-ага ушел и сразу в моем представлении оказался с “нею”. И мне за “нее” и за всю семью Иззет-аги стало спокойно. И я замкнулся на себе. В эти минуты я даже не ощущал приступа лихорадки.

Я оскорбился на несправедливость аула. И мне мелькнула пустыня серого морского берега, накат волн цвета старого серебра — и вспыхивающим разноцветьем по берегу и по волнам бурнусы, фески, куртки пяти тысяч расстрелянных Наполеоном пленных мамлюков. На самом деле от крови такого количества убитых людей волны должны были бы стать красными. Но мне мелькнуло именно серым: серый берег пустыни, серые, цвета старого серебра, то есть с проблесками ослепительно белых пятен и линий, волны — и перекрывающее их разноцветье колеблющихся на волнах и на ветру пестрых азиатских одежд.

Так я сидел время между уходом Иззет-аги и приходом Левы Пустотина. А когда застучали его сапоги и зазвенели шпоры, я встал. Меня качнуло от корчи. Но я встал. Я снова потребовал у Махары хину. Он запротестовал — ведь я только что выпил изрядную дозу. Я приказал. Он принес мне всю банку. Я зачерпнул ложкой, как можно глубже сунул ее в глотку, схватил кружку с водой.

Помнится, на все той же Белой, в пойменном лесу, в наше время росло некое вьющееся растение с маленькими, величиной с куриное яичко, а порой и меньше, арбузиками. Кажется, и листья у него были схожими с арбузными. Это растение называлось хиной. По горечи оно так и было. Горьки эти арбузики были до чрезвычайности. Они пришли мне на память, пока я после своей новой дозы колебался, что называется, между жизнью и смертью. Махара, кажется, в ужасе даже сказал в сторону: “Сейчас сгорит!” Но я протолкнул лекарство в себя, вздохнул, разлепил мокрые глаза и даже на стал просить сахару.

Я вышел в канцелярию. Я был пьян от лихорадки. Мне показалось, Лева Пустотин при моем появлении не вскочил, как то положено, а по-грачиному

встопорщился, переломив погоны. И они, погоны, острыми изломами встали мне навстречу, будто хотели его от меня оградить. Но я превозмог себя и увидел — Лева поднялся мне навстречу с тревогой. Тревога его, совершенно неподдельная, убавив веселья, нисколько не умалила его ко мне обожания. Я кивнул ему оставаться на месте и двумя словами сказал причину тревоги и свою задачу в опережение напасть самим.

Войск у меня было семнадцать штыков дружинников второго разряда Левы Пустотина и двадцать две шашки взвода Петрючего. Всех остальных — прапорщика Беклемищева, четырех санитаров доктора Степана Петровича, унтера Сичкарева вместе с военными чиновниками Сергеем Абрамовичем и Алексеем Прокопьевичем я не брал во внимание. Им хватало задачи перенести лазарет в гарнизонную канцелярию и оборонить ее на случай нападения.

Итого войск у меня было в числе тридцать девять, то есть почти опять полусотня. И если вспомнить ответ генерала Б. на приказ командующего армией генерала Юденича наступать, мука была при нас. То есть препятствий к нашему упреждающему нападению у нас не было. И я знал, что следует нападать.

А уже само сообщение о четниках всех, кроме Левы Пустотина, повергло в ужас.

— Так что, господа? — спросил я с язвой. — Разве до сих пор вы себя мнили где-то в Сольвычегодске?

Отвечать никто не решился. Да, кажется, отвечать было некому. Всякий, кажется, уже мчался по дороге на Артвин, моля Господа и четников благополучно добраться хотя бы до первого казачьего поста. Даже взводный урядник Петрючий потерял в облике. В бою он никогда не был. Это я знал по его бумагам. Но по наивности или по своему больному состоянию я предположил в нем если уж не молодечество, то хотя бы казачью врожденную удаль, некий охотничий азарт, хотя бы просто спокойство на мое сообщение, этакое въевшееся с годами службы фатальное приятие опасности как нормы. Ничуть того не стало у взводного урядника Петрючего. Он потерял в своем неприступно-отстраненном облике, потерял в осанке, в лице. Он задрожал взглядом, тотчас превратился в отжившего век старика, хотящего лишь теплой печки, теплых валенок, беспрестанной молитвы. Не украшал, прямо скажем, мой урядник Петрючий славный Третий Лабинский казачий полк. Я не выдержал его перемены и спросил:

— Вы, урядник, не были в бою?

Я был уверен, что он не солжет — ведь в данном случае легче было подтвердить отрицание. На него требовалось меньше энергии, нежели на прекословие, легче было сказать: “Так точно, не был!” — нежели собраться с силами и возразить: “Никак нет, был!” И я ошибся.

— Никак нет, ваше высокоблагородие! Мы бывали в боях! — солгал он и немало меня удивил.

— Похвально! — сказал я, но со взвода решил его снять.

Я велел ему сдать взвод и быть для нового назначения при мне, а следом решил

послать его с донесением о четниках до уже упоминаемого ближнего казачьего поста.

Сама мысль о том, что он уйдет отсюда, оживила его. За этой мыслью он не смог думать о дороге, на которой вполне мог погибнуть скорее нас ——от четнической засады или во вздувшейся речке. Но я решил отправить его. Доставит он донесение — хорошо, будет героем. Не доставит — так хоть не будет раздражать меня. Он всегда был мне неприятен, и я избавлялся от него.

Я потратил на урядника Петрючего лишь несколько секунд. Равно же в несколько секунд я обошелся со всеми остальными. Я стал ощущать, как время уходит быстрее, нежели я делаю дело, и стал ощущать, сколь гибельно на меня давит это отставание. Само собой, я был уже в ауле, был уже перед четниками. То есть сам собой я уже решал задачу, как действительнее, то есть действеннее, но термин “действенный” не из военного лексикона, — я решал задачу, как обнаружить четников и не обнаружить себя, как действительней ударить, как их уничтожить, рассеять, внести им панику, выбить из аула, а потом, подобно хорошей хозяйке, прочистить аул, вытаскивая тех из четников, кто остался жив и не убежал, кто схоронился, и как этим ударом показать аулу его ошибку.

Хотя мелькнула мне картина серого берега пустыни с накатом серых волн и разноцветьем азиатских одежд пяти тысяч расстрелянных пленных мамлюков, но аул был мне близок.

И эта близость все более стала меня угнетать. Я будто вновь превращался в командира моей батареи, читающего приказ о выводе меня из боев с задачей расстрелять и сжечь восставшие в нашем тылу аджарские селения. И я именно становился только “будто” командиром моей батареи. Командиру батареи мне было легче. Там мне хватало только отказать в исполнении приказа. Здесь было иное. Как здесь мне было обойтись с аулом, я не знал. Я только оскорбился на несправедливость. И мне стала картина серого берега, серых волн, разноцветья одежд несчастных расстрелянных. Но как поступить с аулом, я не знал. Это стало меня угнетать.

7

Картина берега с расстрелянными мамлюками всплывала, и с ней я видел расстрелянный мной аул. Я гнал эту картину, ведь-де осенью мне удалось избежать этого. Но я тотчас своим словам усмехался, видя, что нынче мне судьбой было в случае выступления аула на стороне четников стрелять в него. Однако что-то гнало усмешку вслед за картиной. Поведение аула я признавал подлым. Но секунда шла за секундой, а я не мог оторваться от серого берега, от наката серых волн, от разноцветья окровавленных азиатских одежд. Бывший кумир мой вставал передо мной в усмешке тонких своих губ и холодных своих глаз. В его усмешке я видел себе оскорбительное. И это оскорбительное отчего-то давало мне силу видеть серый берег, накат серых волн.

Наконец, возможно по прошествии целой минуты, я сказал.

— Нет. Ты можешь делать по-своему, а я буду делать по-своему! — сказал я бывшему кумиру, и надо ли говорить, что это мое решение означало одно: я обязывал себя не нападать на аул, а убедить его отстать от четников. — Я пойду к старшинам и скажу о всей гибельности их выступления с четниками!

Я сказал и позвал Леву Пустотина. Не желая того, я сразу же почувствовал, сколько поступаю правильно и этой правильностью выигрываю у кумира, но при этом неудержимо глупею. Правильность и глупость решения выходили неразделимыми и явно были не под силу моему кумиру. Они были под силу только мне. Я даже вспомнил надпись на моей шашке и сказал: “Вот так вот!” — и это означало, что неразделимость правильности и глупости была моей судьбой.

Я позвал Леву Пустотина, а Махара доложил, что он ушел во взвод казаков. Я приказал его немедленно вернуть, и пока Махара летал туда-сюда, я написал приказ о временном подчинении гарнизона Леве Пустотину, оделся в шинель с башлыком, перестегнул портупею, насыпал в карман два барабана патронов и взял ручную гранату.

— Принимайте гарнизон, подпоручик! — сказал я Леве Пустотину, положил перед ним приказ, ключи от сейфа, объяснил свое намерение и сказал нападать самим в случае моей неудачи.

Разумеется, он ничего не понял.

— Вы бредите! Вы больны, Борис Алексеевич! — отважился он на прекословие, и глаза его, обычно лучистые и приветливые, только-то от близкой опасности веселые, вдруг стали тяжелыми и злыми, будто даже налились ненавистью ко мне.

Я спокойно повторил ему задачу. Пока я говорил, он смотрел на меня с прежней ненавистью, а потом взмолился.

— Борис Алексеевич! Господин капитан! Мы и здесь успешно отобьемся! Мы одними ручными гранатами нагоним на четников панику, а потом опрокинем их штыками! — с мольбой заговорил он.

— Не суетитесь, подпоручик! — спокойно сказал я и увидел, сколько задел его.

В ином случае, разумеется, я бы выразился деликатнее. Но сейчас я сказал так намеренно, чтобы отрезвить Леву.

— Не суетитесь, подпоручик! — сказал я. — Четники плотными шеренгами, ровняя ряды и шаг, атаковать не станут. До штыков дело не дойдет. Они, как охотники, будут выстреливать нас по одному.

Лева Пустотин смолчал, но глазами помягчел.

— Вы нарушаете устав, господин капитан. Вы обязаны руководить боем, а не рисковать в каких-то, — он не смог подобрать определения моей затее, — в каких-то, я не знаю, гибельных мероприятиях!

Он чем-то походил на меня. Я ему улыбнулся и велел не терять времени в дискуссиях, еще раз задев своими словами о том, что мы не на университетской кафедре. Понял он меня или не понял — но дальше он мои команды принимал беспрекословно. Мы договорились, что стрельба или взрыв моей ручной гранаты будет ему знаком для выступления.

Я видел, сколь велико для него испытание отпустить меня и остаться одному в такой обстановке. И я ободрил его.

— Из вас вырастет хороший командир! — сказал я и пожал ему руку.

Он пустил мои слова мимо. Мне это понравилось.

— С Богом! — сказали мы друг другу.

— Господи Иисусе, пронеси и помилуй! — зашептали мне в спину Сергей Абрамович и Алексей Прокопьевич, а прапорщик Беклемищев, пропуская меня и козыряя, лишь в непонимании таращился. Он, кажется, даже не понял, отчего я велел ему отдать свой револьвер Махаре и взять его винтовку. Он приставил винтовку к ноге и стоял этак, и напряженная его рука у козырька характерно, будто крылышко засыпающей бабочки, вздрагивала.

— Прежде всего, надо будет поправить дорогу к лазарету, Иван Анисимович! — жалея его, сказал я и увидел, что сам я, оказывается, тоже волнуюсь.

— Так точно! — заученно ответил он, но, конечно, ничего не понял.

Дождь остервенелыми и сильными пальцами облепил нас в первых же шагах, а потом вдруг прекратился. Мы с Махарой, оба насквозь мокрые, даже остановились — не случилось ли чего. В довершение нашего неверия многослойная кулебяка туч с каким-то странным изяществом раздвинулась, обнажив хороший яркий глаз луны в зените.

— Эх! — только и сказал Махара, а я подумал, что он сожалеет о том, что мы не вышли минутой позже. Он же сожалел о другом. — Вот теперь без дождя собаки нас за версту учуют! — сказал он.

Однако мы дошли до дома Вехиба-мелика, а собаки не лаяли. Они то ли промокли пуще нашего и посчитали в таких условиях службу свою не совместимой с исполнением, то ли привыкли к моему запаху и, наоборот, соблюдая службу, не

нашли возможным лаять. Мы при свете луны довольно удачно одолели дорогу и встали перед глухой прочной калиткой в каменном заборе Вехиба-мелика. Во дворе было тихо. Предположить, чтобы Вехиб-мелик спал, было глупым.

— Затаился! — сказал Махара.

Я велел ему стучать. На стук залаяла собака, и откликнулся хриплый мужской голос. Махара спросил его о Вехиб-мелике, потом перевел:

— Это его работник. Говорит, никого дома нет!

— Кто говорит? — не поверил я.

— Его человек, работник. Говорит, что все уехали на яйла, — повторил перевод Махара.

— Врет негодяй! Вели открывать! — сказал я.

— Конечно, врет! — согласился Махара и снова, только более сердито и решительно, сказал через калитку открывать и потом снова перевел: — Говорит, не велено открывать!

— Скажи, я комендант гарнизона! Я стану стрелять! — велел я Махаре.

Махара сказал, а с той стороны пролязгал взводимый затвор винтовки.

— Ясно с тобой! — медленно и спокойно сказал я, но вся моя кровь, кажется, прилила к сердцу, столько мне стало невыносимо от этого оскорбительного лязганья. — Ясно с тобой! — еще раз сказал я, снял колом вставшую от влаги шинель, остался без ремня, вынул из кобуры револьвер и сказал Махаре подсобить мне.

Он понял, сцепил руки стременем. Я оперся на это стремя левой ногой и махнул через забор. Навстречу мне треснула, будто разорвалась, плотная, обжигающая и ослепительная струя, на лету меня толкнувшая назад. Я спиной ударился в забор, но нашел силы как можно дальше выкинуть револьвер вперед и выстрелить в струю. Там коротко и неестественно ойкнуло, будто со дна болотины всплыл пузырь или будто кто-то в тошноте очистил желудок. На меня накатила вторая струя, горячая, рычащая. Я снова выбросил револьвер вперед и выстрелил. Истошный собачий визг забил мне уши. С забора свалился Махара. Он принялся меня ощупывать.

— Сволочь он! Он сам виноват! — задыхаясь, стал я ему говорить. — Он что, он не знал, что я имею право? Он знал, сволочь. Он сам стал стрелять!

Я оправдывался. Мне не хватало воздуха. Я не мог встать.

— Он знал, в кого стрелял. Он сам! — я так говорил, а во мне кто-то другой, помимо меня, говорил: — Вот он, бой, вот он, бой. Все, что ты испытал раньше, было не бой!

— Пойдемте, пойдемте отсюда! Вы, кажется, совсем целы, не ранены, пойдемте отсюда, сейчас сюда набегут люди! — слышал я слова Махары, но будто и не слышал. Слова его скользили по мне. Уши мои были забиты треском огненной струи, собачьим визгом и какой-то внутренней моей глухотой. — Пойдемте,

господин капитан! — догадавшись, что я его не понимаю, потащил меня Махара.

И когда он меня потащил, я опомнился. Не то чтобы я стал отдавать себе отчет во всем, но в одном я опомнился. Я вспомнил, что я выстрелил дважды, и сейчас решил загнать в барабан два патрона.

— Стой! — сказал я Махаре. — Я заряжу револьвер.

— Да идемте же! — хватил меня под мышки Махара.

— Нет. Сначала я заряжу револьвер! — вырвался я и увидел, что могу стоять, могу ходить, слышать, говорить — могу все делать.

Махара кинулся отворять калитку, а я нашарил в кармане два патрона и не сдвинулся с места, пока не вставил их в барабан.

Мы сколько-то пробежали боковой улочкой и остановились прислушаться. Окрест было тихо, если не считать гула моего сердца. А в отдалении сплошь и зло лаяли собаки.

— Так они специально согнали всех жителей в одно место, чтобы собаки при приближении к нам их не выдали! — догадался про четников Махара.

Я вспомнил Иззет-агу и “ее”.

“Ради Бога, скорее убирайтесь из аула!” — взмолился я.

— А еще четники согнали всех в одно место, чтобы повязать круговой порукой! — прибавил Махара.

— Да, пожалуй, — согласился я. — И нам, рядовой, теперь надо узнать, где они.

— Собаки лают примерно в квартале Мехмеда-оглу! — сказал Махара.

— А этот сам виноват! — сказал я о человеке Вехиб-мелика.

Следом же я подумал, а ну как Лева Пустотин принял наши выстрелы за сигнал и уже отдает команду выступать!

В ознобе я передернул плечами. Махара с тревогой взглянул на меня. При луне я это хорошо различил. И тотчас увидел себя убегающим, увидел со стороны, теми же глазами четников, какими видел себя вчера в Керикской расщелине. “Вот это уж действительно опозорение мундира русского офицера!” — в злобе на себя сказал я.

— Отчего, рядовой, прячемся мы, а не они! Почему какие-то, — тут я впервые употребил скабрезное слово, — почему какие-то ср… сто четников будут диктовать нам!

— Умоляю вас! — обхватил меня без всяких церемоний в борцовский замок Махара. — Умоляю, остановитесь. У вас от выстрела в упор контузия. Вам надо немного успокоиться. Нам надо вернуться к своим! Мы уже теперь знаем, где они!

— Нет! — сцепил я зубы. — Мы сейчас пойдем в дом к этому Мехмеду, и если у него там хоть один четник, я лично застрелю его!

— Кого? — спросил Махара.

— Мехмедку! — сказал я и отчего-то прибавил: — И четника!

— Все уже ясно, ваше высокоблагородие! Они все с четниками! — продолжал уговаривать меня Махара.

Я понял, что без специального боевого приема из замка Махары не вырвусь. Но применять его против своего вестового было уж куда слишком. И сколько я ни кипел от злобы, я собрался с умом на хитрость. Я нарочно обмяк.

— Да, да, вестовой! — залепетал я, а он поверил и расцепил руки, чтобы подхватить меня удобнее.

Я резко повернулся и в удовольствии от своей проделки, как мальчишка, всхохотал совершенно обратное своим прежним словам.

— Да ведь эта бестия Мехмедка уж точно от четников увернулся! — весело сказал я.

Махара, кажется, с печалью вспомнил бывшего своего начальника, моего предшественника. С ним ему было все ясно и спокойно. Он обреченно шагнул за мной, и Господь без препятствий довел нас до дома Мехмед-оглу. Мы постучали в калитку. Нам никто не отозвался. Я показал Махаре сцепить руки в стремя и прыгнул во двор. Двор был пуст. Я подождал Махару, и мы осторожно поднялись на галерею. Скрип половиц заставил нас вздрогнуть. Мы остановились. Во дворе и в доме было тихо. Мы толкнули дверь кунацкой, подождали, вошли, еще подождали. Мы оказывались в доме одни.

— Даже собаки от жадности не прикармливает, ни одной нет! — прошептал Махара и прибавил, что такая тишина ему не нравится. — Очень не нравится, господин капитан! Днем нельзя шагу было ступить, чтобы не облаяли. А теперь ниоткуда ни одной не слышно! Перевешали они их всех, что ли?

— Они их согнали в одно место! Сам же сказал! — напомнил я.

— Но это же невозможно! В одном месте они бы грызлись, и лай стоял бы до… — начал возражать мне Махара, но я не дал ему договорить.

— А вчера! — громко зашептал я. — Вчера! От Иззет-аги нас провожал его племянник с палкой!

— Да! — тоже громко зашептал Махара. — Так точно, ваше высокоблагородие! Ведь за всю дорогу мы не встретили ни одной собаки!

— И никому это не бросилось в глаза! — прибавил я.

— Но ведь это невозможно — переловить и куда-то деть всех собак аула! — не согласился со мной Махара.

Я лишь пожал плечами, а потом сказал словами сотника Томлина: “Они все могут!” Махара вздохнул. Но и слова мои, и вздох его опередил некий глухой шлепок во дворе, будто кто-то бросил оземь тяжелый мешок. Мы замерли и следом единым махом перелетели к двери, вжались в косяки и выглянули.

В синем свете луны я увидел подле забора поднимающегося с земли человека с винтовкой, а на заборе еще двух, старающихся спуститься во двор без шума. Махара

револьвером показал в видимую им сторону и выставил перед собой четыре пальца. На заборе с моей стороны появились еще двое. Кто они были, четники или аульчане, определить было трудно, да и дела не было их определять.

“Вот он какой, бой!” — снова сказал я себе и после стрельбы во дворе Вехиб-мелика почувствовал себя бывалым солдатом. Мне ничуть не пришло подумать, что мы обыкновенно влипли. Наоборот — я улыбнулся и показал Махаре, что будем стрелять по два раза каждый, а потом прятаться за косяки. По два раза — потому что третий выстрел непременно уйдет впустую. И так как я стоял у косяка, от которого стрелять с правой руки мне было неудобно, я встал в проем двери, левой рукой поддержал правую и выстрелил сначала в того, кто уже поднялся с земли и, пригнувшись, пошел по двору. А потом выстрелил в того, кто, стараясь бесшумно, слезал с забора. Я попал в обоих. Оба они завалились, и через мгновение один громко и протяжно закричал. Почти одновременно со мной два раза выстрелил Махара.

— Попал? — спросил я.

— Виноват, нет! — в отчаяньи сказал он.

— Ничего, молодец! — подбодрил я его, вновь встал в проем и выстрелил еще раз в ту сторону, куда стрелял Махара, поймав застывшую и раскоряченную от неожиданности на месте фигуру.

— Вот так! — довольный, сказал я.

В ответ, кажется, вся округа взорвалась в нас винтовочными выстрелами. Затрещал и посыпался щепой потолок. Мы присели. Я снова дозарядил револьвер. В кармане у меня оставалось девять патронов. Я подумал, вот эту стрельбу Лева Пустотин слышит, старается определить наше место.

По выстрелам, как когда-то вахмистр-бутаковец Самойла Василич, я попытался сосчитать количество осадившего нас противника, прикинул его в полтора-два десятка и вывел, что хорошо бы сейчас ударить ему в тыл, смять, а потом ударить дальше. Лучшего момента едва ли можно было найти. Я не думал о том, что мы окружены и каждую секунду могли быть убиты. Я видел некую красоту нашего положения — не красивость смертельной опасности, переходящей в декадентскость, а подлинную красоту. Три моих удачных выстрела подряд принесли мне удовольствие, будто я создал произведение искусства, которое вот-вот будет оценено и покажет, что я не зря потратил на него годы. И даже та единственная пуля, сказавшая “фьють” около меня во время дурацкой атаки Раджаба на нашу часть осенью прошлого года, даже она, было повергшая меня в непереносимый страх, оказывалась для меня этим произведением, и на нее не было жалко моих лет. И вместе мне не было дела до себя. Я будто думал: “Ну экая важность — убьют! Зато какое произведение я создал, как красиво я ссадил в бою троих!” — и мне хотелось ссадить еще. И мне хотелось ударить в тыл и смять осадивших нас, а потом смять и остальных. Эта красота переполняла меня. Она была сильной. Она не давала думать и ощущать всего того, что я описал. Она давала лишь будто думать и ощущать. Она выводила мои мысли и поступки на уровень механики — мысли и поступки происходили сами собой.

В этой красоте я знал, что сейчас стрельба стихнет и четники попытаются подняться на галерею. Я вынул гранату, вставил запал. Они станут подниматься, а я их встречу гранатой — совсем как на Марфутке. Только там я их встретил гранатой артиллерийской, а здесь встречу ручной. Ну велика ли разница? Тем более. что Лева Пустотин во главе полувзвода дружинников и полувзвода казаков прилетит сюда. Пожилые дружинники на улицах Сарыкамыша дрались в штыки. Равно же они ударят здесь. Это будет подлинным произведением искусства.

Я показал Махаре, сколько все у нас хорошо, и показал гранату. Он понял и кивнул.

Стрельба точно по моему ожиданию стихла, и тотчас галерея дрогнула от взбегающих на нее четников.

— Ага! — сказал я вслух Махаре. — Они, оказывается, тоже не летним кованы! Они под прикрытием стрельбы подобрались к нам вплотную. Но мы и это знаем! — последние слова, конечно, относились к ночному бою на посту урядника Тетерева. — Знаем мы и это! — сказал я, вполовину тулова высунулся из-за косяка и левой рукой плавно, будто мяч в лунку, бросил навстречу взбегающим гранату.

Не знаю, как Махара, а я от вломившегося в уши тугого удара пришел в восторг. Одновременно с ним я не столько услышал, сколько ощутил по дрожи дома, что галерея обвалилась. Протяжный и разноголосый вой заполнил двор — выли раненые, и выли, надо полагать, уцелевшие их товарищи. Тугой удар оглушил всех. Его никто не ждал, и, может быть, все приняли его за разрыв артиллерийской гранаты. То есть я получал хотя и мнимое, но преимущество быть вооруженным артиллерией. И этим следовало воспользоваться. Я пожалел, что не взял ручных гранат две, а то и три. Успех был бы невообразимым. Против столь точно бьющей артиллерии, то есть, в нашем случае, против представления о столь точно бьющей артиллерии, не устоял бы никто. Мы смяли бы противника еще до прихода Левы Пустотина. Вернее, он смял бы сам себя.

Успехом следовало воспользоваться и самим атаковать четников. Однако тугой удар оглушил и Махару. Он, словно птица в темноте, присмирел и слепо пытался понять, что с ним.

— Махмудка-оглу будет нами недоволен! — сказал я ему, думая, что он встряхнется, хотя знал, что не встряхнется. Я знал это по первому моему, еще училищному, выстрелу орудия. Равно же глухими и ослепшими птицами торчали мы после него и ничего не понимали. А юнкер Денисов получил настоящую контузию. Как он рассказывал, ему страсть захотелось увидеть сам момент выхода гранаты из ствола, ну хотя бы длину пламени при этом, и он неожиданно вышел к стволу. После такого любопытства он даже лежал в лазарете.

То есть атака отменялась. Оставалось ждать подхода Левы Пустотина. Кое-как я втолковал Махаре забаррикадировать дверь на женскую половину. Для этого сгодились широкие тахты, по обычаю расставленные вдоль стен. На всякий случай одну такую мы перевернули набок перед своей дверью.

За работой Махара пришел в себя — чисто по дарвинскому учению, трактующему, что созидательные усилия выделили человека из всего остального

мира. Я не удержался сказать свою шутку Махаре. Он согласно улыбнулся.

— Сейчас наши поспеют. И мы огнем со своей стороны очень поможем! — сказал я Махаре.

— Жутко воют, ваше высокоблагородие. Не по себе от их воя! — признался Махара.

Мне же было хорошо. Мне было даже превосходно. Мне было так, будто я только сейчас жил полной, насыщенной, настоящей жизнью — до сего момента жил плохо, а с сего момента стал жить хорошо. Я думал только о том, как действительней (то есть, по-другому, действенней — я уже говорил о специфике военных терминов) использовать наше положение на общую пользу боя. Все, не относящееся к бою, от меня ушло. Наверно, ушла даже “она”, моя юная любимая. Я был сейчас в одиночестве. У меня не было ни прошлого, ни будущего. Ничего того, что было со мной до боя, у меня не было. Мне было легко и свободно. Мне было хорошо. Или подействовала хина, или дал силы бой, но я чувствовал себя здоровым, сильным, все знающим о бое, о том, как он развернется.

Я был полностью схвачен этой жизнью. Смерть в ней была совершенно естественной, даже неизбежной или, того более, — необходимой. Я ощущал ее движение рядом со мной. Она опять, как на Марфутке, меня от чего-то освобождала, придавала мне силу. Избавленный от всего прошлого, я не помнил рассказа казака Уди о том, как Саша вел себя в бою, как вставал в седле и руководил огнем спешенных своих людей.

Я этого не помнил. Но нечто подобное витало во мне. Схваченный этим, я в какой-то миг понял, что Лева Пустотин прийти не сможет. Это произошло само собой. Я вдруг увидел въяве — он не может идти. Но я не увидел, почему.

А вышло именно так. Через минуту после того, как я увидел, пока я думал, поделиться ли с этим видением с Махарой, в нашей стороне открылась сильная стрельба — сначала первые одинокие выстрел-другой и потом сплошной гул падающих с высоты огромных досок. Четники нас опередили. Теперь нам следовало прорываться на помощь своим.

Мы переждали новый и какой-то вдохновенный — видимо, от услышанной стрельбы в нашей стороне — огневой налет и прямо через перила прыгнули во двор, вскочили и с беспрерывной стрельбой во все стороны кинулись к хозяйственным постройкам в надежде скрыться за ними. Перед нами выросли несколько четников с длинными кольями наперевес. Я выстрелил. Но боек клацнул впустую. Я сунул револьвер за ремень и выхватил шашку.

— Вот так! — крикнул я Махаре, целя ткнуть шашкой четника в центре.

Предстояло только увернуться от его кола. И я бы сделал это. Я не был графом Келлером, слывшим первой шашкой России. Но встать с шашкой против винтовки с примкнутым штыком я с самого училища не считал за труд. Я резко качнулся влево, потом вправо, винтом потек мимо промахнувшегося кола. Но мне сзади ударили по ногам. Я споткнулся. Тотчас ударили мне в бок, в спину, заплели ноги, свалили и приткнули, как жужелицу, к земле. Один наступил мне на лицо, а другой с ходу

несколько раз ударил колом в правое плечо — видимо, с целью выбить сустав.

— Вот он какой, бой! — прошло судорогой по мне, и следом ничего не стало.

Я задохнулся не от онуча четника. Я задохнулся позором быть русским офицером и быть, как жужелица, приткнутым к земле.

8

Приткнутым к земле я был недолго. Я очнулся и услышал, как с некоей гортанной руганью скручивают и Махару. В нашей стороне доски продолжали обильно валиться с неба. Дело у Левы Пустотина было жарким. Наверно, от боя он был весел и страстно прилагал силы смять четников, чтобы прийти нам на помощь.

Нас же скрутили, обмотали головы тряпьем и с прежней гортанной руганью потащили. По тому, как грохот досок стал смещаться, я вычислил, что нас потащили в квартал Иззет-аги.

Страх за него заставил меня безотчетно дернуться. Четники сбились с ноги, едва не упали. Они бросили меня наземь, сдернули с головы у меня тряпье. Я увидел перед собой какие-то даже в темноте различимые желтые злобные глаза и почувствовал на кадыке острие кинжала. Глаза обдали меня зловонием тяжелого дыхания и что-то прохрипели — явно этакое: еще раз дернешься, зарежем! Но я понял — коли тащат скрученного, значит, не зарежут, пока не притащат.

— Изволь дышать в сторону! — рявкнул я глазам.

Меня в злобе несколько раз ткнули стволами винтовок, снова замотали голову тряпьем и потащили дальше. Но я стал задыхаться и снова дернулся. Меня молча ударили по голове. При мысли, что следующим ударом мне ее проломят, я присмирел. “Как только развяжут, вцеплюсь в глотку первому же!” — решил я.

Стрельба у Левы Пустотина вдруг прекратилась. “В штыки?” — подумал я про Леву. Четники остановились и все враз закричали. Я догадался — они встревожились, не смяты ли их товарищи. “Не нравится в штыки! Никто не любит русского штыка!” — с издевкой и торжеством отметил я.

Нас действительно притащили в квартал и — более того — во двор Иззет-аги, притащили, бросили под чьи-то многочисленные ноги. Следом невдалеке положили еще кого-то. Плоский тупой удар головой о мощеный двор подсказал — принесли убитых четников и кого-то положили неосторожно. Все враз стихли. В предугадывании побоев я сжался. Кто-то зло крикнул, наверно, о том, что убитые — это наше с Махарой дело. Нас принялись топтать. У меня хрустнул нос, кровь хлынула мне в глотку. Я стал захлебываться и наверняка бы захлебнулся, но кто-то властно крикнул и растолкал толпу. Я кое-как смог повернуться на бок и в судороге закашлялся. Тряпье вокруг головы не давало выплюнуть кровь. Его сдернули. Я из последних сил перхнул горлом, с тяжелым стоном кое-как хватил воздуха, открыл глаза.

Еще не рассвело, но двор был освещен факелами. Меня посадили, развязали. Кровь обильно хлынула в горло, и мне пришлось с силой харкать ее перед собой. Я хотел прикоснуться к сломанному носу, а правая рука, выбитая в плече, меня не послушалась. Я позвал Махару.

— Как думаешь, они ушли? — спросил я об Иззет-аге.

— Ушли, ваше высокоблагородие! — со стоном ответил он.

— Слава Богу! — помолился я.

За разговор нас принялись бить. Но кто-то снова и властно взлаял, и нас оставили. Я не мог представить, что побои столь много отбирают сил. Сейчас их у меня, кажется, совсем не осталось. Сидеть под ногами, как и быть приткнутой к земле жужелицей, я считал невозможным. Опираясь на еще действующую левую руку, я встал. Мне тотчас сзади ударили по ногам. Я опрокинулся на спину, но снова стал подниматься, и ударом сзади по ногам меня снова свалили. Я стал подниматься в третий раз. Нечаянно я увидел убитых, лежащих рядком. Их было восемь.

— Сидели бы у себя в Турции! — только и сказал я

На этот раз сбивать меня не стали. По чьей-то команде меня схватили под мышки и приволокли к низкому столику, за которым средь двора сидели старшины — Мехмед-оглу, Вехиб-мелик и Мамуд — и некто во френче, на косой крест опоясанном пулеметными лентами, с двумя револьверами системы “маузер” и в каракулевой папахе с зеленой опояской. Перед ним лежала моя шашка. Иззет-аги не было. Я догадался — они заняли его дом в отместку за уход.

Уход Иззет-аги не хуже стаканчика водки или беспрестанного счастья придал мне сил. Я даже впал в кураж и навроде молодого солдата перед девкой попытался подбочениться. Некто в папахе с зеленой опояской, глядя на меня, что-то взлаял. Тотчас его человек в таком же френче ветошкой стал вытирать мне кровь. Я едва не вскрикнул от боли — да и вскрикнул бы, окажись не здесь, а, например, в госпитале. Некто в папахе обругал своего человека.

— Льду бы принес! — обругал его и я.

Без Махары меня не поняли.

— И черт с вами! — обругал я всех, выплюнул скопившуюся кровь и посмотрел на Вехиб-мелика: — Скажи, чтобы привели Махару!

— Домой надо! — сказал Вехиб-мелик и отвел глаза.

— Махара надо. Мне мой солдат надо, переводчик русский и грузинский язык! — сказал я, думая, что этак будет Вехиб-мелику понятней.

Махару я потребовал для того, чтобы убедить старшин отстать от четников. Некто в папахе с зеленой опояской недобро взглянул на Вехиб-мелика. Тот что-то длинно и недовольно сказал на своем, а Мехмед-оглу в сладкой улыбке перевел его на турецкий. Некто исподлобья быстро посмотрел на меня, взлаял тому, кто вытирал мне кровь. Я на слух отличил его язык от турецкого. Я подумал, что он может быть черкесским, и вспомнил о черкесских зверствах в Сербии и Болгарии в прошлую турецкую войну. Я понял — нас здесь убьют.

Мне притащили Махару.

— Держись, рядовой! — сказал я в попытке улыбнуться.

— Я их маму заставлю плакать! — совершенно разбитым ртом кое-как сказал Махара.

— Скажи им, — кивнул, а вернее, наклонил я разбитую голову в сторону

старшин. — Я буду говорить с ними.

Махара стал говорить, но его перебил некто в папахе. Его слова с турецкого в сладкой улыбке на свой перевел Мехмед-оглу, а уж потом Махара перевел мне.

— Этот в папахе велит вам, ваше высокоблагородие, без его разрешения не разговаривать. И еще он хочет знать, откуда у вас ваша шашка! — сказал Махара.

— Скажи, что я буду говорить со старшинами, а этот в папахе пусть пока помолчит или лучше пусть убирается отсюда! — велел я Махаре.

Но некто в папахе заговорил снова. Мехмед-оглу перевел его Махаре, и тот сказал:

— Спрашивает, не мы ли убили его людей.

— Переведи им то, что я сказал! — велел я Махаре.

Махара сказал мои слова Мехмед-оглу. Тот несколько даже вздернулся от услышанного, как бы даже привскочил, и мне показалось, секунду он колебался, рассчитывая, чью принять сторону, ибо сейчас сила была на стороне этого в папахе, а в целом сила была у меня, у моей империи, и если бы ему, Мехмед-оглу, каким-то образом удалось бы выкрутиться сейчас, то он бы много мог повернуть в свою пользу в будущем. В усиление своих слов я велел сказать еще.

— Передай, — сказал я Махаре, — что я от имени моего государя-императора обещаю им полное прощение и, более того, они будут награждены!

После этих слов дернулись и привстали все трое старшин, дернулись, привстали и заголготали столь же энергично, что и на вчерашнем у меня совещании. Больше всех голготал молодой Мамуд.

— Ссорятся, ваше высокоблагородие! — стал отрывками объяснять мне Махара. — Этот, Вехиб, говорит: я предупреждал. А этот, жирный, выгадывает. Я понял, что четниками им были обещаны наши склады.

— И только-то! — возмутился я низкой цене. — Что они там найдут? Кашу, которую не едят! Наши солдатские кальсоны, которые не носят! — И в возмущении забыв об обещании награды, я зло закончил: — Лично расстреляю каждого, у кого потом обнаружу хоть одну нашу вещь!

В это время у Левы Пустотина треснуло несколько досок. Все смолкли. В тишине одиноко и тонко со звериной тоской ввинтилась в темное небо песнь над убитыми.

— Тензи ляль ари зир ррахим! — пошел в небо крик песни.

На секунду всплыл у меня в памяти Саша, убитый и не отпетый.

У Левы Пустотина ударили два взрыва ручных гранат. Мне показалось, все это произошло в приближении к нам. В округе отчаянно залаяли собаки. Будто соревнуясь с ними, закричали все во дворе.

— Не любят русского штыка! — в новом торжестве и новой издевке сказал я Махаре, а он мне с прежней ненавистью сказал, что заставит “заплакать их маму”.

К некто в папахе с зеленой опояской подскочили двое четников. В тревоге они нечто взбуркали, получили ответ и исчезли, уже от ворот в перекрытие общего шума заклекотав команду. Следом побежали со двора десятка два народу. Я встревожился за Леву Пустотина, а потом вдруг вспомнил выражение Наполеона, определяющее силу армии. “Масса, помноженная на скорость, — как и в физике!” — любил выражаться Наполеон. А масса и скорость сейчас были на нашей стороне, ибо мы опередили и напали сами да при том своим нападением заставили четников остерегаться и не бить всей своей силой. И разумеется, я пожалел, что при моей скорости выдвижения мне не хватило массы — мне не хватило нескольких казаков или дружинников, с которыми я во дворе Мехмед-оглу отбился бы непременно. Тогда и говорить со старшинами пришлось бы не в пример выгодных условиях. Однако же правило не терять времени на поиск лучшего решения, а принимать быстрое, сделало пользу и здесь.

Все это прошло по мне единой пульсацией — не осознанием всего этого, а лишь чувством. Я вновь впал в некий кураж.

— Быстро, пока все растерялись, скажи старшинам, чтобы отставали от четников сейчас же. Иначе будет поздно! Иначе я не гарантирую им ничего. Это говорю я, русский офицер!— сказал я Махаре.

— Ну вот что, русский офицер! — вдруг на русском языке сказал этот в папахе.

Я сначала не поверил, он ли это. Не поверил, но посчитал унизительным показать. Он, однако, оказался наблюдательным.

— Нечего на меня таращиться! — сказал он, стараясь в превосходстве, но тотчас чувствуя, что превосходства не выходит, так как таращиться из-за разбитых глаз у меня не выходило. — Поиграл в благородство и хватит! — зло сказал он. — Твое дело конченное. Потому слушай меня, русский офицер!

— Мне нет нужды слушать шакалов! — сказал я.

— Не львом ли мнишь себя? — спросил он с усмешкой. — Только странно: что-то лев больше походит на хорошо потрепанную котом галку. Ты чувствуешь русское сравнение? — сказал и перевел своим.

Разумеется, те, стараясь весело и беспечно, засмеялись.

— А смеются твои шакалы не весело! — отметил я.

— Ты, русский офицер, засмеешься весело! — пообещал он, а я в первый миг не мог вспомнить, где я уже слышал подобную угрозу. Но не вспомнил только в первый миг. Следом же вспомнил, как нас с подпоручиком Дубиным вел во двор к княгине Анете горийский урядник.

— Надо же! — более беспечно, чем четники, усмехнулся совпадению я.

— На своих надеешься? — зло спросил этот некто.

Конечно, я все время слушал стрельбу. И одно время мне стало казаться, что стрельба отдаляется. Но я стал говорить себе;

— Нет, Лева не отступит. Лева — русская пехота. Русская пехота скорее умрет,

но не отступит!

И я не соотносил того, что от гибели Левы мне станет хуже, чем от его отступления. И еще. В это время я не думал о “ней”. Может быть, от растоптанного моего состояния, от забирающей все силы боли я не думал о “ней”. А может быть, я не думал о “ней” потому, что я боялся мне предстоящего, предстоящих мне истязаний, и в ожидании их я готов был упасть — столько покидали меня силы. Но откуда-то приплывало мне стоять, препираться с этим некто, а более-то молчать и ждать, словно в моем ожидании была моя победа. И если я о чем-то мог думать, то с пятого на десятое, обрывками, пробивающимися через боль, я думал о том, как мне отвратить от этого некто аул до той минуты, в которую меня начнут снова истязать и убьют. Вот, наверно, потому я не думал о ней.

— На своих надеешься? — спросил некто и приказал своим посадить меня напротив себя.

Я посмотрел на старшин, а этот некто, упреждая меня, пригрозил:

— Будешь с ними говорить, я убью твоего переводчика!

Так сказал он и еще сказал, что лучше будет, если я буду слушать его.

— Вот что, капитан Нурин-паша, — сказал он с усмешкой над моим здешним прозвищем. — Судя по знаку на твоем мундире, ты имеешь академическое образование, то есть ты элита армии, то есть человек умный. А я тебя обхитрил. Я видел, как ты возился с этими, — он в пренебрежении откивнул в сторону старшин и аула. — Я видел тебя и около разбитого мной водовода. Мои люди видели тебя и в лесу перед раскопанной могилой. Скажи честно. Ты догадался, что все это неспроста? А если догадался, почему не принял никаких мер? Ты понадеялся на свой русский авось или, того хуже, ты думал, что аул — это твои люди, что ты их завоевал своей заботой о них?

Я в лучшие-то свои поры не умел и не любил спорить. Теперь же я весь собрался только на том, чтобы не упасть, так как сидеть оказалось труднее, чем стоять. И я подумал, не знал ли об этом заранее этот некто и не велел ли он посадить меня только оттого, что сидеть — в моем состоянии было новым истязанием.

— Смотри, светает. У тебя уже нет времени. Оставь аул и уходи! — сказал я.

— Ладно! — усмехнулся он. — Коли у меня нет времени, то я и буду поступать по-другому. Но ты все-таки меня послушай. Почти два года назад, двадцать седьмого сентября тринадцатого года, в неравном бою был убит мой побратим Зелимхан Харачоевский, или, по-другому, Зелимхан Гушмазукаев. Я думаю, ты как образованный человек понимаешь, о ком я говорю.

“Не черкесы, а чеченцы!” — с некоей исторической дотошностью отметил я себе этническую принадлежность этого некто, потому что действительно осенью позапрошлого года на Кавказе был убит известный разбойник не разбойник, революционер не революцинер, а довольно сильная личность из чеченцев по имени Зелимхан Гушмазукаев. Подлинной его истории до открытия архивов министерства внутренних дел мы не узнаем, но из поданного прессой можно было вынести об этом Зелимхане именно так двояко, как я сказал. Следует отметить, лично я ни в

разбойника, ни в революционера не поверил. И не поверил по простой причине — Зелимхан был человеком семейным, имел жену и детей. А из семьи в разбой и революцию пойдет, по моему глубокому убеждению, о котором я, кажется, уже говорил, только дурной человек. Не дурного человека уйти куда-либо из семьи могут заставить только чрезвычайные обстоятельства. Подтверждением тому слова Белого Генерала, Михаила Дмитриевича Скобелева. Помните, у Василия Ивановича Немировича-Данченко есть его, Скобелева, слова, которые я не смогу натвердо процитировать, но звучат они примерно так: ложь, все ложь, и слава и блеск — ложь; разве в этом истинное счастье? человечеству разве этого надо? счастье только в одной доброй семье; там люди спокойны, откровенны… вы уйдете в свои семьи, а я останусь один, начну думать, думать и прихожу к мысли, что все на свете, кроме доброй семьи, — ложь. Да и семья моих батюшки с матушкой, когда батюшка не смог пережить матушки, тому подтверждением. Потому Зелимхан никак не мог уйти в разбой или революцию по своему дурному желанию.

Но как ни то, а Зелимхан — полагаю, вполне симпатичный человек — встал против местных властей и тех из своих соплеменников и односельчан, кто с местными властями сотрудничал. Он убил несколько довольно высокопоставленных чинов, искусно на протяжении многих лет обходил ловушки и даже написал несколько писем вплоть до правительства, в которых объяснял суть своего поведения. Власти в бессилии его поймать прибегли к самому гнусному методу. Они взялись терроризировать безвинное местное население с тем, чтобы вызвать у того злобу по отношению к Зелимхану, и много в том преуспели. И Зелимхан в конце концов остался в одиночестве и был убит в бою против большого отряда преследователей.

— Думаю, ты знаешь, о ком я говорю? — спросил меня этот некто.

— Да, — сказал я.

— Хорошо иметь дело с академическими офицерами. У них все по науке, по книгам и чертежам. Скажи честно, ты ведь верил, что аул твой, и не удосужился дать себе отчет в том, что кто-то может воевать против тебя, не останавливаясь ни перед чем?

Я смолчал. Мне только всплыл офицер из отдела генерал-квартирмейстера, рекомендовавший нам нечто подобное.

— Верил? — переспросил этот некто и в превосходстве перевел свои слова старшинам.

Мехмед-оглу заулыбался. А два других неопределенно дернули плечами, обозначили, что, мол, приняли к сведению.

— Ну так вот, — сказал мне этот некто. — Я родом чеченец. Но родился я в Турции. Надо полагать, ты знаешь, по чьей вине мой народ вынужден был покинуть родину. И эту войну я помню всю жизнь. Скажи, ты помнишь свое детство, капитан? Явно оно было счастливым, прошло в какой-нибудь деревеньке на берегу какой-нибудь вашей реки с пароходами. Дом ваш был если и не полной чашей, то был полон любви к тебе. И тебе не было нужды узнать такое чувство, как тоска по ком-то — разве что только по какой-нибудь очаровательной дочке соседа или друга твоего

отца, когда проснулись первые твои чувства. Я же с этой тоской родился, с тоской по родине, которую никогда не видел, а сразу же видел чужую страну и узкие высокие камни на могилах моих родственников, безвременно ушедших от той же тоски по родине. Они лесом стояли — эти камни. И отец вел меня по этому лесу за руку. Вот здесь, говорил, лежит твой дед, здесь лежит твой дядя по этой линии, а здесь дядя по этой линии, здесь еще дед, здесь двоюродный дед, здесь двоюродный брат, умерший совсем младенцем. И не было конца этому перечислению, не было конца этому лесу из узких высоких камней. Вечером он с крыши нашего дома, держа меня за руку, долго смотрел в темнеющую дымку сухих безлесых гор и говорил, что далеко за ними — наша родина. Горы там зеленые и тенистые, луга сочные и ароматные, реки чистые и прохладные. Там, на родине, все, кто сейчас лежит в лесу с деревьями из узких высоких камней, были сильными, стройными воинами, любили стройных красивых женщин, и от той любви рождались хорошие, не тоскующие дети. С самой той поры в меня вселилось представление о том, что моя родина Чечня — это лес из узких высоких камней, под которыми лежат все наши люди, все чеченцы. А та зеленая, тенистая и чистая родина Чечня находится на небе. На земле — лес из узких высоких камней, а на небе за дымкой после вечерней молитвы — зеленая, тенистая, чистая родина. Скажи, капитан, если я и не угадал про твое детство, оно все равно не было похожим на мое.

Я едва держался, чтобы не упасть, и конечно, смолчал. А он продолжил свое.

— И я поставил себе целью, — продолжил он, — я поставил себе целью мстить вам, русским, вашей империи, вашему богу, с виду ягненку, а по сути лютому зверю. Ты ждешь, капитан, что я произнесу слово “волку”. Нет. Волк сильный, умный, честный и открытый зверь. А вы слабые, неумные, продажные и беспощадные твари. У моего отца было достаточно средств, чтобы я смог поехать учиться в Россию, в ваш жуткий и злобный Питер. Я выучился, вот видишь знак, — он показал на знак какого-то учебного заведения под карманом френча, на который я до сего просто не обращал внимания, — я выучился, а потом уехал в Германию учиться другому, учиться тому, как воевать против вас, как мстить вам. К сожалению, я не успел к Зелимхану Харачоевскому. Но я стал ему побратимом, я взял себе его имя. Я и мои люди вместе с ним подняли бы народ на войну с вами. Но я не успел. Зато я поднял народ на войну с вами здесь.

Мне не было сил отвечать ему. Я едва держался, чтобы не упасть. Потому я сказал, показывая на старшин:

— Мне их жалко. — Я так сказал, а потом прибавил: — А тебя мне жалко больше всех.

Трудно сказать, отчего, но мне в самом деле стало его жалко.

— Не повторяй глупостей своего бога. Это не ново и не умно! — сморщился этот некто, взявший имя Зелимхана. — Тебе не может быть сейчас кого-то жалко, кроме себя. И ваш бог, как у вас там, взалкал своему отцу, когда повис на кресте.

— Мне вас жалко! — упрямо сказал я.

— Ну хватит! — озлобился Зелимхан. — У тебя выбор: или приказывай своим сложить оружие, или сдохнешь, как вон тот!

Зелимхан махнул в сторону шелковицы, под которой вчера “она” с сестрами теребила шерсть. Челядь Зелимхана послушно расступилась, кто-то выставил факел, и я увидел под шелковицей Иззет-агу. Он стоял с широко раскинутыми руками и страшно вперед, словно изображал большую птицу. Я не сразу догадался, что он распят на привязанной к шелковице перекладине.

Под языком у меня стало столь морозно, что проще бы сказать словами “он отнялся”. “Вот она!” — подумал я враз о смерти, о войне и о “ней”, о моей Ражите.

Чтобы не показать своего смертного страха, я спросил старшин снова, не стыдно ли им, а потом обернулся к Зелимхану и потребовал, чтобы он пропустил меня к Иззет-аге.

Зелимхан сперва как бы взвесил, выгодно ли ему, и небрежно махнул пропустить.

Я подошел к Иззет-аге и ничего не нашел сказать. А он будто почуял меня. Он поднял разбитую и уже безжизненную голову. Я позвал Махару. Его пропустили. Что сказать, я не знал. И я попросил у него прощения.

— Скажи, — велел я Махаре. — Скажи, что я, русский офицер, прошу у него прощения.

Махара сказал. Иззет-ага ничуть не переменился.

— Скажи, то есть спроси, где “она”? — велел я Махаре и тотчас поправился, посчитав свой вопрос только о “ней” бесчестным. — Спроси, успел ли он отправить семью?

Иззет-ага, верно от имени дочери, очнулся, поднял голову, шевельнул губами, но взгляда на мне уже не мог остановить. Тяжело, из самой груди, тоже разбитой, он сквозь кровь проклокотал, и Махара перевел:

— Он говорит: останься живым и спаси!

— Они здесь? — снова ледяным языком спросил я, а следом испугался своих слов — ведь Зелимхан если не придумал, то сейчас, после моих слов, может придумать их убить.

— Да, — сказал тихо я Иззет-аге, перекрестился и поклонился, сколько смог. И я очень боялся, что на это Иззет-ага снова скажет свои слова о семье, а Зелимхан от его слов придумает их убить.

— Изменника я покарал. С тобой говорить бесполезно, — сказал Зелимхан. — Переводчик нам не нужен. Тем более что он грозил заставить плакать мою мать. Еще материться не научился, а уже грозится!

Зелимхан брезгливо отмахнул пальцами, будто стряхнул с них грязную воду. Шесть четников навалились на Махару. Я и не понял — зачем и что они. А они сбили его с ног. Он, уже на коленях, вырвался от них, согнулся, свернулся в клубок, как сворачивается еж. На него снова навалились вшестером — пятеро в стремлении развернуть его, задрать ему голову, а один, шестой, ожидая с кинжалом. Я не поверил. Я никогда не видел, чтобы шестеро хотели убить одного. Я не поверил. Но

то чувство, которое заставляло меня держаться и не упасть во время излияний Зелимхана, сейчас заставило меня взять со стола мою шашку — ведь в бою плохое, но быстрое решение лучше потери времени в поисках решения хорошего.

Схватить шашку у меня не было сил. Я взял ее в левую руку. Я встал. Мне осталось дотянуться до того, кто ждал с кинжалом горла Махары. Однако за мной чутко следили. Меня опять ударили сзади по ногам. Они играли со мной. Не знаю, какие у них были представления о русском офицере, — возможно, на уровне представлений, вдолбленных Зелимхану германскими инструкторами, представлений для нас оскорбительных, хотя частью и обоснованных, мной по отношению к некоторым из нашей среды разделяемых — и я о том как-то уже сказал. Но я сам был здесь ни при чем. Ведь я готовил себя к военной службе. Потому после их удара сзади я, конечно, упал, но шашку при себе сохранил. А они, явно не оценив этого, возможно, не заметив в рассветной мгле, над падением моим засмеялись. Я же упал, ткнулся лицом в камни мощеного двора, что для меня уже не имело никакого значения — одной болью меньше, одной больше. Я упал, ткнулся лицом в камни. Но я сгруппировался и остатком силы сделал снизу выпад к ближайшему четнику, к сожалению, не к тому, кто ждал с кинжалом горла Махары. Я увидел, как шашка вошла ему под пояс, утыканный патронами. Она вошла глубоко и мягко, гораздо мягче, чем в чучело.

Хохот стих. И опять в тишине, прежде чем этот несчастный, еще не веря ничему, закричал, в светлеющее небо вновь ввинтился плач по убитым мной четникам.

9

И дальше тоже ничего не было.

Я очнулся от близкой пулеметной стрельбы, по характерному звуку лишь однажды слышанной мной.

Я висел на той же перекладине, что и Иззет-ага. И уж каким образом Господь решил дать мне очнуться, но я очнулся именно от пулеметной стрельбы и следом яростного голоса хорунжего Василия.

— А, куначки, а, получи! — яростно кричал он, и в характерном клине после каждого “а” можно было узнать, что он рубится шашкой.

Второй раз я очнулся на санитарных носилках. Меня несли мои дружинники, а рядом с двух сторон шли хорунжий Василий и подпоручик Лева Пустотин, просиявший на мое пробуждение.

— Вы, вы, Борис Алексеевич! — вскричал он в восторге.

А хорунжий Василий после его слов пригнулся ко мне и стал мешать дружинникам нести меня.

— Вот, татка-братка, вот, Борис Алексеевич, мы и свиделись! — весело доложил он.

А Лева Пустотин приложился к козырьку и, стараясь официально, но на самом деле в той же озаряющей его улыбке, выпалил:

— Четники разбиты, позиции не сданы, ваше высокоблагородие!

— Благодарю! — сумел ответить я.

Далее, чтобы не уделять внимания моим больным рефлексиям, я забегу вперед и скажу, как было у Левы Пустотина дело.

Нападение четников на Леву Пустотина, то есть та стрельба, которую мы с Махарой услышали, будучи уже пленными, застало гарнизон не совсем готовым. Не все раненые из госпиталя были перенесены в канцелярию. Два дружинника и доктор Степан Петрович, какое-то время отстреливающиеся из госпиталя, вместе с ранеными были четниками зарезаны. Бой же за канцелярию был с переменным успехом — то четники окружали ее, то наши отгоняли их. В один из моментов четники ворвались во двор. В дело пошли штыки и шашки — яростная звериная борьба, когда о возможности стрелять просто-напросто было забыто. Не столь уж, оказывается, древен инстинкт стрельбы.

Верх боя остался за нами. Штыка четники не выдержали. Да, собственно, не стоило и выдерживать, когда во много раз большем количестве они превосходили нас огнем и нужно было только время, чтобы постепенно всех нас перестрелять. Но то ли это предугадал Лева Пустотин, то ли им стал руководить азарт боя, но он поднимал в штыки дважды.

С рассветом обе стороны сникли. Лева Пустотин сосчитал патроны, разделил

гранаты и понял, что при хорошем натиске не продержаться и часу. Он вынул из сейфа гарнизонные документы, печать, мою планшетку, уложил все в пустую патронную цинку и спрятал во дворе под камень с наказом последнему из живых передать тайник нашим. Взводного Петрючего из-за бесполезности посылки при вспухших реках он никуда не отсылал. И взводный Петрючий в бою себя проявил хорошо. Он был убит совсем нечаянно. Он вышел на галерею попить воды, и его четники увидели.

Когда совсем рассвело, наши услышали в стороне квартала Иззет-аги выстрел, потом еще несколько и через некоторое время услышали короткую пальбу пулемета. А после этого стрельба разлилась едва не на весь аул. Лева Пустотин понял, что четники при таком обороте явно растерялись, и повел своих в третьи штыки. Но четники его не приняли. Они стали спешно отходить и частью попали под его огонь, частью успели скрыться кривыми улочками и рассеяться.

Причина этого оказалась простецкой, если так можно сказать о причине, спасшей наше положение. Составилась она в том, что на аул вышел с двумя взводами своих моздокцев сотник Томлин. И вышел он не случайно. Он шел за четниками, не имея возможности обойти их каким-нибудь параллельным ущельем. В горной пурге они вышли на аулец Керик, попали под наш ливень и остановились. Идти по Керикской расщелине при вспухших речках было не только бесполезно, но и невозможно. По прекращении дождя они услышали нашу стрельбу.

Дальнейшее было лишь обстоятельством времени, за которое им удалось в тьме расщелины и вспухших речках преодолеть расстояние.

В ауле они услышали тот же выстрел из квартала Иззет-аги и последующие несколько выстрелов. Хорунжий Василий с разрешения сотника Томлина и полувзводом повернул туда.

Вот так все было

А у нас во дворе шестеро четников не в силах одолеть Махару ударили его прикладом винтовки по голове. Он обмяк, и они вскрыли ему горло. В этот миг старшина Мамуд подошел к Зелимхану, взял у него из-за пояса револьвер и выстрелил ему в живот. Он успел сделать еще несколько выстрелов, однако был сам убит. Два других старшины кинулись прочь. И все кинулись прочь. Их, особо не разбирая дела, своим ручным пулеметом, а потом шашкой встретил хорунжий Василий.

Меня и Иззет-агу сняли с перекладины. Иззет-ага был мертв. Его к вечеру этого же дня согласно мусульманскому обычаю похоронили. А меня, разумеется, принесли в госпиталь, обмыли и всего перебинтовали, так что я стал походить — извините за сравнение — на изображение младенца Николы-Угодника на иконе.

Я мало что помню из этого. Помню я все обрывками. Всплывал Лева Пустотин, которому я давал поручение хоронить убитых наших товарищей и непременно привести аул к присяге, давал поручение сделать полный письменный отчет по команде о случившемся и представить всех, кого он посчитает нужным, к наградам. Причем присягнувший аул я велел подать в отчете страдательной от четников стороной и особо подчеркнуть подвиг Иззет-аги с Мамудом. В отношении его

самого я помню, что очень хотел представить к ордену Святого Георгия, каким награжден был сам, или по крайней мере — к Святому Владимиру с мечами. Но, помню, у меня засела в голове формулировка орденских дум из отказных уведомлений, уже случавшихся ранее на представления к этим орденам: “Отказать в награждении за недостаточностью подвига”. И это одновременно могло оставить Леву Пустотина вообще без награды. Потому я распорядился сделать представление на Святую Анну четвертой степени, ту самую “клюковку” и темляк на эфес шашки, какие были у Саши. Этак же я распорядился представить сотника Томлина и хорунжего Василия.

Всплывали испуганные и каменные лица Алексея Прокопьевича и Сергея Абрамовича.

— Ужас Господень, Борис Алексеевич! — в подлинном ужасе говорили они. — Мы уж ни в какие атаки не ходили. Вы уж нас ни к каким орденам не представляйте. Ни к чему Бога гневить!

Не мог я увидеть прапорщика Беклемищева. Спросил и получил ответ: “Убит”. И мне, грешным делом, отчего-то показалось, что бедный прапорщик Беклемищев даже сейчас, будучи убитым, не понимает, что он убит.

Всплывал сотник Томлин со своим прищуром темно-карих глаз и толсто обмотанными руками, так толсто, что они походили на бабы, которыми мужики забивают сваи. И, помню, он, отдавая команды, этими бабами взмахивал, а потом, верно от боли, бережно прижимал их к груди и тотчас же опять взмахивал ими. Придерживать шашку он не мог, и она несколько путалась у него при ходьбе.

— Ничего, спи, спи! — говорил он мне.

— Что семья Иззет-аги? — якобы первым делом спросил я.

Якобы — потому что сам я этого не помню, видно, не совсем был в себе. Служебные дела возвращали меня в память, а душевные — нет. Верно, не умел я любить.

— Спи, Лексеич, спи, все порядком! — говорил мне сотник Томлин.

Так же, только весело, отвечал хорунжий Василий.

— Погодите немного, ваше высокоблагородие. Придете в себя — и проведаете своего агу! — якобы говорил мне он и переходил к другой теме, переходил к своему пулемету: — А она, моя милушка, тут же и оскоромилась! Я ей на титечку нежненько нажимаю, думаю, сейчас в любовной истоме изойдет, а она семь-восемь патрончиков пырк — и все, и хоть вьючком ее привязывай в обозы! Патрончиков больше нету-ка. Как Григорий Севостьянович говорит, нету-ка!

Когда же заскрипели и ударили по камням колеса двуколки, повезшей меня из аула, я очнулся более и в страхе велел поворачивать обратно.

— Я должен увидеть семью Иззет-аги! — потребовал я.

Обочь двуколки встал сотник Томлин.

— Ваше высокоблагородие, капитан, — с прежним прищуром и недовольством

в голосе сказал он. — Ваше высокоблагородие, вы будто азиатцев не знаете!

Я не понял, к чему он вдруг приплел азиатцев. Но мне не понравились ни прищур его, ни недовольство в голосе. Во мне дернулась на секунду некая сила.

— Вы, сотник, все у нас знаете! — с вызовом и напором на “вы” сказал я.

Он посмотрел на меня пристально и спокойно. Было видно, что его мучает боль в руках, но он ее превозмогает, и рядом с его превозможением он видит меня слабым.

— Что с семьей Иззет-аги? — закричал я.

Но, думается, закричал я только в собственном представлении. Думается, на самом деле, я кое-как пролепетал эти слова, уже обессилевая от самой потуги на крик.

— Сейчас доложим, ваше высокоблагородие! — в усмешке приложился правой своей бабой к папахе сотник Томлин, повернулся и крикнул: — Этого мне, Арамку!

К нему приспешил низкий и крепкий сложением армянин-переводчик. Сотник Томлин сказал ему:

— Доложи капитану! — и сам, опять превозмогая боль, пошел рядом с двуколкой, так что я почувствовал его небрежение ко мне, его подчеркнутое сравнение меня с Сашей. Верно, с ним он никогда так не обращался.

Я вспомнил, что он сберег мне мою шашку, подаренную Раджабом, и вдруг впервые почувствовал, что руки мои в кистях сильно и ломко саднят, что они крепко и толсто, как и сотника Томлина, перевязаны. Я вспомнил, что меня прибивали к перекладине. “Господи! Как же я теперь ходить-то буду!” — в ужасе представил я себя в момент отправления нужды. Но этот ужас перекрылся тем, что сказал армянин Арам.

— Всех зарезали, ваше высокоблагородие! — бесстрастно сказал он.

— Кого всех? — рассердился я, положив, что он имеет в виду своих соплеменников. Известно было по прежним войнам, и ныне уже сообщалось, что курды и турки поголовно вырезают армянское население в прифронтовой зоне. — Кого всех? — спросил я из своих бинтов.

— Все семейство этого бедного человека зарезали. Одно слава Богу, не насиловали перед тем, как зарезать. А то наших женщин и девочек сначала насилуют, потом режут и так бросают оголенных для большего позора.

— Всех? — спросил я, а сам, как при болезни в детстве, закружился, оторвался от двуколки и взлетел вверх.

— Всех, ваше высокоблагородие! Нашли даже старшую дочь этого бедного человека, беременную, и стали заставлять ее лазать под буйволицей, чтобы родила. А у нее срок еще не вышел. Так и зарезали с не родившимся ребеночком.

Я летал над аулом к Керикской расщелине, от нее поворачивал обратно, поднимался выше и выше, охватывал сверху всю местность, как в первом моем бою под Хопом, с той только разницей, что там я вселил в себя всю местность, а тут я

был над ней. Я чувствовал под собой соломенный тюфяк на двуколке, но я был высоко в небесах, и никого со мной там не было. Я искал “ее”, но “ее” там со мной не было. Небеса были пусты. Я ощущал рядом всех. Я слышал рассказ армянина Арама. Я слышал все иные звуки вплоть до шелеста волос в лошадином хвосте. Но в небесах я был один и с замирающим до пустоты сердцем проносился, кажется, над всей землей. Мы все хотели счастья — христиане и мусульмане. Но все мы видели, как при нашем приближении оно неудержимо от нас уходит. Я не мог найти “ее” в небе. Я крещеный, а она мусульманка. И нам не было нигде никогда быть вместе. Небеса, как и земля, нам становились пустыней. Ни на земле, ни на небе нам не было дома, нам не было ни семьи, ни счастья.

— Боже, — сказал я. — Боже, я приму ее завет веры. Я скажу их “Аллах акбар!” или что они там хотят, лишь бы они, “они” были живы!

Но я хоть и был в полузабытьи, я понимал, что и это не спасет ни меня, ни “их”.

— Покажите мне аул! — услышал я свой голос и потом чувствовал, что мне его показывают, что я смотрю на него, но не вижу. Мутная пелена надвинувшихся в мои глаза облаков на давала мне аул разглядеть. Серым оттенком эта пелена была совершенно схожа с серым накатом волн на серый берег пустыни. Но не было на том берегу и в тех волнах разноцветья азиатских одежд. Не было в ней ничего.

И никто за моими бинтами меня не видел. Никто не видел моих слез. Никто не слышал моих слов о том, что все ложь. Никто не видел, что меня на земле нету.

— Ложь, все ложь! — говорил я слова Михаила Дмитриевича Скобелева, считая, что их выносил я сам.

А сотник Томлин шел рядом и, не видя моих слез, не слыша моего голоса, в надежде меня отвлечь от боли, говорил мне про Азию, про Кашгарку.

— Вот что тут поймешь, Борис Алексеевич! — говорил он.

А я видел, что он меня не понимает, он не понимает моей настоящей боли. И мне было хорошо, что он не понимает. Я был снова один. И мне казалось, что я теперь буду один во всю мою жизнь до самых моих две тысячи там каких-то не нужных мне лет. Мне было хорошо одному. Если бы сотник Томлин что-то понял, мне стало бы невыносимо плохо, сил бы моих, и без того отсутствующих, стало бы вдвое меньше, потому что он бы разделили мою боль и тем отнял бы половину моих сил. А так я надеялся только на себя. И мне было легче. Я плакал.

— Вот что тут поймешь в этой Азии, Борис Алексеевич! — говорил сотник Томлин, а я видел, сколько он хочет меня развлечь, и я мало-помалу стал ему благодарен. Верно, и с Сашей у них было так на Кашгарке, что один не оставлял другого в одиночестве. А мне нужно было остаться в одиночестве. Но все равно я стал ему благодарен.

— Был до нас на Кашгарке хан по имени Якуббек, и было у него три сына, — говорил сотник Томлин.

В последних его словах, едва не взятых из “Конька-Горбунка”, мне померещились интонации Саши. Никогда он мне сказок не читал, никогда этакого

ничего не рассказывал, а только всегда относился ко мне с иронией. Однако же нашел я в голосе сотника Томлина его, Саши, интонации и подумал, сколько они схожи и сколько сотник Томлин теперь без него в одиночестве тоскует.

— Сотник, — сказал я.

Он смолк. Я попросил его рассказывать про Кашгарку.

Сотник Томлин поотстал к шедшей сзади двуколке, попросил раненого дружинника вынуть из кармана и зажечь ему папиросу. Потом он догнал меня.

— Да, хорошо было на Кашгарке! — сказал он.

— Про хана Якуббека, — напомнил я.

— А, точно! — сказал сотник Томлин с уже привычной стилизацией под народ, то есть сказал не “точно”, а “тощно”. Я увидел, что он пьян. — Тощно, тощно, — сказал он. — Якуббек. Было такое. Было у него три сына. Звали их Беккулибек, Хаккулибек и Худайкулибек. Вот как их звали. Беккулибек, Хаккулибек и Худайкулибек. Три разных имени. Но если перевести каждое имя на русский язык, то будет одно и то же. Будет — Раб Божий. Вот она какая, Азия. Вот тебе, Борис Алексеевич, азиатцы. Талдычиться с ними можно. Но всю талдычню они понимают по-своему. Для нас Раб Божий — и все. А для них — Беккулибек, Хаккулибек и Худайкулибек. А небось, был бы четвертый сын, так был бы каким-нибудь Аллахкулибеком, Маллахкулибеком или кем-то еще. В нее, в Азию подлую, вжиться надо. Вживешься — куда с добром там тебе будет. Не вживешься — пропал.

— Вы с Сашей вжились? — спросил я.

— Мы-то? — посмотрел вдаль сотник Томлин. — А вот Бог ее знает. Век бы ее не видеть. Сидеть бы век в Бутаковке да рыбу удить на речке. Баженовка, речка, с аршин в ширину, а пескари в ней вот, с два пальца толщиной! — сотник Томлин хотел показать пальцы, но в каком-то детском удивлении с баб своих перевел взгляд на меня. — Вжились, наверно, — сказал он и возразил себе: — Опять если бы вжились, то какого лешего я бы пакли себе отморозил. Гнались мы за этим Зелимханкой. Обойти не можем. А тут пурга. Он-то, видно, успел спуститься. А мы нет. Закопались мы в снег. Ну и начали для сугреву араку Арамкину понужать. А пошел я посты проверять — меня потом ребята нашли в сугробе. “Спишь, — говорят, — как христовенькой. Немножко бы — и на тот свет”. Разбудили. А пакли уже отмерзли. Чую — отрежут! — и крикнул назад: — Арамка! Давай свою араку. С господином капитаном выпьем!

— Выпейте, Григорий Севостьянович! — торопливо и услужливо подбежал Арам.

— Выпьем, Борис Алексеевич, в помин рук наших и в помин Саши! — сказал мне сотник Томлин.

“А что, если и мои отрежут!” — стрельнуло по мне, и я не смог всего этого представить.

Сердце мое выдержало. И сам я выдержал. Пить я отказался и заснул. А проснулся на переправе через речку, когда меня казаки сотника Томлина

переправляли по натянутой веревке. Они сильно кричали. От их крика я проснулся. Я увидел под собой мутный и сильный поток. В подобном потоке утонул горийский каменщик. Потом я увидел сотника Томлина, переправившегося и меня встречающего.

— Вот и наш Лексеич! — ласково, но со снисхождением сказал он.

А у меня от представления того, что я остаюсь без рук, ни на что сил не было. Я вспомнил письмо Ксенички Ивановны и понял, что если бы Ксеничка Ивановна полюбила меня, стала бы ухаживать за мной безруким, дала бы на мое давешнее предложение согласие, я бы подлинно был счастлив ответить ей, я был бы ей верным и ласковым мужем. Я понял, что я бы всю жизнь испытывал к ней благодарность, всю жизнь обожал бы ее.

Но если быть честным, я никогда бы не полюбил ее. Я думаю, понятно, почему. И потому выходило мне только служить, служить даже безрукому.

— Вот и наш Лексеич! — обрадовался мне сотник Томлин. — Вот и… — и он запнулся.

А я понял, отчего он запнулся.

— Не Саша, не Александр Алексеевич! — сказал я.

Сотник Томлин будто даже пригнулся, столь показался он мне одиноким и маленьким.

— Не Саша, — сказал я, а он будто даже попросил у меня пощады.

— Ведь щемит! — ткнул он себя бабой в грудь, привычно стилизуя слова под народ, то есть вместо “щ” говоря “шш”.

— Вот выйдем из госпиталя, — сказал я.

А сотник Томлин, только что слабый, меня перебил:

— А теперь, Лексеич, не стыдно в Бутаковку заявиться. Робяты все померзли, ну и я без паклей как бы вместе с ними.

— Вот выйдем из госпиталя, сотник, — приказом сказал я. — Выйдем из госпиталя, я возьму тебя в батарею старшим офицером.